М. Е.
САЛТЫКОВ-
ЩЕДРИН

1

М. Е.
САЛТЫКОВ-
ЩЕДРИН



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В двадцати томах

*

Издание осуществляется
совместно с Институтом русской литературы
(Пушкинский дом) Академии наук СССР

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1965

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том первый

*

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

РЕЦЕНЗИИ

СТИХОТВОРЕНИЯ

1840—1849

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1965

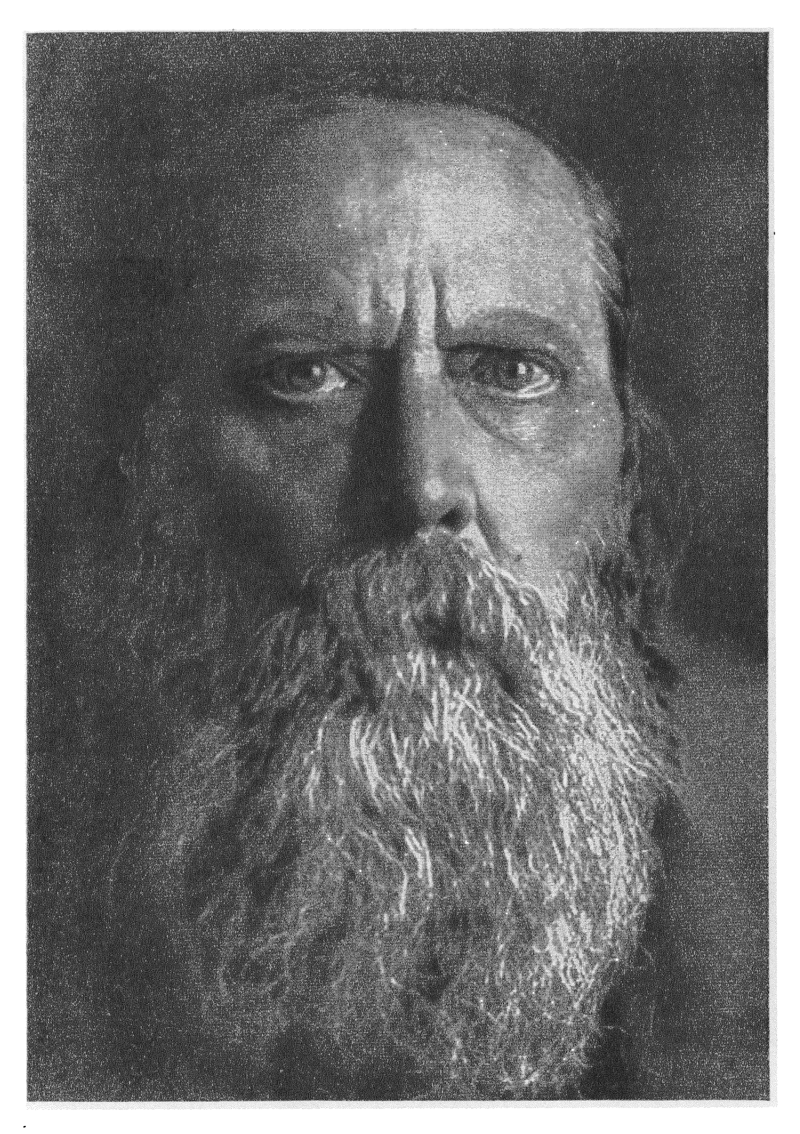
Р1
С16

Вступительная статья
Е. И. Покусаева

Подготовка текста
Г. Н. Антоновой и *Г. Ф. Самосюк*

Статьи и примечания
Т. И. Усакиной

Оформление художника
И. ЖИХАРЕВА



М Е САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Фотография Е. А Боткиной

1889 г

ОТ РЕДАКЦИИ

Литературное наследие М. Е. Салтыкова-Щедрина досталось советскому обществу в состоянии значительно худшем, чем наследие других русских классиков. Почти каждое произведение великого сатирика, революционного демократа, несло на себе клеймо царской цензуры. Значительная часть написанного им была не собрана и не издана.

Лишь после Октября советскими литературоведами были проведены фундаментальные работы по выявлению и публикации неизвестных ранее текстов Салтыкова-Щедрина. В начале 30-х годов по инициативе М. С. Ольминского (1863—1933) — одного из старейших деятелей революционного движения России — было предпринято первое научное издание сочинений писателя. Тексты для этого издания, выпущенного Государственным издательством «Художественная литература» в 1933—1941 годах, были проверены по всем известным источникам. Из двадцати томов примерно восемь заняли произведения, ранее не входившие в собрания сочинений Салтыкова-Щедрина.

Издание 1933—1941 годов имело выдающееся научное и культурно-политическое значение. Оно создало широкую базу как для исследовательской работы над Салтыковым-Щедриным, так и для ознакомления с его творчеством широких кругов новых советских читателей. Однако за тридцать с лишним лет, прошедших со времени начала работы над этим изданием, во всех областях изучения Салтыкова-Щедрина, в том числе и в области текстологии, произошли существенные сдвиги.

Издание 1933—1941 годов не свободно от ряда серьезных недостатков. Главнейшие из них: 1) отсутствие единства в методах подготовки текстов, а также принципах отбора других редакций и вариантов и 2) бедность, а иногда и отсутствие комментариев к некоторым, в том числе важнейшим, произведениям Салтыкова-Щедрина (к «Губернским очеркам», «Истории одного города», «Сказкам» и др.).

Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осу-

ществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.

По сравнению с предшествующим изданием, тома настоящего Собрания пополняются всеми недавно найденными материалами: доцензурным текстом статьи о Кольцове, имеющим значение программного выступления писателя (1856), неизвестной ранее переработанной редакцией очерка «Каплуны» (конец 1862 г.), несколькими литературно-критическими и публицистическими статьями, относящимися к последним годам работы Салтыкова-Щедрина в «Современнике» (1864), письмами — в количестве более пятидесяти — к разным лицам и др.

Это Собрание сочинений рассчитано на широкий круг читателей. В задачу его не входит поэтому публикация *всех* редакций, и тем более мелких вариантов произведений Салтыкова-Щедрина. Полностью или в извлечениях приводятся лишь те «другие редакции», которые представляют самостоятельный и существенный интерес (первоначальная редакция пьесы «Смерть Пазухина», под заглавием «Царство смерти», приспособленные автором к цензурным условиям редакции «письма третьего» из цикла «Письма к тетеньке», сказки «Вяленая вобла» под заглавием «Мала рыбка, а лучше большого таракана» и др.). В особо важных случаях в примечаниях приводятся отдельные варианты, извлеченные из рукописей, корректурных гранок и авторских публикаций.

Издание рассчитано на двадцать томов. В первых семнадцати собрано литературное наследие Салтыкова-Щедрина, в последних трех — эпистолярное.

Художественные произведения занимают четырнадцать томов. Произведения располагаются в последовательности их создания, которая, однако, не могла быть строго соблюдена. Салтыков-Щедрин объединял свои рассказы, очерки и фельетоны разных лет в «циклы» и «сборники». «Хронология» каждого из них перемежалась, иногда многократно, с «хронологией» работы над другими «циклами» и «сборниками». Необходимой поправкой к хронологическому принципу является расположение крупных произведений Салтыкова-Щедрина не в последовательности начальных дат работы над ними, а по доминирующей хронологии (так, «Сказки», созданные в период с 1869 по 1885 год, отнесены в один из томов сочинений 80-х, а не 60-х годов). В первом томе художественная проза предшествует рецензиям и стихотворениям, хотя они были написаны раньше повестей. Такое нарушение хронологического принципа оправдано тем, что творчество Салтыкова 40-х годов характеризуют не стихотворные опыты и рецензии, а повести.

Критика и *публицистика,* за исключением ранних рецензий (1847—1848), включенных в первый том, собраны в трех томах: пятом и шестом (1856—1864) и девятом (1868—1878). Место этих томов в издании определяется хронологическими рамками входящих в них материалов.

Письма занимают завершающие издание тома восемнадцатый, девятнадцатый и двадцатый. В первом из этих томов печатаются автобиографические записки Салтыкова-Щедрина.

Каждый том строится по одному общему принципу, включая в себя, как правило, три «раздела»: 1) основные тексты (к ним относятся также тексты фрагментов и начатых, но не завершенных произведений); 2) тексты других редакций; 3) примечания.

Одно из своеобразий текстологии Салтыкова-Щедрина заключается в том, что некоторые его произведения частично повторяются в других произведениях. Объясняется это, в основном, двумя причинами. Первая из них — цензура. Запрещенный однажды текст Салтыкову-Щедрину удавалось иногда включить в одно из позднейших своих сочинений. Так, например, материалами очерка «Чужую беду руками разведу» (1877), вырезанного из журнала цензурой, Салтыков-Щедрин воспользовался в очерках «Дворянские мелодии» (1877) и «Чужой толк» (1880).

Во-вторых, отдельные очерки из циклов, не получивших самостоятельных изданий и оставшихся в первопечатных журнальных публикациях, позднее вводились писателем с изменениями в другие циклы и сборники. Таковы, например, очерки «Русские «гулящие люди» за границей» или «Сеничкин яд». Впервые они появились в серии фельетонов «Наша общественная жизнь» в «Современнике» за 1863 год. Впоследствии же Салтыков-Щедрин ввел их в свой сборник «Признаки времени» (1869).

Салтыков-Щедрин принимал личное участие в подготовке к печати почти всех своих крупных произведений, не раз повторно редактировал их. Установленные писателем в последний раз тексты положены в основу публикаций настоящего издания. Исключения из этого правила, всегда оговариваемые, объясняются обычно цензурной судьбой произведения. В некоторых случаях первоначальная редакция оказывается предпочтительнее позднейшей переработки, сделанной применительно к цензурным условиям (очерк «Тяжелый год» из книги «Благонамеренные речи» и др.).

Независимо от степени авторитетности избранной для печати редакции, текст ее сверяется с текстами беловых и наборных рукописей и всех изданий данного произведения, вышедших под контролем автора. В необходимых случаях текст проверяется и по черновым рукописям. Учитываются также приведенные в известность (документированные) факты прямого или косвенного вмешательства цензуры в авторский текст.

Освобождение щедринской сатиры и публицистики от цензурных искажений — сложная и полностью не разрешимая задача. Главная ее трудность — в том, что подпавшие под цензурный запрет или замечания места щедринского текста замещались писателем другими текстами, которые всегда представляют собою новую творческую редакцию. Они органически входят в литературную ткань произведения и далеко не всегда могут быть вновь заменены более ранними редакциями. В тех случаях, когда восстановление доцензурного текста оказывается невозможным, он приводится или о нем сообщается в примечаниях.

Произведения, не обнародованные при жизни Салтыкова-Щедрина, публикуются по авторским рукописям или корректурным гранкам набора, запрещенного к печати цензурой.

Тексты сочинений и писем печатаются по правилам современной орфографии и пунктуации, с сохранением характерных особенностей языка, присущих тому времени и лично свойственных Салтыкову-Щедрину.

Примечания даются к каждому произведению и состоят из статей, текстологических заметок и комментариев. Примечания содержат в своей совокупности указания на источники текста, мотивировку выбора печатаемого текста и справки о характере внесенных в него изменений, сведения из истории создания и печатания произведения, включая цензурную судьбу его, сжатую идейно-художественную, историко-литературную и общественно-политическую характеристику произведения, важнейшие отзывы о нем печати того времени и отклики современников, наконец — пояснения к отдельным местам текста, необходимые для возможно ясного понимания этих мест читателем нашего времени. Особенное внимание в примечаниях уделяется раскрытию сложных иносказаний, «эзопова языка» щедринской сатиры, разъяснениям содержания ее главных образов-метафор («город Глупов», «глуповцы», «помпадуры», «ташкентцы» и т. д.). В реальных комментариях вскрывается связь сочинений писателя с основными явлениями и фактами идейной жизни и политического быта эпохи.

Собранию сочинений предпосылается очерк творчества Салтыкова-Щедрина.

Каждый том издания сопровождается аннотированным указателем личных имен и названий периодической печати. В томе, завершающем публикацию литературного наследия (т. 17), будет дан алфавитный указатель всех сочинений Салтыкова-Щедрина, а в последнем томе издания (т. 20) — хронологическая канва жизни и творчества писателя.

Переводы иноязычных слов и фраз, принадлежащие редакции, даются в подстрочных примечаниях. Примечания самого Салтыкова-Щедрина печатаются с указанием их принадлежности автору.

Та часть текстологической работы для настоящего издания, которая связана с обращением к автографам писателя, осуществляется при участии и под контролем группы научных сотрудников Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР — основного хранилища рукописей Салтыкова-Щедрина.

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

(Очерк творчества)

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, гениальный художник и мыслитель, блестящий публицист и литературный критик, талантливый журнальный редактор и организатор молодых творческих сил, был одним из самых ярких деятелей русского освободительного движения.

Дар великого сатирика — явление редчайшее. Наперечет имена художников, силою гения своего утвердивших непреходящую социальную и нравственную роль смеха в духовной жизни человечества: у древних народов Греции и Рима — это Аристофан, Эзоп и Ювенал, в более близкие к нам эпохи — Рабле и Вольтер во Франции, Свифт в Англии, Марк Твен в Америке, Гоголь и Салтыков-Щедрин в России...

Большого сатирика рождают бурные эпохи, переломные моменты в истории наций, когда предельно обостряются классовые противоречия, когда происходит гигантское столкновение сил прогресса и реакции, нового и старого. Энгельс в 1891 году писал о «глубокой социальной революции, происходившей в России со времени Крымской войны»[1]. За короткий исторический срок возникли и сменили одна другую две революционные ситуации (1859—1861, 1879—1881). В первое десятилетие XX века страна вступила в полосу общенародных восстаний, завершившихся победоносным Октябрем 1917 года. Салтыков-Щедрин, как, может быть, никто другой из его великих литературных современников, продвинулся далеко вперед в художественном познании самых существенных процессов и закономерностей пореформенного развития России, назревавшей в ней демократической революции.

Трудно представить классическую русскую литературу без Салтыкова-Щедрина. Это значило бы лишить ее облик неповторимо своеобразных черт. В Салтыкове-Щедрине счастливо соединились громадный комический талант, могучий, проницательный ум, энциклопедическая образованность, способная соперничать с герценовской, непревзойденное знание жизни России до последних ее «мелочей», гуманизм революционного демократа и патриота. С именем Салтыкова-Щедрина Горький связывал рас-

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2-е, т. 22, М. 1962, стр. 261.

цвет сатирического творчества в России. «Это не смех Гоголя,— писал он,— а нечто гораздо более оглушительно-правдивое, более глубокое и могучее» [1]. В этом несомненном и вместе таком великолепном преувеличении проявилось стремление подчеркнуть уникальность, исключительность дарования Салтыкова-Щедрина, широту его творческого размаха, небывало действенную роль его сатирического наследия в духовной жизни целых общественных поколений.

Только небольшому кругу лиц были в свое время известны подробности биографии писателя, безрадостное пошехонское детство, драматизм вятской ссылки в молодые годы, тяготы чиновничьей службы, ненавистного вице-губернаторства, семейная неустроенность. Но зато на виду у всей мыслящей России был подвижнический труд Салтыкова-Щедрина в литературе, которую он страстно любил и которой отдал все силы своей щедрой души, на виду у всех была его титаническая борьба с царизмом. С нетерпением ждали читатели каждого нового его произведения, каждой новой его сатиры, где с замечательной чуткостью затрагивались самые острые вопросы дня, одним-двумя меткими словами определялась суть едва зарождающегося социального типа, подспудное течение запутанных и темных явлений действительности.

Это был мудрый и проникновенный художник-сатирик, которому оказались доступными «тончайшие нити и пружины личных и общественных отношений». Он умел заглянуть в тайники души не только одного человека, но постичь нечто сокровенное в психологии целых классов, групп, сословий и всенародно обнажить социальные их «готовности». «Диагност наших общественных зол и недугов», «пророк» — так отзывались о сатирике его современники.

В сатирическом таланте, сила которого в беспощадном отрицании, в обостренном чувстве к злу и несправедливости, заключен и некий потенциально опасный элемент известной односторонности восприятия. Под тягостным давлением пороков, зла жизни идейно незакаленный художник легко может соскользнуть в цинизм, равнодушие и даже мизантропию. У Салтыкова-Щедрина, стоявшего на уровне демократических и социалистических идей века, никогда, даже в самые «худые» и ужасные времена реакционных бешенств, разгула цензуры, не утрачивалась вера в торжество правды и разума, вера в неистощимость исторического творчества человечества. Порой смех проникался горечью трагического мироощущения, становился резко бичующим, язвительным, саркастическим, но не угасала в сатирике большая любовь к людям. Сердечно привязанный к своей родине, он верил в ее лучшее будущее.

Идеологические противники сотни раз провозглашали, как об этом с иронией писал Салтыков-Щедрин: «Загляните в скрижали истории, и вы убедитесь, что тот только народ благоденствует и процветает, который не уносится далеко, не порывается, не дерзает до вопроса». Сатирик с негодо-

[1] М. Горький, История русской литературы, М. 1939, стр. 270.

ванием отвергал эти убаюкивающие примирительные идейки. Салтыков-Щедрин страстно хотел видеть свой народ «дерзающим до вопроса», способным к великим историческим свершениям, способным навсегда покончить с «миром зловоний и болотных испарений». Исторический смысл своей литературной деятельности он видел в том, чтобы пробудить общественное сознание народных масс. Благородный революционно-просветительский пафос слышится в неумирающих щедринских словах: «Литература и пропаганда — одно и то же».

В самой личности Салтыкова-Щедрина скрывалась поистине титаническая нравственная сила, «необычайная мощь духа» (И. Бунин). Мужество и энергия, с какими он всю свою сознательную жизнь карал зло, напряжение и страсть в искании истины, трезвейший смех и реализм, так органически уживавшиеся с высоким романтизмом души,— все эти черты истинно человеческого величия неотразимо действовали на всех соприкасавшихся с гениальным сатириком. В нем видели совесть честной, думающей, передовой России.

Изумительное мастерство Салтыкова-Щедрина, художника, проверено самым строгим и беспристрастным критиком — временем. Щедринские сатирические характеристики, его типы, подобно гоголевским, «вошли как бы в самый состав русского языка» (К. Федин). Помпадур, иудушка, «органчик», премудрый пискарь, карась-идеалист, пенкосниматель, чумазый и множество других щедринских образов превратились в нарицательные образы-символы.

Однажды за границей, вспоминает А. В. Луначарский, в присутствии Ленина зашла речь о Щедрине. Рассказывал о нем неутомимый его популяризатор М. С. Ольминский. «Он говорил о меткости, он говорил о суровом портрете Щедрина, где он изображен закутанным в плед, о том, каким сумрачным, каким неподвижным выглядит этот человек, родивший столько смеха на земле, может быть больше, чем кто бы то ни был другой из живших на ней, не исключая Аристофана, Рабле, Свифта, Вольтера и Гоголя. А потом Михаил Степанович стал вспоминать различные ситуации, типы, выражения Щедрина. Мы хохотали их меткости, мы изумлялись тому, в какой мере они остаются живыми. И Владимир Ильич окончил нашу беседу таким замечанием:

— Ну, Михаил Степанович, когда-то придется поручить вам оживить полностью Щедрина для масс, ставших свободными и приступающих к строительству своей собственной социалистической культуры» [1]. Этот знаменательный эпизод дает возможность еще полнее понять и оценить современное значение ленинского завета: «вспоминать, цитировать и растолковывать» [2] Салтыкова-Щедрина, одного из величайших творцов русской демократической культуры.

---

[1] Цитируется по кн.: М. Ольминский, Статьи о Салтыкове-Щедрине, М. 1959, стр. 111.

[2] В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4-е, т. 35, стр. 31—32.

1

Михаил Евграфович Салтыков, впоследствии избравший себе литературный псевдоним «Н. Щедрин», родился 15(27) января 1826 года в с. Спас-Угол, Калязинского уезда, Тверской губернии.

Вся обстановка тверского поместья, семейный уклад жизни запечатлелись в памяти сатирика как безнравственные и жестокие. «Одни были развращены до мозга костей, другие придавлены до потери человеческого образа». Эта гневная формула относилась не только к отрицаемому в корне социально-политическому строю, но также и к собственной семье, которая выступила в произведениях сатирика «одной из типических форм бытового выражения» этого самого строя [1].

В конце жизненного пути, возвращаясь мыслью к ранним годам, Салтыков-Щедрин утверждал, что крепостное право по-своему сыграло громадную роль в его жизни, что оно сближало его с «подневольною массой», что, только пережив все его фазисы, он мог прийти к «полному сознательному и страстному отрицанию его».

Будущий писатель рано пристрастился к книге. Его захватила поэзия Пушкина. Мятежные стихи Лермонтова воспринимались как пламенный протест против повсеместной аракчеевщины. Юного Салтыкова влекли произведения, богатые сатирой и юмором. Сильное впечатление производила ирония Генриха Гейне. «Я еще маленький был,— вспоминал Салтыков впоследствии,— как надрывался от злобы и умиления, читая его».

Разнообразие духовных интересов, увлечение театром, неодолимая тяга к литературе, сочинительству заметно отличали одаренного юношу в среде воспитанников казенной школы, рассадника министров и «помпадуров», как иронически называл сатирик Царскосельский лицей, в котором провел долгие годы. Вскоре молодой Салтыков именно в литературе, в «писательстве» будет искать выход из мертвящих традиционных условий жизни, готовивших для него обычную карьеру «просвещенного» вотчинника или преуспевающего николаевского чиновника-службиста.

Впервые в печати Салтыков выступил в 1841 году. На страницах журнала «Библиотека для чтения» появилось его стихотворение «Лира», а затем, в 1843—1844 годах, еще несколько стихотворений. Юношеская лирика носит на себе заметные следы подражания Байрону, Гейне, Лермонтову, и Салтыков не любил вспоминать о ней. Все же в стихах лицеиста Салтыкова пробивались искренние романтико-протестующие настроения, созвучные мотивам этих великих художников.

Салтыков прошел через содержательнейший период самообразования. Он знакомится с философскими сочинениями Гегеля и Фейербаха, штудирует произведения утопистов-социалистов Сен-Симона, Фурье, Кабэ, Кон-

---

[1] С. А. Макашин, Салтыков-Щедрин. Биография, т. I, изд. 2, М. 1951, стр. 26, 36—38, 53.

сидерана[1], интересуется политической экономией, историей. «В особенности сильно,— заявил Салтыков-Щедрин в биографической заметке 1878 года,— было влияние «Отечественных записок», и в них критики Белинского и повестей Панаева, Кудрявцева, Герцена и других».

Салтыков стал одним из участников известного кружка, руководимого М. В. Петрашевским. Этого талантливого русского мыслителя и революционера он позже называл «многолюбивым и незабвенным другом и учителем». Салтыков разделял антикрепостнические взгляды петрашевцев. Он сблизился с даровитым критиком Вал. Майковым и публицистом В. Милютиным. С увлечением отдавался он кружковым спорам, в центре которых были острые вопросы политической жизни России и Западной Европы, проблемы революции, идеал социалистического будущего человечества. И самый процесс, и некоторые итоги исканий молодого Салтыкова нашли отражение в повестях сороковых годов «Противоречия» и «Запутанное дело».

Повести Салтыкова-Щедрина примкнули к тому течению русской беллетристики, которое творчески осуществляло провозглашенные Белинским принципы «натуральной школы». В художественном отношении еще незрелая, слишком «книжная» и «умозрительная» повесть «Противоречия» примечательна своим горячим откликом на злободневные философско-политические споры времени. Герой повести Нагибин показан в состоянии изнурительной, трагической рефлексии, обрекающей его на мучительное бездействие. Он безуспешно бьется над вопросами: как преодолеть пропасть, отделяющую действительность от идеала будущего, как преодолеть утопичность и романтичность социалистических программ, коль скоро они не находят в настоящей жизни никаких «зачатков будущего».

Нагибина превращает в «умную ненужность» его пасующий перед жизнью отвлеченный интеллектуализм, увлечение анализом и умозрением, в которых расслабляются натура, характер. В изощренном умствовании исчерпывается энергия, и герой превращается в чисто книжного протестанта, по существу без борьбы подчиняющегося неразумной, как он сам это хорошо доказывает, действительности.

В «Запутанном деле» острота идейной проблематики еще ощутимее. Герой повести Мичулин, «маленький человек», до конца испытал горечь нужды и унижения в чиновно-меркантильном, холодном Петербурге. В освещении этой темы, излюбленной писателями «натуральной школы», Салтыков опять-таки проявил незаурядную самостоятельность. Драматическая судьба оскорбленного бедностью и приниженностью человека роднит Мичулина и с пушкинским Симеоном Выриным, и с гоголевским Акакием Башмачкиным, и, в особенности, с Макаром Девушкиным из «Бедных людей» Достоевского. Но салтыковский герой отнюдь не повторяет предшественников. Ни у кого из них не было такого глубокого ощущения со-

[1] См. В. Я. Кирпотин, Философские и эстетические взгляды Салтыкова-Щедрина, Госполитиздат, М. 1957.

циальной несправедливости, такого активно формирующегося политического сознания, зовущего к возмущению и борьбе, какие уже обозначались в Мичулине. Увлеченный социалистическими идеями, Салтыков переводил тему «маленького человека» в новый социально-психологический план. В горячечном сне салтыковскому герою современное общество представляется в виде чудовищной пирамиды, у основания которой копошатся полураздавленные толпы простолюдинов, а над ними громоздятся привилегированные сословия; он «увидел в самом низу необыкновенно объемистого столба такого же Ивана Самойлыча, как и он сам, но в таком бедственном и странном положении, что глазам не хотелось верить». Популярные в социалистической литературе Запада уподобления человеческого общества иерархической пирамиде оформились у Салтыкова в революционный образ, бичующий неравенство, угнетение и обездоленность масс.

При всей художественной незрелости ранние петербургские повести обозначили серьезный период в идейно-творческом развитии будущего сатирика. Повесть «Запутанное дело» была весьма сочувственно принята читателями, особенно из молодежи. Чернышевский и Добролюбов помнили ее спустя много лет после опубликования. Их покорило «до боли сердечной» прочувствованное отношение автора к «бедному человечеству»[1].

Обостренный интерес к социальным противоречиям и конфликтам современности, попытки выражения широких идейных обобщений в символических картинах, остроумные эзоповские иносказания, ирония, бьющие прямо в цель сатирические зарисовки типов, наконец, свободное соединение публицистики и образности — все эти черты, впервые наметившиеся в повестях, впоследствии будут интенсивно разрабатываться и закрепляться как существенно важные особенности сатирического стиля писателя.

Ранним повестям суждено было стать переломным моментом и в плане биографическом. После окончания лицея в 1844 году Салтыков служит в канцелярии военного министерства. Ничего похожего на ревностное отношение к службе у нового чиновника не было. Его захватили общественно-литературные интересы. В связи с событиями февральской революции 1848 года во Франции русские власти усилили полицейско-цензурный надзор за печатью. Особо учрежденный для этой цели секретный комитет обратил внимание на повести Салтыкова (на «Запутанное дело» прежде всего). Ближайшее начальство Салтыкова — военный министр Чернышев, а также III Отделение и сам царь увидели в них «вредный образ мыслей и пагубное стремление к распространению идей, потрясших уже всю Западную Европу и ниспровергших власти и общественное спокойствие»[2].

21 апреля 1848 года крамольного автора арестовали и отправили на обязательную службу в Вятку. Это была тяжелая ссылка, продолжавшаяся около восьми лет. Здесь Салтыков столкнулся с такими реальными «противоречиями», с такими «запутанными делами», перед которыми не

---

[1] Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч. в шести томах, т. 2, Гослитиздат, М. 1935, стр. 381.
[2] С. А. Макашин, Салтыков-Щедрин. Биография, т. I, стр. 293.

могло не померкнуть все то, что, в значительной мере еще умозрительно и книжно, без достаточного знания жизни, было изображено в повестях. Производя следствие по делам раскольников, Салтыков исколесил Вятскую, Пермскую, Казанскую, Нижегородскую, Владимирскую и Ярославскую губернии. Он наблюдал быт служилого дворянства и купечества, жизнь работных людей Приуралья и крестьян северных областей России. Он близко узнал трудовой народ, его нужду, его страдания. Неизмеримо глубже и богаче стали понятия Салтыкова о русской действительности. Это имело «благодетельное влияние», по словам самого писателя, на его творчество.

Опальный писатель настойчиво стремился вырваться из вятского плена, изменить положение, которое воспринималось как «совершенно невыносимое». Мемуаристы приводят горькие слова сатирика о том, что в ссылке его преследовали скука, одиночество, нравственные мучения. В некоторых позднейших произведениях Салтыкова-Щедрина рассыпаны интересные, несомненно автобиографического происхождения, замечания о переживаниях молодого человека, насильственно заброшенного в провинциальную глушь.

Освобождение из ссылки стало возможным только после смерти Николая I. В конце 1855 года Салтыков-Щедрин уезжает из Вятки в Петербург. Живые силы нации стремились в это время практически решить огромной важности задачу: вырвать Россию из крепостнического застоя.

Идейное развитие Салтыкова-Щедрина шло стремительно, напряженно. Оно откристаллизовывалось и укреплялось как мировоззрение революционно-демократическое. После кружковой замкнутости петербургского периода, после вынужденной, душной изоляции Вятки широкая наступательно-публицистическая школа «Современника» Чернышевского и Добролюбова создала для Салтыкова-Щедрина наилучшие условия духовного совершенствования.

2

Широкую известность Салтыков-Щедрин впервые приобрел «Губернскими очерками» (1856—1857). Они знаменовали собой движение Салтыкова-Щедрина вперед по пути углубления реалистических принципов.

Правдиво и полнокровно воспроизводилась писателем жизнь дореформенной провинции. Действия и события, о которых повествовал автор, совершались в исконно русских местах — это народная ярмарка, постоялый двор, трактир, купеческая лавка, курная крестьянская изба, помещичья усадьба, острог, административное присутствие, особняк губернского сановника, ямщицкий тракт.

В самой композиции книги выдерживался принцип социальной группировки материала. Особые разделы-главы посвящены различным категориям чиновничества от подьячих «прошлых времен» до современных администраторов-«озорников» («Юродивые»); пестрой толпе помещиков

и дворян («Мои знакомцы», «Талантливые натуры»), доморощенным коммерсантам-купцам, народным персонажам — от нищей крепостной старухи до разбогатевшего раскольника («Богомольцы, странники и проезжие», «Драматические сцены и монологи», «В остроге», «Казусные обстоятельства»).

По своей сущности «Губернские очерки» — глубоко антикрепостническое произведение. Обличительное острие их направлено против главной классовой опоры самодержавия — дворян-помещиков, против царской бюрократии. Писатель четко выражал свои демократические симпатии. Через все очерки проходило последовательно выдержанное противопоставление крестьян помещикам, чиновникам, купцам. Автор сатирически резок, когда он знакомит читателя с сановными бюрократами Чебылкиными, тунеядствующими «талантливыми натурами», мошенниками купцами, и, наоборот, тон писателя совершенно изменялся, когда он обращался к жителям курной крестьянской избы, терпеливо и покорно выносящим неслыханную нужду, злую рекрутчину, подневольный труд и казенные тяготы. Салтыков-Щедрин не идеализировал, подобно славянофилам, социальную беспомощность и инертность народа, не любовался его безответностью и кротостью. Автор очерков понимал, что смирение и пассивность русского крестьянства есть необходимое следствие вековой неволи, «искусственных экономических отношений», то есть крепостного права, ввергнувшего народ в пучину темных суеверий, невежества, бескультурья, полуголодного существования.

Общественный резонанс книги Салтыкова-Щедрина был настолько велик, поднятые ею вопросы так злободневны, что она очень скоро выдвинулась на аванпост классовой борьбы в литературе пятидесятых годов.

Чернышевский опубликовал в «Современнике» в 1857 году одну за другой две большие статьи (свою и Добролюбова) с высокой положительной оценкой книги. Он полемически заострил свой разбор «Губернских очерков» против их либеральной интерпретации. Критик-демократ видел в очерках не поход против взяточников, против отдельных пороков государственной системы, а сатирическое разоблачение негодных основ самодержавно-крепостнического строя. В Салтыкове-Щедрине Чернышевский узнал своего сильного идейного союзника.

С появлением щедринской сатиры демократическая критика впервые отметила «ограниченность» гоголевского реализма, в котором до сих пор видела наиболее полное, никем не превзойденное выражение «отрицательного», «сатирического» направления в отечественной литературе. Автору «Ревизора» и «Мертвых душ» недоставало, утверждал Чернышевский, объяснения жизни. «Его поражало безобразие фактов, и он выражал свое негодование против них; о том, из каких источников возникают эти факты, какая связь находится между тою отраслью жизни, в которой встречаются эти факты, и другими отраслями умственной, нравственной, гражданской, государственной жизни, он не размышлял много». Совсем иное у Салтыкова-Щедрина. «Прочтите,— писал Чернышевский,— его рассказы «Неумелые» и «Озорники», и вы убедитесь, что он очень хорошо понимает, откуда воз-

никает взяточничество, какими фактами оно поддерживается, какими фактами оно могло бы быть истреблено. У Гоголя вы не найдете ничего подобного мыслям, проникающим эти рассказы». Писательский «приговор» у автора «Губернских очерков» приобретал всю силу демократической непримиримости к существующему режиму. «Ни у кого из предшествовавших Щедрину писателей,— заявлял Чернышевский,— картины нашего быта не рисовались красками, более мрачными. Никто (если употреблять громкие выражения) не карал наших общественных пороков словом более горьким, не выставлял перед нами наших общественных язв с большею беспощадностию» [1]. Пафос негодования Салтыкова-Щедрина, беспощадность его обличений, его отрицания есть, как объяснял критик, прямое следствие передового мировоззрения писателя. Замечательно, что Добролюбов, развивая и дополняя принципиальные суждения Чернышевского, особо останавливается на крестьянском демократизме, так отличающем нового сатирика от Гоголя. «Гоголь...— писал Добролюбов в статье «О степени участия народности в развитии русской литературы»,— в лучших своих созданиях очень близко подошел к народной точке зрения, но подошел бессознательно, просто художнической ощупью»[2]. Незадолго до опубликования этих строк в статье о «Губернских очерках» (декабрь 1857 г.) критик утверждал, что Салтыков-Щедрин органически усвоил принцип народности, он совершенно сознательно встал на крестьянскую точку зрения и в свете ее рассматривает «все вопросы жизни». «Все отрицание г. Щедрина,— писал критик,— относится к ничтожному (читай: помещичьему.— *Е. П.*) меньшинству нашего народа» [3].

Сравнение Гоголя и Салтыкова-Щедрина не было в демократической критике чем-либо случайным. Разумеется, Чернышевский и Добролюбов не ставили знака равенства между талантливым автором «Губернских очерков», только еще начинавшим серьезную литературную деятельность, и общепризнанным гениальным художником Гоголем. Тем не менее они сочли необходимым подчеркнуть исторически обусловленную ограниченность творческих позиций последнего. В условиях активизировавшейся общественной жизни предреформенных годов от писателей требовались высокая идейная убежденность, глубокое понимание того, на почве каких враждебных народу начал держится в России старый строй. Чернышевский, боровшийся за революционную ликвидацию крепостнического режима, естественно желал, чтобы и художественная литература помогала осуществлять эту громадной важности историческую задачу. Критики-демократы увидели в «Губернских очерках» чрезвычайно своевременное образное углубление и заострение обличительных принципов русского художественного реализма.

---

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч. в пятнадцати томах, т. IV, М. 1948, стр. 632, 633, 266—267.

[2] Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч. в девяти томах, т. 1, М. 1962, стр. 271.

[3] Там же, т. 2, стр. 144.

Статьи Чернышевского и Добролюбова имели огромное значение для будущей писательской деятельности Салтыкова-Щедрина. В них он нашел авторитетную поддержку углубившимся в его творчестве сатирическим реалистическим началам. Демократическая критика открывала широкие идейно-творческие перспективы новому таланту русской литературы.

После возвращения из Вятки Салтыков-Щедрин служил в министерстве внутренних дел. С 1858 года он становится вице-губернатором сначала в Рязани, затем в Твери. Чиновничья служба — далеко не частный эпизод в биографии сатирика. Писатель демократических убеждений посчитал возможным и полезным сотрудничать с теми, в «руках которых хранится судьба России». В правительстве, объявившем подготовку крестьянской реформы, он усматривал некую надклассовую силу, способную в чем-то существенном преобразовать страну, изменить к лучшему положение народа. Однако служебный опыт как раз и позволил Салтыкову-Щедрину убедиться в том, что правительство и его агенты-чиновники защищают классовые интересы помещиков. Но на первых порах и в этом он видел не закономерность, а уклонение от нормы, уклонение, диктуемое напором крепостнической реакции, ослепленной своекорыстными сословными притязаниями.

Реакции нужно дать отпор, и дело честных людей, рассуждал сатирик, помочь правительству пресечь эгоизм крепостников. Но писатель скоро почувствовал, как тяжело служить неправедной власти. Свое пребывание на постах крупного царского чиновника он стремится оправдать созданной им «теорией» насаждения либерализма в «самом капище антилиберализма». «Не дать в обиду мужика» — так бы теперь хотел Салтыков-Щедрин определить гражданское назначение своего вице-губернаторства.

В начале 1862 года Салтыков-Щедрин оставляет службу, окончательно убедившись в ее полной бесполезности и бесперспективности, в особенности как одного из средств достижения общественного прогресса. Кроме того, он решительно пошел навстречу своему давнему желанию — целиком отдаться общественно-литературной деятельности.

Служба обогатила писателя новыми наблюдениями. Он вживе увидел помпадурство и помпадуров всех рангов, видов и форм, гениальным обличителем которых и стал впоследствии.

В декабре 1862 года после ареста Чернышевского (июль 1862 г.) Салтыков-Щедрин становится членом редакции «Современника». Достаточно вспомнить мрачную общественную обстановку той поры, правительственный террор, реакционную пропаганду катковцев, откровенное ренегатство либеральных кругов, смятение и растерянность в среде демократически настроенных людей и групп, чтобы по достоинству оценить мужественный поступок писателя, доказавший прочность его демократических убеждений.

Наряду с художественными произведениями («Невинные рассказы», «Сатиры в прозе», первые очерки из цикла «Помпадуры и помпадурши»), Салтыков-Щедрин опубликовал в журнале серию статей-обзоров под рубрикой «Наша общественная жизнь». Эти обзоры и выдвинули его на место

первого публициста, которое совсем недавно занимал в «Современнике» Чернышевский.

Публицистическое наследие писателя необычайно интересно, значительно, революционно по своей сути. Практике большинства современных журнальных обозревателей с их уныло-скучной регистрацией текущих событий без широкой мысли и обобщений или фельетонно-легковесной хроникой столичных «огорчений и увеселений» Салтыков-Щедрин противопоставил глубокий анализ «общего характера русской общественной жизни» в ее стремлении к идеалу.

В поле зрения публициста «Современника» — социально-экономические процессы, происходящие в пореформенной русской деревне, положение народа, политические события в России и за рубежом, духовная жизнь интеллигенции в новых исторических условиях, вопросы тактики живых сил нации в борьбе за прогресс. Суровый реализм щедринских характеристик ограбленной крепостниками деревни прямо-таки преследовал и изгонял из читательского употребления «рассыченные на патоке» либеральные ее описания.

«Жизнь русского мужика тяжела,— замечал Салтыков-Щедрин,— но не вызывает ни чувства бесплодной и всегда оскорбительной жалостливости, ни тем менее идиллических приседаний». Задолго до автора знаменитого очерка «Четверть лошади» Салтыков-Щедрин ярко «оживлял» сухую статистику, вскрывая за каждой цифрой и каждым обыденным фактом «утраченное человеческое здоровье», «оскорбление человеческого достоинства», «никогда не прекращающийся труд» ради хлеба насущного.

Период проведения крестьянской реформы писатель считал переходным, переломным. Он высказал поразительно верные догадки о том, как будет складываться пореформенная история России. Мысль Салтыкова-Щедрина устремлялась к той еще далекой эпохе, когда и «ветхие люди», и новые «кровопийцы» сойдут в «общую могилу». Как нельзя более своевременны были эти прогнозы, отмеченные чертами исторического оптимизма. Они нужны были демократическому поколению в годы, когда царское правительство травило и преследовало «нигилистов», революционеров.

Салтыков-Щедрин поднимал настроения бодрости и веры в среде демократической молодежи. Он ее горячо защищал. «Мальчишество — сила, а сословие мальчишек — очень почтенное сословие... Не будь мальчишества, не держи оно общество в постоянной тревоге новых запросов и требований, общество замерло бы и уподобилось бы заброшенному полю, которое может производить только репейник и куколь».

Автор «Нашей общественной жизни» зарекомендовал себя блестящим полемистом, успешно отражая атаки идейных противников и активно наступая сам. Произведения, подобные салтыковским «Стрижам», и по сей день воспринимаются как образцы полемического искусства [1].

---

[1] См. С. Борщевский, Щедрин и Достоевский, М. 1956, стр. 110—121.

Публицистические выступления принесли Салтыкову-Щедрину славу оригинальнейшего мыслителя. Многие его статьи («Современные призраки», «Наша общественная жизнь», «Как кому угодно» и др.) принадлежат к числу лучших произведений русской общественной мысли. Автор поднимается в них до больших теоретических высот, до сложнейших философских обобщений событий и процессов русской жизни. Он стремится постичь диалектику истории, поступательного развития человечества.

Щедринскую публицистику отличает редкое многообразие художественной формы, заключающей в себе пародию и фельетон, тонкое критическое суждение и выразительную зарисовку типа, бытовую сценку или диалог, словно живьем вырванные из жизни. Все это шло от индивидуального дарования автора: публицистические статьи создавал крупный художник-сатирик. Но в этот период начавшейся творческой зрелости писатель пережил и своего рода духовный кризис, испытал борьбу противоречий, прошел через тяжкую полосу идейных колебаний.

В «Круглом годе» (1879) Салтыков-Щедрин, касаясь истории своего идейно-творческого развития в шестидесятые годы, писал в автобиографических главах о сложных духовных поисках, о времени мучительных сомнений и раздумий, которому, по его словам, предшествовал «период так называемого обличительного направления». Наступил момент, вспоминает писатель, когда «вера в могущество обличительного дела... прекратилась»— и вот тогда-то последовал «период затишья, в продолжение которого я очень страдал». «Под влиянием тщеты обличений» был нарушен необходимый контакт с читателем. О чем писать и как писать — вот вечные вопросы для художника, неотступно и горячо волновавшие Салтыкова-Щедрина. Писатель-сатирик и публицист не мог творить, не испытывая постоянного, «доверительного», «интимного общения» с прогрессивной, мыслящей Россией. Но не следует думать, что, говоря о «так называемом» обличительном периоде своей литературной деятельности, писатель имел в виду период создания «Губернских очерков» и сам себя относил к «обличителям». Демократическая критика резко отделила Салтыкова-Щедрина от писателей узкообличительной беллетристики. Да в «Губернских очерках» и сам автор высмеивал рьяных либеральных обличителей вроде Соллогуба. Термином «обличительство» сатирик обозначил некоторые из своих — порою ошибочных — взглядов начала шестидесятых годов.

В период революционной ситуации Чернышевский откровенно желал провала реформистских планов правительства, бичевал враждебную демократии идеологию и политику либерализма. Он берет курс на революционную ликвидацию самодержавия силами восставшего народа. Салтыков-Щедрин не отделял себя от лагеря «Современника». По глубине разоблачения крепостничества и самодержавия его сатира шла рука об руку с публицистикой Чернышевского и Добролюбова. Однако ему не хватало четкости и последовательности революционных выводов. По некоторым вопросам демократической тактики он высказывал взгляды, не совпадающие со взглядами Чернышевского и Добролюбова. Об этом и свидетель-

ствует написанный Салтыковым-Щедриным в апреле 1862 года проект программы несостоявшегося журнала «Русская правда», где развивалась идея консолидации всех «партий прогресса»,— по-видимому, от Чернышевского до Дружинина,— на почве достижения ближайших целей. Политический компромисс провозглашался наилучшей тактикой в условиях данного исторического момента.

Правда, писатель придавал огромное значение участию народных масс в борьбе за осуществление «отдаленного (социалистического.— *Е. П.*) идеала». Но концепция терпимости в отношении несходных идеалов и диаметрально противоположных тактических принципов вела сатирика к практицистским крайностям, к утрате на какой-то момент революционной перспективы. Нельзя было толковать о выборе «просто мерзкой мерзости предпочтительно перед мерзейшею» в то самое время, когда подпольные силы, вызванные к жизни натиском освободительного движения, делали героические попытки революционными мерами сломать хребет самодержавию.

Салтыков-Щедрин полагал, что демократической интеллигенции предстоит будничная, кропотливая, «негероическая» работа, исключающая в данное время мысль о революционном восстании. Людям демократических убеждений необходимо стать ближе к действительности, «какова бы она ни была», окунуться с головой в практическую деятельность, чтобы создать лучшие условия для борьбы за осуществление передового идеала. «Пусть каждый делает то, что может» — таков в это время девиз писателя. Неизбежная в этом случае практика «уступок», «компромиссов», «сноровки» не должна смущать людей социалистического идеала. Салтыков-Щедрин дал сложное историко-философское обоснование этой «чернорабочей» тактики, которую он сам характеризует словами: «благородное неблагородство».

Вот очень характерные для той поры рассуждения Салтыкова-Щедрина. Обращаясь к человеку «героической мысли», он пишет: «Пусть внутренний мир твой остается цельным и недоступным ни для каких стачек, пусть сердце твое ревниво хранит и воспитывает те семена ненависти, которые брошены в него безобразием жизни,— все это фонд, в котором твоя деятельность должна почерпать для себя содержание и повод к неутомимости. Но оболочка этой деятельности, но форма ее должны слагаться независимо от этого внутреннего мира души твоей».

В «период затишья», когда, как признавался Салтыков-Щедрин, «он очень страдал»,— это был трехлетний период молчанья (декабрь 1864—1867), в эти годы он оставляет литературные занятия и вновь служит в провинции [1],— писатель основательно пересмотрел свои «практицистские» взгляды. Он отверг отстаивавшийся им принцип «пользы»: «Я совершенно искренне и серьезно убежден,— писал Салтыков-Щедрин,— что, по нынеш-

---

[1] См. подробнее: Е. Покусаев, Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы, Саратов, 1957, стр. 219—243.

нему времени, говорить можно именно только без пользы, то есть без всякого расчета на какие-нибудь практические последствия...» Действительный успех прогресса, полагает Салтыков-Щедрин, возможен при одном условии. Это условие — пробуждение сознательности масс.

Салтыков-Щедрин — автор «Губернских очерков» — выражал свое искреннее сочувствие демократа бедствующему народу, который рассматривался писателем еще как жертва крепостничества. Правда, и тогда Салтыков-Щедрин видел в народе источник нравственного здоровья, средоточие огромных потенциальных сил. Но как активный творец истории, как ее двигатель народная масса в первой книге сатирика не изображалась.

Чем ближе к годам революционной ситуации, тем все настойчивее в щедринских суждениях о народе на первый план выдвигался социально-политический момент. В «Сатирах в прозе» и «Невинных рассказах», вышедших отдельным изданием в 1863 году, раскрылись новые грани реализма сатирика, расширились горизонты писательского видения; усиливается степень художественных обобщений, более резкой и отчетливой становится поляризация противоборствующих сил. Салтыков-Щедрин одобрительно прослеживал формирование протестующей бунтарской психологии крепостных крестьян. Он с надеждой писал о том, что народные массы смогут подняться к сознательному историческому творчеству и это обстоятельство решительно повлияег на судьбы России. Иванушка — народ стал в центр анализа общественно-политических отношений эпохи («Сатиры в прозе»).

В годы пореформенной реакции, видя, как и прежде, в народе основную силу истории, писатель с горечью констатировал тот факт, что народ беден сознанием своей социальной обездоленности.

Разрозненные и стихийные выступления масс с непроясненным общественным сознанием легко подавляются и никаких существенных результатов не приносят. В этом убеждает Салтыкова-Щедрина опыт освободительной борьбы («Письма о провинции» — 1868). Отсюда основная историческая задача эпохи — решительно поднять уровень самосознания масс. Обобщенную характеристику своего идейного творческого развития в «Круглом годе» автор закончил такими значительными словами: «Наш недуг общий, только он не для всех и не всегда ясен, и, в большинстве случаев, он выражается лишь в смутном сознании, что человека как будто не прибывает, а убывает...», но «уже в самом указании признаков недуга партикулярный человек почерпает для себя косвенное облегчение. Помилуйте! доныне он изнывал, как слепец, а отчасти даже суеверно трепетал перед обстановкой своего недуга, считая ее неизбывною, от веков определенною,— и вдруг, благодаря объяснениям, смешения эти устраняются! Явления утрачивают громадные пропорции, которые так давили воображение, и размещаются в том порядке, в каком им естественно быть надлежит... Ужели это не утешение? ужели не утешение сказать себе: сначала — ясность, а потом — что бог даст?..»

Таким образом, свою творческую деятельность Салтыков-Щедрин мыс-

лит в направлении, где она с наибольшим эффектом будет способствовать пробуждению сознательности «партикулярного человека». Разъяснить народу истинные причины общественного недуга, помочь разобраться в положении дел, в подлинных масштабах зла, рассеять боязливые смещения жизненных пропорций — такова задача передового художника.

Эзоповски зашифрованным оставляет Салтыков-Щедрин то место в рассуждениях из «Круглого года», где по ходу мысли надо было ответить, что же станет «потом», когда «ясность» будет массой достигнута. Целая строка точек в тексте подсказывает читателю, что у автора *есть что сказать*, но по цензурным условиям он не может этого сделать. Так Салтыков-Щедрин в 1879 году — в период «второго демократического подъема» — прозрачно намекал на то, что в его обобщениях русской действительности, в его прогнозах и ожиданиях революция не исключается. Иносказательным «а потом — что бог даст» художник подчеркивал именно эту мысль.

3

На последнюю службу в Пензе, Туле и Рязани (1864—1868) Салтыков-Щедрин сам смотрел как на своеобразную добровольную ссылку. «Делается тошно от одной мысли, что придется пробыть» в Пензе долго, «нахожусь в большом унынии», «мне очень трудно и тяжело», «мною овладела страшная тоска», «жить очень скучно». Буквально почти такими же словами он когда-то характеризовал свою жизнь в изгнании в Вятке. Вынужденный служить исключительно ради заработка, он, по его собственным словам, с удовольствием, когда представилась возможность, «бросил службу». (Салтыков-Щедрин был уволен в отставку по настоянию жандармов и царя.)

В 1868 году писатель вошел в редакцию «Отечественных записок» и с увлечением отдался литературному труду. Свыше пятнадцати лет он возглавлял журнал, сначала вместе с Некрасовым, а затем, после его смерти, опираясь на активное сотрудничество видных публицистов-демократов Г. З. Елисеева и Н. К. Михайловского.

Главным образом стихотворениям Некрасова и сатирам Салтыкова-Щедрина «Отечественные записки» были обязаны своей огромной популярностью. Этот лучший журнал семидесятых и первой половины восьмидесятых годов был преемником «Современника», активным продолжателем его революционно-демократических традиций. «В «Отечественные записки» вселился дух усопшего «Современника». Известно, что дух этого покойника отличался удивительною цельностью; книжки «Современника» были замечательны единством своего состава, полнотой внутренней гармонии. Качество это присуще и «Отечественным запискам» [1]. Цитированные слова принадлежат одному из публицистов реакционной «Зари», вынужденному

[1] «Заря», 1871, № 3, отд. II, стр. 17.

признать громадное значение возглавляемого сатириком демократического органа в духовной жизни России.

Салтыков-Щедрин часто писал в журнале по вопросам литературно-критическим. И в тексте художественных произведений, и в специальных статьях и рецензиях он высказал интереснейшие мысли о специфике искусства, о задачах литературы и, в частности, сатиры [1].

Материалистические идеи русской эстетики, с таким блеском и глубиной мысли провозглашенные Белинским, а затем Чернышевским, нашли сильных сторонников в литературе. Здесь прежде всего должно быть названо имя Салтыкова-Щедрина. В статье о поэте А. В. Кольцове, особенно в запрещенном цензурой варианте (статья написана летом 1856 года, некоторое время спустя после появления диссертации и «Очерков гоголевского периода русской литературы» Чернышевского), утверждалось, что большой художник всегда является «представителем современной идеи и современных интересов общества».

Салтыков-Щедрин блестяще опровергал идеалистическое понимание художественности, когда литературе отказывают быть средством образного познания мира, когда из творчества изгоняется мировоззрение, которое хотят заменить интуицией, «прирожденной силой созерцания». Сатирик отвечал рутинерам от эстетики: «Мы тогда только интересуемся произведением науки или искусства, когда оно объясняет нам истину жизни и истину природы». Художник, непричастный «труду современности», будет лишь создателем бесцветных «кунштуков». Вслед за Чернышевским и Добролюбовым Салтыков-Щедрин ценил в литературе «главный орган общественного самосознания». Залог успеха «искусства слова» он видел в углублении и расширении его реалистического содержания. Подлинное искусство «чем ближе вглядывается в жизнь, чем глубже захватывает вопросы, ею выдвигаемые, тем достойнее носит свое имя».

Особенно часто Салтыков-Щедрин — критик останавливается на той мысли, что только передовое мировоззрение способно помочь художнику правильно уяснить общественные цели творчества. Литература, лишенная широких социально-нравственных идеалов, по язвительному замечанию сатирика,— есть «картонная» литература. К ней он относил мелкое литературное обличительство, благонамеренную беллетристику, отмеченную скукой, бессодержательностью «мотыльковую поэзию». «Над всем этим,— писал Салтыков-Щедрин,— царит беспримерная бесталанность и неслыханнейшая бедность миросозерцания». В программных статьях «Напрасные опасения» (1868), «Уличная философия» (1869) с замечательной теоретической глубиной Салтыков-Щедрин рассматривает идейность, тенденциозность в литературе как непременное условие истинной ее художественности. В типах, создаваемых великими писателями, обобщено нечто значительное в жизни, схвачен ее общий смысл.

---

[1] См. подробнее: А. Лаврецкий, Щедрин — литературный критик, Гослитиздат, М. 1935.

Салтыков-Щедрин отстаивал в творчестве руководящую роль разумной мысли, мысли сомневающейся и неудовлетворенной, мысли анализирующей и оценивающей. «Мысль,— писал он,— есть главный и неизбежный фактор всех человеческих действий; творчество же есть воплощение мысли в живых образах или в ясном логическом изложении».

Во многих случаях, когда Салтыкову-Щедрину нужно определить и характеризовать цели литературы, и в особенности сатиры, он, как правило, обращался к таким понятиям, как «художественное исследование», «уяснительный процесс», «анализ», «социальный диагноз», «художественное разъяснение».

Принцип «анализа» и «исследования» был одним из основных эстетических принципов реалистической сатиры. Он органически отвечал просветительской доктрине революционной демократии.

«Все дело...— заявлял сатирик,— в том, чтоб человек массы понял, где находится его интерес... Ловкие люди знают, что момент сознательности будет моментом суда над ними...» «Серьезно анализировать основы насущного положения вещей и обратиться к основам иным» — так Салтыков-Щедрин формулировал главную цель литературы.

Исходная позиция в деятельности сатирика — это постижение «безвестной жизни масс». «Таким образом, оказывается,— констатировал Салтыков-Щедрин,— что единственно плодотворная почва для сатиры есть почва народная, ибо ее только и можно назвать общественной в истинном и действительном значении этого слова. Чем далее проникает сатирик в глубины этой жизни, тем весче становится его слово, тем яснее рисуется его задача, тем неоспоримее выступает наружу значение его деятельности». Нельзя было яснее выразить демократический смысл общественной сатиры, чем это сделал писатель, определив ее народные истоки.

Главная задача сатиры, по мысли Салтыкова-Щедрина,— тщательное «исследование», глубокий анализ всего многообразия жизненного процесса, проходящего под игом «призраков». В щедринской трактовке «призраки» — внутренне уже прогнившие, отвергнутые историей дворянско-буржуазные устои: социально-экономические, государственные, семейно-бытовые. Под их уродливой сенью возникает глубоко трагический мотив «ухудшения жизни», «порчи» общественного человека. Сатира здесь, в этой сложной диалектике жизни и истории, находит свои сюжеты, темы, типы

Салтыков-Щедрин отмечал существенное различие между передовой сатирой его времени и гоголевской сатирой. «Гоголевская сатира,— утверждал он,— сильна была исключительно на почве личной и психологической; ныне же арена сатиры настолько расширилась, что психологический анализ отошел на второй план, вперед же выступили сила вещей и разнообразнейшие отношения к ней человеческой личности».

Верная в своей основе мысль Салтыкова-Щедрина нуждается в уточнениях и поправках. Автор «Ревизора» и «Мертвых душ» в сферу сатирического изображения также включал «пошлость всего вместе», господствующую социальную среду.

Смысл салтыковских замечаний заключался, однако, в том, чтобы правильно ориентировать современную сатиру, направить ее жало прежде всего не против психологических, моральных изъянов отдельной личности, а против «силы вещей», против существующих социальных отношений, которые и являются главной причиной всяческих нравственных уродств и дикостей. Художественное исследование жизни с этой «общественной» стороны и дает обильную пищу для сатиры. «...Последнее время,— писал Салтыков-Щедрин,— создало великое множество типов совершенно новых, существования которых гоголевская сатира и не подозревала».

В салтыковских словах отмечена не только разница эпох. Богатство типов современности открывалось как раз именно сатире, исследующей «силу вещей и разнообразнейшие отношения к ней человеческой личности». Только общественная сатира может заметить в жизни моровые поветрия, время от времени поглощающие целые массы людей и выступающие в виде «язвы либерализма, язвы празднословия, язвы легкомыслия» и т. д.

Не случайно Салтыков-Щедрин объяснял неудовлетворительное состояние современной сатирической литературы тем, что ей внутренне необходимо перестроиться, что «сатира с почвы психологической ищет перейти на почву общественную, где несколько труднее ратовать...».

Но подобное утверждение не означает, что художник игнорировал психологизм в искусстве. В его творческом методе психологический анализ занял большое место. Это также обусловливалось революционно-просветительскими, гуманистическими идеями сатиры Салтыкова-Щедрина, нашедшими одно из конкретных своих выражений в постановке проблемы совести. Вот что читаем мы об этом в журнальной редакции девятого «Письма о провинции»: «Как хотите, а в каждом человеке есть зародыш совести. *Совесть эта может бездействовать только до тех пор, покуда не выступает вперед анализ, а вместе с ним и сознательность.* Главная заслуга сознательности в том и заключается, что она делает невозможными медные лбы, пробуждает в человеке совесть, заставляет его если не влезать в кожу других (что для многих уже роскошь), то, по крайней мере, понимать, что польза общая не есть что-либо совершенно чуждое пользе личной, и соображать свои действия таким образом, чтоб эти два понятия не расходились в диаметрально противоположные стороны. Покуда в жизни царствует бессознательность, до тех пор, наряду с нею, будет царствовать и бессовестность...» [1]

Этому просветительскому убеждению Салтыков-Щедрин остался верен до конца творческого пути. В его сатире применяются разнообразные способы раскрытия «человеческого» начала в отрицательных персонажах, даже в Иудушках. С другой же стороны, средствами психологического анализа ярко обнажалась своеобразная диалектика оподления души людей, наделенных властью. Сатирик высказывался и против самодовлеющего, узко-

---

[1] «Отечественные записки», 1869, № 11, отд. II, стр. 142—143. Подчеркнуто нами.— *Е. П.*

личного и против морализирующего, дидактического психологизма. Он ценил психологический анализ в той мере, в какой он помогал правдиво и художественно цельно выявить многостороннее отношение человеческой личности, общественных групп, сословий и классов к социально-политическому строю. Психологизм — органическая часть щедринского сатирического анализа действительности.

Первые крупные программные произведения, воплощавшие идеи, высказанные писателем на рубеже семидесятых годов,— «Признаки времени» и «Письма о провинции».

Их идейная сердцевина, их пафос — в обличении крепостнической реакции, в критике деморализующей политики «уступок» и «компромиссов», в горячей защите «утопий», социалистического идеала. Благонамеренному утилитаризму «самодовольной современности» здесь противостоит согретая авторской симпатией идея «неполезного забегания вперед».

Салтыков-Щедрин любил иногда называть себя «летописцем минуты». Однажды отметив характерный процесс, явление, признак русской жизни, писатель затем интересовался, как изменялись замеченные им ранее процессы и явления в новых условиях, как выглядят «господа» теперь. Такое «прослеживание» продолжалось порой десятилетиями.

В прежних своих произведениях он уже дал сатирические зарисовки помещиков, недовольных реформой, заботящихся о сохранении сословных привилегий. С тех пор как перед читателями прошли типы напуганных реформой крепостников, много изменений произошло в русском обществе. Реакционные дворянские группы взяли силу. Они активно добивались всевозможных возмещений за утраченную крепостническую власть. Публично обсуждались планы компенсаций в форме учреждения аристократической «конституции», обеспечивающей право дворян выступать в роли советчиков самодержавной власти. Тип Пафнутьевых сатирически обобщал один из самых заметных «признаков» пореформенного времени — растущую помещичью агрессию, деятельное стремление вчерашних крепостников сохранить свои позиции хозяев жизни. Новое идейно-художественное обогащение и развитие типа фрондирующего крепостника будет затем осуществлено в «Дневнике провинциала» в образах Прокопа и Дракиных.

Салтыков-Щедрин последовательно и целеустремленно развивал в новых произведениях принципы и приемы повествования, свободно соединяющие образную картину с публицистическим анализом. Уже как система складывалась своеобразная форма собирательной сатирической характеристики, органически связанная у Салтыкова-Щедрина с его тяготением к художественному исследованию «основ» современного общества.

Наиболее характерные признаки эпохи раскрыты в групповых сатирических портретах «сеятелей-земцев», «легковесных», «хищников», «соломенных голов», «гулящих людей», «историографов», «складных душ». В такой образной форме удалось неразрывно сплавить художественный рисунок, художественно наглядное изображение с размышлением, с разъяснением причин и следствий того или другого общественного явления. Эта форма

и представляла собою один из конкретных способов укоренения сатиры на «почве общественной». Художник создавал оригинальные обобщения, в самой структуре которых наличествуют элементы, активно способствующие рождению нарицательного понятия, типа.

Собирательные сатирические образы были явлением довольно необычным в литературе. У предшественников Салтыкова-Щедрина мы не находим полного развития этих художественных форм. Только у Гоголя в «Мертвых душах» они уже гениально намечены в авторских разъяснениях типов Манилова, Ноздрева, Коробочки. Салтыков-Щедрин широко ввел и утвердил в литературе собирательную характеристику, групповой образ.

Очерки, в которых соответствующее явление общественной жизни показывалось в такой форме, содержали обычно публицистическую посылку. Так, к примеру, в «Новом Нарциссе» автор рассуждал о шумных спорах в обществе и печати по поводу земского начала. «...Нельзя съесть куска, чтобы кусок этот не был отравлен — или «рутинными путями, проложенными себялюбивою и всесосущею бюрократией», или «великим будущим, которое готовят России новые учреждения».

Сатирическая «изюминка» группового портрета земцев как раз и заключалась в том, что снисходительно-похвальную оценку этим последним дал тот, кто объявлялся заклятым врагом новых земских учреждений,— бюрократ, чиновник. В ядовитом его монологе земцы аттестовались практическими исполнителями теории «взаимного оплодотворения». «Сеятели»-земцы заняты ничтожными пустяками, пререкаются по делу о выеденном яйце, хлопочут о «наидешевейшем способе изготовления нижнего белья».

В шелухе высокопарных слов о потомстве, о процветании, о «святом деле» и великих задачах молодого возрождения и тому подобном у «сеятелей» упорно пробивалось не выдуманное, а истинное «дело», забота о личном обогащении, забота о брюхе, идея «взаимного самовознаграждения». В результате создавался объемный групповой образ русского либерала пореформенной поры. Убийственно меткая, проницательная, богатая жизненными наблюдениями, мыслью, щедринская характеристика либерализма воспитывала в обществе демократическую непримиримость к социально-политическим силам, враждебным народу.

4

Одним из шедевров Салтыкова-Щедрина была его «История одного города» (1869—1870). Уже не только по общественному значению произведений, но и по масштабам художественного дарования и мастерства имя автора «Истории одного города» журнальная критика ставила рядом с именами Л. Толстого и Тургенева, Гончарова и Островского.

Салтыков-Щедрин уверенно овладевал новой идейно-художественной концепцией сатирического характера, заключающейся в широком обращении к фантастике, в разнообразном использовании приемов гиперболизации, гротеска, художественного иносказания.

Сатира исследует «алтари» современного общества, разоблачает их полную историческую несостоятельность. Одним из таких «алтарей» объявлен монархический государственный строй. Ему приписывают мудрость, в нем усматривают венец разумной исторической распорядительности. Сатирику-демократу эти монархические идеи, естественно, представлялись ложными, совершенно несостоятельными. Он полагал, что если из провозглашенного идеологами самодержавия принципа «распорядительности» «извлечь» все исторические следствия и современные результаты, то с помощью логических доведений писатель-сатирик непременно натолкнется на закономерное в этом случае сопоставление царской политики с механическим *органчиком* или чем-то похожим на него. А художественное воображение дорисует картину, даст нужное сатирическое распространение возникшему образу.

В творчестве Салтыкова-Щедрина до семидесятых годов приемы художественного преувеличения так далеко не шли. Герои его сатир в общем укладывались в рамки житейски-бытового правдоподобия. Но уже в предшествующей художественной практике сатирика были такие необыкновенно яркие сравнения и уподобления, которые предсказывали и предуготовляли дальнейшее развитие и использование приемов сатирической фантастики. Например, знаменитое уподобление реакционного «благонадежного» обывателя *взбесившемуся клопу*. Или — обозначение самодовольных реклам либерализма названием «прыщи, посредством которых разрешилось долго сдерживаемое умственное глуповское худосочие». И так далее в том же роде. Чтобы превратить эти уподобления в способ сатирической типизации, в средство построения сатирического образа, автор должен был художественно развить, активизировать *второй член* уподобления. Его взбесившийся клоп должен был как бы уже высказывать свои «клопиные» мысли, совершать «клопиные» поступки, раскрывать свой «клопиный» характер. Так создается гротескный образ, сатирический фантастический персонаж

Салтыков-Щедрин писал: «Если, например, о пошехонцах сложилось в народе поверье, что они в трех соснах заблудились, то я имею вполне законное основание заключать, что они действительно когда-нибудь совершили нечто подходящее к этому подвигу. Не буквально, конечно, а в том же смысле». Народ сочинил множество метких прозвищ, одних людей или группу лиц назвал головотяпами, других — гущеедами и т. д. Сатирик развертывал народные формулы, народные изречения в *картины*, в *гротескные образы*. Неистощимый родник смешного и таился как раз в «буквальном» истолковании народных афоризмов, словесной фигуры, или, как выразился однажды сатирик, в «тропическом» (от слова «тропы») их распространении.

Гипербола и фантастика, утверждал Салтыков-Щедрин,— это особые формы образного повествования, отнюдь не искажающие явлений жизни. Литературному исследованию подлежат, отмечал сатирик, не только поступки, которые человек беспрепятственно совершает, но и те, которые он несомненно совершил бы, если бы умел или смел.

«Развяжите человеку руки,— писал Салтыков-Щедрин,— дайте ему

свободу высказать *всю* свою мысль — и перед вами уже встанет не совсем тот человек, которого вы знали в обыденной жизни, а несколько иной, в котором отсутствие стеснений, налагаемых лицемерием и другими жизненными условностями, с необычайной яркостью вызовет наружу свойства, остававшиеся дотоле незамеченными, и, напротив, отбросит на задний план то, что на поверхностный взгляд составляло главное определение человека. Но это будет не преувеличение и не искажение действительности, а только разоблачение той *другой* действительности, которая любит прятаться за обыденным фактом и доступна лишь очень и очень пристальному наблюдению. Без этого разоблачения невозможно воспроизведение *всего* человека, невозможен правдивый суд над ним. Необходимо коснуться всех готовностей, которые кроются в нем, и испытать, насколько живуче в нем стремление совершать такие поступки, от которых он, в обыденной жизни, поневоле отказывается...»

Основная функция художественного преувеличения, таким образом,— выявление сущности человека, подлинных мотивов его речей, поступков и действий. Гипербола как бы прорывает осязаемые черты и покровы действительности, вынося наружу настоящую природу явления. Гиперболический образ приковывал внимание к безобразию зла, к такому отрицательному в жизни, что уже примелькалось.

Другая не менее важная функция гиперболической формы состояла в том, что она вскрывала зарождающееся, находяшееся под спудом. Иначе говоря, приемы гиперболы и фантастики позволяли сатире художественно обозначить самые тенденции действительности, возникающие в ней какие-то новые элементы. Изображая готовность как реальную данность, как нечто уже отлившееся в новую форму, завершившее жизненный цикл, сатирик преувеличивал, фантазировал. Но это такое преувеличение, которое предвосхищало будущее, намекало на то, что будет завтра. Художественное преувеличение как форма предвидения — такова другая его функция в сатире [1].

Салтыков-Щедрин однажды заявил, что, рисуя ретивого губернатора-помпадура, любившего сочинять законы, он никак не предполагал, что русская действительность в период реакции так скоро полностью подтвердит этот гиперболический сюжет.

В революционной газете «Начало» в номере от 15 апреля 1878 года было помещено комическое извещение: «Несколько лиц обращаются к г-ну Щедрину с просьбой писать сатирические статьи в более отвлеченной форме, так как они при настоящей степени их реальности служат, по-видимому, материалом и образцом для государственных распоряжений г. министра внутренних дел»[2].

Разъясняя характер эзоповской формы, включающей художественное преувеличение и иносказание, Салтыков-Щедрин заметил, что эти своеоб-

---

[1] См. подробнее: В. Кирпотин, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, М. 1955, стр. 669 и след.

[2] Цитируется по статье С. Борщевского «Новое о Салтыкове-Щедрине».— «Новый мир», 1938, № 7, стр. 247.

разные приемы не затемняли его мысль, а, напротив, делали ее общедоступной. Писатель отыскивал такие дополнительные краски, которые врезывались в память, которые живо, доходчиво, рельефно обрисовывали объект сатиры, делали понятнее ее идею. Салтыков-Щедрин особенно дорожил живописной функцией гиперболы и фантастики в сатирическом произведении.

Теоретическим ядром суждений писателя о роли гиперболы и фантастики в сатире было утверждение *глубоко реалистической, жизненной основы* этих художественных форм. Они отнюдь не толкали сатиру на путь искажения действительности, на путь схематизации, нарочитого окарикатуривания. Художественное преувеличение в сатире вбирает в себя психологический анализ (без помощи такого анализа невозможно, например, вскрыть «готовности» человеческой личности), и бытопись, и даже пейзажный рисунок. Не худосочие, а, напротив, образную полнокровность вносила с собой в сатиру подлинная художественная гипербола, художественная аллегория, художественная ирония. Они были способом сатирической типизации.

Коллекцию «жизнеописаний» глуповских градоначальников открывал Брудастый. Это явно гротескный тип. В голове градоправителя действовал вместо мозга органный механизм, наигрывающий всего-навсего два слова-окрика. Отвечая Суворину на упреки в «преувеличении», в искажении действительности, Салтыков-Щедрин писал: «Если б, вместо слова «Органчик», было бы поставлено слово «Дурак», то рецензент, наверное, не нашел бы ничего неестественного... Ведь не в том дело, что у Брудастого в голове оказался органчик, наигрывавший романсы «не потерплю!» и «разорю!», а в том, что есть люди, которых все существование исчерпывается этими двумя романсами. Есть такие люди или нет?»

На этот хорошо рассчитанный иронический вопрос не могло не последовать положительного ответа. История царизма полна примерами «проявлений произвола и дикости». Вся современная политика самодержавия, вся реакционная практика его в данный исторический момент убеждали в справедливости таких заключений.

Ведь сакраментальное «разорю!» фактически стало лозунгом пореформенного десятилетия ограбления крестьян, ведь у всех на памяти был период усмирительный, когда «не потерплю!» Муравьева-вешателя оглашало грады и веси России. Ведь еще целые толпы муравьевских чиновников рыскали в Польше и северо-западных областях России, террором восстанавливая «порядок».

В 1871 году получили огласку результаты сенатской ревизии Пермской губернии. Был вскрыт чудовищный произвол властей. Полиция секла нещадно крестьян, выколачивая недоимки. Сельские общества под давлением администрации принимали постановления о высылке в Сибирь тысяч неплательщиков. В деревнях возникали бунты, образовывались даже «секты неплательщиков». В 1868 году одна из таких сект объединяла 400 семейств. За три года было сослано 2340 человек. В губернии был популярен административно-полицейский девиз «уйму и упеку». Так, даже знамени-

тые «не потерплю!» и «разорю!» подтверждались жизнью, и это после десяти лет «либеральных» реформ!

Салтыков-Щедрин типизировал в «органчике» упрощенность административного руководства, вытекающую из самой природы самодержавия как насильственного, узурпаторского режима и поощряемую благоприятной общественной обстановкой страха и бессознательности.

Автор разоблачал глубокий аморализм самодержавия, бесчинства фаворитизма, авантюры дворцовых переворотов. Сказание о шести градоначальницах особенно богато историческими аналогиями и намеками. Здесь угадываются события и черты нравов царствований Екатерины I, Анны Иоанновны, Анны Леопольдовны, Елизаветы, Екатерины II. Салтыков-Щедрин заметил в письме в редакцию «Вестника Европы», что если бы он собирался писать историческую сатиру на XVIII век, то ограничился бы «Сказанием». Салтыков-Щедрин писал политическую сатиру. Он не полемизировал с миром отжившим. Гиперболические картины изображали современную жизнь, находящуюся под «игом безумия».

«И Дунька и Матренка бесчинствовали несказанно. Выходили на улицу и кулаками сшибали проходящим головы, ходили в одиночку на кабаки и разбивали их, ловили молодых парней и прятали их в подполья, ели младенцев, а у женщин вырезали груди и тоже ели. Распустивши волоса по ветру, в одном утреннем неглиже, они бегали по городским улицам, словно исступленные, плевались, кусались и произносили неподобные слова». Тут что ни фраза, то преувеличение, что ни слово, то невероятность. Но именно это скопление, это сгущение сатирико-фантастических штрихов и черт чрезвычайно сильно передавало общую мрачную картину, зловещий колорит жизни, отданной на поругание беспутным, грубым, циничным претендентшам на престол.

Сатирик шел на самые смелые и острые гиперболы. Его фантазия разыгрывалась, и перед читателем проносились видения остервенелой междоусобицы. Напомним эпизод осады на большом клоповном заводе. Защищавшие Дуньку паразиты, раздраженные запахом человеческого мяса, не находя пищи за пределами укрепления, набросились на свою предводительницу. «В самую глухую полночь Глупов был потрясен неестественным воплем: то испускала дух толстопятая Дунька, изъеденная клопами».

Перед нами типичный гротеск. Это, конечно, условное образное построение. Но отнюдь не произвольное. Как и все в искусстве, фантастический элемент здесь подчинен закону идейной и эстетической целесообразности. Бескультурье, невежество, всяческая нечистоплотность, всяческий паразитизм правящих клик сатирически персонифицированы автором в образе клопа, в образе целого полчища разъяренных клопов. Художник сознательно возбуждал в читателе чувства отвращения, омерзения.

Образ Угрюм-Бурчеева завершал галерею глуповских градоначальников. Русский царизм, будучи воплощен в угрюм-бурчеевской форме, обнажал до конца деспотический характер и, кроме того, что особенно важно, вскрывал все свои «готовности», все свои обуздательские возможности.

в Угрюм-Бурчееве слились и бездушный автоматизм «органчика», и карательная неуклонность Фердыщенки, и административное доктринерство и педантизм Двоекурова, и жестокость, бюрократическая доскональность и въедливость Бородавкина, и идолопоклонская одержимость Грустилова. Все эти начальнические качества в Угрюм-Бурчееве соединились, переплавились. Образовался новый административный сплав неслыханно воинствующего деспотизма.

В этом блестящем создании салтыковской фантазии схвачены и сатирически рельефно запечатлены все бюрократические ухищрения антинародной власти, все ее политические установления и нравы от субординации до шпионского сердцеведения, вся ее законодательно-административная система, покоящаяся на принуждении, на всяческой муштре, на порабощении и угнетении масс.

Знаменитым казарменным «идеалом» Угрюм-Бурчеева охватываются наиболее реакционные эксплуататорские режимы не одной какой-нибудь эпохи, а многих эпох. И дело отнюдь не ограничивается аракчеевщиной, батожными порядками Николая I или вообще русским самодержавно-монархическим строем как таковым. Салтыков-Щедрин имел в виду и французский бонапартизм, и милитаристский режим Бисмарка. Более того, угрюм-бурчеевщина — это гениальное сатирическое обобщение — совсем недавно открыто, обнаженно проглянула в гитлеризме и проглядывает по сей день в режимах, концепциях, традициях и перспективах эксплуататорских классов и империалистических государств современной нам эпохи.

На первый взгляд кажется, что в изображении народа в «Истории» писатель обращался к тем же приемам гиперболы и гротеска, какими создавались сатирические типы правителей. Бесспорно, изобличающий смех звучал и в народных эпизодах. Здесь также нередки элементы художественного преувеличения и фантастики. И тем не менее внимательный анализ текста показывает отличие образной трактовки народной темы. Оно обусловлено, разумеется, идейными соображениями. Автор «Истории одного города» считал себя защитником народа и более последовательным, чем сам народ, врагом его врагов.

Смех в народных картинах лишен той уничижительной эмоциональной окраски, которая хорошо видна в сатирическом рисунке градоначальнического мира. Атмосфера гневного презрения и отвращения, атмосфера беспощадной издевки окружает фигуру Брудастого, Прыща или Угрюм-Бурчеева. В ином эмоциональном ключе даны Ивашки, «глуповцы». Главы «Истории одного города», где писатель рассказывает о тяжелой, бедственной судьбе глуповцев, страдающих под игом угрюм-бурчеевского режима, проникнуты глубоко трагическими мотивами. Смех как бы застывал, уступая место патетике горечи и негодования.

Салтыков-Щедрин резко нападал на «сентиментальничающих народолюбцев». Нестерпимая фальшь слышится сатирику в их умильных словах. Либералы рассматривали народ лишь как объект помещичьей филантропии, как пассивную, угнетенную историей жертву, которой помочь смогут

лишь верхи общества; Салтыков-Щедрин видел в народе самостоятельного исторического деятеля, но еще не поднявшегося к активной общественной борьбе. О Салтыкове-Щедрине можно сказать то же самое, что говорил Ленин о Чернышевском — авторе «Пролога». Салтыков-Щедрин любил народ «тоскующей» любовью, тоскующей из-за отсутствия революционности в массах великорусского населения.

Писатель щедро использовал свои наблюдения над жизнью народа, свои знания его быта, психологии, нравов, устного творчества, языка, чтобы написать ряд блестящих социально-психологических эпизодов и жанровых картин и создать обобщенный художественный образ.

Собирательная характеристика глуповцев опиралась на современную Салтыкову-Щедрину сословно-классовую структуру русского общества. В ряде случаев автор очень метко передал различие экономического, общественного положения сословий и групп, различие их взглядов и т. д.

Но сатирик прослеживал прежде всего то общее, что объединяло разные слои глуповцев. Это общее — «трепет», подчинение обуздательским «мероприятиям» власти, послушное приспособление к тем обстоятельствам, которые складываются в результате грубых административных вмешательств.

Сатирический мотив начальстволюбия проходил через целый ряд сцен, эпизодов и картин, и в этом мотиве уже заключена жесткая демократическая оценка рабьей психологии глуповцев.

В «бунтарских» эпизодах «Истории» обобщены некоторые существенные стороны народных движений, в том числе и в недавнюю эпоху реформы. Как и автор «Кому на Руси жить хорошо», Салтыков-Щедрин воспользовался историческими красками этого «трудного», «лихого» времени [1].

Инертность и «бессознательность» масс ярче всего выразились в неорганизованных, не проясненных сознанием и отчетливым пониманием целей бунтарских вспышках, нисколько не облегчающих положения народа и отмеченных чертами глубокой политической отсталости. Почти все бунтарские эпизоды в «Истории одного города» освещены авторской улыбкой, порой иронической, порой полной недоумения и горечи, порой скептической. Не было здесь, однако, комизма ради комизма, пустого шаржирования, «веселонравия», как трубила об этом либеральная и реакционная печать

В автокомментариях к сатире Салтыков-Щедрин настойчиво повторял: «Изображая жизнь, находящуюся под игом безумия, я рассчитывал на возбуждение в читателе горького чувства, а отнюдь не веселонравия». В сценах «бунта на коленях» слышатся вопли высеченных, крики и стоны обезумевшей от голода толпы, зловещая дробь барабана вступающей в город карательной команды. Здесь вершатся кровавые драмы. Сдержанным суровым драматизмом веет от страниц, где описывались неурожайный год, страшная засуха, поразившая злосчастную страну. Реалистически точно и выразительно автор изображал жуткие сцены поголовной гибели людей.

---

[1] П. Н. Сакулин, Некрасов, изд. 2-е, М. 1928, стр. 98.

В русской прозе трудно найти более выразительную по словесной живописи и проникновенному, хватающему за сердце драматизму картину деревенского пожара, чем та, которая дана в «Истории одного города» Писатель создает динамичное, зримое изображение грозно полыхающего по ветхим строениям огня. С каким-то щемящим лиризмом рисуются в этой главе переживания погорельцев, их бессильное отчаяние, тоска, охватывающее их чувство безнадежности, когда человек уже не стонет, не клянет, не жалуется, а жаждет безмолвия и с неотвратимой настойчивостью начинает сознавать, что наступил «конец всего».

Художественные обобщения сатирика вобрали в себя все то, что он сам знал о безысходном положении русской деревни, и все то, что сообщала демократическая литература и вообще русская печать о невероятной нищете, о разоренье пореформенного крестьянства, о пожарах, ежегодно истреблявших двадцать четвертую часть всей деревянной и соломенной России.

Некоторые эпизоды «Истории одного города» соотносятся с некрасовскими сценами из народной жизни, с некрасовской поэтической характеристикой народа в «Кому на Руси жить хорошо».

Замечательно, что основные главы первой части поэмы Некрасова, написанные примерно в то же время, что и сатира Салтыкова-Щедрина, и опубликованные в тех же самых «Отечественных записках», сосредоточивали внимание не на обильной и могучей, а на убогой Руси. Великие художники революционной демократии в предвидении новых исторических схваток с царизмом открывали народу глаза на его слабости. И делалось все это с мыслью поднять активность народных масс.

Неверно было бы заявлять, что автор «Истории одного города» не видел в народной среде никаких положительных явлений. Это не так. В народной массе есть смелые, отважные люди, героические личности. Именно таким показан крестьянский парень, с разбега бросившийся в горящую избу, чтобы спасти Матренку. Салтыков-Щедрин не сомневается, что таких удальцов и отзывчивых людей, как этот парень, в народе немало. Ведь и упорный правдолюбец Евсеич наделен незаурядной нравственной силой. Да в конце концов ведь и глуповцы не безответны. Они выражают недовольство, ропщут, бунтуют. Но дремучая темнота, забитость, непонимание своих собственных интересов и неверие в свои силы делает протест их бесплодным.

Особенностью собирательной характеристики глуповцев является то, что показаны они почти всегда массой. Как и некрасовские мужики, глуповцы появляются на страницах «Истории» не в одиночку, а скопом, толпой, всем миром. Валом валят глуповцы к дому градоначальников; всей громадой бросаются на колени; толпами бегут из слобод и деревень, пораженных голодом; на лицах оцепеневших от горя глуповцев отражаются зловещие, багровые блики пожаров; шумно и бестолково галдит сходка, выбирая ходоков, эхом хмельных песен и гульбищ откликаются долы в пору, когда глуповцам на какой-то момент легче становится жить; и уми-

рают глуповцы толпами, всей массой. В том же случае, когда автор останавливается на рядовых представителях глуповского мира, то появляются они словно запевалы в хоре и тянут обычный мотив глуповской песни — мотив покорности и послушания.

Говоря о демократических тенденциях «Истории одного города», нельзя обойти молчанием своеобразный спор Салтыкова-Щедрина с Л. Толстым — автором «Войны и мира». Спор создателя сатирической характеристики глуповцев с создателем каратаевского типа, образа, которым Л. Толстой художественно обосновывал одну из центральных идей своих историко-философских взглядов — идею «роевого» начала в жизни.

Демократизм автора «Войны и мира» сказался в том, что он увидел решающую силу народа в истории. Но, основываясь на фаталистических предпосылках, художник утверждал, что массы движут историю бессознательно, пассивно. Толстой отрицал, что люди активно, сознательно могут изменить ход крупных исторических событий. У Л. Толстого нашлись почитатели, которые уже без его таланта, без его гениального художественного такта, тенденциозно взялись защищать и пропагандировать идеи исторического фатализма.

Внимание Салтыкова-Щедрина привлекли статьи Н. Страхова о романе «Война и мир». «Немногие страницы,— писал Страхов,— где является солдат Каратаев, имеющий столь важный смысл во внутренней связи целого рассказа, едва ли не заслоняют собою всю ту литературу, которая была у нас посвящена изображениям быта и внутренней жизни простого народа» [1]. В лице Каратаева, заявлял критик, Толстой показывает «силу и красоту русского народа», его «страдательный», «смирный героизм» [2]. А в статье, посвященной Герцену, Страхов даже утверждал, что именно Каратаев является «живым воплощенным решением той задачи, которая мучила Герцена» [3].

Салтыков-Щедрин в главе «Поклонение мамоне и покаяние» высмеял выступления Страхова. Стрелы своего сарказма он направил против мистического понимания народности, против идеализации патриархальщины, каратаевщины. Салтыков-Щедрин считал идейно обезоруживающими народ фаталистические взгляды на историю, как на «сновидение», как на нечто такое, что совершается без участия разума, слепо, стихийно. Не будь у глуповцев покорного, терпеливого, так сказать, каратаевского отношения к «злостным эманациям» жизни, к наносному «ее хламу», не будь у них пассивного, «роевого» подчинения «капризам истории», иначе сложилась бы их жизнь.

---

[1] «Заря», 1869, № 3, стр. 199. (Заметка «Литературная новость»). В один голос со Страховым реакционный критик Н. Соловьев утверждал, что образ Каратаева воплощает лучшие положительные черты русского народа (Критические сочинения Н. Соловьева, ч. III, М. 1869, стр. 330).

[2] Н. Страхов, «Война и мир». Сочинения гр. Л. Н. Толстого. Тома V и VI.— «Заря», 1870, № 1, стр. 119—120.

[3] Н. Страхов, Литературная деятельность Герцена.— «Заря», 1870, № 3, отд. II, стр. 114.

Характеристикой глуповцев сатирик невольно метил в воспетые Толстым «бездумность», «цельность», пассивность Каратаева, в толстовскую теорию «предопределения» и фаталистического «рока». В «Истории одного города» Щедрин отчетливо высказал полярную точку зрения: научить народ «рассуждать», заразить его духом «исследования» — это значит помочь ему бороться, помочь ему сознательно и открыто идти против Брудастых, против царизма.

Обе столь противоположные концепции — не плод отвлеченных, кабинетных занятий и рассуждений. И объективно, а отчасти и субъективно, они отражали реальные черты освободительного движения пореформенной эпохи, силу и слабость этого движения, силу и слабость назревавшей в стране демократической революции. Эти концепции воплощены в художественных обобщениях выдающихся произведений эпохи, произведений, в которых их авторы каждый по-своему «любил мысль народную».

Салтыков-Щедрин создал свою замечательную книгу во всеоружии новых приемов и средств художественной изобразительности. «История одного города» положила начало стилевому направлению, в русле которого позже будут созданы некоторые из помпадурских типов, роман «Современная идиллия», сатирические сказки и другие произведения, осваивавшие поэтику сатирической гиперболы и гротеска.

Гениальная сатира выдвинула Салтыкова-Щедрина в число крупнейших писателей России.

5

«Господа ташкентцы» знаменовали собою новое художественное развитие главной темы сатиры Салтыкова-Щедрина — разоблачения порочных «основ» современного общества. Принцип антинародной «государственности» образно воплощен в типах градоначальников и помпадуров. «Ташкентский» тип, примыкая к этой группе персонажей, имел свой особый сатирический лейтмотив. «Ташкентец» воплощал распространенную психологию и мораль насильника, паразита и хищника.

Салтыков-Щедрин задался целью раскрыть процесс формирования «ташкентского» характера, проникнуть в его социальную подноготную, обнажить классовую среду, условия и порядки, благоприятствующие возникновению «ташкентства».

Главное в поэтике новой сатиры — это «родопроисхождение», «жизнеописание» героев, изображение процесса переплавки впечатлений, побуждений, влияний, стимулов социальной среды в «ташкентское» мировоззрение, в «ташкентский» характер. Образующие цикл очерки-«параллели» написаны по одной и той же схеме. Автор повествовал о детских и юношеских годах будущих администраторов, юристов, финансистов. Он прослеживал воздействие на героев семьи, школы, родственного окружения, общественного мнения, которое олицетворяли «соседи», «знакомые», «товарищи», «воспитатели» и «наставники».

Яркая особенность «Господ ташкентцев» заключалась прежде всего в том, что здесь художественно раскрывалась *диалектика оподления души* ребенка, подростка, юноши и, наконец, молодого человека на пороге его самостоятельной жизни и деятельности, именно оподления души под влиянием до корня порочной социально-классовой среды.

Сатирик воспроизводил не статичные, не одномерные характеры, а живые, объемные, хотя «тенденциозность» исходных авторских намерений кое-где и ощущалась. Основные мотивы жизни ташкентца-аристократа Персианова, исполнителя-палача Хмылова, теоретика ташкентского обогащения Велентьева и других героев развернуты по строгому логическому плану, но в каждой детали, в каждом штрихе открывались глубокие знания человеческой души, огромная наблюдательность, слышался умный, скептический и негодующий смех сатирика.

Книга Салтыкова-Щедрина пропагандировала мысль о внутренней гнилости господствующего социального режима, его обреченности. Этот вывод подчеркивался сочувственно обрисованным в сатире образом «новых людей», сторонников коммунистического идеала, революционеров (гл. «Они же»).

Автор «Господ ташкентцев» раскрыл всю сложность самого понятия социальной среды, он дал свои яркие образцы реалистического объяснения человеческой личности, исторического и социально-психологического определения отрицательного человеческого характера, диалектики его формирования. Творческие искания сатирика обогащали метод критического реализма.

Ташкентские герои не вмещались в традиционные рамки семейственного романа, Салтыков-Щедрин не случайно обосновывает идею нового общественного романа. Но «Господа ташкентцы» еще не стали им, жанровая специфика подчеркнута авторским определением этого произведения как «более или менее законченной картины нравов».

Успешным опытом создания общественно-сатирического романа явился «Дневник провинциала в Петербурге» (1872). «Представьте себе, читатель,— писал сатирик,— современного русского беллетриста, задавшегося задачею Гоголя: провести своего героя через все общественные слои (Гоголь так и умер, не выполнив этой задачи)». Салтыков-Щедрин как раз и «задался» задачей автора «Мертвых душ»; в «Дневнике провинциала» он решил провести своих героев через «общественные слои» пореформенного времени.

В «Дневнике» сплетаются две сюжетные линии. Первая — связана с похождениями Провинциала и Прокопа в столице, где они, «впутываясь» то в одну, то в другую «историю», встречаются с дельцами, чиновниками, земцами, консерваторами, либералами. Вторая сюжетная линия развивается параллельно первой в форме сновидения. Происходит фантастическое превращение Провинциала в миллионера, которого обкрадывает Прокоп, в результате чего затевается судебный процесс, разыгрывается борьба за «наследство». Герой попадает в новые социальные сферы (судебные

чиновники, адвокатура, поместные дворяне, купечество) и завершает свой жизненный бег в больнице для умалишенных. Салтыков-Щедрин обнаружил замечательное мастерство в выборе сюжета, который давал, говоря словами Гоголя, «вживе верную картину всего значительного в чертах и нравах» описываемой эпохи.

Между «Мертвыми душами» и «Записками Пиквикского клуба», с одной стороны, и «Дневником провинциала» — с другой, прослеживаются сюжетные аналогии и параллели. Это свидетельствует о традициях, к которым примыкала салтыковская сатира, о ее литературных прототипах[1].

Но Салтыков-Щедрин не копировал, конечно, сюжетных схем предшественников и современников. «Дневник» тесно связан с реальными событиями, процессами, фактами пореформенной русской действительности (железнодорожное строительство, учреждение акционерных компаний, уголовные и политические судебные процессы и т. д.).

Образом Провинциала сатирик вторгался в современные ему журнально-литературные споры о судьбах поколения сороковых годов. Своей политической бесхребетностью, склонностью к компромиссам и лавированию, своим непреодоленным духовным крепостничеством Провинциал обобщал психологию, мораль, общественное поведение той части дворянского поколения сороковых годов, которая поверхностно восприняла гуманные идеи эпохи своей молодости, сохранив во все времена, вплоть до конца пореформенного десятилетия, приверженность к помещичьему досужеству и тунеядству. В Прокопе воспроизведен законченный тип помещика средней руки, рядового выразителя настроений помещичьей толпы, в которой господствуют хищнические вожделения и цинизм собственников, тоска по старым крепостническим порядкам, оголтелая реакционность. Сюжетное сближение либерального Провинциала и консервативного Прокопа преследовало цель комического взаиморазоблачения двух одинаково враждебных народу сил.

Наряду с центральными персонажами «Дневника» «общий тон жизни» характеризовали образы «стадных людей» разных слоев и групп пореформенного общества. Автор «Дневника» продолжал совершенствовать поэтику группового сатирического портрета-характеристики. Новым было то, что собирательные образы включены в сюжетное повествование. Публицистический анализ отступал на второй план. Разнообразились способы художественной типизации. Блестяще использовался прием «усеченного», метонимического изображения людей («кадыки»). Тупость, страсть к «пойлу и корму», шальная мечта «дорожку получить», разом нажиться, мерзкое подвиливание власть имущим — все это такие пошлые, низменные

---

[1] Среди последних есть основания назвать повесть английского писателя Эдварда Дженкинса «Джинксов младенец», в которой высмеивается мальтузианство, пародируются судебные заседания, журнальная полемика и т. д. Публикуя перевод повести, редакция «Отечественных записок» называет ее «лучшей политической сатирой... со времен Свифта» («Отечественные записки», 1871, № 7, стр. 223—302).

влечения дворянской толпы, так далеки они от подлинно человеческой сущности, что для художественного обозначения их достаточно какой-нибудь выпирающей от жира и плотоядности части тела вроде загылка или массивного кадыка. По этому обличительному принципу и осуществляется портретная зарисовка стадного образа помещиков-кадыков, «откормленных бардою» дельцов, которых окружает атмосфера спекулятивного ажиотажа, приобретательского хищничества.

В типе «пенкоснимателя» изобличается пореформенный либерализм в основных его разновидностях. Этот собирательный образ покоился на богатой фактической основе; ею послужили и жизнь и «творчество» реальных деятелей либеральной журналистики, науки, литературы. Вместе с тем сатирик не преследовал каких-либо узкопамфлетных целей. Образы «пенкоснимателей» наделены несомненным обобщающим содержанием. Развернувшаяся вокруг типа пенкоснимателя журнальная полемика подтвердила меткость, жизненность и масштабность нового сатирического обобщения.

Оригинальным художественным построением выделялся групповой образ «статистиков». Салтыков-Щедрин в качестве действующих лиц впервые смело вводил в свои произведения литературных героев прошлого. В роли земских деятелей выступили в «Дневнике» гоголевский Перерепенко, тургеневские и гончаровские персонажи. Ввиду своей общеизвестности, длительного бытования в читательской среде литературные типы служили целям емкого и доступного сатирического обобщения новых явлений действительности. В литературно-критических статьях Добролюбова и Чернышевского сказалась смелость, размах, новизна толкований художественных образов. Опыт объемных публицистических характеристик («обломовщина», «темное царство» и т. д.) был воспринят Салтыковым-Щедриным и творчески распространен на область художественной сатиры. Свежие сатирические краски и коллизии дал писателю прием «дописывания» биографий литературных персонажей[1], прием доведения до крайностей тех социально-психологических «готовностей», которые в материнском, так сказать, произведении обозначались как слабость характера героя, недостаток воли, искреннее заблуждение. Тургеневские персонажи в «Дневнике» выступали в сюжетно динамичных главах, в главах, где изображался судебный процесс по делу о тайном обществе, и выдерживали нечто вроде экзамена на политическую благонадежность. Так сатирически обобщалась эволюция либеральной дворянской интеллигенции. Новый художественный принцип Салтыков-Щедрин успешно затем реализует в ряде крупных сатирических полотен («В среде умеренности и аккуратности», «Современная идиллия», «Письма к тетеньке» и др.).

В составе «Дневника» в целом и в структуре собирательных типов

---

[1] См. статью А. Г. Дементьева «Типы классической литературы в произведениях Щедрина».— «Ученые записки Ленинградского университета», № 76, 1941, серия филологических наук, вып. 11, стр. 166—190.

романа, в частности, видное место занимала пародия, которая вообще является одним из постоянных стилеобразующих элементов щедринской сатиры. Именно такое «стилеобразующее» качество пародийные формы приобрели в «Дневнике». Традиционным, «родовым» признаком пародии принято считать осмеяние определенного литературного стиля. У Салтыкова-Щедрина мы имеем дело не только с литературной пародией. Он разрабатывал пародийную форму широкого плана. Объектом пародирования являлись взгляды, понятия, идеи, традиции враждебных народу классов и групп, все то, что закреплено в законах, правилах, уставах, циркулярах, моральных заповедях, теориях и учениях, все то, что так или иначе отлилось в письменную и речевую форму или иным образом обособилось, застыло, омертвело, канонизировалось, приобрело устойчивые признаки, вошло в категорию общепринятого. Щедринская пародия, внешне сохраняя форму пародируемого объекта, показывала несостоятельность, неразумность, нелепость его внутреннего содержания и смысла. В «Дневнике» пародировались газетные передовицы, ученая диссертация, проекты и планы государственных мероприятий, устав общества, процедура следствия и судебного заседания, публичные речи, похоронный церемониал, молитва, рекламное объявление, биржевая игра и т. д. и т. п.

Пародии воссоздавали бытовую и общественно-политическую атмосферу, в которой жил и действовал «стадный человек» господствующих классов, втянутый в водоворот пореформенных буржуазных отношений.

В «Дневнике» с полной силой развернулись «беллетристические» стороны таланта автора. Он показал себя мастером бытописи, жанровых сцен, знакомивших читателя с миром петербургских ресторанов, кутежей, театральных увеселений, кокоток — всем тем, к чему обращены помыслы «стадных» героев. Салтыков-Щедрин — создатель сатирического романа — великолепно владел самыми сложными художественными приемами. Умение вести групповой диалог, передать живые интонации беседы, сборища, заседания или раута, лаконичные речевые характеристики, охватывающие множество персонажей от светского шалопая и жуира до протоиерея, щеголяющего церковнопоминальным красноречием,— все это яркая демонстрация высокого мастерства романиста.

Демократическая критика и литература широко пропагандировала творческие достижения сатирика. Д. Минаев и К. Станюкович на страницах журнала «Дело» создавали в духе «Дневника» пародийные формы. А. Осипович-Новодворский «салтыковскими приемами» писал свою известную повесть «Эпизод из жизни ни павы, ни вороны».

Дальнейшим развитием и углублением типа «стадного», среднего человека являются «Господа Молчалины». Молчалинским типом сатирик «разъясняет» такое распространенное в антагонистическом обществе явление, как эгоистическая сосредоточенность людей на узком личном мирке, к которому «приурочивается жизнь целой вселенной».

Молчалины — порождение общества, жизнь которого подчинена произволу царской власти, всесилию чина и богатства, господству классовой

идеологии собственника. Основной аспект характеристики Молчалиных — социально-психологический. Сатирик анализировал психологию умеренности и аккуратности, психологию угодничества и изворотливой исполнительности, то есть психологию молчалинства. Жизненная сфера проявления ее чрезвычайно широка, охватывает большую область профессий, занятий, обстоятельств, где живет и действует «зауряд»-человек классов и сословий, стоящих над народной массой.

Молчалинский характер раскрывается в сатире в трех типических положениях: в положении, когда Молчалины приспосабливаются к «благодетелям», к «нужному человеку»; в положении, когда Молчалины находятся в зените своего благополучия; в положении, когда в благоустроенную жизнь Молчалиных врывается беда, грозящая смести созданный ценой громадных усилий уют. Под сенью молчалинства совершаются бессознательные злодейства. В атмосфере лавирования, угоднического выслуживания и беспринципности морально разрушается личность. Во всеоружии социологических, исторических, философских мотивировок сатирик анатомирует психологию приноравливания к подлости господствующих отношений, к поворотам и изменениям переходной исторической эпохи, к «взлетам и падениям» правящих клик, групп и партий.

Салтыков-Щедрин ставил вопрос: кто виноват в том, что в жизни укореняется унизительная психология шкурнических оглядок? «Насколько ответственен в этом тот или другой человек персонально,— писал сатирик,— этот вопрос всегда казался мне сомнительным».

Психологический анализ в заключительных главах молчалинской «эпопеи» не случайно был направлен к тому, чтобы, по словам сатирика, «сквозь наносную кору молчалинства» угадать «черты подлинно человеческого образа». Пройти мимо трагических черт в характере салтыковского Молчалина — значит умалить глубокое социально-философское содержание, вложенное художником в этот тип, тем более что в связи с молчалинством Салтыков-Щедрин остро и по-новому поставил в литературе проблему «отцов и детей».

Художественно обобщая опыт освободительной борьбы накануне демократического подъема (1879—1881), он в «Господах Молчалиных» показал, как властно утверждаются в жизни революционные идеи и революционная практика, как становятся они активно действующим фактором социальной среды. Семья Нагорновых фатально выкраивала из своего отпрыска ташкентца-чиновника. «Дети» Молчалиных уже отрываются от веры «отцов», встают на новый жизненный путь. Крепкое, корнями уходящее в почву современного реакционного режима, молчалинское мировоззрение оказывается бессильным формировать сознание, жизненные цели и идеалы молодого поколения. В положении «отцов» назревают драматические коллизии, возникают острейшие конфликты с «детьми», и эти конфликты разрешаются трагически. Эта идейно-историческая подпочва питала глубокий психологический реализм финальных сцен «Господ Молчалиных».

Еще более показателен рассказ «Больное место» (герой его Разумов — вариант молчалинского типа). В нем предвосхищались некоторые мотивы «Смерти Ивана Ильича» Толстого.

Сложность образа Разумова заключалась в том, что писатель изображал доброго, неглупого человека, бессознательно проведшего жизнь как преступник. Отсюда переплетение двух линий в психологическом рисунке. Одна — это субъективная оценка молчалинским героем собственной жизни как жизни, честно отданной «делу». Другая — сосредоточена на характеристике сначала смутного, а затем все более и более проясняющегося в беспощадной наготе своей сознания старика Разумова, что жизнь прожита неразумно, «дико», «не так». Определенное сходство критических позиций Салтыкова-Щедрина и Л. Толстого несомненно. Вместе с тем сравнительный анализ показывает и принципиальные различия между тем и другим художником, вызванные несходством мировоззрения. Л. Толстой делал акцент на волевых усилиях личности избавиться от лжи, на идее морального возрождения. В душевный мир салтыковского героя с образом сына врывается щемящее чувство тоски и терзаний совести, образ «света» ассоциируется не с умиротворением, не с чувством умиления и радости, как у толстовского героя, а с чем-то зловещим, с «адом». Лейтмотив салтыковского психологизма выражен словами старика Разумова: «Атмосферу надо изменить, всю атмосферу...»

Тема итогов напрасно или фальшиво прожитой жизни творчески успешно развивалась и в других произведениях Салтыкова-Щедрина. В 1885 году он предпринимал специальные меры (через Н. А. Белоголового), чтобы привлечь внимание зарубежного читателя к четырем своим «повестушкам» («Больное место», «Похороны», «Старческое горе», «Дворянская хандра»). Их крупными достоинствами были — суровый сатирический анализ антагонистических противоречий дворянско-буржуазной действительности, разоблачение узаконенных «понятий», «принципов» и «норм», маскирующих эгоизм собственника, молчалинскую мораль или произвол богатых и сильных, тонкое проникновение в психологию трагически угасающих человеческих жизней.

6

Темы государства, семьи и собственности, взятые порознь и разработанные в своем особом идейно-образном ракурсе в предшествующих произведениях, собираются как бы в фокусе в «Благонамеренных речах» (1872—1876), а также и в «Убежище Монрепо» (1878—1879). «Священные принципы» современного строя исследовались здесь под новым углом зрения: показывалось, как появление на арене русской истории буржуазных «столпов» неизмеримо усиливало антагонистичность русского общества. Отечественная литература обогатилась блестящими сатирическими типами «чумазых», обобщившими характернейшие явления жизни.

Идейно-художественную концепцию «Благонамеренных речей» Салтыков-Щедрин прокомментировал в известном письме к Е. И. Утину от 2 января 1881 года. В статье о «Круглом годе» Е. Утин взялся разъяснить сложный вопрос об отношении сатирика к идеалам. Он характеризовал Салтыкова-Щедрина как союзника либералов в борьбе за осуществление конституционных планов. Читателям внушалась мысль, что сатирик из-за цензурных стеснений не может свободно писать об этом, но биение пульса его положительных устремлений видно в отрицательных картинах. Идеалы сатирика, по словам автора статьи, сводятся к тому, чтобы устранить «бесправие русской жизни», устранить произвол «futur-ministre» Феденьки Неугодова и добиться «более правильного общественного строя»[1]. Салтыков-Щедрин в деликатной форме отвел эти рассуждения критика, опротестовал попытку приписать его сатире столь узкие либерально-практические цели.

«...Мне кажется,— писал он Е. И. Утину,— что Вы не совсем удачно выбрали «Круглый год», и потому вопрос об «идеалах» не выяснился. Мне кажется, что писатель, имеющий в виду не одни интересы минуты, не обязывается выставлять иных идеалов, кроме тех, которые исстари волнуют человечество. А именно: свобода, равноправность и справедливость. Что же касается до практических идеалов, то они так разнообразны, начиная с конституционализма и кончая коммунизмом, что останавливаться на этих стадиях — значит добровольно стеснять себя».

Салтыков-Щедрин заботился о том, чтобы его сатирические типы не были бы расценены как плод усилий поддержать ту или другую политическую программу — земско-конституционную, артельно-общинную или лассальянскую, утопически-коммунистическую. Провозглашенные сатириком широкие идеалы «свободы, равноправности и справедливости» сливались с «неумирающими общими положениями» социалистов Чернышевского и Фурье.

В конкретных условиях России сатира Салтыкова-Щедрина поднялась к высотам реалистического искусства прежде всего потому, что она не приспосабливалась и не подчинялась узкогрупповым политическим доктринам, а держала в поле своего зрения проблемы освободительного движения.

Автор «Благонамеренных речей» и «Убежища Монрепо» выступил с капитальной критикой «основ» и «союзов» собственнического общества в пору, когда и в России и за рубежом не было недостатка в публичном расхваливании их исторической правомерности, незыблемости. В некоторых органах русской печати слагались гимны буржуазному прогрессу.

Образы Дерунова, Разуваева и Колупаева «открыли» читающей России нового хозяина жизни, цепкого, наглого хищника, становящегося опорой самодержавного режима. Идол собственности воздвигался руками преступников, беззастенчивых обманщиков, воров.

Разоблачение принципа собственности достигалось автором разно-

---

[1] «Вестник Европы», 1881, № 1, стр. 311—314.

образными средствами сатирической выразительности; особенно эффективными оказались приемы улавливания «политики в быту» (М. Горький).

Описание «Московской гражданской палаты» в очерке «Кандидат в столпы» представляло собой классический образец насыщения бытового рисунка глубокой идейностью.

«Выходишь, бывало,— пишет автор,— сначала под навес какой-то, оттуда в темные сени с каменными сводами и с кирпичным, выбитым просительскими ногами полом, нащупаешь дверь, пропитанную потом просительских рук, и очутишься в узком коридоре. Коридор светлый, потому что идет вдоль наружной стены с окнами; но по правую сторону он ограничен решетчатой перегородкой, за которою виднеется пространство, наполненное сумерками. Там, в этих сумерках, словно в громадной звериной клетке, кружатся служители купли и продажи и словно затевают какую-то исполинскую стряпню. Осипшие с похмелья голоса что-то бормочут, дрожащие руки что-то скребут. Здесь, по манию этих зверообразных людей, получает принцип собственности свою санкцию! Здесь с восхода до заката солнечного поются ему немолчные гимны! Здесь стригут и бреют и кровь отворяют!» Зарисовка казенного здания гениально переплавляется в обобщенный образ собственности. Мир «купли-продажи» омерзителен, нечистоплотен. В нем царит нечто от смешанной атмосферы чадной кухни, неприбранной цирюльни, вонючей бойни. Это мир обуреваемых жаждой стяжания маньяков, мир жестоких душителей и их жертв. Цепь экспрессивных уподоблений и ассоциаций, из которых соткан образ гражданской палаты, разоблачала аморализм, бесчеловечность собственнического института, на который, как на «краеугольный камень», опиралось современное общество. В каждом из этих кабальных людей, пишет сатирик, «словно нарыв, назревает мучительная мысль: вот сейчас! Сейчас налетит «подвох»! — Сейчас разверзнется под ногами трап... Хлоп! И начнут тебя свежевать! Вот эти самые немытые, нечесаные, вонючие служители купли и продажи! Свежевать и приговаривать: не суйся, дурак, с суконным рылом в калашный ряд чай пить! Забыл, дурак, что на то щука в море, чтобы карась не дремал! Дурак!»

Знаменитое гоголевское описание гражданской палаты, где оформлялась покупка «мертвых душ», тоже оставляло впечатление нечистоплотности. Но надо было стоять на социалистической точке зрения, надо было явиться свидетелем пореформенного роста капитала, разорительных приемов обогащения и наживы, чтобы бытовую зарисовку «гражданской палаты» силою сатиры превратить в символическую картину зловонного, кровавого торжества буржуазного принципа собственности. Это специфика именно салтыковского сатирического образа. Даже по объективному смыслу гоголевский сатирический образ таких качеств политической целеустремленности не имел и не мог иметь в силу моралистической природы своей.

Художественная характеристика буржуазности, персонифицированная в типах «чумазых», имела и еще один важный аспект. Тип чумазого развертывался в динамике. Показывались его социально-жизненные истоки,

прослеживалось его развитие, делались исторические прогнозы. Принцип историзма салтыковской сатиры необычайно удачно художественно конкретизируется в мотиве разорения русской жизни, пронизывающем «Благонамеренные речи». Общий тон жизни — хаос, развал, оскудение. На помещичьих образах, картинах дворянских усадеб лежит печать обреченности, уныния, мертвенной серости. Однако на развалинах дворянского благополучия вырастал не полезный злак, а вредный сорняк. Теперь Деруновы и Стреловы начинают паразитировать на теле народном, высасывать соки земли.

С огромной художественной силой мотив оскудения, разорения природы и жизни под игом буржуазных нравов звучит в пейзажах. «Я еду,— пишет автор в очерке «Опять дорога»,— и положительно ничего не узнаю. Вот здесь, на самом этом месте, стояла сплошная стена леса; теперь по обеим сторонам дороги лежат необозримые пространства, покрытые пеньками. Помещик зря продал лес; купец зря срубил его; крестьянин зря выпустил на порубку стадо. Никому ничего не жалко; никто не заглядывает в будущее; всякий спешит сорвать все, что в данную минуту сорвать можно. И вот, давно ли началась эта вакханалия, а окрестность уже имеет обнаженный, почти безнадежный вид. Пеньки, пеньки и пеньки; кой-где тощий лозняк.

— Нехороши наши места стали, неприглядны,— говорит мой спутник, старинный житель этой местности, знающий ее как свои пять пальцев,— покуда леса были целы — жить было можно, а теперь словно последние времена пришли. Скоро ни гриба, ни ягоды, ни птицы — ничего не будет. Пошли сиверки, холода, бездождица: земля трескается, а пару не дает. Шутка сказать: май в половине, а из полушубков не выходим!»

Удивительно красноречив и выразителен этот пейзажный образ у Салтыкова-Щедрина. Ни у кого из русских художников картина весны, майского цветения, майского пиршества красок, «зеленого шума» не приобретала столь мрачного колорита, не пронизывалась таким щемящим чувством истощения жизни, не соединялась с такой тоскливой мыслью о безнадежности, как у автора «Благонамеренных речей». И что замечательно, пессимистический эмоциональный тон этой зарисовки скудной и бедной северной весны тут же глубоко социально мотивирован. Это барский паразитизм, барское тунеядство опустошают землю. Это вакханалия буржуазного хищничества, кулацкого стяжательства губит природу, подсекает корень жизни. Салтыковский пейзаж полон горечи, полон негодующего философского раздумья над настоящим и над будущим страны, находящейся во власти темных истребительных инстинктов и стихий алчных собственников.

Горестный и вместе с тем грозный мотив разорения, оскудения природы и жизни под игом помещичье-буржуазных нравов и порядков звучит и в знаменитом зимнем пейзаже, которым начинается повествование о превращении сентиментальной дворянской девушки в хищного и жестокого эксплуататора, в бездушную приобретательницу («Кузина

Машенька»). «Саваны, саваны, саваны! Саван лежит на полях и лугах; саван сковал реку; саваном окутан дремлющий лес; в саван спряталась русская деревня. Морозно; окрестность тихо цепенеет; несмотря на трудную, с лишком тридцативерстную станцию, обындевевшая тройка, не понуждаемая ямщиком, вскачь летит по дороге; от быстрой езды и лютого мороза захватывает дух. Пустыня, безнадежная, надрывающая сердце пустыня... Вот налетел круговой вихрь, с визгом взбуравил снежную пелену — и кажется, словно где-то застонало. Вот звякнуло вдали; порывами доносится до слуха звон колокольчика обратной тройки, то прихлынет, то отхлынет, и опять кажется, что где-то стонет. Вот залаяла у деревенской околицы лядащая собачонка, зачуяв волка,— и снова чудятся стоны, стоны, стоны... Мнится, что вся окрестность полна жалобного ропота, что ветер захватывает попадающиеся по дороге случайные звуки и собирает их в один общий стон...

Саваны и стоны...» А дальше автор погружал читателя в «глубину мерзости запустения», в крысиный мирок кузины Машеньки, которая скупает земли, сводит леса, разоряет мужиков, поедом ест сына, прижимисто сколачивает капитал.

Могильный, кладбищенский колорит окружал хищников и стяжателей, разорителей жизни. Зрительный образ снега-савана, мертвящего холода сливался с звуковым образом стона, жалобного ропота, и создавалось неизгладимое впечатление надрывающей сердце пустынности, оцепенения и тоски. По социальной своей обобщенности салтыковский образ стона сродни некрасовскому образу песни-стона. Салтыковский пейзаж словно вобрал в себя муки и страдания народа, жалобы и ропот самой природы, самой жизни, на которые обрушилась выморочная стихия пореформенного дворянского буржуазного разорительства.

Салтыков-Щедрин философски осмыслил деруновский образ, идейно вымерил его масштабами истории. Дерунов — законченный художественный тип собственника, приобретателя-хищника, далекий как от боборыкинской апологетики китайгородских дельцов, так и от народнически-доктринерских проклятий в адрес капиталистов. Сатирический тип Дерунова — яркое свидетельство того, что лучшие умы нации глубоко проникли в природу растущего нового буржуазного строя, против которого в будущем поднимется вся народная, пролетарская Россия У Салтыкова-Щедрина еще не было отчетливого понимания этой исторической перспективы. Но горьковские Гордеевы, Маякины, Артамоновы не отменили щедринских Деруновых и Разуваевых, хотя для создателя первых характерно марксистское понимание капитализма, а для создателя вторых — революционно-демократическое. Напротив, дополняя друг друга, они создают своеобразную художественную генеалогию и историю русского капитализма, силою образного обобщения далеко выходя за рамки национального опыта.

После «Истории одного города» наиболее полно народная жизнь, народные типы изображались в «Благонамеренных речах». Некоторые кар-

тины и образы путевых очерков («В дороге», «Опять в дороге») перекликались с ярмарочными и другими массовыми сценами «Кому на Руси жить хорошо». Среди народных персонажей «Благонамеренных речей» не встречается героических фигур, подобных некрасовскому богатырю Савелию. Салтыковские мужики — пассивные протестанты. Крестьянское свободомыслие не идет дальше трактирных разговоров о том, что прежде, бывало, «дворяне форсу задавали», а «нынче слободно... нынче батюшка-царь всем волю дал! Нынче, коли ты хочешь — сиди! И ты — сиди, и мужик — сиди — всем сидеть дозволено!..» Эта смешная и грустная бестолковщина, соединяющая наивное мужицкое царелюбие с комическим понятием «слободы», характеризует невысокий уровень сознания масс.

Естественно, сатирик видел в жизни и положительные крестьянские типы. В рассказе «Сон в летнюю ночь», первоначально предназначавшемся для рассматриваемого цикла, он опоэтизировал нравственную силу крестьянской женщины, созидательный труд земледельца Мосеича.

Но проблема «общественной забитости» народа по-прежнему остается для Салтыкова-Щедрина одной из самых острых проблем современности. Тебеньковы хлопочут о том, чтобы дворянско-буржуазные принципы семьи, собственности, государства оставались в глазах «печенегов» священными и неприкосновенными. Напротив, «непочтительные» Коронаты стремятся освободить народ от веры в «призраки», в священные «союзы» собственнического мира. Популяризации этой важнейшей задачи освободительного движения и должны были служить, по мысли сатирика, «Благонамеренные речи».

Расцветшее мастерство Салтыкова-Щедрина проявилось и в разящей силе образов «Убежища Монрепо». В картине состязания владельца барской усадьбы и кулака Разуваева, сохраняющей все краски живой конкретности, просвечивала политика, угадывались крупные социально-экономические процессы пореформенной эпохи, классовое соперничество дворянства и буржуазии в эксплуатации народа и производительных сил страны. Переживания вытесняемого из жизни барина и купца, становящегося новым хозяином помещичьего имения, не утрачивая индивидуального своеобразия,— характерны для социальной психологии целых групп и классов русского общества, и не только его одного. Знаменитый монолог Прогорелова в «Предостережении» обнимал широкий круг явлений, вопросов и проблем общечеловеческой истории.

Не случайно К. Маркс, с большим интересом следивший за творчеством великого русского сатирика, обратил особое внимание на этот богатый философско-публицистическим содержанием монолог, предрекавший неизбежную историческую гибель «кровопийственных дел мастеров» [1].

Салтыковская характеристика буржуазии пронизана мыслью о бес-

---

[1] «Карл Маркс и русская литература» (Замечания и пометки на книге М. Е. Салтыкова-Щедрина «Убежище Монрепо»).— «Дружба народов», 1958, № 5, стр. 26.

плодности каких-либо прогрессивных исторических ожиданий в период «чумазого господства». В отдельном издании «Убежища Монрепо» автор усилил эту критическую идею. К. Маркс отметил, по-видимому, односторонность сатирика в анализе и оценке капитализма, только как отрицательного явления. В поле зрения Салтыкова-Щедрина была кулачествующая буржуазия, доморощенные «финансисты», «спекуляторы», ростовщики, концессионеры. Ему не были видны в России, как бы можно было сказать словами Ленина, «более современные и человечные формы европейского капитализма»[1]. Сатирик не подозревал, какую мощную историческую силу порождал капитализм в лице фабрично-заводского пролетариата. Вместе с тем Салтыков-Щедрин упоминал о «мелкоте», которой уже приходит на ум «затея» — вырвать кус у Разуваевых, произвести их в «пропащие люди». Объективно сатира Салтыкова-Щедрина улавливала важную тенденцию пореформенной русской действительности. Ленин определил эту тенденцию, пользуясь щедринским же образом,— как пробуждение человека в «коняге». В последовательной ориентации на массы выразился органический демократизм сатирика.

Ленин говорил о том, что народнический протест против капитализма — «совершенно законный и справедливый» — превращался в «реакционную ламентацию», когда народники становились на точку зрения защиты общинной утопии. Салтыков-Щедрин, разделяя многие идеи революционного народничества, был свободен от «слащавого оптимизма» идеологов мелкого производителя, либеральное доктринерство не проникало в его художественные обобщения.

Салтыковские Деруновы и Разуваевы были и остаются классическими типами, обобщавшими нечто главное и существенное в морали, психологии, социально-духовном и политическом облике буржуазных эксплуататоров. Создание этих типов — огромная заслуга автора «Благонамеренных речей» и «Убежища Монрепо» перед русской литературой.

Вполне «деруновскими» чертами наделены некрасовские плутократы из «Современников». В печати отмечалась близость «творений двух корифеев нашей сатиры». Замечательной аттестацией жизненности и высоких художественных достоинств созданных сатириком типов служило и то, что толстовский купец Рябинин и дельцы из некоторых пьес Островского выписаны были «по-щедрински». Сродни салтыковским «чумазым» были также Мясниковы и прочие господа Купоны Г. Успенского. У каждого из этих больших художников образы буржуазных хищников трактуются, разумеется, по-своему, оригинально. Приведенные параллели дают вместе с тем представление о том, какими качествами подлинно художественного открытия отличались циклы антибуржуазных сатир Салтыкова-Щедрина. Они оказали прямое влияние на многие произведения демократической беллетристики 70—80-х годов (повести, рассказы и очерки С. Атавы-Терпигорева, С. Каронина-Петропавловского, Н. Наумова, И. Салова и др.).

---

[1] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 385.

7

«Господа Головлевы» замыкали тот этап творчества сатирика, который охватывал семидесятые годы. В 1879—1881 годах повторными изданиями вышли все доселе созданные писателем сатирические циклы от «Губернских очерков» до «Круглого года». Обилие переизданий за такой короткий срок свидетельствовало и о популярности художника и о том, что у самого писателя появилось стремление подытожить свой творческий путь.

С того времени как Салтыков-Щедрин задумал выделить из серии «Благонамеренных речей» головлевские очерки, началось тематическое отпочковывание новых циклов. «Круглый год» (1879) посвящен «государственному союзу», «на принцип семейственности,— отмечал сатирик,— написаны мною «Головлевы».

В преддверии революционной ситуации 1879—1881 годов Салтыков-Щедрин видел резкие очертания «переворотившейся» России. Поездка за границу (1875—1876 и 1880—1881 гг.) в свою очередь расширили круг наблюдений писателя. В творчестве сатирика появляются новые исторические аспекты, укрупняется самый масштаб «охвата» действительности. Углубляется идейно-художественная трактовка тем собственности, семьи, государства. Не случайно именно в эти годы Салтыков-Щедрин создает образ Иудушки, вошедший в галерею мировых сатирических типов.

Современная сатирику и последующая (дореволюционная) критика расценивала головлевскую хронику как несколько устаревшую, хотя и яркую отходную крепостничеству. Это ограничение пафоса сатиры исключительно лишь целями обличения крепостного права было столь же далеким от истины, как и противоположная тенденция, совершенно освобождавшая образ Иудушки от каких-либо исторических, социально-классовых приурочиваний и переносившая трагедию головлевской семьи на отвлеченную «общечеловеческую» почву.

В пору, когда писались «Господа Головлевы», проблемы семьи очень активно обсуждались в научных трактатах, в публицистике, в художественной литературе, в официальных документах. В публичных выступлениях провозглашалась святость и нерушимость «семейного союза».

Проблема семьи живейшим образом занимала крупных русских художников. Глубоко задумался над драматической судьбой семейственного начала в современном обществе автор «Анны Карениной», «Воскресения», «Крейцеровой сонаты». В «Братьях Карамазовых» Достоевский рисовал картину духовного и физического распада дворянской семьи. Будучи втянуто во всеобщий хаос пореформенной смуты, под влиянием «нигилизма» и «безбожия», семейное начало, по мысли писателя, подверглось временной порче. Но как принцип, как «основа», на которой прочно стоит государство, «святыня семьи» нисколько не пошатнулась. Автор «Господ Головлевых» не разделял взглядов Достоевского и боролся против них. Он показал, как в мире собственников изнутри подрывалась

семья, превращалось в фикцию то, что на словах выдавалось за «краеугольный камень» современного социального уклада.

Острый и глубокий ум сатирика отметил одну из самых ярких черт господствующей идеологии эпохи — тщательно маскируемое противоречие между благонамеренным словом и резко расходившимся с ним грязным, циничным делом. Это все плодило и узаконивало в нравах, в понятиях, в поведении людей ложь, двоедушие, пустословие. Лицемерные лгуны «забрасывают вас,— писал Щедрин,— всевозможными «краеугольными камнями», загромождают вашу мысль всякими «основами» и тут же, на ваших глазах, на камни паскудят и на основы плюют».

В образе Иудушки сатирик гениально выразил бытовое, «индивидуальное» проявление того самого лицемерия, того самого пустословия, которым, как клеймом, отмечены все вообще идеологические и моральные постулаты дворянско-буржуазного мира.

Достоевский настойчиво развивал ту мысль, что социалисты и материалисты, подобно средневековому «великому инквизитору», сознательно выдвигают обман, ложь как силу, созидающую историю, созидающую будущее. Философской предпосылкой типа Иудушки было противоположное мнение: не социалисты и материалисты, а люди господствующих эксплуататорских классов обращаются к обманному, лживому слову как инструменту охранительного исторического действия. «...Но разве лицемерие,— писал сатирик,— когда-либо и где бы то ни было представляло силу, достаточную для существования общества? Разве лицемерие — не гной, не язва, не гангрена?»

Так определилась основная линия развития образа Иудушки.

В пустословии и лицемерии Порфирия Головлева сатирически раскрыты и обобщены процессы духовной деградации людей паразитических классов и групп, враждебных народу, исторически отвергнутых жизнью.

Сюжет и композиция хроники подчинены изображению распада, гибели головлевской семьи. Непосредственным виновником процесса «умертвия» выступал Иудушка. Его пустословие проявлялось в своей разрушительной функции. Оно активный двигатель действия. Впечатление нудного удушающего пустословия достигается тем, что художник заставлял своего героя вертеться в кругу одних и тех же понятий о «семье», «боге», «капитале». Ординарная, алогичная речь Иудушки, ее лексика и синтаксис создают особую «стилистическую атмосферу». Иудушка тянется к массе слов, уже «осмысленных ложью». Истертая, захватанная пословица, куцая, выхваченная из священного писания сентенция, примелькавшаяся цитата из молитвы, ходячее изречение из арсенала старинной мудрости, истасканная житейская заповедь — все это, затвердевшее, прописное, внутренне обесцененное, выступало в многоглаголании героя нестерпимо скучным и назойливым празднословием, гасящим живые человеческие чувства. Уменьшительные формы, слова с ласкательными суффиксами придали речам Иудушки характер елейной фамильярности. Слово в устах героя поистине становится блудливым, оно проституируется, оно лишь имитирует благородные идеи, высокие душевные побуждения, прикрывая бессердечие.

С исключительной силой автор обнажал растлевающее действие обманного слова, обслуживающего стяжательные страстишки помещика. Писатель обнажал и другой процесс, когда праздномыслие своей разъедающей, как ржавчина, сущностью обратилось уже против самого Иудушки и окончательно разрушило его личность.

Иудушка — художественное открытие, принадлежащее Салтыкову-Щедрину. Это — и не вариация пушкинского скупца — сложнейшего психологического типа,— и не вариация Тартюфа. Гоголевские персонажи (Иван Иванович, Манилов, Кифа Мокиевич) — лишь гениальный намек на тип празднослова. В Фоме Опискине («Село Степанчиково и его обитатели» Ф. М. Достоевского) прежде всего раскрывалась психология самозванства.

В щедринском образе Порфирия Головлева явственны трагические элементы. Финал Иудушки разработан сатириком во внутренней полемике с Гончаровым. Последний полагал, что Иудушка сам на себя руки не поднимет, «не удавится никогда»; он будет «делаться все хуже и хуже, и умрет на навозной куче, как выброшенная старая калоша» (письмо к М. Е. Салтыкову-Щедрину от 30 декабря 1876 г.). Вначале у сатирика складывался своего рода гончаровский вариант жизненного конца Иудушки. Автор намеревался завершить роман-хронику главой «У пристани»: Порфирий Головлев женится на Нисочке — дочери изворотливой и хищной помещицы, и находит свою унылую жизненную «пристань» (подобно тому как Обломов закончил свое существование в домике Пшеницыной).

Салтыков-Щедрин отказался от этого «логического» варианта. Порфирий Головлев приходит к мысли о самоубийстве. Он осознает ужас своего положения. На последних страницах хроники исчезает пустословие. В мокрую мартовскую метель Порфирий ринулся на могилу матери, чтобы там «застыть в воплях смертельной агонии». «Трудно сказать,— пишет автор,— насколько он сам сознавал свое решение».

С редким художественным тактом и чуткостью Салтыков-Щедрин намеренно не нарисовал самого акта гибели. Читателю и без того становится ясной трагичность расплаты Порфирия Головлева с жизнью.

Писатель-психолог показал пробуждение человеческого в своем выморочном герое. В просветительских концепциях сатирика подчеркивалась активная роль в жизни нравственного суда. Проснувшаяся совесть осветила Порфирию Головлеву мрачное прошлое и дала остро почувствовать безысходность настоящего, свою обреченность. Салтыковский трагизм усиливал обличение социального порядка, низводившего человеческую личность до положения Иудушки.

В истории активного литературно-публицистического использования салтыковского типа отмечается одно беспримерное явление. Это обращение В. И. Ленина к образу Иудушки. Ленин закрепил в памяти, в сознании целых поколений читателей самые сильные краски Иудушки как пустослова, лицемера и хищника.

Образ Иудушки в основном и главном создан методом углубленного психологического анализа и речевой характеристики. Салтыков-Щедрин

расширил наши представления о сатире, ее объекте, границах, системе, утвердив принципы и формы социально-психологической сатиры. Было бы в высшей степени опрометчивым салтыковскую традицию в сатире сводить к гротеску и гиперболе и выдвигать в качестве единственного поучительного образца стилевые принципы «Истории одного города» и оставлять в тени другую стилевую линию, представленную «Господами Молчалиными» и «Господами Головлевыми».

В произведениях конца семидесятых годов и позже, на склоне творческого пути, Салтыков-Щедрин обдумывал тему «забытых слов». Среди мрака и запустения настоящего, среди «царюющего зла», как маяк, светили сатирику слова, полные глубокого смысла и значения: «добро», «красота», «истина», «свобода», «справедливость» — именно эти слова в раздумьях Крамольникова, Имярека соединяются с понятиями о благе народа, о процветании страны. Забыты эти слова в обществе, где цинично эксплуатируется лживое, пустое слово, маскирующее паразитизм жизни пустоплясов, кружащихся около рабочей коняги. Горечью проникнуты страницы салтыковских сатир, где говорится об этом. И не потому, что писатель разуверился в осуществлении высоких слов-идеалов. Но потому, что история, народ, живые силы нации слишком медленно, как полагал сатирик, наполняют эти слова-идеалы страстно ожидаемым общественным содержанием.

8

Восьмидесятые годы — завершающий этап литературной деятельности Салтыкова-Щедрина, открывшийся знаменитым циклом очерков «За рубежом». Русский сатирик-демократ уверенно вышел на международную арену, подвергнув сокрушительному, негодующему разоблачению западноевропейские буржуазные порядки, всюду и громко прославляемый парламентаризм, тщательно маскируемую капиталистическую эксплуатацию, реакционность цивилизации и культуры разбогатевших собственников.

«Священнейшие основы общества» — семья, собственность и государство, столь разрекламированные буржуазными идеологами Запада, не выдерживают даже снисходительного критического анализа. Словно червь дерево, их источили лицемерие и ложь. Государство фактически находится на откупе у буржуазии, оно стоит на страже ее интересов. Успех ее политических деятелей гарантируется не умом, не преданностью стране и народу, а пронырливостью, наглостью и предательством.

В. И. Ленин указывал, что «Щедрин классически высмеял когда-то Францию, расстрелявшую коммунаров, Францию пресмыкающихся перед русскими тиранами банкиров, как республику без республиканцев» [1].

Большинство очерков этой блестящей сатиры писалось в годы наи-

---

[1] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 14, стр. 237.

высшего напряжения второго демократического подъема, когда горстка народовольцев вела героическую борьбу с царским правительством.

Автор, как и его передовые современники, горячо отдавался размышлениям о ближайших исторических судьбах России, о возможностях революционной борьбы интеллигенции и народа против реакционного режима царя и помещиков. В веселом по форме диспуте «Мальчика в штанах» и «Мальчика без штанов» содержалось поучительное сопоставление России и Запада. Хотя и различные в некоторых политических и социальных моментах, сложившиеся там и здесь порядки в главном одинаково враждебны как русскому крестьянству, так и французскому или немецкому пролетарию. Отражая настроения русской общественности, Салтыков-Щедрин провозгласил, что, как ни тяжело в настоящее время «мальчику без штанов», как ни угрожает ему перспектива нового колупаевского гнета, все же он не испорчен буржуазностью, не ослеплен видимостью комфорта и благополучия, в нем душа свободна, он решительнее, чем зарубежный аккуратный «мальчик в штанах», способен рассчитаться со своими врагами.

Финальные части «За рубежом» были опубликованы после 1 марта 1881 года, в мрачную пору начавшейся оголтелой реакции и террора. Сатирик ярко обрисовал совершившийся перелом в политической жизни страны и заклеймил реакцию известной сценкой, где чавкающая «торжествующая свинья» пожирает правду.

С величайшим сочувствием он писал о русском интеллигентном человеке-патриоте, который хранит в душе своей высокий идеал будущего. Обстоятельства порой безжалостны к нему, рядовому человеку, он оступается, совершает ошибки. Сатирик обращался к интеллигенции со словом совета и поддержки, внушая уверенность в грядущей победе света и правды. В условиях того времени эта проблема, проблема общественного поведения русской интеллигенции, на которую оказывала развращающее воздействие монархическая политика, приобрела весьма злободневный интерес. Именно поэтому Салтыков-Щедрин главной темой очередного произведения избрал общественные настроения в России в связи с реакционной «внутренней политикой» самодержавия.

В 1881—1882 годах он печатает «Письма к тетеньке». Эзоповски именуя широкие оппозиционные круги русской интеллигенции «тетенькой», Салтыков-Щедрин сосредоточился на критической характеристике их идеологической расплывчатости, политической повадливости и половинчатости. Представляя либеральное течение, «тетенька» то невпопад возрадуется фарисейской политике царизма конституционными посулами успокоить общественное возбуждение, то опечалится, узнав, что благонамеренные напористо расправляются с революцией с помощью тайного террора («Священная дружина»), то трусливо бросится в объятия исправника, когда «диктатуру сердца» и «народную политику» сменяет жестокий курс репрессий, полицейской расправы. Несомненно, Салтыков-Щедрин обличал интеллигенцию за проявленную ею готовность в тепле да неге ужиться с реакцией. Самый психологический облик кокетливо молодящейся да-

мочки — «тетеньки», увлекающейся, не чуждой духовных интересов и в то же время неустойчивой в своих убеждениях,— остроумная насмешка над российским либерализмом.

Вместе с тем в «Письмах к тетеньке» сквозит надежда, что либеральная интеллигенция не погасит окончательно в своей среде очаг оппозиции, стремлений к светлым человеческим идеалам. Сатирик брал под защиту «тетеньку» от реакционных неистовств полицейских преследователей. Во всяком случае, в ряду других групповых образов «тетенька» выделяется тем, что не лишена определенного авторского доверия при всей очевидной и значительной идейной дистанции, разделяющей сатирика и его адресат [1].

Вслед за «Письмами к тетеньке» Салтыков-Щедрин приступил к продолжению «Современной идиллии», начатой еще в 1877—1878 годах.

«Роман современного человека,— писал сатирик,— разрешается на улице, в публичном месте — везде, только не дома; и притом разрешается самым разнообразным, почти непредвиденным образом».

«Современная идиллия» представляет собою великолепный образец такого общественного сатирического романа. Его тема, сюжет, композиция, вся система образов определены сознательной авторской установкой изобразить «мытарства общественной неурядицы», показать, как реакционная «внутренняя политика» царизма вторгается в судьбы современного человека, в судьбы страны. Действия героев «Идиллии» ничего не имели общего с обычными семейственными мотивами «прежних романов». Определяющим здесь явился политический мотив, мотив самосохранения героев, испытывающих на собственной шкуре свирепое давление реакционного политического режима.

Жизнь героев поистине проходит на улице, в публичных местах, на арене тогдашней общественности. Полицейский участок сменяется адвокатской конторой, купеческий особняк — фешенебельным трактиром, салон на пароходе — постоялым двором в уездном городишке, дворянская усадьба Проплеванная — залой Каширского окружного суда, именье князя Рукосуя — нищим селом Благовещенским, столичная судебная камера — редакцией газеты «Словесное удобрение» и т. д. и т. п. Эта калейдоскопическая смена мест действия «Идиллии» происходит отнюдь не по авторскому произволу. В метаниях героев есть своя логика, управляет ею все тот же политический нерв.

Обличительным освещением дум и дел Рассказчика и Глумова автор нанес сокрушительный удар по российскому пореформенному либерализму, разоблачил его бесхребетность, оппортунизм, способность к политическому предательству.

Однако Глумов и Рассказчик, будучи представителями «средних» слоев русской интеллигенции, выступают в «Идиллии», при всех своих

---

[1] См. подробнее. А. С. Бушмин, Сатира Салтыкова-Щедрина, изд. Академии наук СССР, М.—Л. 1959, стр. 192—218.

ренегатских подвигах, и как жертвы полицейского режима, жертвы оголтелой политической реакции. Вследствие этого в общий сатирический рисунок их образов проникают драматические и даже трагические штрихи. В первом случае, когда герои все глубже и глубже опускаются на дно политического аморализма, их жизнь вся — в «якшанье» с Прудентовыми, Балалайкиными, Очищенными, Парамоновыми, Редедями, с рыцарями эпохи — негодяями, которые чувствуют себя как рыба в воде в этой отравленной миазмами стяжательства и полицейского сыска атмосфере реакции.

В ином свете выглядят герои, когда в них вдруг заговорит «старое», на какой-то момент прорвется «человеческое», проснется совесть. Они способны тогда задуматься над тем, как тяжко живется народу, умом и сердцем понять беспросветное одиночество Презентовых, подняться мыслью до сомнений, действительно ли негодяю так-таки и возможно бессрочно оставаться «властителем дум современности».

В идейной концепции «Современной идиллии» этому мотиву принадлежит не последнее место. И связан он с более общей проблемой, особенно волновавшей сатирика в восьмидесятые годы,— с проблемой «среднего человека».

Нерасторжимое соединение реакционной политики и уголовного преступления — характерный признак времени, давший «Современной идиллии» и основную тему, и основной сюжет. Такой постановкой вопроса сатирик-демократ действительно раскрывал сходную тенденцию всякого реакционного режима. Достаточно вспомнить, как Маркс заклеймил французский бонапартизм афористической формулой: «Только воровство может еще спасти собственность, клятвопреступление — религию, незаконнорожденность — семью, беспорядок — порядок!» [1].

Поразительно богатство и разнообразие художественных красок, форм и приемов, каким отличается стиль «Современной идиллии» даже среди лучших произведений салтыковской сатиры. Автор создал поэтику, отвечающую теме, идее и жанру романа. Он соединил характерные для сатирического образа пародийные формы, гиперболу и фантастику с предельно реалистическими картинами.

Жизнеописания почти всех героев «Идиллии» объясняют их характеры и вместе с тем естественно вводят в повествование огромный материал, освещающий прошлое страны, показывающий истоки тех социально-экономических перемен, которые привели пореформенное русское общество к настоящему его положению, к разгулу буржуазного предпринимательства, к политике «ежовых рукавиц», к развалу морально-этических норм жизни, к обнищанию народных масс.

Самые острые политические идеи и разоблачения автор «Идиллии» облек в форму гиперболических образов («Сказка о ретивом начальнике», суд над пискарем — Иваном Хворовым в Кашине). Эти, на первый взгляд

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2-е, М. 1957, т. 8, стр. 214.

«вставные», сцены и куски по существу обнажали основную непримиримо-критическую идею романа, свободно включаясь в его композицию. Подвиги героев «Идиллии» гиперболичны и даже фантастичны в чрезвычайной степени, но в такой же мере невероятными были и действия реальных вдохновителей реакции.

Казалось бы, знаменитая «биография»-счет одного из героев «Идиллии» купца Парамонова — это чистая творческая выдумка сатирика. Однако уже после выхода в свет «Современной идиллии» в демократическом журнале «Дело» была опубликована «Записка» нижегородского богатого мужика, точно отметившего, сколько и кому им было «дадено», чтобы выхлопотать купеческое свидетельство 3-й гильдии. Вот этот любопытный документ:

Пропоено миру	210 р.
Старосте	10 р.
Писарю	100 р.
В правлении	30 р.
Окружному	500 р.
Помощнику окружного да приказным	50 р.
Управляющему	1000 р.
Палатским приказным	300 р.
По мелочам на угощенья да на извозчиков приказным, секретаря в баню возил, соборному попу на ряску (отец — секретарю), секретарше шаль	250 р.
В думе за приписку да по рукам, пошлины да гербовая бумага	500 р.
Прокурору да стряпчему за «читал»	60 р.
Всего	3060 р.[1]

И без комментариев ясно, что пародии и гиперболы «Идиллии», полные сатирического яда и сарказма, не только «не искажали» действительности, но гениально-правдиво улавливали, как говорил Салтыков-Щедрин, ее скрытые «готовности», ее подлинные закономерности, верно запечатлевали и настоящую физиономию политической реакции.

Салтыков-Щедрин закончил роман аллегорической картиной Стыда. Появление этого образа подготовлено историей блужданий героев, желавших стать благонамеренными. Окунувшись с головой в омут реакции, Глумов и Рассказчик не смогли до конца превратиться в «негодяев» и духовно омертветь. В героях взбунтовалось, хотя и «посрамленное», но не окончательно растоптанное человеческое начало.

---

[1] «Дело», 1883, № 11, стр. 146.

Сатирик особо упомянул, что Глумов и Рассказчик почувствовали не ту нравственную тоску, «бессознательно-пьяную прострацию сил», которая приводит человека к петле, к проруби, к дулу пистолета (нечто сходное было у Иудушки), а тоску вполне сознательную, трезвую, которая и разрешения требовала сознательного, а не случайного.

Гуманистическая идея «Современной идиллии» и заключалась прежде всего в том, что подчеркивала значение нравственной ответственности «средних людей» за их жизнь, за их общественное поведение, за судьбы родины, за судьбы народа. Сатирик писал П. В. Анненкову 25 ноября 1876 года: «Тяжело жить современному русскому человеку и даже несколько стыдно. Впрочем, стыдно еще не многим, а большинство даже людей так называемой культуры просто без стыда живет. Пробуждение стыда есть самая в настоящее время благодарная тема для литературной разработки, и я стараюсь, по возможности, трогать ее».

Из этих слов сатирика явствует, что «пробуждение стыда» — проблема не узкоморальная. Как справедливо заметил Д. Заславский [1], салтыковская трактовка проблемы стыда включала в себя в какой-то мере и тот аспект, который открывается в словах К. Маркса: «Стыд — это своего рода гнев, только обращенный во внутрь. И если бы целая нация действительно испытала чувство стыда, она была бы подобна льву, который весь сжимается, готовясь к прыжку» [2].

Несомненно, автор «Идиллии» — весь в заботе о том, чтобы пробудить общественное сознание. С болью в сердце, почти в трагических интонациях, сатирик, однако, констатировал на заключительной странице романа, что воспитательное действие стыда — передового сознания — еще слишком незначительно, оно еще не дало надежных исторических результатов.

«Говорят,— заявил он,— что Стыд очищает людей,— и я охотно этому верю. Но когда мне говорят, что действие Стыда захватывает далеко, что Стыд воспитывает и побеждает,— я оглядываюсь кругом, припоминаю те изолированные призывы Стыда, которые от времени до времени прорывались среди масс Бесстыжества, а затем все-таки канули в вечность... и уклоняюсь от ответа».

Было бы неверно расценить эти суждения как пессимизм великого сатирика. Нет, это горькие размышления художника-демократа, который знал, чем закончилось восстание декабристов, сам пережил разгром петрашевцев, сам сменил опального Чернышевского на посту редактора журнала, сам наблюдал отчаянный поединок народовольцев, сам засучив рукава боролся с реакционным «бесстыжеством», и вот этот-то тяжелый общественный опыт, столь обогативший реализм исторического мышления сатирика, не позволил ему провозгласить скорую победу сил прогресса и тем более предложить какой-либо практический план достижения ее.

---

[1] См. в кн.: Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. XV, М. 1940, стр. 35.

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2-е, т. I, М. 1955, стр. 371.

Но именно вера в народ, пусть еще и не пробужденный к активным историческим действиям, вера в конечное торжество передовых демократических идеалов, пусть еще и далеких от осуществления, вдохновили автора «Современной идиллии» на борьбу с самодержавием, на борьбу с правительственной реакцией.

Гипербола и фантастика вошли в салтыковскую поэтику как эффектный, очень выразительный способ сатирической типизации. Но уже и в «Истории одного города» соображения цензурного характера играли не последнюю роль. Фантастические персонажи и ситуации служили превосходным средством прикрытия, конспирации революционной мысли. Великое мастерство Салтыкова-Щедрина проявилось в том, что в гиперболических формах достигнут был своеобразный художественный синтез, гармоническое соединение сатирико-разоблачительной и эзоповско иносказательной функции.

В условиях цензурного террора восьмидесятых годов писатель вполне оценил эзоповские возможности фантастики. Самые дерзкие политические квалификации сатирик сумел облечь в аллегорические формы. Это блестяще подтверждали знаменитые сказки, над которыми Салтыков-Щедрин работал в 1882—1886 годы.

Сказки, свидетельствующие о новом взлете могучего таланта Салтыкова-Щедрина, своеобразно подытоживали его сатирическое творчество. Многие вопросы и проблемы, многие темы и типы предшествующих сатир нашли свое оригинальнейшее идейно-образное решение и выражение в сказочных персонажах и сюжетах и получили как бы новую и в высшей степени популярную художественную жизнь.

Естественно, что и пафос сказок Салтыкова-Щедрина — в неумирающих демократических и социалистических идеях его сатиры. Этот пафос — в беспощадном разоблачении непримиримой классовой антагонистичности русского общества, социального неравенства, произвола самодержавия, жестокой эксплуатации народных масс помещиками и буржуазией («Медведь на воеводстве», «Орел-меценат», «Бедный волк», «Дикий помещик», «Соседи», «Ворон-Челобитчик» и др.). Пафос сказок — в любви к угнетенному и страдающему народу, в думах о его бесправном положении, в горьких сетованиях на его долготерпение и покорность, на его наивные политические надежды найти правду и защиту у власти («Коняга», «Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил», «Путем-дорогою», «Деревенский пожар», «Праздный разговор», «Кисель» и др.).

На фоне расколовшейся России с ее бесчинствующими богачами и властями и безмерно страдающим народом какими поистине легковесными и безнадежно мечтательными или жалкими и ничтожными, либо просто глупыми представляются всякого рода либерально-политические и морально-религиозные прожекты, планы, советы и рецепты водворить правду в жизни, достичь гармонии интересов. Салтыков-Щедрин издевался над откровенно шкурной обывательской мудростью «вяленых вобл» и пискарей, рабьей философией выпрашивания подачек самоотверженных и здравомы-

слящих зайцев. Он заклеймил трусливый дворянско-буржуазный либерализм уничтожающей сатирической формулой «применительно к подлости».

С недоумением и горечью писал сатирик о «вероучениях» честных карасей-идеалистов, предлагающих словесными диспутами направить на путь истинный обжорливых и хищных щук [1].

Автор сказок сохранил все такую же крепкую и живую, как и прежде, веру в социалистический идеал. Сатирик искусно развивал и пропагандировал некоторые из демократических и социалистических идей и принципов то в форме религиозной притчи или проповеди («Христова ночь», «Рождественская сказка»), то облекая их в «ненормальные», с точки зрения господствующей идеологии и морали, речи. Порой крамольные мысли высказывали их явные враги вроде сановного коршуна из сказки «Ворон-Челобитчик».

Салтыков-Щедрин по-прежнему настойчиво отстаивал идею глубокого демократического преобразования общества, не сомневался в величайшей разумности социалистических основ для укрепления в жизни подлинно человеческих отношений. В сказке-элегии «Приключение с Крамольниковым» и в споре по поводу ее идейного содержания с крайне в эту пору поправевшим Г. З. Елисеевым сатирик высказал искреннее сочувствие активным формам революционной борьбы. Более того. В размышлениях Крамольникова о том, что он «не самоотвергался», «не спешил туда, откуда раздавались стоны», то есть не принял непосредственного участия в революционной борьбе, в этих проникнутых искренним чувством и болью сердечной словах есть что-то и от авторской самокритики, в них выражена неудовлетворенность одной лишь литературной формой борьбы, одним лишь протестом словом, которое к тому же почти и не доходило до забитых и неграмотных масс. Но ведь только два десятилетия спустя, в 1905 году, В. И. Ленин заявит: «Мы дожили до революции. Времена одного только литературного давления уже прошли» [2].

Сатирик ощущал историческую неизбежность появления каких-то новых сил, способных радикально изменить жизнь. В действительности он эти силы не увидел, определить их не мог и к ним не примкнул. Между тем в России уже началось массовое пролетарское движение, уверенно завоевывал позиции в духовной жизни народа марксизм. Как бы предчувствием этих новых революционных потрясений были салтыковские слова, что и на Западе и в России «идет какая-то знаменательная внутренняя работа, что народились новые подземные ключи, которые кипят и клокочут с очевидной решимостью пробиться наружу. Исконное течение жизни все больше и больше заглушается этим подземным гудением; трудная пора еще не наступила, но близость ее признается уже всеми».

---

[1] См. подробнее: А. Бушмин, Сказки Салтыкова-Щедрина, М.—Л. 1960.

[2] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 11, стр. 244.

Сатирику были чужды общиннические концепции; осуществление будущих социалистических форм жизни он мыслил в результате революционных изменений в обществе, науке, технике. Салтыков-Щедрин близко подходил к идеям, открывавшим возможность исторического и научного обоснования социализма. И все же он не смог выйти из границ революционного демократизма и утопического социализма. «Однако в этих пределах,— справедливо отметил исследователь,— он сделал все возможное и явился одним из тех ближайших предшественников, от которых отправлялись в своей деятельности русские революционные марксисты и наследие которых взяли на свое вооружение» [1].

В творчестве Салтыкова-Щедрина происходили существенные переломы идейно-эстетического порядка.

Если «Пестрые письма» (1884—1886) были еще написаны в прежней сатирической манере, то «Мелочи жизни» (1886—1887), «Пошехонская старина» (1887—1889) и некоторые другие произведения создаются уже в иной художественной тональности, в них на первый план выдвигается нечто такое, что характерно именно для данного завершающего этапа творчества. Что же именно?

Бросается в глаза то обстоятельство, что главными героями произведений становятся люди средних и низших слоев России. Автор «Мелочей жизни» сосредоточил внимание на человеке среднего культурного слоя, разночинце, интеллигенте, общественная роль которого в пореформенном десятилетии сильно возросла, на типах крестьянства («хозяйственный мужичок»), городского ремесленничества и полупролетариев («Портной Гришка»).

«Столпы» привилегированных классов, «столпы» семьи, собственности и государства, разумеется, не исчезают со страниц салтыковских циклов, но они уступают первое место типам и героям «низовой» России. В этом сказалось обогащение и углубление демократизма писателя в преддверии того исторического этапа освободительной борьбы, который В. И. Ленин определил как движение самих масс.

По мере того как ширился круг изображения демократических слоев общества, смех Салтыкова-Щедрина изменял свою эмоциональную, интонационную гамму. Ядовитый, разоблачающий господ и хозяев жизни, сатирический смех уступает место грустному, мягкому юмору, в котором берут верх чувства скорби и сострадания. Заметно усиливается в творчестве художника трагический элемент. В «Мелочах жизни» он уже явно господствует над комическим. Здесь что ни страница, то трагическая картина смерти людей. Одни из них убивают себя из-за невозможности жить в страшных условиях нужды, незащищенности, бесправия, нравственного угнетения (сельская учительница Губина, портной Гришка, юноша Крутицын).

---

[1] См. подробнее: А. С. Бушмин, Сатира Салтыкова-Щедрина, М.—Л. 1959, стр. 285—317.

Другие преждевременно гибнут, став, подобно студенту Чудинову, жертвой чахотки и голода.

Мрачный колорит «Пошехонской старины», с ее униженной, замученной и забитой толпой крепостных, говорит сам за себя. Художник не искал исключительного драматического случая, он увидел трагизм в буднях, в мелочах жизни, в ее обыденном течении. «Какие потрясающие драмы могут,— писал он,— выплыть на поверхность из омута мелочей, которые настолько переполняют жизненную обыденность, что ни сердце, ни ум, в минуту свершения, не трогаются ими»[1].

«Мелочи жизни» отличаются обилием рельефно воспроизведенных картин бытовой повседневности и в особенности глубиной проникновения в психологию измученных жизнью людей. Несомненно, нарастание трагических мотивов в произведениях последнего пятилетия связано с некоторыми личными обстоятельствами жизни Салтыкова-Щедрина. Его жестоко терзала и мучила болезнь; цензурный гнет стал еще более нестерпимым, а к этому прибавлялась необходимость налаживать, после закрытия «Отечественных записок» в 1884 году, сотрудничество в идейно чуждых журналах и газетах («Вестник Европы» М. М. Стасюлевича, «Русские ведомости» В. М. Соболевского).

Писатель в беседах с читателем-другом высказывал порой мрачные мысли о том, что осуществление высоких человеческих идеалов история, «худое время» отодвигают в неопределенное будущее. Но при этом он никогда не опускался до мизантропии, до неверия в человека, в его светлое завтра. Не с пессимистическим равнодушием, а с гневом смотрит он на мерзости современного политического режима. Взволнованно протестует он против покорности, против обывательской безыдейности и страстно зовет на борьбу за лучшую жизнь.

Салтыков-Щедрин до конца остался верен своему призванию передового идейного писателя. Разоблачительные картины пошехонского крепостничества — ответ сатирика реакционерам восьмидесятых годов, которые стремились вернуть страну к душевладельчеству, приукрасив его лживой идиллией патриархального мира и согласия.

9

Ни один из русских писателей — современников Салтыкова-Щедрина не испытал на себе таких цензурных гонений и беспощадных расправ, какие выпали на долю великого сатирика[2].

Царская цензура теснила и преследовала его всю жизнь. С горькой иронией он сам себя называл воспитанником цензурного ведомства. Ка-

---

[1] См. подробнее: Н. В. Яковлев, «Пошехонская старина» М. Е. Салтыкова-Щедрина, «Советский писатель», М. 1958.

[2] История борьбы Салтыкова-Щедрина с царской цензурой исследована в книге В. Е. Евгеньева-Максимова «В тисках реакции», М.—Л. 1926.

жется, нет у него ни одного письма, в котором он не излил бы своего возмущения действиями цензуры.

Отрицательными последствиями цензурных вмешательств были и отказ писателя от некоторых смелых творческих замыслов, и отказ от опубликования законченных произведений, иные из которых появились в печати только после смерти автора, и, наконец, всякого рода уступки и смягчения в тексте сатир в результате вынужденного приспособления к указаниям циркуляра или инструкции.

Но Салтыков-Щедрин принадлежал к числу тех революционных русских писателей, которых никакая цензура не смогла сломить. Подобно Белинскому, Герцену, Чернышевскому, Добролюбову, Некрасову, сатирик проявил необыкновенную смелость, настойчивость и неподражаемое умение через любые препоны цензуры проводить в массы читателей освободительные идеи. Салтыков-Щедрин стал мастером иносказания, завуалированной эзоповской речи. Об этом отлично сказал А. В. Луначарский: «Именно то, что свой тончайший и ядовитейший анализ русской общественности и государственности Щедрин умел виртуозно одевать в забавные маски, спасло его от цензуры и сделало его виртуозом художественно-сатирической формы» [1].

Салтыков-Щедрин сознательно изображал опасные в цензурном отношении вещи «двусмысленно», чтобы формально невозможно было предъявить обвинение [2]. Чрезвычайно важна во многих сатирах фигура рассказчика, повествователя.

Наиболее распространенный тип героя, от лица которого ведется рассказ,— оппозиционно настроенный интеллигент. Нередко мягкотелый, неустойчивый, беспринципный, он олицетворял фигуру либерала, служившую объектом сатиры. Но в то же время автор устами этого героя высказывал свои оценки. В случае цензурных придирок вся, так сказать, «ответственность» за произнесенные резкие речи возлагалась не на автора, а на критикуемого им героя [3]. Затем Салтыков-Щедрин поделил эти функции между двумя персонажами: благодушным фрондером-рассказчиком и его приятелем Глумовым, которому свойственны постоянно «придирчивое настроение духа», скепсис, ирония, желчь. Глумов словно бы воплотил авторский гнев, авторский сарказм, усиливая наступательные элементы салтыковской сатирической поэтики.

Превосходными обманными средствами в борьбе с цензурой служили аллегория, метафора, гипербола. В художественной природе этих «тропов» — заострение и преувеличение было вполне естественным и законным.

---

[1] А. В. Луначарский, Собр. соч. в восьми томах, т. 1, М. 1963, стр. 280.

[2] В статьях и комментариях к отдельным томам настоящего Собрания сочинений читатель в достаточно полной мере познакомится с конкретными приемами образных иносказаний салтыковского художественного шифра.

[3] См. специальное исследование этого вопроса: А. С. Бушмин, Сатира Салтыкова-Щедрина, М.—Л. 1959, стр. 436—464.

Ссылка на это обстоятельство не раз спасала сатирика от ударов цензуры. Изобразив сановного правителя в образе сказочного Топтыгина, автор не стесняясь обрушивал на него самые резкие эпитеты. Такое же разоблачающее усиление достигалось бытовой маскировкой политики самодержавия. Вместе с тем аллегорические образные средства открывали простор сатирическому остроумию, позволяли автору подойти к предмету с неожиданной стороны и оригинально осветить его [1].

Рассказать о настоящем в форме прошедшего времени, поведать об отечественном в маске зарубежного — эти традиционные эзоповские средства также широко и эффективно использовались в сатирическом творчестве Салтыкова-Щедрина.

Пожалуй, ни об одном из крупных русских писателей не было высказано столько разноречивых суждений, как о Салтыкове-Щедрине. Вокруг его имени и его творчества буквально кипела острая борьба мнений. Так продолжалось и на склоне его жизненного пути. У писателя были искренние, пламенные почитатели. Но и они порой, не улавливая подлинного исторического смысла его деятельности, поверхностно разбираясь в природе его таланта, в мотивах его последних произведений, наделяли художника несвойственными ему чертами прекраснодушного идеалиста — искателя некоей отвлеченной правды-истины.

Напротив, враги рисовали отпугивающе мрачный портрет сатирика, представляя его чуть ли не мизантропом, ни во что высокое и доброе не верящим циником, глумливым нигилистом.

При всех своих симпатиях к Н. К. Михайловскому, Н. А. Белоголовому, А. М. Унковскому, П. В. Анненкову и некоторым другим современникам, с которыми он общался в последнее десятилетие жизни, Салтыков-Щедрин, в сущности, был одинок. Он не был понят в семье, у него не было близких друзей-единомышленников. Не случайно он так часто с волнением говорил о читателе-друге, мнением и поддержкой которого очень дорожил.

Всем, кто близко знал Щедрина, бросались в глаза его прямота, его бурный темперамент. Он не терпел никакой фальши и неискренности, открыто и страстно изливал чувства гнева и ненависти к политическим врагам.

В суровом облике Салтыкова-Щедрина, который часто казался таким хмурым и нелюдимым и который сам признавался, что у него «тяжелый» характер, внимательные современники под корой «грубости» и угрюмой раздражительности разглядели светлые родники сердечности, доброты, подлинно чуткого отношения к тем, кого писатель уважал и ценил.

Лично знавшие сатирика Чернышевский, Некрасов, Тургенев, Л. Толстой, Гончаров, Островский, Достоевский оставили в своих письмах, дневниках и заметках проницательные, отличающиеся исторической масштаб-

---

[1] См. Я. Эльсберг, Вопросы теории сатиры, «Советский писатель», М. 1957, стр. 360—369.

ностью и глубиной отзывы о его могучем писательском даровании, принципиальности, свойственном ему высоком чувстве общественного долга, его проникновенной любви к России и к родному народу.

К великому сатирику в конце его жизни искренне тянулась революционная молодежь. Старшая сестра Ленина — Анна Ильинична Ульянова (Елизарова) сообщила в своих воспоминаниях о том, как в 1885—1886 годах больного писателя посетили студенческие делегации и в их составе она сама с братом Александром Ульяновым. «Наш любимый писатель» — так от имени передовой учащейся молодежи называет Салтыкова-Щедрина А. И. Ульянова [1].

Салтыков-Щедрин не был участником революционного подполья. Исторический смысл деятельности сатирика в том, что страстное критическое слово писателя-демократа и было его делом в освободительной борьбе русского народа. Вместе с тем современники свидетельствуют о встречах писателя с видными революционерами (Г. Лопатиным и др.), о том, что он, будучи руководителем «Отечественных записок», смело печатал на страницах журнала произведения участников революционного движения и оказывал им разнообразную помощь.

28 апреля (10 мая) 1889 года Салтыков-Щедрин умер. Чувства глубокой скорби трудящейся России трогательно выразили в своем бесхитростном адресе тифлисские рабочие. «Смерть Михаила Евграфовича,— писали они вдове умершего сатирика,— опечалила всех искренне желающих добра и счастья своей родине. В лице его Россия лишилась лучшего, справедливого и энергичного защитника правды и свободы, борца против зла, которое он своим сильным умом и словом разил в самом корне. И мы, рабочие, присоединяемся к общей скорби о великом человеке» [2].

* * *

Главное, что отличало Салтыкова-Щедрина от других больших русских писателей-современников, был его сатирический талант. Это более или менее ясно видели все. Но что собой представлял смех сатирика, какова его природа, источники, функция, каково его значение — эти вопросы хотя и затрагивались критикой, но получали беглое освещение, очень часто одностороннее и ошибочное.

Не оставляла никаких сомнений истинная цель реакционных катковско-буренинских квалификаций салтыковского смеха как фельетонного, глумливого, умеющего лишь потешать и развлекать толпу.

Но и в выступлениях сочувствующих сатирику авторов из либеральных и демократических кругов нередки были случаи непонимания его творчества. На страницах журналов популяризировались теоретически со-

---

[1] «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников». Предисловие, подготовка текста и комментарии С. А. Макашина, М. 1957, стр. 399—401

[2] «Литературное наследство», 1934, № 13—14, стр. 221—222.

вершенно неосновательные взгляды на сатиру как на низший род литературы. «Как бы ни был едок смех сатиры,— утверждал один из журнальных критиков,— она не может иметь прямого руководящего влияния и является не больше как второстепенным подспорьем другим более серьезным и положительным формам литературной мысли»[1].

На этом основании даже сочувствующая Салтыкову-Щедрину печать выступала с близорукими советами, стараясь отвлечь его от острых сатирических тем и жанров, рекомендуя сосредоточивать свои силы на «более художественном» творчестве.

Между тем смех Салтыкова-Щедрина, если попытаться определить его специфику в самом общем виде и пользуясь терминологией Чернышевского,— это смех над тем в человеческой жизни, что, будучи внутренне ничтожным, силится казаться великим, обнаруживает «неуместную, безуспешную, нелепую претензию».

Монархическая Россия после 1861 года «силилась» казаться процветающей страной, страной свободы, прогресса. С помощью смеха Салтыков-Щедрин сорвал маску, разоблачил фальшивую претензию. Он развенчал эпоху «великих реформ», вскрыв ничтожность ее результатов, засилие крепостнических пережитков во всех сферах русского общества. Он показал бесславную эволюцию русского либерализма, превратившегося в панегириста помещичье-буржуазного хищничества. Под пышными ризами самодержавия как могучей «устроительной силы истории» салтыковская сатира различила угрюм-бурчеевщину, деспотизм, удушающий живую жизнь, повергающий народ в пучину неисчислимых бедствий, вредный «призрак», место которому уже давным-давно на историческом кладбище. В священных «союзах» и принципах современного общества, призванных демонстрировать его гармонию, сатира Салтыкова-Щедрина обнажила кричащие антагонизмы: моральный развал семьи, воровское, грабительское созидание собственности, ложь, лицемерие и пустословие религиозных заповедей.

Салтыковская сатира проделывала огромной исторической важности очистительную работу. Она революционизировала сознание живых сил нации, развеивала предубеждения, страх и почтительный трепет, которые внушались помпезной внешностью Российской империи; она убивала обольщение и исторические надежды, которые возбуждала в обществе тщившаяся объявить себя идеальной и вечной буржуазная цивилизация. Смех — «оружие очень сильное,— заявлял сатирик,— ибо ничто так не обескураживает порока, как сознание, что он угадан и что по поводу его уже раздался смех».

Горький так передавал слова В. И. Ленина о смехе: «Юмор — прекрасное, здоровое качество. Я очень понимаю юмор, но не владею им. А смешного в жизни, пожалуй, не меньше, чем печального, право, не меньше»[2]. Салтыковский смех выразил душевное здоровье русского на-

---

[1] «Дело», 1874, № 1, стр. 39.

[2] Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 17, М. 1952, стр. 19.

рода, находившегося в преддверье активного революционно-победоносного исторического действия.

Великий писатель подчас скромно оценивал свою роль в литературе, значение своего творчества. «Писания мои,— указывал он,— до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно, как иллюстрация этой современности». Однако сатирические типы писателя пережили свое время. Ярко запечатлев зло и уродства своей эпохи, салтыковские писания полны силы и живого значения и в наши дни,— и как раз именно потому, что салтыковские образы не сатирические зарисовки-однодневки, а широчайшие художественные обобщения.

«Новая жизнь еще слагается; она не может и выразиться иначе, как отрицательно, в форме сатиры, или в форме предчувствия и предвидения»,— как-то заметил Салтыков-Щедрин. Вот это качество — сатирически разоблачать старое, отживающее, предвидеть и утверждать новое, передовое — в высшей степени было присуще творчеству самого художника. Как разительную противоположность изображаемым отношениям и людям эксплуататорского, собственнического общества сатира Салтыкова-Щедрина внушала поколениям читателей идеал свободного и гармоничного развития человечества, положительного человеческого характера. Вдохновенные и колючие страницы салтыковских сатир способны эффективно помочь воспитанию нового, социалистического человека — человека глубоко идейного, цельного, духовно богатого, умеющего широко понять и оценить жизнь как творчество, любящего народ и самоотверженно борющегося за его счастье.

Писатель-сатирик с такой энергией, силой и очевидностью выставил на позор безобразие и зло пороков прошлого, что его сочинения и сейчас морально и эстетически как бы освобождают людей от собственнических предрассудков, привычек и пережитков, внушают непримиримую ненависть к паразитизму и всяческому тунеядству, бюрократическому своеволию, бездушию, пустословию, кичливому хамству и всяким иным темным явлениям, которые еще гнездятся кое-где в щелях и закоулках нашего советского общества.

Своим разоблачительным острием сатира Салтыкова-Щедрина направлена сегодня против мира капитализма. Ведь политика идеологов империализма и антикоммунизма исполнена лживой иудушкиной игры в демократию, ханжеской, лицемерной проповеди будто бы мирных и будто бы гуманных намерений, под прикрытием которых прокладывают себе дорогу чудовищный милитаризм и агрессия.

Салтыков-Щедрин дорог советским людям своей страстной враждой к эксплуататорским классам с их жестокостью и волчьей моралью.

Историческая роль Салтыкова-Щедрина в русской литературе заключалась, помимо всего остального, в том, что он талантливо закрепил, продолжил и развил то, что составляло одну из самых оригинальных черт русского критического реализма — его юмор, который основывался не на

изображении просто комического, а, как говорил еще Белинский по поводу юмора Гоголя, на глубоком понимании жизни, на раскрытии ее глубинных начал во всем многообразии их проявлений.

В ответ на письмо, в котором сатирик несколько пессимистически расценивал итоги своей жизни и литературной деятельности, И. С. Тургенев писал 24 сентября 1881 года: «Кто возбуждает ненависть, тот возбуждает и любовь. Будь Вы просто потомственный дворянин М. Е. Салтыков — ничего бы этого не было. Но Вы Салтыков-Щедрин, писатель, которому суждено было провести глубокий след в нашей литературе,— вот Вас и ненавидят — и любят, смотря кто. И в этом «результат Вашей жизни», о котором Вы говорите,— и Вы можете быть им довольны» [1].

Творческий опыт литературы социалистического реализма показывает и подтверждает вполне не только плодотворность, но и необходимость обращения к традициям щедринской сатирической классики. Достаточно вспомнить сатирико-комедийные произведения В. Маяковского и Д. Бедного, знаменитые сатирические романы Ильфа и Петрова.

Маяковский-сатирик с поистине щедринской зоркостью различал любившие маскироваться под новое и благовидное пороки современной ему действительности, клеймил старое помпадурство, успевшее превратиться в «комчванство», пошлую мораль возродившегося молчалинства, откровенную дрянь обывательщины и мещанства. Окрыленная идеалом социалистического строительства сатира Маяковского приобретала невиданную ранее действенность, идейную целеустремленность. Несомненно генетическое родство во многом сатирического типа Клима Самгина с щедринским Иудушкой — и тот и другой гениальное художническое воплощение духовной пустоты, убивающей в человеке все живое и естественное.

В произведениях видных советских писателей отрицательные типы создаются в значительной мере средствами и приемами завещанного Салтыковым-Щедриным сатирически направленного психологического анализа. Лицемер и предатель Грацианский из «Русского леса» Л. Леонова скорее всего из породы Самгиных. Но в той мере, в какой в горьковском типе опосредствована щедринская традиция, леоновский образ примыкает к ней, свидетельствуя о ее высокой творческой ценности и в наши дни.

Сатира Салтыкова-Щедрина продемонстрировала высоту революционно-демократического, социалистического идеала лучших умов своей эпохи и своего народа. Развитие советской сатиры будет тем успешнее, чем энергичнее она будет выражать и утверждать величие коммунистического идеала нашего времени. Сатирическое наследие Салтыкова-Щедрина для всего современного искусства — источник поучительных и плодотворных идейно-художественных традиций.

Е. Покусаев

---

[1] И. С. Тургенев, Собр. соч., т. 11, М. 1949, стр. 368.



ПОВЕСТИ

ПРОТИВОРЕЧИЯ

Повесть из повседневной жизни

(В. А. Милютину)

> Natura duce utendum est: hanc ratio observat, hanc consulit: idem est ergo beate vivere, et secundum Naturam.
>
> *Seneca,* De vita beata, cap. 8[1].

ПРЕДИСЛОВИЕ

Поистине, я нахожусь в решительном затруднении перед вами, читатель. Конечно, я много наслышался о вашей снисходительности и благосклонности к пишущей братии, но, вместе с тем, видя литературу наводненною отвсюду повестями с так называемыми занимательными сюжетцами, я сильно боюсь за мою нехитрую повесть. Я сам согласен, что гораздо лучше было бы, если б и за завтраком — шипучего, и за обедом — шипучего, и за ужином — тоже шипучего; но в том-то и сила, что такое радостное положение вещей является только в виде исключения, и то весьма и весьма редкого, а в действительности-то люди большею частию обходятся не только без шипучего, но и без обеда... Что же мне делать? как выйти из затруднительного положения? Решительно, остается одно только утешение — надежда на добродушие и снисходительность вашу. Разумеется, я мог бы и вовсе не печатать этой повести, но... но — вот видите ли — это «но» еще более увеличивает мое затруднение...

А с другой стороны, трескучие эффекты, кажется, начинают надоедать; балаганные дивертисманы с великолепными спектаклями выходят из моды; публика чувствует потребность отдохнуть от этого шума, которым ее столько времени тешили скоморохи всякого рода, опомниться от неистовых воплей и кровавых зрелищ, которые притупили ее слух, испортили зрение. Все эти соображения, вместе взятые... Но тут

---

[1] Надо пользоваться и руководствоваться законами Природы: ее созерцает и с нею советуется разум; следовательно: жить счастливо — значит жить сообразно с Природой. *Сенека,* О счастливой жизни, гл. 8 *(лат.).*

перо мое снова отказывается писать, и я поневоле нахожусь в невозможности договорить начатую фразу.

Есть еще одно обстоятельство, которое заставляет меня представить читателю предлежащую повесть. Человек, в ней действующий, был одним из лучших моих друзей, к которому я немало был некогда привязан. Конечно, это была странная и даже несколько тяжелая, неуживчивая натура, но он сам так глубоко понимал свои недостатки, так много пострадал от них в своей жизни, что нельзя было не сочувствовать ему, не сожалеть об нем. Я давно уже потерял его из виду: где он и что с ним сталось — что до того? Дело в том, что, имея в настоящую минуту в руках своих много бумаг, относящихся до его жизни, большую часть которых составляют его собственные письма, писанные к различным лицам, и изучая на свободе эту личность, я нашел в ней так много примечательного и достойного размышления, что решился представить их на суд публики. Покуда издаю только одну часть этих бумаг; от приема, который они заслужат у читателей, будет зависеть видеть в печати и еще несколько отрывков.

Во всяком случае, слагая с себя всякую ответственность за достоинство и содержание предлагаемых писем, смею уверить, что я в этом случае не более как добросовестный издатель их.

ОТ НАГИБИНА К г. NN

Село Ряплово

И дерзко бросить им в глаза
железный стих,
Облитый горечью и злостью...

Вот в каком положении застало меня любезное письмо ваше! Оно, правда, если хладнокровно рассудить, нынче железным стихом никому не угрозишь — не то, что в бывалое время; да уж так, более для метафоры, от безделья с языка сорвалось, да и память незабвенного поэта почтить чем-нибудь надо.

Но письмо ваше — эта юная, благоухающая элегия неопытного сердца — разогнало мизантропическое настроение духа моего; оно напомнило мне лучшие годы моей молодости, те годы, когда сердце человека, полное трепетных предчувствий, полное неясного и несознанного еще будущего, ко всему стремится, все приемлет и жадно ищет предмета, к которому могло бы оно привязаться, с которым могло бы составить одно нераздельное и неслитное целое (в юности бессмыслица позволительна и даже в некоторой степени нужна). Это, коли

хотите, довольно неестественное состояние, но тем не менее, полное прелести и обаяния. Неестественно оно, потому что пожирающая нас жажда привязанности не имеет предметом чего-либо действительного, напротив, мы с каким-то презрением отворачиваемся от той среды, в которой живем, и создаем себе особый мечтательный мир, который населяем призраками своего воображения, в котором находим удовлетворение всем лучшим, задушевным желаниям нашим, одним словом, такой мир, где мы волшебники, где по манию нашему являются уставленные яствами столы, являются чудные, светлоокие женщины с распростертыми объятиями, с жгучими поцелуями и неиссякаемою негою в глазах... Вот-с какие удивительные дела наяву нам снятся! Мудрено ли же, что после таких вкусных умственных обедов и не менее вкусных объятий, обед от кухмистера уж и не нравится, а в объятиях какой-нибудь Дуняши (весьма, впрочем, достойной девицы) покажется и тесно и душно. Душа ищет простора и света, а ей дают комнатку в три аршина и окнами на помойную яму; душа хочет сгореть от томления и тоски наслаждения, а ей предлагают весьма умеренную теплоту, градусов в двадцать по Реомюру. Где же тут сгореть, где тут разгуляться? Везде тесно, везде холодно! Конечно, ни гореть, ни гулять не следует, а следует жить и учиться, но, повторяю, все это весьма извинительно в молодости, все объясняется и воспитанием, более наклонным к пустой мечтательности, нежели к трезвому взгляду на жизнь, и крýгом занятий наших, которые ограничиваются только спекулятивными науками, так что человек, вместо того чтоб изучать науку с начала, изучает ее с конца, а потом и жалуется, что ничего понять не может в этом вавилонском столпотворении.

Такое воспитание совершенно губит нас; истощенный беспрестанным умственным развратом, человек уже теряет смелость взглянуть в глаза действительности, не имеет довольно энергии, чтоб обнажить сокровенные пружины и объяснить себе кажущиеся противоречия ее. Спекулятивные науки напыщают ум человека, делают его скептиком, так что после он уж и хвалится своим скептицизмом, и говорит, что в нем-то весь шик, последнее слово философии. Вот к каким печальным результатам приводит эта милая юношеская наивность, это простодушное стремление любви к чему и как попало, лишь бы любить, а там — хоть пропади и разрушься весь мир.

Но что понятно и извинительно в молодости, то не всегда прилично человеку, хоть несколько вышедшему из пеленок привычки.

Через шесть лет по выходе из школы оставаться все тем

же студентом, все тем же пламенным поклонником икса, говорить только о человечестве и забывать о человеке — глупо, не только глупо, но и подло. Нет! пора пройти периоду животненного развития, пора объяснить себе, что старый жилет всетаки старый жилет — ни более, ни менее, и если был он свидетелем какого-либо мгновения нашей жизни, то совершенно невинно, да и мгновение-то уж давно прошло. Пора нам стать твердою ногою на земле, а не развращать себя праздными созданиями полупьяной фантазии; пора объяснить себе эту стоглавую гидру, которая зовется действительностью, посмотреть, точно ли так гнусна и неумыта она, как описывали нам ее учители наши, и если это так, то какие причины этой разрозненности частей целого, и нет ли в самой этой борьбе, в самой этой разрывчатости смысла глубокого и зачатка будущего... Неужели всю жизнь сочинять стихотворения, и не пора ли заговорить простою, здоровою прозою?

Вот и вы, например, любезный друг, настроя лиру свою на тон унылый, негодуете на бессмыслие обстоятельств, поглотивших в себе, как в бездонной пучине, все лучшие свойства человека: его способность к самоотвержению, добродетели и любви — и давших развитие одному только чувству эгоизма. Милый мой, вы и не замечаете, что именно вы потому и ропщете, потому и трудно и тяжко вам жить, что нет выхода вашему эгоизму. Хотеть, чтоб человек перестал быть эгоистом, значит хотеть, чтоб он перестал быть человеком, потому что эгоизм, наконец, есть определение человека, сущность его; в эгоизме весь человек; а вне его одно безразличие. Я знаю очень много господ, которые, сытно пообедав, громят от нечего делать действительность, меркантильное направление века, и разожженная мало-помалу всяким нравственным развратом фантазия их разыгрывается, и стоящие вокруг с разинутыми ртами лакеи с изумлением слушают, как господа рассуждают о правах всех и каждого на наслаждение жизнию и всем обещают равенство... в будущей жизни. Конечно, оно иногда приятно помечтать о том, что́ было бы, если б было вот так, а не вот этак, но ведь мечтать обо всем можно, даже и о том, что́ было бы, если б ничего не было!

Во всяком случае, подобные рассуждения более приятны, нежели полезны, потому что действительности-то все-таки переменить нельзя, как нельзя, чтоб дважды два было не четыре, а пять; потому что она сама не что иное, как результат, произведение, в котором и множитель, и множимое равно нам даны, как факт глухой, не терпящий рассуждений.

Человек не один на земле; вне его существует другой, отличный от него мир, который он должен, однако ж, понять,

как необходимое дополнение себе,— скажу более, без которого он сам себя понимать не может. И в этом-то усвоении человеком внешнего мира, в этом уяснении отношений своих к нему и состоит главная задача, весь смысл его жизни. Задача огромная, и согласитесь, что человек-младенец не мог решить ее, потому что не было у него ни опытности, ни знания вещей, с которыми обращался, а доро́г к приобретению и того и другого бесчисленное множество; кто может поручиться, которая действительно истинна? Можно ручаться только за то, что, раз избрав себе путь, человек не изменит ему и логически верно разовьет все крайние пределы отправного пункта. Вот вам и тайна происхождения зла, вот и тайна разумности сущего.

Вы спросите, может быть, меня, что же будет, когда человек исполнит свою задачу, когда он определит свои отношения к внешнему миру, когда эта столько лет разрозненная антиномия — человек и внешняя природа — сольется наконец в один величественный синтез? Отвечаю: тогда прекращается прогресс человека, тогда наступает период его успокоения, и так как жизнь обусловливается движением и исключает идею инерции — наступает период смерти...

Тяжело мне писать вам это, тяжело смущать вас; но ведь все равно, как ни возьмитесь, результат все один и тот же; материалист ли вы или идеалист, оправдываете ли действительность или не признаете ее разумности,— если вы последовательны, то хоть против себя, а все же придете к одному всепоглощающему концу — смерти, ибо, во всяком случае, результатом всех этих систем лежит одна и та же венчающая их идея счастия, равносильная смерти.

Но я, может быть, и надоел уже вам, самовольно взяв на себя роль ментора, и потому, кончая здесь письмо свое, обещаюсь в следующий раз быть менее нравоучительным и более разнообразным. В настоящую минуту я еще так мало вгляделся в окружающих меня людей, что решительно ничего не имею сказать вам о житье-бытье своем. А впрочем, и вперед все-таки за разнообразие поручиться не могу, потому что в жизни-то его не обретается, потому что декорации-то ее всё одни и те же: сегодня день и завтра день; а в этом я, право, уж не виноват!

ОТ ТОГО ЖЕ К ТОМУ ЖЕ

...Надо вам сказать, что я состою теперь *на кондициях* у одного довольно богатого помещика, г. Крошина, близкого соседа моего отца. Он дает мне пятьсот рублей, удовольствие

жить в деревне и хороший стол в продолжение трех месяцев; я же, с своей стороны, обязан научить в это время разному ученью двух его сыновей и сделать их способными к поступлению в гимназию. Обязанность, как видите, быть в некотором смысле волшебником, что немало льстит моему самолюбию. Конечно, Крошин воображает, что он делает этим мне и моему семейству благодеяние, что́ он, по свойственной всем такого рода людям неделикатности, и дал мне заметить... Впрочем, я не обращаю на это большого внимания.

Заметьте, однако, мой милый, что человек богатый, как бы мягок и цивилизован ни был, коль скоро принимает услуги бедного, непременно даст ему почувствовать всю тяжесть своего мнимого благодеяния. И в этом отношении чем голее, чем грубее выразится это напоминание, тем оно легче, тем сноснее для того, на кого падает. И образованный человек, уж по одному тому, что он имеет, а я не имею, все-таки не настолько отказался от общественных предрассудков, чтоб не видеть простого наемника в человеке, которого услугою он пользуется; но так как он понимает, что иметь и не иметь вовсе не от нас зависит, что это более игра случая, нежели результат разумных причин, то и старается всячески сгладить, сделать неприметным расстояние, которое разделяет имущего от неимущего. Но уверяю вас, этот невинный эклектизм гораздо невыносимее для человека мыслящего, нежели всякие медвежьи выходки степного невежды, и мне всегда становится неловко, когда я вижу, как стережет себя, как взвешивает человек каждое свое слово, чтоб не оскорбило оно вас: и не понимает он, добродетельный, но глупый, что это-то самое и обличает в нем молчаливое признание своего превосходства над наемником.

Прошу вас, однако же, извинить меня за мои отступления: это уж такая болезнь — ничему не доверяться, ничего не принимать, не анализировав наперед вещи в самых малейших ее оттенках. Итак, удовлетворив этой потребности, продолжаю свой рассказ. И, во-первых, опишу вам семейство Крошиных.

Каких, подумаешь, нет на свете людей! сколько предметов для изучения, сколько оригинальных, совершенно особенных типов остались никем не замеченными, никем не изъясненными! Действительно, в публичной жизни эти люди как будто бы стираются, подходят под общий уровень: ничего яркого, ничего определенного! Все они, с немногими разве исключениями, как будто вылились в одну формулу: добрый христианин, почтенный отец семейства, благонамеренный гражданин, друг человечества... и более ничего не скажете вы, как ни ломайте себе голову. И никогда не узнаете человека, покуда су-

дите об нем только по публичным его отношениям, пока не спуститесь в самую тесную сферу — на задний двор его жизни, где тянется она, бледная и вялая, час за часом, как та сказка о черной и бурой корове, которою надоедали нам в детстве наши мамки. Там-то, среди этого сора и пыли, называемого хозяйством, полный разгул его скопидомскому эгоизму; там целые дни, как крот, неутомимо роется и копышится он, весь в сале и грязи, сам не отдавая себе полного отчета — зачем и почему. И куда девались это благоприличие, эта благонамеренность, эта приятная улыбка, благосклонный взгляд? Исчезло все, как по волшебному манию!.. Осталась какая-то слякоть...

И если вы человек с эстетическим чувством, с высшими взглядами на жизнь, если в природе вы хотите изучать только изящную ее сторону — и не подходите близко к этим грязным существам: они слишком оскорбят нежные органы ваши. Если же, напротив, вы хотите знать жизнь во всех ее явлениях; если жизнь, как бы уродливо она ни выразилась, сама по себе есть уже отрада и утешение; если, говорю я, вы сознаёте, что солнце, блистающее в высоте, равно озаряет дворцы и помойные ямы, богатство и нищету, добродетель и порок,— в таком случае вы последуете за мною и с любовью будете изучать мелкую, кропотливую жизнь этих выродившихся людей, и — кто знает? — может быть, из этого изучения что-нибудь да и выйдет!

И что за странные и, по-видимому, беспричинные противоречия представят вам эти будничные характеры! В них как-то спокойно стоят себе рядком вещи самые противоположные, понятия, друг друга уничтожающие: с одной стороны, самый холодный, расчетливый эгоизм, с другой — покорность самая униженная, доходящая до совершенного отрицания всякого человеческого достоинства; с одной стороны, жестокость возмущающая, высочайшее равнодушие, с другой — великодушие, любовь! Умное и глупое, высокое и смешное — и всё это вместе, всё рядом и всё во имя одного и того же начала добра...

Представьте себе, например, хоть такого человека, как Крошин. Иногда на него нападают минуты, по которым не знающий его мог бы заключить, что он человек с сильною, по-своему, волею, которая заставляет преклоняться перед своим неразумием все, встречающееся ей на пути. Совсем нет! это на него, что называется, такой стих нашел, а на деле-то он почтенный отец семейства, и так далее до бесконечности, совершенно под башмаком у своей жены, ходящий каждое воскресенье в церковь, подтягивающий басом дьячку, подаю-

щий отцу иерею кадило, и больше ничего... Если взглянуть на его внутреннюю жизнь — тоже ничего самостоятельного: все одно да одно; встает он рано, бог знает для каких причин, потому что в присутствии его решительно никто не нуждается; потом пьет чай, потом идет в поле, более для проформы, посмотреть на работы, и тут непременно выругает мужика-лентяя, хотя бы и не было никакой причины ругаться; потом обедает, и за обедом непременно бранится, отдыхает, пьет чай и опять спит... Сегодня так, и завтра так: я вам говорю, что это добрый семьянин и прочая, совершенно не имеющий своей воли, делающий все бессознательно, по привычке, а не по природе необходительный с своими подчиненными, по привычке покорный до самоуничтожения своей жене, которая не дает ему ни копейки денег.

Но и у этого человека есть свой форс, своя блажь, и сохрани бог, если кто-нибудь вздумает ему противоречить в этом случае: он забудет все, забудет обыкновенную свою кротость и покорность, сделается деспотом и прибьет жену. Блажь эта состоит именно в том, чтоб не прерывали привычных его отправлений, и если настал для него час ругаться — он и ругается, и никакое дело не отвлечет его; как у всех слабых, упрямство заменяет в нем силу воли, и им хочет он выразить, что он глава в доме. В самом деле, никто ему и не прекословит, никто и не обращает на него внимания, потому что все знают, что пройдет час — и сердце пройдет, и будет он в следующий час опять добродетелен. И потому будь самый честный человек и осмелься ему противоречить — сделаешься злейшим врагом и сопостатом его; а лакей, пьяница и мошенник, слывет в его мнении за образцового именно потому, что поддакивает ему. Около него образовалась даже какая-то особая шайка лентяев, которых сама Марья Ивановна, со всею своею гигантскою властью, не может уничтожить, которых минуют всякие рекрутства и домашние расправы, врасплох застающие виноватого лакея. Детей своих Игнатий Кузьмич любит тоже по привычке, то есть сует им беспрестанно в рот руку для напечатления на ней поцелуя; но тем и ограничивается его участие в них. Он часто говорит об них, о том, как бы устроить их, но желания его самые глупые, самые уродливые.

Мне рассказывал один из соседей, что когда умерла его старшая замужняя дочь, он стал перед ее гробом, по-видимому, весьма опечаленный такою потерею, но горесть его выразилась самым комическим образом: «Уж за что же,— говорил он,— вы нас оставили? Уж за что ж вы рассердились на нас? Маленькие вы были — мы вас воспитали, мадаму для вас мы наняли, платья вам покупали! подросли вы — замуж мы

вас выдали, приданое вам дали! ездили вы к нам — лошадей ваших овсом кормили! уж за что вы нас оставили, за что ж рассердились на нас?» Но когда ее похоронили и все гости разъехались, он был уже равнодушен и только спрашивал у своих фаворитов: «Что, брат Степ,— или,— что, брат Левка, а ведь схоронили-то мы ее, кажется, как следует... а? кажется, как следует?..» — и более ничего, как будто и не было у него дочери, как будто он и не плакал еще за полчаса перед этим.

С первою своею женою Крошин обращался жестоко, потому что она была женщина слабого здоровья, обиды и ругательства мужа не разбивались об нее, как об каменную стену, а оскорбляли глубоко, вызывали на глазах ее слезы, а ему того-то и надобно было, и не было меры его буйству, так что и при жизни веяло от нее как-то могилою, как будто бы умер уж давно человек, да похоронить его забывают. С Марьей Ивановной уж другое... то есть не то чтоб он не был груб по-прежнему, да на него не обращают внимания, оставляют ему для потехи его бессильную брань; зато уж во всем прочем располагают им как куклою, возят куда хотят, и не знает он, что делается у него в доме и в каком положении хозяйство. Коли хотите, он никогда не целует у Марьи Ивановны руки, а сам заставляет ее целовать свою руку при всяком удобном случае, поносит ее часто при всех, не жалеет никаких обидных намеков, отрекается от своих детей, но тут же, впрочем, не более как через пять минут, обращается к ним с ласками, просит прощения и со слезами на глазах бормочет им всякий вздор.

Иногда на Игнатия Кузьмича вдруг нападают минуты скептицизма: он говорит, что читал Эккартсгаузена и уж знает, как создан мир... и начинает выводить силлогизмы не совсем верные. Например, на днях сидели мы за ужином; Крошин был в апогее скептицизма. «Ох, уж эти мне ученые,— говорил он,— все они выдумали! а что́ и науки-то, и человек-то что́ — тлен, былие, животное, червь, а не человек — и в Писании сказано! Да ведь и собака тоже животное! Ну, человек — животное, собака — животное, вот и выходит — что́ человек, что́ собака — все одно, все тлен, все земля и в землю обратится!»

И всего несноснее в этом, что по большей части с подобными рассуждениями он ко мне обращается!

Так вот каков глава семейства, в котором я теперь живу. Что касается до Марьи Ивановны... но признаюсь вам, вот уж почти три года я знаю ее, а до сих пор еще хорошенько не понял. В последнее время, находясь с нею в беспрестанных сношениях, я пристальнее вглядывался в этот странный ха-

рактер — и все-таки ничего не могу сказать об нем определительного. Несомненно только одно, что в ней есть все элементы заботливой матери, хорошей хозяйки, даже доброй жены, но все это покрыто какою-то плесенью, все это так далеко зарыто, что нужно долго всматриваться, чтоб из-за этой грубой женщины увидеть мать, из-за женщины-кулака — бережливую хозяйку. Конечно, и этой невыгодной метаморфозе нужно искать источник в первоначальном воспитании, и действительно, по размышленье зрелом, метаморфоза оказывается весьма естественною и даже необходимою. Чтобы понять Марью Ивановну, нужно знать, что она с юных лет была брошена на произвол окружавших ее нянек, что отец ее был старый скряга и воспитывал ее на медные деньги. До самого замужества она была в подчинении у всех в доме, начиная от отца-скряги и кончая доверенным его, Степаном Лысым, ежедневно приносившим барину отчет по делам. Часто слыхала она от отца только одни, всегда неизменные слова: «Не дурить, Машка, не дурить, поганка! эй, побью, право, побью, крепко побью!» — и больше ничего; разве иногда, в праздник, Иван Семенович подзывал ее к себе и, давая четвертак, приговаривал: «Да ты у меня смотри, береги копейку на черный день! а то, небойсь, пряников купишь, сластолюбица! на тряпье истратишь, чревоугодница! дьяволу послужишь...» — и уходил обратно в комнату, охая и бормоча себе под нос: «О-о-ох, подлец нынче стал человек, мотыга — человек!» — хотя сам внутренно и радовался, что подлец и мотыга стал человек, потому что только на этих блестящих качествах и зиждилось все его благополучие.

Вышла Марья Ивановна замуж — и от этого не стало ей легче. Конечно, теперь она вздохнула свободно; но этот вздох был не в ее пользу. Будь у нее другой муж — из нее, может быть, и вышло бы что-нибудь; но вы поняли из предыдущего, что́ такое Игнатий Кузьмич, и Мария Ивановна точно так же поняла его. В детстве она была бита, теперь желает сама проявиться в личности других; в детстве она была в подчинении и у Ефремки, и у Степки, теперь она барыня и задаст себя знать и Ефремке, и Степке, и чадам их. И любо иногда смотреть, как она распоряжается! В детстве она жила среди лишений и, следовательно, имела все время, чтобы поразмыслить, какая сладость заключается в деньгах, что блажен, кто имеет, и презрен, кто не имеет их; поэтому теперь преобладающая в ней страсть — страсть к деньгам, и нет того блага, которым бы она не пожертвовала в пользу их. Разумеется, сначала, покуда еще, что называется, молодо-зелено, она желала денег, как средства, но потом мало-помалу до того втянулась в эту

бездонную пучину, называемую «благоприобретением», что деньги из средства сделались целью, и целью постоянною, не дающею ей ни днем, ни ночью покоя. Из этого вы видите, что хотя начала она и от противного, а кончила на том же, на чем остановился и отец ее, с тою только разницею, что в ней эта страсть деятельная, беспокойная, тогда как в страсти Ивана Семеновича было что-то безжизненное, апатическое, отчего как-то страшно и холодно становилось живому человеку.

И действительно, в сфере «благоприобретения» все существо Марьи Ивановны как будто преображается; она стряхивает с себя природную лень, она не спит ночи, готова ездить в тряской телеге по сквернейшим дорогам, кланяется и поит повытчика с распухшею физиономией и подбитыми глазами, называет его благодетелем, призывает на помощь все обольщения: свою одинокую сиротскую долю, свое женское незнание, материнскую любовь,— и когда умиленный повытчик, искривив рог и подмигивая глазом, говорит, запинаясь от частых возлияний: «А что, матушка, разве Игнатий-то Кузьмич... того?.. дела-то плохи...» — «Ох, уж не говори мне, батюшка,— отвечает Марья Ивановна,— уж куда ему, старому! уж что за муж — только видом-то муж!.. отдали меня молодую, неопытную... Хорошо, родной, что еще бог в чистоте поддерживает, а то — сохрани господи!..» И разнеженный повытчик хлопочет, и просьбы противников залеживаются, и дело затягивается, а Марья Ивановна торжествует.

И нет ничего оскорбительнее для живого человека, как видеть всю эту жизнь, вечно устремленную на медные гроши, из которых неимоверными усилиями составляются рубли, сотни и так далее. И придут наследники и будут тоже составлять из копеек рубли, и еще наследники, и все тот же процесс благоприобретения...

А между тем такой тип женщины-кулака встречается весьма часто, и особенно в провинциях, где жизнь женщины исключительно сосредоточена в узеньких рамках фамильных ее отношений. В столице сфера эта обширнее; женщина развлекается между семейством и обществом, у нее есть уже обязанности внешние, законы приличия, которых она не может нарушить. В провинции же вокруг нее все тихо, все умерло... Надо же как-нибудь доконать, добить это несносно тянущееся время, потому что праздность душит, тяготит человека, каков бы он ни был: вот она и погрязает по уши в своей семейной грязи, и нет меры обвешиваньям, обмериваньям, сплетням и тому подобным дрязгам!

И по совести, нельзя сказать, чтоб она на волос во всем этом была виновата: бросьте ее в одни обстоятельства — будет

один результат; окружите ее другою срединою, и вся физиономия ее внезапно изменяется: те же струны, да звуки другие дают! Тут случайность, а не разумная причина; тут просто фатум, и она бессильна против него... Не дайте человеку есть, он, может быть, умрет с голоду, но скорее всего украдет и будет жить; если б не мириться нам кое-как с действительностью, не знаю, много ли осталось бы людей на свете! И не говорите мне, что голод не пример, что питание есть первое и необходимое условие жизни: пример, милый мой, пример; все потребности — естественные или развитые в нас цивилизацией — равно кричат об удовлетворении, как и голод, а иногда и пуще; иногда ложное понятие о чести решает в одну минуту участь человека: все зависит от степени развития человека, от положения его в обществе.

Третье лицо, и, конечно, самое интересное, есть дочь Крошина, Таня. Когда я был еще ребенком, отец мой часто езжал со мною к Крошиным, и нередко по целым месяцам гостил я в этом семействе. Тогда Игнатий Кузьмич был женат на первой жене, и у него было две дочери; одну из них, младшую, я в особенности любил и никогда почти не расставался с маленькой Таней. Но тому прошло уже лет двенадцать; вы можете себе представить, сколько воды утекло с тех пор; с тех пор я успел уже перебывать и в университете, и на государственной службе, и многое узнал, многое испытал в жизни, хотя еще большего не знаю. Впрочем, дело не в том, что́ было во времена давно минувшего детства, а в том, что теперь Тане семнадцать лет: теперь у нее мачеха, которая, как кажется, не очень об ней заботится; теперь она одинокая сирота, и, к довершению всего, весьма и весьма недурна собою.

Встречаются иногда в жизни странные натуры, натуры до крайности робкие, запуганные, которые как будто боятся света и всегда бегут подалее в тень; в них есть что-то как будто недосказанное, неполное, болезненное; какая-то неестественная, невызревшая развитость говорит в каждой фибре утомленного лица, так что вам и больно, и тяжело делается при виде этого хрупкого, нежного существа; вы бы желали поменее выражения — менее лихорадочного блеска этим черным глазам и более веселости, более красок всему лицу.

Такова именно Таня. Я помню мать ее: она тоже была больная женщина и, кажется, даже умерла чахоткою; естественно, что здоровье матери имело влияние на ребенка, и Таня действительно всегда была, что называется, ненадежна, а вы знаете, что слабые дети быстрее других развиваются, хотя всегда в ложную сторону. Притом же она была воспитана в каком-то пансионе для благородных девиц, а вам известно,

что такое воспитание благородных девиц в иных пансионах. Все это немало способствовало одностороннему и довольно пагубному развитию Тани.

Из всех несчастий, которые падают на долю человека, нет глубже, нет страшнее горя семейного, домашнего. Оно не бросается в глаза, не выставляет напоказ своих ран и потому всегда остается незамеченным. Надо самому много испытать, чтоб понять, сколько есть подавляющего в этих, по-видимому, маленьких огорчениях, в этих незаметных преследованиях, которые не убивают вас сразу, но мало-помалу отравляют всякий миг вашего существования и, наконец, делают вас неспособным жить. Нельзя сказать, чтоб Таня много терпела от домашних; напротив, она ест сколько ей угодно, спит тоже по желанию, мачеха особенного зла ей не делает, а отец даже любит, хотя любовь эта выражается как-то неуклюже. Но вы понимаете, что такая жизнь — скорее отрицание жизни, нежели самая жизнь; в ней только ху́да нет, но нет и добра, и весьма естественно, что она не может удовлетворить душу Тани, по преимуществу открытую впечатлениям нежным и эстетическим. Итак, все соединилось, чтоб возбудить во мне участие к этому прекрасному, заброшенному всеми цветку, который начинал уже блекнуть прежде, нежели успел развернуться. И я действительно как-то весьма охотно принялся за ее воспитание, хотя и начал его довольно неловко, как и все, впрочем, за что я ни примусь, потому что до сих пор еще никак не умею подделаться под обыкновенные житейские требования и стать в уровень с действительностью. На днях как-то шли мы вместе, и на дороге попался нам нищий. Бледный и прежде времени сгорбленный, протянул он изможденную руку свою, простонав обычное «Христа ради»; она вынула из кошелька мелкую монету и сунула ему в руку.

— О! да вы, как я вижу, на практике следуете правилу любить ближнего, как самого себя,— сказал я, улыбнувшись.

— А вы находите это смешным?

— Помилуйте... за кого вы меня принимаете?.. вы следуете влечению своего сердца... Уж не мечтаете ли вы иногда об организации благотворительности?

— А что?

— Ничего... приятное занятие.

— Вы сегодня в дурном расположении духа, Андрей Павлыч.

— Да так... изволите видеть, пришло на мысль, что если б вы подумали, вы, может быть, и не подали бы этому нищему... такие иногда, право, вещи в голову лезут.

— Странно!

— Странно? а между тем подумайте, так ничего не найдете странного.

— Сделайте одолжение, уж подумайте вы за меня и вразумите меня, непонимающую.

— Да вот вам не пришло, например, на мысль, что, помогая бедному, вы не делаете ему действительного добра. Положим, что ваше благодеяние на минуту и облегчает его участь и делает его счастливым... разумеется, относительно; а и не подумаете о том, что минута все-таки не целая жизнь, что в следующее затем мгновение доля его уж гораздо горче и несноснее, нежели была прежде...

— Это как?

— Очень просто: улучшая его участь, вы даете случай развиться в нем новым потребностям, которых он до того не имел; к прежней-то своей жизни он привык и не жаловался... к чему не привыкают! — теперь же другое дело: испытав сладкого, он не хочет уж горького, не хочет возвратиться к прежней своей безотрадной жизни. А между тем вас-то уж и нет, чтоб вновь подать ему милостыню: вы точно так же исчезли, как и встретились с ним на пути его, то есть совершенно случайно!

— Однако ж, разве нет, кроме меня, сострадательных людей на свете?

— Есть, разумеется, есть; кто же против этого спорит? даже очень много; да все же ведь это случайность, все же это не обеспечивает человека; может быть — есть, может быть — нет,— ведь это шатко, ведь так нельзя жить!.. Да, притом, неужели вы не видите и другой стороны благотворительности? неужели не видите, что она приучает жить на чужой счет того, на кого обращена, заглушает в нем гордость, энергию, все, что делает человека человеком?

— Положим, что вы справедливы; но вы забываете, что чувство сострадания является во мне против воли; ведь не могу же я истребить и выбросить его из сердца, как негодную и ненужную мне тряпку?

— Ах, боже мой! да кто же сказал вам, что чувство, которое заставляет ваше сердце болезненно сжиматься при виде лохмотьев, худо прикрывающих раны нищеты, есть именно сострадание, а не какое-нибудь другое чувство? А может быть, эта мнимая любовь к ближнему — не более, как преобладающее в вас чувство изящного, возмущающееся страшною картиною безобразия, тесно связанного с нищетою? Соболезнуя о страждущем и голодном, вы, может быть, о себе соболезнуете, потому что стоны и ропот неприятно оскорбляют ваши органы, привыкшие к впечатлениям эстетическим...

Но, казалось, в моих словах было слишком много непривычного для нее равнодушия и холодности, потому что на глазах ее навернулись слезы.

— Странный вы, право, ребенок! — сказал я, взяв ее за руки.

Но она ничего не отвечала мне и весь вечер была печальна и задумчива. Мне самому теперь кажется, что я слишком круто приступил к ней; но дело уже сделано, а раскаяние — смертный грех! Тем не менее из этого разговора вы видите, что отношения мои к дочери Крошина принимают несколько дружественный характер и что первый шаг уже сделан.

Итак, вот вам весь мой внутренний домашний быт. Надеюсь, что я был в этом письме разнообразен и многоразличен и что вы не в претензии на меня.

ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА ТАНИ

Кажется, все те же вокруг меня люди, кажется, и любят, и ласкают меня, и не на что бы мне жаловаться, а все как будто чего-то недостает, как будто пусто, как будто вымерло все вокруг меня, и я одна в этой пустыне. Сама не могу себе представить это что-то, чего просит душа моя, а между тем чувствую, что неполно, холодно мне...

Мне страшно иногда за себя становится, что я так задумываюсь, что слезы без всякой причины навертываются на глазах и какая-то темная тоска сосет мое сердце... Посмотрю я на других — или резвятся, или делом занимаются; одна я, как будто отверженная, дичусь и чуждаюсь людей, и нет мне дела до их веселья, и никакое занятие на мысль нейдет, сижу от всех в стороне, точно связанная, скованная...

И некому мне открыться, некому успокоить, ободрить меня... я одна! Какое кому дело, что ноет, плачет мое бедное сердце; кто возьмется растолковать мне мое горе? всякий живет для себя, у всякого свой интерес, у всякого свое дело, гораздо важнее пустых бредней мечтательной девчонки!

Да если б они и хотели, то не могли бы пособить мне: жизнь-то их такая странная, чувство-то в них так зачахло, так глубоко спряталось за ежедневными мелкими заботами, что как-то боится оно света божьего, и не обчистить его от налетевшей на него пыли!

Ты бы одна поняла, ты бы одна утешила меня, милая, добрая мама; на твоей груди могла бы я выплакать свое не-

отвязное горе... Была бы я и весела и счастлива, да нет тебя со мною... прошло мое время, прошло навсегда! Видишь ли ты, по крайней мере, слезы мои? молишься ли, помнишь ли обо мне в своем чудном далеке? А я бы так любила, так лелеяла тебя, добрая мама, и как полно, как тепло было бы у меня на сердце, когда бы ты была со мною! И теперь одно только воспоминание о тебе поддерживает мое бедное сердце, и теперь те лучшие минуты моей жизни, которые провожу я на могиле твоей. Стоят две березы над забытою могилкою и целый день шумят и шепчут о чем-то так грустно, так уныло... Рассказали ли они тебе мое горе, донесли ли они до тебя весточку о твоей дочери? Тяжело мне, мама, страшно сиротке твоей одной на свете!..

И наступают иногда для меня минуты тяжкого страдания, и я желаю смерти, и я прошу у бога, чтоб взял он меня скорее к себе. О, как бы счастлива, как рада бы я была, как легко и вольно понеслась бы душа моя навстречу к тебе, милая мама! Быть с тобою, дышать твоим дыханием, сбросить с себя, наконец, эти тяжелые цепи, которые приковывают меня к земле, и всей превратиться в одно вечное, неиссякаемое чувство восторга... и нет этой вечности конца, и нет пределов!.. Боже мой! боже мой! от одной этой мысли голова у меня кружится, неизъяснимая сладость сходит в мою грудь, и я дышу свободнее и вся преображаюсь, как будто невидимые крылья поднимают и несут меня далеко, далеко, туда, где вечно сияет небо в неизменной красоте своей, где вечно греет и животворит веселое солнышко!.. Но тем печальнее, тем обиднее мне, когда я пробуждаюсь от роскошного сна своего, и невыносимо-несносны и малы кажутся мне все эти интересы, которые движут и шевелят вокруг меня пеструю массу людей...

Уж как же я рада, что наступает наконец лето! Тянулась, тянулась эта скучная зима, конца ей не было! Да зато и обрадовалась же я, когда проглянуло ко мне в комнату солнышко и пахнуло на меня свежим воздухом весны! Ведь вот оно хоть тусклое, хоть и серенькое теперь у нас небо, хоть и невесело и как будто бы нехотя смотрит солнце, а все как-то теплее, легче на сердце, и глядит-то все на тебя как будто о празднике, и все чему-то рада, сама не знаешь чему, а рада... Зимой все мертво, все прячется и спешит скорее в душную комнату, поближе к огню, и способности все сжаты, и вся жизнь-то какая-то неестественная, насильственная жизнь... нет, не люблю я зимы! то ли дело лето! А как вспомнишь бывалое время, то время, когда была еще у меня моя

добрая мама — боже мой! сколько минут невыразимого блаженства доставляло мне это чудное летнее время! Бывало, чуть забрезжится свет и сверкнет на востоке огненная полоса, скорее бежишь вон из постели — и в сад; и все забудешь: и ворчанье старой няньки, и сладкий детский сон, и в голове так свежо и полно силы, и сердце так трепетно бьется, как будто вылететь из груди хочет! И что за чудное утро в саду! весь мир, кажется, притих и притаил дыхание, как будто объятый сладким очарованием; только где-где в кустах зашумит и защебечет ранняя малиновка, почуяв близкий восход солнца, и больше ни звука, ни шелеста, так что, кажется, слышишь самое незаметное дыхание ночного ветерка... И с полчаса, бывало, стоишь на одном месте неподвижно, как будто боишься осквернить неуместным движением это глубокое торжественное спокойствие, покуда не пахнет в самые глаза свежий ветер, предвестник солнечного восхода... И встрепенешься вдруг, как будто от сна, и с изумлением глядишь вокруг себя, а на небе огненной полосы уж и следа нет; весь восток залит огнем, снопы нестерпимого блеска порываются там и сям через разорванную тучу... вон уж осветилась и темная верхушка соснового леса; вон и соловей загремел свою чудную песню, и цветы развернули и подняли кверху свои чашечки, и воздух наполнился упоительным ароматом... Э-ге! да не пора ли разбудить Вареньку! Вставай, Варенька, вставай! пора: уж солнышко на небе! А Варенька и не слышит, только губками лепечет во сне что-то невнятное, да глазки откроет на минуту, да и опять завернется поскорее в теплое одеяло. Оно и не мудрено! ведь она под утро только заснула, бедная, а то всю ночь глаз не смыкала: всё снились ей страшные люди, про которых рассказывала нам накануне старая няня!.. И выйдешь, бывало, на балкон, а солнышко уж высоко; вон и пастух выгнал стадо и ведет его к реке, и выпорхнула из высокого тростника испуганная стая диких уток, издалека заслышав топот бегущего стада; вон и крестьяне идут гурьбой с косами на плечах; вон и кузнечик затрещал в высокой траве; шум, говор, стук... Боже ты, боже мой! что это как весело, жизненно в сердце! чувствуешь, как закипело все вокруг тебя деятельностью, как все кишит, и движется, и суетится, куда ни обрати глаза свои! и сама как-то ощущаешь в себе необыкновенную деятельность, и бегаешь, и резвишься, и смеешься таким веселым и звонким хохотом, как будто все существо наводнило и переполнило радостью, как будто места ей нет в груди!..

И скорее, бывало, спешишь после чая протвердить заданный урок, такой длинный и скучный, и все кажется, что конца

не будет этому классу! А выйдешь в сад: погода чудесная, воздух знойный, небо такое синее-синее и так далеко раскинулось, и нигде ни облачка! И сладко задремлешь, и забудешься под убаюкивающее веянье густой душистой черемухи, в чаду восторженных нестройных грез; и видится то далекий, неведомый город, то звездное небо, то ангелы с радужными крылами, а сладостная дремота, как вор, так и подкрадывается к отяжелевшим векам, покуда резвый хохот подруг не выведет из этого сладкого полусна.

И опять шум, и опять смех, а вечером купаться, в горелки играть, кататься по озеру... Боже мой, боже мой! да где же, наконец, ты, веселое мое время? Куда же исчезла, куда скрылась ты, моя радость? Или никогда не видать мне тебя, или вечно быть мне покинутою, оставленною сиротою?.. Мама!.. Мама!..

...Лицо ее было всегда задумчиво и до того бледно, что можно было скорее принять его за восковое, чем за лицо живого существа; никогда никто не видал на губах ее веселой улыбки или чего-нибудь подобного; но тогда я была еще так мала, что мне не казалось это странным. Помню, что каждый день сажала она меня и покойную сестру около себя и спрашивала у нас заданные уроки, и мы наперерыв старались отличиться друг перед другом, чтоб утешить, развеселить нашу добрую маму... Однажды утром, когда мы, по обыкновению, собрались в класс, к нам пришла старая няня и сказала, чтоб мы не шумели, потому что мама нездорова; мы поплакали, но, впрочем, тут же забыли обо всем, побежали в сад и целый день бегали и резвились, как ни в чем не бывало. Но вечером нас позвали домой. Когда мы пришли в комнату мамы, я едва могла узнать ее: так переменилась она в один день; худая и бледная, едва могла дышать она, едва могла сказать нам несколько слов; но вообще не жаловалась и не роптала, только изредка, когда страдания ее, по-видимому, возрастали, она едва внятно говорила: «Господи! умереть!.. и так рано, так рано!» Мы обе бросились к ней и жадно целовали ее бледные руки. «Я вас давно жду, дети мои,— сказала она своим ласковым голосом,— подите сюда, ко мне... поближе, вот так... ведь это, может быть, в последний раз...»

И когда мы рыданиями своими прервали слова ее,—

— Полно, полно,— продолжала она, сама едва удерживаясь от слез,— зачем огорчаться и плакать? Правда, мне жалко оставить вас, я вас так любила... и вы тоже любите меня, дети мои, мои милые дети? Не правда ли, ведь вы мои дети?..

И она слабою рукою прижимала нас к груди своей; но в особенности меня целовала она горячо, называла своею милою дочерью, фавориткой и просила не забывать своей матери.

Около часа пробыли мы в ее комнате; вдруг она застонала, но так жалобно и странно, что все мы вздрогнули, и села на постели, как здоровая, и начала разговаривать с какими-то видениями, а потом опять легла на постель и стала звать нас.

Но видно было, что она уж угасала: взор ее делался все более и более неподвижным; губы шептали какие-то отрывистые, бессвязные слова; дыхание становилось труднее и труднее...

Наконец уж и ничего не стало слышно! Нам велели стать на колени и молиться, а через час она лежала на столе, вся одетая в белом...

Помню, когда ее похоронили, я целый день ходила из угла в угол, ничего не чувствуя, ничего не понимая, и есть ничего не хотела, и только спрашивала у всех, долго ли будет почивать моя маменька, и когда мне отвечали, что маменька уж не придет никогда, я долго не хотела верить и каждый день просила няню пустить меня к моей доброй, милой маме...

Да! это был страшный день в моей жизни, и вечно останется он памятен мне!

Говорит он, что любви нет, что мы, как дети, только обманываем ею себя, что жизнь наша пуста — вот мы для того, чтоб хоть чем-нибудь наполнить ее, и выдумали себе игрушку, и играем в любовь... И многое говорит он, и все в этом же тоне. Не знаю, отчего мне становится и грустно и холодно, когда я с ним; в словах его слышится какая-то неограниченная вера в самого себя, как будто он все уже разрешил, все определил себе и не осталось в душе его ни тени сомнения... После разговора с ним чувствуешь себя как-то необыкновенно спокойно... да спокойствие-то это как будто могильное... По его, не должно ни увлекаться, ни любить, ни даже чувствовать: все яркое, все, что выходит из обыкновенной, будничной жизни, для него не существует и исчезает в какой-то страшной пустоте, которую он называет... «гармоническим равновесием».

Как будто человек из того только и бьется, из того только и хлопочет, чтобы прийти к смерти!

Нет, надобно много страдать, много быть обмануту жизнью, чтобы дойти до такого грустного результата! Я как-то заметила ему это мимоходом, но он отвечал, что я напрасно так

думаю, что обманут он никем не бывал, а жизнью доволен, потому что убежден, что все в мире существует вследствие известных причин и, следовательно, все хорошо и необходимо... Доволен жизнью, *потому что убежден,* что существующий порядок вещей необходим! Есть же люди, которые могут представлять подобные оправдания!

Что касается до меня, я бы лучше желала поболее юношеского избытка сил и поменее веры в свой рассудок. Еще когда он только что приехал к нам, сердце мое невольно сжалось; темное чувство страха овладело мною, когда я взглянула на это худощавое, никогда не смеющееся лицо, на этот бледный, высокий лоб, этот холодный взор, который, кажется, хочет проникнуть в самую душу... Помню, еще в детстве я как-то особенно была к нему привязана, и ребенком он никогда не хотел ничего делать, не обдумав, не разобрав наперед малейшего поступка своего; но теперь эта осторожность, эта обдуманность действий сделалась в нем какою-то особенною страстью, похожею на неизлечимую болезнь, и жалко смотреть на него, как взвешивает он каждый шаг свой, как сам неотступно стоит над собою, следит за малейшим своим движением... Бедный! он не понимает, что сам создает себе призраки, которые мешают ему свободно дышать и наслаждаться жизнью! А еще смеется, называет глупыми идеалистами тех, которые выдумали себе какую-то небывалую свободу воли, небывалую силу самоотвержения!..

Сегодня после обеда сидела я у окна в гостиной и вышивала по канве; братья были в этой же комнате и проходили свои уроки; Нагибин подошел ко мне.

— Вы вышиваете? — спросил он.

— Кажется, да,— отвечала я,— а впрочем, не знаю: смотрите сами...

— Да; вопрос был несколько глуп с моей стороны, извините... что-нибудь для папеньки? к дню ангела? сюрприз?

— Ни то, ни другое, ни третье...

— Ну, так для маменьки?

— Вы знаете, что маменька моя умерла?

— Ах, да, я и забыл... ну, как же вы проводите время в деревне?.. наслаждаетесь природой, скучаете?..

Я не отвечала.

— Ну вот, вы и рассердились!.. Ну, скажите же,— верно, наслаждаетесь природой?..

— И, помилуйте, Андрей Павлыч, что вам за охота такой вздор говорить? ведь я знаю, что вы хотите посмеяться надо мной.

— Отчего же вздор? природа большое утешение для

сердец нежных и любящих... Но вот, вы опять сердитесь! да что же я сказал такого?

— То, что вы сами не понимаете, что́ говорите... И что за радость над всем и всегда смеяться?

— Над всем и всегда! сохрани боже! что вы это, Татьяна Игнатьевна! Пожалуйста, не говорите этого при других, а то — чего доброго — как раз прозовут меня волтерьянцем и дебоширом...

— Пожалуйста, перемените разговор, Андрей Павлыч.

— Над всем и всегда! — повторил он медленно.— Вы ошибаетесь, Татьяна Игнатьевна: «над весьма немногим и весьма редко»,— это будет гораздо справедливее.

— Как редко? да не вы ли смеялись надо мною, что я до сих пор еще не могу забыть покойную маменьку?

— Смеялся?.. Ну, не совсем чтоб смеялся...

— Не совсем! то есть, вы говорили, что не понимаете этой странной привязанности к прошедшему, что она обнаруживает недостаток жизненности, отсутствие понимания действительности... А знаете ли что? ведь все это что-то очень похоже на присутствие глупости... не так ли? ведь вы это хотели сказать?

— Я весьма сожалею, что мои слова перетолковываются вами в такую сторону... Послушайте, Татьяна Игнатьевна, вы не поняли меня; я хотел только сказать, что воспитание ваше дало ложное развитие вашим силам, сделало вас наклонною к мечтательности.

— И, помилуйте, Андрей Павлыч, зачем же увертываться?

Он отошел от меня и начал ходить по комнате; но минут через пять снова подошел к моим пяльцам.

— Вы на меня сердитесь? — спросил он.

— Да, сержусь,— отвечала я,— сержусь за то, что вы не можете отстать от дурной привычки взвешивать каждое свое движение.

— Послушайте, да что ж мне делать?

— Как что? отстать от этой привычки, принудить себя, предаться влечению своего сердца!.. мало ли что?..

— Отстать от привычки, принудить себя... ведь как вы легко говорите, Татьяна Игнатьевна! Удивительно, право: взял да и бросил...

— Попробуйте раз, пересильте себя: сначала будет трудно, а потом...

— И потом тоже трудно, или, лучше сказать, вовсе невозможно. Отстать от привычки! да ведь привычка-то эта всосалась в мою кровь, сделалась моею плотью!..

— Вы сознаётесь, однако ж, что это дурная привычка?

Он несколько смутился этим вопросом, но я сделала вид, как будто бы ничего не замечаю.

— Коли хотите — да,— отвечал он через минуту,— в том отношении, что страсть присматриваться ко всему, над всем рассуждать, много открывает нам такого, что несколько мешает нашему спокойствию. А впрочем, что же и счастие, что и спокойствие, если оно не сознательно?

— Разумеется, разумеется, Андрей Павлыч; итак, можно жить и вместе с тем наблюдать за тем, как живешь? так, что ли?..

— Да разве я говорю вам, что живу? я именно только наблюдаю; что же мне делать, когда для меня только такая жизнь и возможна?..

— Отчего же так?

— Оттого, что иначе никак нельзя посмотреть ей прямо в глаза. А я хочу стоять твердою ногою на земле, не ласкаю себя пустыми мечтами и приучаюся действовать...

— Да зачем же действовать, коли все и без того хорошо?

— Конечно, все хорошо, все необходимо, но необходимо исторически... зачем же так привязываться к словам моим?..

— Так, так, Андрей Павлыч; ну, а если б вас... кто-нибудь ударил... ведь это было бы необходимо... по крайней мере, исторически?..

— Да; так что же?

— Ну, и вы... снесли бы?

— Послушайте, Татьяна Игнатьевна, это вовсе не пример.

— Почему же? он несколько затруднителен, потому что нужно отвечать прямо... ведь вы бы не снесли?

— Ну, нет; да что же из этого следует? это доказывает только, что я отдал бы долг предрассудку, что кровь во мне была взволнована... и более ничего.

— И более ничего?..

— Да; потому что если б я хладнокровно разобрал дело, то увидел бы, что обида нанесена мне не намеренно, а или вследствие недостатка умственного в обидчике, или вследствие заблуждения, или, наконец, вследствие каких-нибудь действий с моей стороны, противных его интересам...

— Умно, умно, Андрей Павлыч! вы чудесный адвокат... Однако ж, вы говорите, что все-таки не снесли бы обиды... Ну, что же? вы-то... правы ли?..

— Да; и я прав.

— Да как же это? и вы правы, и он прав... кто же виноват-то по-вашему?

— Кто виноват? В этом-то и загадка вся, вот этого-то и невозможно определить теперь, потому что средств еще нет...

Со временем это откроется, и виноватый отыщется, а теперь... грустно, тяжело мне признаться, Татьяна Игнатьевна, а в настоящую минуту я думаю так: и черное право, и белое право... Оно, коли хотите, несколько странно, а верно... И как вы ни бейтесь, как ни думайте, а не выйдете из этого противоречия!

С этими словами он отошел от меня и пресерьезно начал заниматься уроками братьев, и целый вечер, как ни старалась я, никак не могла навести его на прерванный разговор наш.

ОТ НАГИБИНА К г. NN

Читая французские и всякие другие романы, я некогда удивлялся, что в основе их проведено всегда одно и то же чувство любви. Разбирая природу свою и восходя от себя к типу человека, я находил, что, кроме любви, в нем есть другие определения, столь же ему свойственные, столь же немолчно требующие удовлетворения. И человек казался мне именно тем гармоническим целым, где ничто не выдавалось ярко вперед, где все определения стирались в одном общем равновесии.

И я был, коли хотите, в известной степени прав, потому что брал человека, изолированного от всего, вне его сущего. Но я забывал, что человек сам по себе ничто, покуда личность его не выразится в известной средине, которая тоже не масса мертвая, но деятельный и живой организм, стремящийся пребыть в своем эгоизме... Очевидно, что при первой встрече этих двух эгоизмов должно быть неминуемое столкновение, борьба их. Как же разрешить это вечное противоречие жизни, которое мешает человеку дышать, которое гнетет и давит его существование? Как удовлетворить жажде гармонии, на которой единственно успокоивается утомленное его сердце, потому что в гармонии счастие человека, а счастие — цель, к которой стремится весь его эгоизм. Средства к выходу есть, но они не даны нам; для человека один только факт не подлежит сомнению — это стремление примирить противоречия жизни, выйти из неестественного положения, в которое он ими поставлен, во что бы ни стало, даже с пожертвованием своего собственного эгоизма. И тут-то, в эти безотрадные минуты, когда невидимое, но злое горе сосет и гложет его сердце, когда, задавленный и чуть дышащий под тяжестью уродливого стечения обстоятельств, он не обороняется уже от ударов судьбы, а молит только о пощаде,— тут, в эти страш-

ные мгновения, любовь является ему спасительным средством примирения и принимает то значение, которым она пользуется в обществе. В нормальном положении любовь есть не что иное, как взаимное соответствие двух организмов, данное в известный момент и в известной сфере общественных отношений,— симпатия, не предполагающая ни с какой стороны ни жертв, ни страданий; в настоящее же время, когда она служит единственным средством выхода из беспрестанных противоречий, весьма естественно, что круг ее делается не столь уже ограниченным, естественно, что она является отречением частного человеческого эгоизма в пользу эгоизма собирательного, отвлеченного, одним словом, в пользу общества; следовательно, любовь, как главный общественный движитель, оправдывается самым направлением общества, и, следовательно, романисты совершенно правы, насвистывая на эту тему свои более или менее старые варьяции.

Все это я к тому говорю, что со мною случилось довольно странное происшествие, которое я должен рассказать вам.

Не думайте, однако ж, чтоб я был влюблен: если б это было, я не стал бы утруждать вас своим рассказом, потому что это старая, избитая сказка, которую вы прочтете в любом французском романе. Обстоятельство, которое хочу я вам передать, представляет довольно интересный психологический факт; тут дело идет о том, живой ли я человек или мертвый, способен или не способен, что, по-моему, совершенно одно и то же. Судите сами.

Не далее как третьего дня вечером сидели мы за чаем. Крошин был не в духе: он поссорился с своим управляющим и целый вечер или молчал, или произносил такие слова, которые не обозначены даже в печатных русских лексиконах. Марья Ивановна долго крепилась и не говорила ни слова; наконец терпение ее лопнуло. ·

— Да помилуй, Игнатий Кузьмич,— сказала она,— что это ты, батюшка, только и знаешь, день-деньской слоняешься из угла в угол да ворчишь?

— Ворчу... ворчу,— бормотал Игнатий Кузьмич,— ну, хочу ворчать, за дело ворчу... ты что́ понимаешь?.. волос долог... знаешь... а туда же суется баба... я его вот как...

При этом Игнатий Кузьмич плюнул на ладонь левой руки, ударил по ней кулаком и показал на открытое окно.

— Да помилуйте, что ж он такого сделал?..

— Сделал, сделал... а за что я ему деньги-то плачу, за что я его, подлеца, хлебом-то кормлю? за что? Да какой же я после этого господин? разве я не властен у себя в доме? То-то, баба... волос долог, знаешь?.. а ведь тоже лезет: что ж

он такого сделал?.. сделал!.. да вот ничего не сделал, а тунеядца и блудного в доме у себя не потерплю...

Марья Ивановна не возражала.

— Ты знай свой чулок... ты баба, наседка, тебе вмешиваться в эти дела не след... Ты что́? баба, дрянь... волос долог... знаешь? а еще суется... Вот он,— продолжал Крошин, указывая на меня,— может быть судьею в таком деле: он мужчина; уж это пол такой, пользу отечеству приносит... а ты? То-то, вам позволь... волос долог... знаешь?

Игнатий Кузьмич в волнении ходил по комнате.

— Ну, скажи хоть ты,— обратился он ко мне,— ну, ты тоже мужчина... Ну, позволил ли бы ты своему холопу ослушиваться твоих приказаний?.. Ну, скажи!.. Ведь я его хлебом кормлю!.. ведь вот ты и вольный человек, а все-таки я тебя нанял, так ты и мой; говорю: учи арифметике — арифметике и учи, грамматике — так грамматике, а не какой-нибудь там математике... Покуда у меня — ты мой, за то я плачу, я деньги плачу, а не щепки тебе, и когда грамматике, так грамматика и должна быть... А то вот ты, баба, наседка, суешься... ты знай свой чулок... волос-то долог, эй, долог, да ум-то... знаешь?..

В таком духе и тоне была речь Крошина в продолжение всего вечера,— отрывистая, но многознаменательная и полная глубокой, ему свойственной философии.

Было довольно поздно, когда я пошел после чая в сад. Погода была чудесная; солнце давно уже село; какой-то мягкий полусвет разливался на окружающие предметы; тишина была невозмутимая: только изредка раздавался вдалеке крик болотного дергача, да немолчно жужжал и стрекотал в густой траве предвестник вёдра, ночной кузнечик. Я сел на дерновую скамейку и закурил сигару; не знаю, влияние ли тихого летнего вечера или какая другая причина, но никогда не бывало мне так хорошо, так спокойно, как в эту минуту: передо мной тянулся луг, а за ним синело озеро, все обрамленное густым сосновым лесом. Я еще с детства симпатизировал с нашею сельскою природою, хотя и нет ничего в ней такого, чем бы особенно можно было похвалиться. Это вечно серое, вечно дождливое небо, эти необозримые, бог весть куда тянущиеся болота, эти более желтые, нежели зеленые луга — скорее наполняют душу тоскою, нежели изумляют и радуют ее. Но я люблю ее, эту однообразную природу русской земли, я люблю ее не для нее самой, а для человека, которого воспитала она на лоне своем и которого она объясняет...

В полузабытьи лежал я, когда кто-то назвал меня по имени; я поднял голову: передо мною стояла Таня. На ней было

ее белое кисейное платьице, и полусвет придавал ее лицу какое-то особенно экзальтированное выражение. Я встал.

— Нет, ничего: сидите, сидите,— сказала она,— я уйду... вы, кажется, об чем-то задумались, а я вам помешала... Сидите же, я сейчас уйду...

— Зачем же? я вовсе не был занят... Пожалуйста, садитесь...

Но, несмотря на то, что я хотел казаться равнодушным, мне было неловко с нею; этот предательский полусвет, эта невозмутимая тишина приводили в сильное волнение кровь мою.

— А мне бы нужно сказать вам несколько слов, Андрей Павлыч... можно?..

— Отчего же? — начал я, несколько запинаясь,— я с удовольствием... только не холодно ли вам, Татьяна Игнатьевна, не лучше ли пойти в комнаты?

— Ах, нет, не нужно; здесь так хорошо, а там... там душно, не то, что бывало прежде, помните?.. при покойной маменьке?..

— Послушайте, Татьяна Игнатьевна, зачем вспоминать об этом? зачем без нужды отравлять свою жизнь? не лучше ли принимать настоящее, как оно есть?..

— Да... да, конечно... а впрочем, я совсем о другом хотела с вами говорить... Да, право, не знаю, как начать... папенька такой вспыльчивый, он сам не всегда хорошо понимает, что слова его могут обидеть человека... а сердце у него, право, доброе... а? не правда ли? скажите, вы не сердитесь на него?

— И, полноте, Татьяна Игнатьевна! неужели вы можете думать, что я обижаюсь? Я уж настолько вырос, что могу смотреть на это равнодушными глазами.

— Да, я знала, что у вас доброе сердце, что вы простите его... Так вы не сердитесь? Прощайте же, Андрей Павлыч!.. Ах, да! я еще что-то хотела сказать вам, да и растеряла все... дайте вспомнить... да! помните ли вы, как мы оба еще были детьми, помните ли вы, как мы резвились, бегали?.. помните?..

Я решительно был смущен таким вопросом; не зная, что отвечать, поднял я с земли засохшую ветку и начал чертить ею по песку.

— Забыли?.. а?.. Дурно, Андрей Павлыч, грешно вам! А я так не забыла: вы меня называли тогда просто Таней... забыли?..

— Это было так давно... Послушайте, Татьяна Игнатьевна, переменимте разговор...

— Давно? да, давно,— сказала она едва внятно,— а я все-таки помню... Ах, посмотрите, какое чудное сегодня небо: синее, ни облачка... Я, кажется, мешаю вам, Андрей Павлыч... я уйду... прощайте, прощайте, Андрей Павлыч!

И между тем она все не уходила; по-прежнему сидела она подле меня, по-прежнему смотрела на меня своими большими черными глазами, и по-прежнему я молчал и чертил веткою по песку, не зная, как выйти из своего затруднительного положения.

— А знаете ли что? — сказала она после нескольких минут совершенного безмолвия,— знаете ли?.. Странно... а мне кажется... знаете ли, что мне кажется?.. Я вижу, вы не признáетесь, а я уверена, что это так.. Вы поняли меня?.. скажите же хоть что-нибудь!..

Она положила ко мне на плечо свою руку и взглянула мне прямо в глаза.

— Ради бога,— сказал я, задыхаясь от внутреннего волнения,— умоляю вас, кончимте этот разговор... мне тяжело, мне невыносимо тяжело...

— Отчего же вам тяжело? У меня, напротив, так светло, так полно на душе... Знаете ли, Андрей Павлыч, вы испортили себя, вы сами делаете себе жизнь несносною, вы слишком недоверчивы... Ну, признайтесь, ведь вы... да, я вижу, я знаю, что вы любите меня...

Я был совсем уничтожен; дыхание занималось в груди, голова горела. Не помня себя, я взял ее руку и приложил к голове своей.

— Да, горит ваша голова, Андрей Павлыч, и у меня тоже... троньте...

И она прижала мою руку сперва к голове, потом к губам и поцеловала ее; и странное дело — я находил весьма естественным это действие и не думал отнимать руку.

— А знаете ли что? — сказала она,— мне пришла в голову странная мысль: помните ли вы, как мы, бывало, бегали... еще при маменьке? а? как вы думаете?..

И, не дожидаясь ответа, которого, впрочем, тогда и быть не могло, она как серна побежала вдоль по аллее; в глазах у меня потемнело, я ничего не видел, видел только белое платьице, мелькавшее передо мною: его одного я хотел, к нему одному стремилась мысль моя, все существо мое. Долго бежал я за нею, то настигая ее, то вновь отставая, и все не давалось, все ускользало от меня белое платьице; наконец, измученный, упал я почти без чувств на траву.

— Ага! упал! упал! — кричала мне Таня из-за кустов, смеясь и махая платком,— маменька, маменька!.. Андрюша упал! да и куда ему: Андрюша — ленивец, Андрюша бегать не умеет... не правда ли, маменька?.. да вставай же, Андрюша!

С этими словами она подошла и взяла меня за руку.

Не помню хорошенько, какое чувство ощущал я тогда: было ли то страдание или радость — не знаю; знаю только, что в эту минуту я не мыслил, не рассуждал, и неизвестно мне, чем бы все это кончилось, если б провидение или судьба, в образе дюжего деревенского лакея, звавшего нас ужинать, не прервала этой сцены.

Во всю следовавшую за сим ночь я думал об этом происшествии; минутное увлечение простыло, и по-прежнему обняла меня всего будничная, кропотливая жизнь моя, со всеми вопросами, со всеми придирками; одним словом, из божества, которым я был в продолжение одного мгновения, снова сделался я обыкновенным человеком. Грустно мне признаться вам, а плодом моих размышлений было сознание, что любовь для меня невозможна, что я даже вовсе не люблю, а только обманываю себя. Любовь жаждет света и не терпит сомнения; она есть взаимно безотчетное и естественное влечение двух организмов, без всякой задней мысли, без всяких предварительных рассуждений. Любить и наслаждаться своею любовью может только человек, вполне обладающий высшим благом в жизни — беспечностью; где есть забота, где сомнение, там нет любви, там есть мгновенная, лихорадочная вспышка, которая иногда удачно пародирует любовь, но недолго, потому что всегда одностороння и является требованием не цельного организма, а одной какой-либо стороны его. Понимая так любовь, судите сами, способен ли к ней человек, которого жизнь есть непрестанная забота, которого каждый шаг есть уже борьба за кусок насущного хлеба. Если б я любил действительно, я бы не старался так определить себе это чувство, я бы вполне безотчетно предался ему, потому что хотеть анализировать, уяснить себе какое-либо чувство — значит привносить в него такой элемент, который наиболее ему противен, значит не иметь чувства.

Такое раздвоение теории и практики, идеала и жизни наиболее является необходимым в эпохи переходные, когда человек, измученный и обманутый столькими веками иллюзий, с недоверчивостью смотрит на свои собственные чувства, ищет определить их последствия, их будущность, чтоб вновь не сделаться жертвою заблуждения и вновь не обречь себя на долгое страдание. Это, коли хотите, неестественное положение, ибо человек в этом случае живет только одною стороною своего организма,— да в ненормальной средине нельзя и требовать цельного, гармонического проявления деятельности человека.

Но, обращаясь к себе самому, к своему индивидуальному

положению в обществе, я еще более нахожу причин, отвергающих возможность для меня любви.

Уж одно то, что я беден, что я живу со дня на день, что я не могу сегодня сказать наверное, что́ будет со мною завтра, достаточно доказывает мне всю несбыточность этой любви. И не думайте, чтоб эти слова были с моей стороны школьническим желанием блеснуть пред вами парадоксом,— вовсе нет! Я глубоко сознал истину этого положения, и скажите мне: «бедность»,— я невольно уж слышу за этим словом неизбежный его синоним — «смерть». С тех пор как человек отделил для себя угол и сказал: «Это мое»,— он один уже пользуется своею собственностью и всею суммою наслаждений, которые из этого пользования проистекают, и горе тому, у кого нет ни своего поля, ни своей хижины: право существовать — священное право, дарованное ему самою природою,— перестает быть для него действительным, ибо он не имеет чем осуществить, оправдать его, ибо труд его, способности, вся личность тогда только из бесплодного, чисто нравственного понятия делаются фактом осязательным, когда они выражены во внешности, когда они действуют... Я хотел бы трудиться, хотел бы работать, да не над чем мне трудиться, потому что нет у меня ничего своего, потому что я аномалия, я только отвлечение человека, или, лучше сказать, вовсе не человек,— потому что для меня нет внешнего мира, в котором бы я мог выразиться и познать себя. Не правда ли, презабавное положение? Вы скажете, что все это, однако ж, не мешает мне ни любить, ни быть любимым. Мешает, милый мой, мешает, говорю я вам. И в этом я вовсе не обвиняю женщин: это так естественно, так проистекает из самого свойства любви, что иначе и быть не может. В самом деле, любовь — по преимуществу чувство эстетическое; оно жаждет света, жаждет свободы, оно требует, чтоб его поддерживали, подстрекали: иначе оно заглохнет, умрет при самом рождении. Эта жажда освободиться от всех внешних препятствий, утрудняющих или останавливающих свободное развитие страсти, есть свойство, столь же общее всякой другой потребности, как и любви; я и не спорю против этого и первый говорю, что полное удовлетворение какой бы то ни было страсти радикально невозможно при известных условиях жизни; но дело в том, что ни одна страсть не предполагает столько разнообразных и прихотливых уступок, сколько требует их любовь, и потому-то возможность любви, не болезненной и односторонней, а такой, в которой организм человека участвовал бы всеми сторонами своими, есть уже верный признак, что человек нашел наконец окончательную, высшую общественную норму, в кото-

рой все потребности его удовлетворены, в которой всякое стремление его не остается только отвлечением, а есть действительная плоть и кровь.

Теперь спрашиваю вас по совести: мое настоящее положение и наличность всех описанных выше условий — не есть ли это два противоположные полюса, две параллельные линии, которые идут, но никогда не встречаются? Что́ скажу, что́ отвечу я женщине, которой судьбу прикую я к своей жалкой участи, когда пройдет первый миг увлечения, когда спросит она меня, что сделал я с ее молодостью, зачем я ее, полную сил и будущего, заживо погреб в могилу страданья, в могилу нищеты и сопряженного с ней унижения? Что́ отвечу я ей? А это непременно будет, потому что женщина, как бы экзальтирована и мечтательна ни была, создана не для одной же любви: ей тоже нужен шум, блеск, ей нужно общество, без которого ступить нельзя, без которого душно и тяжко человеку. Вы можете мне заметить, что порядочная и истинно любящая женщина никогда не дозволит себе ни слезы, ни ропота... Боже мой! я допускаю даже, что она и виду не подаст, даже... даже не подумает... Да будто нужно чье-нибудь напоминанье в таком деле? будто у меня самого нет глаз, нет ушей, чтоб видеть, чтоб слышать все ужасы этого убийственного одиночества! Скажу более: чем покорнее судьбе является в этом случае любимая женщина, тем тяжеле будет камень на сердце вашем... Да! тяжело иногда достается жизнь человеку: он видит и не должен видеть, слышит и не должен слышать, везде и во всяком случае бесконечные варьяции на известную басню: «Лисица и Виноград».

Все эти соображения, хотя гораздо короче и проще, передал я на другой день Тане, когда мы поутру встретились с нею в саду; сказать по правде, я был несколько взволнован, хотя и желал казаться совершенно равнодушным: материя-то такая, изволите видеть, деликатная! Но наконец я превозмог себя, говорил с нею довольно долго, просил ее забыть вчерашнюю сцену и в заключение предлагал даже уехать назад в Москву, если мое присутствие может ее тревожить. Внимательно, не прерывая, выслушала она меня от слова до слова; но когда я посмотрел на нее, мне показалось, что она была бледнее обыкновенного, и на ресницах ее дрожали слезы. Я хотел взять ее за руку, но она робко выдернула руку и покачала головою.

— Так вот до чего довела вас недоверчивость! — сказала она едва внятным голосом,— помните, я вчера вам говорила, что вы сами мешаете себе жить, что вы сами создаете себе страдания... Не стыдно ли вам?

Она не могла продолжать; слезы, доселе удерживаемые, ручьем хлынули из глаз ее; она быстро отвернулась от меня и пошла по аллее.

Не могу описать вам состояния, которое овладело мною в эту минуту: мне было и легко, что я сбыл наконец с рук эту тяжесть, и вместе с тем как-то стало пусто, как будто чего-то недоставало, как будто что-то забыл, как будто лучшая часть меня самого погибла, стерлась в этом признании. Она заперлась в своей комнате под предлогом головной боли; тем лучше: по крайней мере, я не видал ее; боюсь только, чтоб она в самом деле не сделалась больна.

А между тем она была права, говоря, что я сам делаю себе пытку из жизни, подвергая анализу всякий мельчайший факт ее и никогда не доверяя первому движению своей природы. Я сам чувствую, что неестественно живу, сам понимаю, что творю себе препятствия, что не довольно забываю свое положение, что память уж чересчур верно напоминает мне все подробности моей участи. Все это я чувствую и понимаю, и между тем не могу ни на волос переменить себя. Рефлектёрство так уже сжилось со мною, сделалось до такой степени принадлежностью моего существа, что без него и жизнь мне невозможна. Я надеюсь, вы понимаете, что ведь не по охоте же создаю я себе тысячи призраков, что не по охоте же творю свое собственное несчастие: все это делается против меня, все это точно такой же акт моего организма, как питание, кровообращение и проч. А между тем я понимаю, в чем состоит истинная жизнь, понимаю, что всякая потребность должна вытекать непосредственно из самой природы человека, которая не рассуждает, а сама в себе заключает уже непреложный закон.

И в этом отношении я действительно достоин великого сожаления, хотя и не прошу его. Я, как Спинозино божество, которое ничего не любит, не ненавидит, а только все себе объясняет, ношу в себе все элементы, все стихии жизни, только все это как-то играет страдательную роль, подобно тому как если б кто, построив машину, забыл ее завести... Кому она нужна? какую пользу приносит этот мертвый капитал?

Видите ли же вы, что обо всем этом я уже рассуждал, и никто более меня не желал бы переменить это тягостное состояние? Что нужды в том, что я определил себя и знаю, что я такое, куда иду и на какой конец, когда я несчастлив? А впрочем, покоримся необходимости, да и кто знает: может быть, частное-то мое назначение в жизни в том и состоит, чтоб определить ее и приготовить возможность пользоваться ею... для других?

ОТ ТОГО ЖЕ К ТОМУ ЖЕ

...Все это так для меня ново, так меня поражает, что решительно я теряюсь, не знаю, что мне предпринять. После известного разговора меня несколько времени оставляли еще в покое, и я уже думал, что все это так и кончится. Действительно, она казалась совершенно покойною, по-прежнему говорила со мною, по-прежнему ходили мы вместе в саду — и никогда ни слова о происшедшем между нами, как будто бы ничего и не было, как будто бы все умерло.

Признаюсь вам, меня даже печалило и досадовало несколько такое равнодушие: все-таки было мне жаль этой одной минуты, когда все мое существо как будто трепетало и жило новою жизнью, и мне досадно было, что так мало оставила она следов по себе. Коли хотите, такая жалоба с моей стороны и неестественна, и непоследовательна, и несправедлива; да что ж прикажете делать? видно, нельзя совсем перестать быть человеком, видно, нельзя всегда подводить под готовую мерку все свои движения. Я очень хорошо понимаю, что недостойно и неестественно привязываться к воспоминанию, что нужно жить только в настоящем, что человек чувствует потребность забыться в своем прошедшем только или вследствие отсутствия жизненности в самой натуре его, или вследствие бедности его настоящего; знаю я также, что в этом мгновенном опьянении моих чувств было более томления, нежели радости и света, что я сам желал выйти как можно скорее из этого неопределенного положения и, следовательно, должен был бы скорее радоваться, нежели досадовать на равнодушие Тани. Сознаю я все это, но в том-то и горечь моего положения, что я слаб и не могу победить себя.

Не спорю, что, если это равнодушие продлится, я вовсе перестану, может быть, думать об нем; но в жизни нашей столько случайностей, малейшее обстоятельство подает столько поводов к взрыву затаившейся и полуугасшей страсти, что невозможно предвидеть их всех, невозможно приготовить себя к ним.

Так точно теперь и со мной.

На днях как-то мы сидели вдвоем и читали зандовского «Компаньйона». Помните ли вы там сцену признания в любви Маркизы и Амори? помните ли вы обстановку этой сцены, описание ночи, местности и всех малейших подробностей признания? не правда ли, что в нашем взаимном положении не могло быть выбора романа более пагубного, что в этой сцене есть нечто в высшей степени опьяняющее, что чувствуешь,

ка́к любовь дошла тут до nec plus ultra[1] раздражения, что она давит, тяготит, что ей нужно, непременно нужно высказаться, выразиться наружу... И я видел, как жадно прислушивалась Таня к моему чтению, как поднималась и опускалась грудь ее, как все более и более приближалась она ко мне...

Я чувствовал и сознавал все это,— а все-таки читал, тогда как мне следовало бежать... Знаете ли, я был тогда очень жалок, я действовал по какому-то безотчетному инстинкту, даже не понимал более, что́ читал, и когда она положила руку свою ко мне на плечо, когда почувствовал я на щеках своих жаркое дыхание ее, вся кровь, казалось, хлынула мне в голову, слова останавливались на губах; наконец и самая книга выпала из рук.

И тогда началась между нами одна из тех сцен, которые так легко и вместе так трудно описывать, потому что в них нет ни слов, ни движения; весь смысл их заключается именно в этом упорном безмолвии, когда как будто и язык, и все существо человека скованы — под влиянием тяжелого очарования. Такое положение минутно, потому что тягостно, и человек сам, по невольному, бессознательному инстинкту, делает усилие, чтоб выйти из него, но тем неуловимее ощущения, которые овладевают душой в эту страшную минуту, тем труднее дать себе в них отчет. Когда я вышел из этого оцепенения, голова Тани лежала на плече моем, на губах ее играла едва заметная улыбка; но никогда, нигде не встречал я столько счастия, столько безмятежной и сладкой уверенности, сколько выражалось во всякой фибре этого прекрасного лица. Я был действительно увлечен, и когда она спросила, отчего я перестал читать, все, что накипело в груди моей, все, что было исподволь подготовлено во мне этою сценою, вылилось наружу.

— Зачем читать? — отвечал я, с трудом скрывая свое волнение,— зачем читать? разве и без того непонятно?.. разве вы не видите, что я страдаю, что я болен? разве не чувствуете вы, что все уже сказано и нечего более объяснять?..

— Ну, видишь ли,— отвечала она, не поднимая своей головы,— ведь я знала, что ты меня любишь; я была уверена в этом... и напрасно будешь ты мне говорить, что любовь невозможна для тебя: как будто ей нужно чье-нибудь позволение, как будто она в нас не против нас!..

Я молчал, потому что в эту минуту всякое слово ее было для меня истиной.

— Послушай, надо исправиться... нужно более жизни,

---

[1] крайних пределов (*лат.*).

менее рассудка. Зачем же жить, когда нет любви? Что́ же останется человеку, если отнять у него любовь? на чем отдохнуть, на чем успокоиться от ига жизни, как не на любви, этой поэзии жизни? Не чувствуешь ли ты холода и пустоты своего одинокого, эгоистического существования? не видишь ли ты смерти в самой жизни, когда не согрета она любовью?.. О нет, ты любишь, ты любишь меня... Я знаю... правда?

И она то по-прежнему играла моими волосами и прижималась головою к плечу моему, то вдруг поднимала мою голову, смотрела мне прямо в глаза и говорила своим мягким, ласкающим голосом: «Без любви нет счастия, без любви холодно, грустно...»

И мне казалось в ту минуту холодно и грустно — без любви, и я в ту минуту помолодел, чувствовал себя здоровым и веселым, и слезы невольно навертывались на глазах, и я целовал ее руки, целовал ее волосы, смеялся и плакал, как ребенок; в груди моей что-то как будто порвалось, как будто наводнило радостью все мое существо.

— О, будем счастливы, будем любить! — говорил я, полный восторга,— любовь смысл жизни, а жизнь благо!.. Будем же счастливы, и пусть пройдет вся жизнь наша, как один миг — миг вечного самозабвения и вечной любви!..

— Да! будем счастливы, будем любить,— повторяла за мною Таня, прижимаясь к груди моей.

Это были сладкие минуты моей жизни, и ничто тяжелое не помрачало моего существования! И теперь скажу я, зачем не вечно остается человек младенцем! зачем приходит рассудок, чтоб отравить жизнь его, чтоб наругаться над лучшим мгновением ее! И не оставит ничего неприкосновенным этот безжалостный судия, до всего коснется, все разоблачит неумолимая рука его, ни одна струна, ни один мускул души не укроется перед трезвым взором его!.. И устремится человек с растерзанным сердцем и горькими-горькими слезами на очах, чтоб уловить эти легкие, мимолетные видения, так светло очаровавшие душу его... и не уловит их: исчезли, исчезли навеки!..

Все это очень грустно, очень тяжело, тем более тяжело, что я сам понимаю всю уродливость своего положения, тем более невыносимо, что я претендую быть всегда логичным и чувствую, что ничтожнейшее обстоятельство может сбить меня с толку. Я вижу, что нужно мне оставить этот дом, что мне нужно бежать отсюда, и, между тем, рядом с этим решением, предстает передо мною другой, еще более для меня страшный вопрос: не будет ли такое решение открытым признанием моей слабости, прямым обнаружением несостоятель-

ности столькими годами горького опыта добытых убеждений. И между этими двумя крайностями я останавливаюсь в нерешимости, не знаю, что предпринять, не делаю ничего ни за, ни против.

Вы скажете мне, может быть, что тут есть весьма простое средство, а именно: остаться и следовать побуждению природы... да в том-то и дело все, что этого-то побуждения определить я себе не могу, что, с одной стороны, несомненно для меня, что я люблю Таню, а с другой — не менее верно и то, что любовь для меня поступает в категорию невозможностей, что она захиреет при самом начале, потому что нечем мне поддержать, нечем воспитать ее. Я страдаю глубоко, не видя выхода из этого противоречия, и это сознание так парализировало мои силы, что я остаюсь холодным зрителем своего собственного несчастия. Вы скажете опять, что я сам виновник своего страдания, что я сознательно и хладнокровно устроиваю его, что я артистически, с любовию созидаю себе препятствия. Но вы будете не правы, мой милый, потому что выбор того или другого решения вовсе не от меня зависит. Если б я и общество, среди которого я живу, составляли одно нераздельное, необходимое для взаимного уразумения целое, тогда, конечно, не стал бы я рассуждать, истинно ли такое-то мое побуждение и какие будут от него последствия: я знал бы наверное, что оно истинно и что последствия, каковы бы они ни были, могут принести мне только вящее благосостояние и пользу. Но теперь я и действительность — два понятия совершенно различные и взаимно друг друга уничтожающие; и если я желаю, то могу только ценою крови, ценою борьбы оправдать свое желание. Что нас убивает — это недостаток исхода нашему эгоизму, это то, что всякий шаг наш есть уже борьба, что вся жизнь наша направлена необходимостью на такие предметы, к которым мы не чувствуем ни привязанности, ни склонности. Поэтому всякий труд сделался для нас тягостью невыносимою, работою египетскою, и потому куда ни обернетесь вы, везде люди действуют как бы нехотя, все движения их запечатлены каким-то вялым равнодушием, везде долг, везде принуждение, везде скука и ложь... Пора нам, наконец, оправдать себя в этом уродстве, пора сознать, что не мы виновники своего несчастия, что так называемая свобода есть просто произведение нашей праздной фантазии, самообольщение горделивого духа нашего, что вся свобода наша состоит в безмолвном повиновении царящему над всем сущим закону необходимости.

И как, например, могу я запретить себе анализировать свое положение, когда при одном слове любви в уме моем

уже восстают тысячи препятствий, тысячи призраков? Во-первых, если я позволю себе увлечься своим чувством, не ждет ли меня новая борьба — борьба страшнее всего, что я испытывал в жизни, ибо доселе я старался устроить свое положение только так, чтоб в нем была возможно меньшая сумма зла, более оборонялся, нежели наступал; теперь же я положительно желаю счастия... и вы думаете, что мне дадут его, не высосав наперед половины моей крови? Бедняк, и об чем задумал! Да, меня удавят, а что всего страшнее, удавят не одного — и Таня за мной пойдет! А если и не так, то я умру с голода и ее уморю! Вот какая перспектива передо мною! И напрасно будете вы говорить мне, что можно своими трудами достать себе кусок хлеба, хоть и не роскошный, а все-таки с голоду не умрешь. То-то не роскошный! Вы бы поели этого хлеба! Да и вздор, утопия, мой милый, мечтание — трудом добывать себе хлеб! разве унижением — это другое дело, а на это тоже нужна своя сноровка, нужна опытность, которой я не мог еще приобресть! Со временем, что́ мудреного: сила солому ломит! и я, может быть, приобрету это волшебное искусство нравиться, искусство проникать в чужие карманы, которым обладают столь многие,— да ведь все это со временем, а теперь...

Рассудите же сами, прилична ли мне любовь, не роскошь ли это для меня, когда я должен заботиться о насущном хлебе, когда я на минуту не могу забыться без того, чтоб эта минута не повлекла за собою целой вереницы страданий! И вы думаете, что это совместно? что можно в одно и то же время и любовь водить, и об обеде думать? Да знаете ли, ведь любовь-то убьет во мне всю энергию рассудка, ведь я расплывусь в этом чувстве, я умру с голода, и она умрет со мною! И какой точный, определенный язык у этой действительности: или люби, да и умирай же с голоду; или ешь черствый кусок хлеба, да уж и не моги помыслить о чем-нибудь другом! Да-с, женщина, это, изволите видеть, такой objet de luxe[1], который может позволить себе только богатый человек, а бедному — тому, для кого она и смысл, и значение имеет, такая игрушка непозволительна!

Так вот к каким результатам приводит меня трезвый взгляд на мое положение! Конечно, если б я следовал только первому своему движению, я бы давно увез Таню, да в том-то и сила человека, потому-то он и глава создания, что прежде всего он предусмотрителен.

А между тем я все-таки ни на чем не остановился. Когда

---

[1] предмет роскоши (*франц.*).

я один, когда не волнуется во мне кровь, я спокоен, я чувствую в себе решимость и силу; но когда приходит ко мне Таня с своею детски доверчивою улыбкою, с своими увлажеными глазами, когда, склоняясь головкою на плечо мое и полуулыбаясь, спрашивает она меня: «Ну, что, одумался ли ты, неверующий человек, доказал ли ты себе наконец, что любовь возможна для тебя?» — я ничего не нахожу в ответ на слова ее, я сам и смеюсь и плачу, я сам делаюсь ребенком, таким же, как и она, целую ее руки, целую ее волосы, платье и по целым часам бегаю как безумный с нею по саду...

Ну, не грустно ли?

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЕВНИКА ТАНИ

Чем более я думаю, как отказаться от этой несчастной страсти, как истребить ее в сердце своем, тем более преследует она меня и овладевает всею душою моею. В ней вся моя погибель, в ней же и все мое счастие,— кто поймет, кто объяснит мне это?

А между тем это так. Я чувствую, как разбивается жизнь моя об это чудовищное бессилие, вижу, что все мое существо гибнет и гаснет в этой бесплодной борьбе, и, однако ж, я не могу ничего против этого, не могу сказать сердцу своему: перестань любить.

Ну, не страшно ли такое положение, не в состоянии ли оно свести в гроб самые цветущие силы, разбить самую крепкую грудь? И на чью долю выпало такое страдание? на долю бедной девочки, одинокой, слабой, без опоры! Правду сказать, знает же судьба, кого наделить своими ударами! И часто, в те минуты, когда зашевелится и взволнуется вся горечь, которая мало-помалу скоплялась и зрела на дне души моей, мне делается тяжко и душно, и я не знаю, куда деваться, куда склонить голову от тоски, которая гложет и изводит мое бедное сердце.

Куда же ты скрылась, куда исчезла ты, радость моей жизни? Где, в какой далекой стороне, летает чистая душа твоя, милая, добрая мама? Счастлива она там, среди божиих ангелов; не знает она ни горя, ни страдания: все в ней радость, все упоение! Скажи же мне, мама, я-то зачем же томлюсь и гибну в этой страшной темнице, зачем же у меня нет крыльев, чтоб полететь на это роскошное, синее небо? Раскинулось оно без конца и в даль и в ширь, все усеянное светлыми звездами! Вот и она, далекая звездочка моей мамы, смотрит

себе ясно и спокойно на людей, и нет ей дела до тревог и волнений их! Ей нечего жалеть, нечего искать, не о чем заботиться: в себе самой обрела она и счастие, и спокойствие, и мир! Посмотри же на меня, светлая, переходная звездочка, брось радостный луч надежды в растерзанную, истомленную грудь мою! Стонет, плачет мое бедное сердце, и нет конца неисходному горю!

Забвения, одного забвения прошу я у жизни: пусть одеревенеет, оледенеет мое сердце, пусть спокойствие, хоть могильное, сойдет на душу, и не надо мне ни радости, ни любви, ничего, чем красно и сладко существование: как-нибудь, день за днем, дотащила бы я до конца безотрадную жизнь.

И между тем сколько силы, сколько молодости растрачено в этих бесплодных стремлениях! И никто не узнает, как жгуче и невыносимо это молчаливое горе, никто не догадается, что есть в мире сердце, которому нужна помощь, есть душа, которая вянет среди сомнений, гнетущих ее... Ходят, шевелятся вокруг меня люди, но все это как-то злобно, неприязненно смотрит на чужое горе, все отворачивается и как будто говорит: что ты навязываешься с своим бессильным страданием? посмотри: все вокруг тебя заняты, все ищут и хлопочут; ты одна без дела, ты одна лишняя на свете! Боже мой! да виновата ли я, что у меня связаны руки, что спутано и оцеплено все мое существо? Виновата ли я, что мне заграждены невидимою, но жестокою рукою все пути, чтоб выйти из тяжкого моего положения? Отчего же, за какое страшное преступление так наказана я? Настанет ли наконец для меня та минута, когда просветлеет и просияет жизнь моя; скоро ли займется вновь заря, так рано потухшая на бледном горизонте моего существования, или долго еще страдать и томиться мне в этой холодной темнице, и никогда не проглянет солнце в черной ночи ее?..

Сегодня вечером все мы, не исключая даже и Марьи Ивановны, катались по озеру. Погода была чудесная; золотые лучи умирающего солнца дрожали и переливались на едва приметных струйках дремлющего озера; вечерний ветерок чуть-чуть рябил ровную поверхность воды; как неясный, но полный прелести ропот, долетали до нас отдаленные песни крестьян, возвращавшихся с работы; все дышало таким тихим, безмятежным спокойствием в этой чудной картине сельского вечера: даже тростник, поросший вокруг озера,— и тот как будто притаился и приник к воде, и ласточки спрятались в свои теплые гнезда.

Что это, как хорошо, как отрадно кататься вечером по озеру! как легко и свободно дышит грудь в этом влажном воздухе! И все как будто помолодели, повеселели мы: и отец стал как-то ласковее, добрее смотреть, и Марья Ивановна только для проформы делала разные хозяйственные замечания, а о детях и говорить нечего: смеются и бегают по плоту и, наверное, опрокинули бы его, если б не слышался изредка строгий голос Марьи Ивановны, запрещающий им шалить. Один Нагибин был как-то грустнее и задумчивее обыкновенного: во все время не сказал он почти ни слова, и как ни старался отец, но не мог успеть расшевелить его.

Наконец пора было и к берегу. Отец пошел с Марьей Ивановной домой, а мы с детьми в сад, и когда братья были далеко от нас, Нагибин подошел ко мне.

— Вы позволите мне сказать вам несколько слов, Татьяна Игнатьевна? — спросил он.

— Сколько угодно, Андрей Павлыч; сядемте на скамейку.

Но он молчал и, казалось, обдумывал, как начать разговор.

— Что же вы задумались, Андрей Павлыч? — сказала я,— вы хотели что-то передать мне?

— Да, я хотел вам сказать... да, право, не умею, как выразить...

— Стало быть, это очень дурно, друг мой, что вы не решаетесь высказать мне мысль свою?

— О нет, тут нет ничего дурного! да вы все так принимаете к сердцу... Право, я не знаю...

— Боже мой, что это за мука! Да скажете ли вы, наконец, что́ вас так сильно занимает?

— Меня занимает... Послушайте, Татьяна Игнатьевна, вы должны одобрить мое решение... оно необходимо как для вашего, так и для моего спокойствия...

— Какое же это решение?

— Вот видите ли; сегодня я много думал, отчего вы так грустны с некоторого времени, отчего вы с каждым днем увядаете...

— Ну, так что же, Андрей Павлыч?

— Да ведь это я вас так измучил, я с своим несносным бессилием; это от меня вы так страдаете, доброе дитя мое!.. Еще если б я один — я перенес бы все; но видеть, как вы каждую минуту умираете, как вы томитесь,— эта мука выше сил моих!

— Так вы решились... ехать отсюда?..

— Могу ли же я оставаться, милая Таня?

— И вы думаете, что ваш отъезд поможет моему горю, Андрей Павлыч?

— Кто знает? может быть... О, это все мое желание, все моление мое! Это дало бы спокойствие моему сердцу... Время все изглаживает, время великий врач всех недугов, особливо сердечных...

— Вы думаете, Андрей Павлыч? вы думаете, что и вдали от вас мое сердце не будет всегда и везде с вами?

— Кто знает?

— О нет, я знаю, Андрей Павлыч. Видите ли, вы никогда не любили в жизни — вы и не знаете, и не мудрено, что вам кажется, будто время все изглаживает, все исцеляет... А если оно, вместо того чтоб заживить мои раны, только растравит их?

Я взглянула ему в лицо и сама ужаснулась его мертвенной бледности; казалось, несносная тяжесть удручала и жала ему грудь и не позволяла вздохнуть свободно.

— Что с вами, Андрей Павлыч? — сказала я, взяв его за руку,— зачем же так сильно принимать все к сердцу?

— Что же делать, на что же решиться мне? — прошептал он едва слышно.— Боже мой, боже мой! где же конец, где же граница этому страданию?

— Перестаньте же, Андрей Павлыч; вы видите, что меня мучит ваше страданье; бросимте говорить об этом; пусть будет, что́ будет,— зачем загадывать вперед... Вы что-то больны сегодня, друг мой.

— Да, болен я; но в том-то и дело, что я всегда так болен, добрая, милая Таня; в том-то и дело, что нет конца этой мучительной болезни, что я сам чувствую, как сводит она меня мало-помалу в могилу... Хоть бы поскорее, хоть бы разом покончила она со мною!

— А я-то, а обо мне-то и забыли вы, Андрей Павлыч? я-то с кем же останусь? и вам не жаль меня будет? не жаль?.. а, Андрей Павлыч? что же вы молчите?

— Что же мне отвечать вам?.. Жаль? мало ли чего мне жаль, Таня, мало ли чего бы я хотел! Да я такой маленький человек, что не должен желать чего-нибудь безнаказанно! Сожалеть? пожалуй, сожалей, да что будет в том проку, подвинемся ли мы оба хоть на шаг от этого? Ах, зачем свела меня с вами судьба! шли бы мы каждый своею дорогой, дотянули бы как-нибудь до смерти!

— Ах, боже мой! к чему же эти мысли, друг мой? Зачем мы встретились? кто ж это знает? и зачем вам непременно нужно объяснить себе это? Мы встретились — это была случайность; мы полюбили друг друга — это было необходимым

последствием нашей встречи! Зачем же везде хотите вы видеть что-то особенное, какое-то злобное преследование судьбы? зачем все эти вопросы, Андрей Павлыч?

— Зачем? Спросите лучше, зачем всякое явление раздвояется в моих глазах; зачем ни на один вопрос не может рассудок мой отвечать откровенно: да или нет; зачем в одно и то же время рождается в моей душе тысяча оправданий и тысяча опровержений? Ваше молодое сердце не может постичь, сколько жгучего страдания в этой странной жизни, где не на чем успокоиться рассудку, где беспрестанно думаешь упираться ногами в землю, и беспрестанно колеблется и уходит она из-под ног!

Он задумался; голова его медленно опустилась на грудь; на бледном лице выразилась тихая, безмолвная горесть; как будто вдруг сделалось спокойно и светло в душе его, как будто чувствовалось уж в этом грустном взоре будущее примирение.

— Ужасны не самые лишения,— сказал он дрожащим голосом,— не сама бесцветность и бедность жизни гложут душу — ужасно сознание возможности счастия, сознание всей обаятельной сладости удовлетворенной страсти, которое, на горе бедному парию, является воображению его в самые трудные минуты его жизни! Видеть счастье во всей чудной полноте его, осязать руками эту таинственную чашу блаженства, предмет столь долгих и мучительных помышлений человека, и в то же время сознавать, что никогда губы его не прикоснутся к ней,— вот пред чем цепенеет мысль человека, вот где истинное бедствие его положения!

И долго удерживаемые слезы ручьями полились из глаз его.

— Сознавать разумность и необходимость любви,— сказал он рыдая,— и сознавать невозможность и неразумность ее! любить и не любить! Да где же тут смысл, кто поймет это?

И я не могла удержаться, и я с рыданием упала на грудь его и целовала ее.

— О, плачьте, плачьте, друг мой! — говорила я,— и пусть в этих слезах все дотла выплачется безотвязное горе, которое тяжелым камнем легло на душу вашу, и пусть никогда не возвратится эта черная туча сомнения, омрачившая светлый день нашей жизни!

И он, казалось, повеселел и помолодел, улыбаясь сквозь слезы, глядел на меня и нежно прижимал меня к груди своей.

— Ты-то что плачешь, Таня? — говорил он,— ты-то об чем горюешь, милое дитя мое? тебя-то за что заставляю я страдать, добрый ангел мой?

— О нет, я не страдаю, я весела, мне так хорошо, так спокойно теперь... у тебя на груди... Слышишь, как бьется твое сердце, как радо оно этим теплым, живительным слезам!

— Да, мне легко, мне свободно в эту минуту, милая Таня; все во мне любовь и упоение, и нет следа тяжелым сомнениям, которые еще за минуту висели надо мною... Повтори же мне, друг мой, не правда ли, ведь его уж нет, он не стоит уж между нами, этот страшный призрак, который мешал нам жить, мешал нам любить друг друга? И мы можем свободно дышать, можем посмеяться над этим старым пугалом, потому что мы сильны своею любовью, и нет в мире препятствия, которого бы не сокрушили мы? Так ли, дитя мое, радость моя, так ли я рассуждаю теперь? хорошо ли ведет себя воспитанник твой, стоит ли он поцелуя своей доброй наставницы?

И он привлек меня к себе и посадил на колени.

— Ведь это все вздор, что я прежде говорил тебе? ведь неправда, будто любовь невозможна, будто она неразумна?.. Ах, боже мой! да, стало быть, она возможна, стало быть, разумна, коли она есть, коли ею живет и трепещет все существо мое? Так ли, добрая Таня?

Я сама удивилась, как быстро и как совершенно произошла в нем такая перемена, как внезапно всякое слово его приняло жизнь и задышало страстью.

— Таня, а Таня,— сказал он, дрожа от волнения,— зачем эта косынка на груди твоей, зачем она мешает?.. Сними ее, брось ее дальше, чтоб не было ничего между тобою и мною... Ну, полно же, полно, дитя,— продолжал он, удерживая меня,— ведь это я так... это пройдет... ты не сердишься на меня, друг мой?

И он обхватил обеими руками мою голову и долго вглядывался в глаза мои, как будто хотел высмотреть в них самую затаенную мысль.

— А знаешь ли, зачем я так долго вглядываюсь в глаза твои, Таня? Я смотрю, как отражается в них это чудное летнее небо, которое так роскошно раскинулось над нами... Вон блеснула и задрожала в них далекая звездочка. К кому-то послана ты, чью-то судьбу хранишь ты?.. Ах, вон и упала она... и нет больше звездочки! А слыхала ли ты? говорят, будто в минуту падения звезды непременно кто-нибудь умирает? Ведь не правда это, Таня, ведь это всё глупые люди выдумали: в эту минуту все живут, все счастливы? так ли, Таня? так ли, дитя мое?

Но я боялась и не смела прерывать это детское упоение, которым он сам, казалось, так жадно любовался, как будто страшился потерять одну минуту счастия, как будто всяким

мгновением хотел он воспользоваться и извлечь из него возможную сумму наслаждения.

— Ах, что за чудные, что за мягкие у тебя волосы, Таня! — сказал он, играя моими локонами и целуя их,— только одного мне жаль, дитя мое...

— Что же так печалит тебя, друг мой?

— Не знаю отчего,— сказал он сквозь слезы,— а мне все приходит на мысль, что все-таки нам жить розно, все-таки не сойтись.

— Ах, боже мой! опять эти грустные мысли! да брось их, выкинь их из головы, друг мой.

— Нельзя, Таня, нельзя! Вот видишь ли: это так ясно, так очевидно, что само собою, против меня, приходит мне на мысль...

И в голосе его было столько страдания, когда он говорил это, что сердце мое надрывалось от горести, и я снова бросилась рыдая к нему на грудь.

— Ну, вот ты и опять плачешь, странный ребенок! Жаль мне тебя, милая, жаль, потому что я замучаю, изведу тебя своими беднями! Ах, брось, забудь меня, Таня .. Ну, не горюй же, посмотри на меня, бесценное сокровище мое, поцелуй меня. .

— Забыть! тебя забыть? — говорила я, целуя грудь его,— да что же будет тогда с жизнью моею? неужели опять возвратится эта пустота, эта неизвестность? О нет! пусть лучше страдание, пусть горе, пусть хоть что-нибудь — только не возвращаться к этой грустной, бесцельной жизни!

— Бедное дитя! да смерила ли ты силы свои? станет ли у тебя бодрости, чтоб бороться, всегда и везде бороться? Ведь это страшная жизнь, ведь нужно железные мышцы, чтоб устоять в ней! Она режет, она давит, она отнимает последнюю искру рассудка, эта грозная действительность, и нигде не скроешься, никуда не убежишь от нее!

— Пусть давит, пусть режет она! Моя любовь защитит меня от ее ударов. Как ты не хочешь понять, что я сильна своею любовью, что нет для нее ни преград, ни препятствий?..

— Бедная Таня! — сказал он со вздохом,— а что, если ты ошибаешься?

И он крепко прижал меня к сердцу.

Было уже довольно поздно; таинственный сумрак спустился на сад и придавал ему какой-то фантастический, обманчивый колорит; холодная вечерняя роса падала на утомленную дневным зноем землю; над озером вился легкий, прозрачный туман; из аллеи долетал до нас резвый шум и хохот детей, но как-то смутно, невнятно; оба мы были в каком-то

упоительном забвении, и оба не могли сказать друг другу слова, как будто невидимое очарование сковало язык и оцепенило все существо наше.

И величественною красотою блистало над головами нашими далекое небо, и, весело шумя зелеными листьями, склонялась душистая черемуха, осеняя любовь нашу...

Я так еще полна вчерашним разговором! передо мною еще так живо носится воспоминание этой благоухающей минуты, в себе одной поглотившей всю прошедшую, безотрадную жизнь мою! Но странное дело! это счастие как-то различно действует на нас; во мне оно пролило какой-то неведомый избыток жизни, дало силу и энергию всему существу; я весела, я радуюсь, я так довольна собою, что все готова забыть, все простить, готова всех обнять и прижать к сердцу.

Он, напротив, так угрюмо и скучно смотрит на все, как будто еще бóльшая тяжесть, бóльшее бремя налилось ему на душу, и все избегает встреч со мною, и беспрестанно или сидит около детей, или нарочно удерживает отца, как только видит, что нам приходится остаться наедине.

Да погодите же: я поймаю вас, не увернетесь вы теперь от меня, Андрей Павлович! В вас опять зашевелились эти несносные вопросительные знаки; вы опять хотите как-нибудь отлавировать от решительного ответа, да я вас не оставлю, я допрошу-таки вас, поставлю на своем, и будете же вы мой, и будете вы чувствовать и рассуждать не так, как вам вздумается, а как я позволю. О, вы меня не знаете, Андрей Павлович! ведь я ужасный деспот, у меня всё на военную ногу: никогда никаких рассуждений, и все делать, как приказывает начальство!

Зато как мы весело, счастливо будем жить, друг мой! как будем любить друг друга! И не думайте, чтоб я воображала себе богатство, великолепие — совсем нет! Я знаю, что будут у нас лишения... да, боже мой! в чьей же жизни нет своих маленьких неприятностей, своих огорчений! зачем же нам одним составлять исключение?

И лучше ли было бы, если бы не существовало для нас этих лишений, если бы все, что бы ни захотели мы, являлось вдруг навстречу желаниям нашим? Да ведь нам скоро надоела бы эта безнуждная жизнь, ведь мы соскучились бы, утомились бы, друг мой; ведь только горем бывает понятна радость, только лишением дорого удовлетворение!

А я буду так лелеять, холить тебя, любимое, больное дитя мое! и мигом сгоню незваное и непрошеное горе с лица, мигом развеселю и утешу моего милого баловня! Ведь в том-то и обаяние любви, в том-то и прелесть любимой женщины, что

есть кому поверить тайную мысль, есть на чьем сердце выплакать безотвязно преследующее сомнение. Вот и ты, мой друг, что́ теперь в твоей бедной, одинокой жизни? счастлив ли ты, доволен ли? можешь ли хоть на минуту забыться, оторваться от грустной действительности? Нет, грустен, страдаешь ты, потому что затвердел на сердце твоем этот больной нарост, весь составленный из сомнений и противоречий, и некому расшевелить их, некому облегчить твое бедное сердце! Одна любовь может вылечить болезнь твою; она одна в состоянии размягчить твое сердце, просветлить все существо твое; ее могущество сделает легким тяжелое бремя, которое суждено нам нести, и благим жестокое иго, которое тяготеет на нас!

Да и будто одни лишения, одни горести ожидают нас впереди? Будто в нас самих не представляется нам неисчерпаемый источник разнообразных и всезаменяющих наслаждений? Будто непременно нужен блеск, нужен шум для нашей любви, будто не все радость, не все упоение в этой тихой, семейной жизни, среди тесного кружка друзей, где все мыслит одною мыслью, чувствует одним чувством, где все дышит такою светлою безыскусственною тишиною?.. Ах, друг мой, скорее в этот уютный уголок! подальше от людей и холодных расчетов их! запремся от них крепко-накрепко в неприступной крепости нашей, и пусть идет мимо бессильная злоба их, и не настигнут нас дрожащею от зависти рукою пущенные стрелы их!

А притом же, ведь у нас будет семейство, будут дети! Ведь у нас будут дети? не правда ли, непременно будут, друг мой?

Ах, что это за чудное чувство быть матерью! Я и теперь так люблю этих милых крошек и смотрю не насмотрюсь, не налюбуюсь ими! Что же это будет, когда у меня будут *свои* дети, *свои* милые ангельчики, и будут они резвиться, бегать вокруг меня, будут называть меня своею милою, доброю мамой! Да и будет же любить вас эта баловница мама, будет она целый день играть с вами, чтоб ни одной минуты не знали вы скуки, чтоб всякое мгновение вашей жизни было для вас радостью и счастьем! И когда наступит ночь и начнут смыкаться от сна ваши глазки, засыпайте спокойно на маленькой кроватке вашей, и пусть снятся вам божии ангелы, пусть ничто не смутит этого беззаботного сна невинности: за вами всю ночь будет следить зоркий глаз вашей мамы, всю ночь не уснет она, лишь бы вы были счастливы, светлые мои ангельчики!

И пусть не смеет сердиться старый ворчун папа, если ему

надоест ваш резвый шум,— не то сейчас заставим мы его самого играть и бегать с нами! О, мы сумеем управиться с ним! Ведь он один, а нас много, и притом у нас столько средств, столько силы!

Голова у меня кружится, сердце бьется в груди, как будто выскочить хочет, когда я думаю обо всем этом! И как весело бегаю я одна по саду, прощаюсь с каждым уголком его, как будто и не видать мне его никогда, как будто и началась уж для меня эта новая, обаятельная жизнь!

Что же вы-то не развеселитесь, что же вы-то так угрюмо, печально смотрите, Андрей Павлович? Или вам все еще не верится этой полноте счастия, или вы уж так запуганы жизнью, что боитесь отдаться ей, боитесь, не обманывает ли вас она снова, нет ли тут какой-нибудь хитрости, какого-нибудь силка? Разуверься же, милый резонер мой! счастье есть, любовь существует: она бьет и рвется ключом в моем сердце, а ты знаешь, что я не страдаю эгоизмом!

И давно ли, давно ли, боже мой, в этом журнале были только печальные строки? давно ли в этом сердце жили только страдание и безнадежность? и вот уж два дня, как я совершенно счастлива, два дня, как всякое слово моего дневника дышит радостью и упоением!

И как полно, как тепло все смотрит вокруг меня! И говорю я, не наговорюсь, целый день все бы смеялась, все бы бегала, все бы я болтала без умолка! Даже отец заметил Марье Ивановне эту необыкновенную веселость, а Марья Ивановна — такая, право, хитрая! — лукаво улыбаясь, отвечала: «Чего ж тут мудреного, батюшка, что девка сама не знает, чему радуется? уж такие ее года: пора и к месту, пора и женишка приискать!» И отец засмеялся и погрозил мне пальцем. Бедные! они и не подозревают, отчего я так весела, они и не воображают себе, что тут нечего ни приискивать, ни пристроивать, что без них уж все сделано, без них пристроено!

Видно, это ты, милая мама, помолилась за меня богу; видно, донесла до тебя наконец светлая звездочка весть о твоей бедной дочери! Посмотри же на меня из чудной обители твоей, порадуйся же моему счастию, благослови меня на далекий путь моей новой жизни!

Но пора, однако ж, тушить свечу и ложиться спать... Ах, боже мой, как не хочется мне нынче расставаться с своим журналом! А делать нечего: нужно! Что-то я буду видеть во сне, увижу ли я вас, мои светлые ангельчики, мои милые дети? Буду ли я убаюкивать вас и петь над вами тихую колыбельную песенку, или будем мы вместе резвиться и бегать до упада в нашем крошечном, уединенном садике?

ОТ НАГИБИНА К г. NN

На днях я встретился с общим нашим знакомым и старым товарищем, Гуровым. Он оказывается соседом Крошиных и приезжал к ним с отцом своим. Встреча эта много позабавила меня, потому что редко видал я более комическую группу, как господа Гуровы, отец и сын. Оба они престрашные сантименталы, «словечка в простоте не скажут, все с ужимкой»; сын, как видно, обрадовался свиданью со мною и тотчас же рекомендовал отцу, как собрата своего по Аполлону. Такая неожиданная рекомендация, признаюсь, несколько смутила меня, потому что, как вам известно, я довольно давно уже не предаюсь никакому разврату, и в этом духе выразил я Григорию Александровичу свое сожаление, что не могу оправдать рекомендацию его сына.

— Жаль, очень жаль, почтеннейший Андрей Павлыч, поэзия — это, так сказать, ядро, центр нашей жизни, это, изволите видеть, душа; без поэзии мы простые смертные; без нее у души нашей нет крыльев возлететь к своей первобытной отчизне...

На это я отвечал ему, что не всем же летать на небо, что тут одни избранные, а мне, как простому смертному, ничего более не остается, как пресмыкаться по земле.

Наконец мы как-то остались наедине с молодым Гуровым.

— Ну, что поделываете, почтеннейший Николай Григорьич? — спросил я его.

— Право, не знаю, как вам сказать: пользуюсь воздухом, читаю моих любимцев — и вполне счастлив; одного только как будто недостает мне, это — любви.

— Только-то? Так можно, стало быть, вас поздравить: вы счастливы?

— Да, я счастлив,— отвечал он со вздохом,— приезжайте к нам, мы вместе вспомним о прошедшем, позабудемся в сладком чаду давно минувшей юности, вместе будем беседовать с природою...

— Извините меня: я что-то уж поотвык, да и вообще воспринимательная способность во мне как-то туга.

Он с чувством пожал мне руку.

— Вы страдаете, вы разочарованы? — сказал он таинственным голосом,— и вас сломила эта презренная действительность!.. О, как я рад, что узнал вас, что встретил наконец человека, который может понять меня!.. И я тоже страдаю, и я разочарован, и я несчастлив!.. Брат! дай мне руку!

— С удовольствием, если это вам приятно,— отвечал я и

подал ему руку.— Да как же вы мне сейчас только что говорили, что вполне счастливы?

— Да; когда я один, когда я далеко от этих людей-крокодилов, как сказал великий британец, когда я один на один с моею природою, когда надо мною, вечно зеленея,

Темный дуб *склоняется и шумит.*

— Помилуйте, Николай Григорьич! да у нас и не растут вовсе дубы!

— О! это ничего! внутри меня вселенная... О, я желал бы умереть!..

— Да зачем же вам умирать? Подумайте, что по смерти вы не могли бы ни беседовать с природою, ни носить в груди вселенную, что, я думаю, должно быть весьма лестно, хоть и не легко.

— О нет, ты не понимаешь меня, брат мой! Глаза твои подернуты еще пеленою, которою покрыла их действительность холодная и безотрадная!.. Умереть... умереть — уснуть, как говорит божественный Гамлет... О, будь моим другом!

— С удовольствием; только, право, не знаю, буду ли я в состоянии удовлетворить вашим требованиям: я человек простой, хочу жить, а умирать не желаю.

— О, зачем говоришь ты мне *вы*? Зачем называешь ты меня Николаем Григорьевичем?

Что имя? Звук пустой!

Ненавистная оболочка, от которой я хочу освободиться! Называй меня братом своим...

— Отчего же? и это можно, любезный брат мой,— отвечал я.

В это время подошла к нам Таня; еще издали увидев ее, брат мой стал поправлять на себе жилет и галстух и приглаживать свою прическу.

— Здравствуйте, Николай Григорьич,— сказала Таня,— здоровы ли ваши сестрицы?

— О, они здоровы! — отвечал он иронически,— они не могут быть больны: им неизвестны страдания!

— Я очень рада.

— А я признаюсь вам, сударыня, я жалею, что им незнаком этот очистительный огонь души...

— Как вам нравится наш сад? — спросила Таня.

— О, прелестен! Я только что говорил об нем с моим другом: он вполне меня понимает! Этот человек,— продолжал Гуров с возрастающим жаром,— под холодною личиною таит нежное, любящее сердце!

Таня улыбнулась.

— Послушайте, однако ж, Николай Григорьич,— сказал я,— не слишком ли увлекает вас ваше расположение ко мне?

Но он ничего не отвечал: он вперил свои очи к небу и был, казалось, в упоении; когда Таня ушла, он взял меня за руку и сказал:

— Извини меня, брат мой, я не открыл тебе лучшей страницы моей жизни: я люблю, я любим... Не правда ли, какое чистое, небесное существо?

— Об ком это вы говорите?

— Я бы сказал: об ангеле, но я на земле, а люди называют ее Таней... Не правда ли, сколько любви, любви безграничной в ее глазах?.. О, я люблю ее, и отец обещал мне сегодня же поговорить с Игнатьем Кузьмичом.

— Отчего вам и не жениться? это партия недурная: у нее пятьсот душ!

— О нет, ты не понимаешь меня! Что презренное богатство? я не продаю души своей!..

В таком духе продолжался наш разговор почти весь день; насилу я мог освободиться от докучливого любовника природы.

Когда они уехали, я рассказал Тане намерения Гурова, подшучивая над нею, что я знаю все, что Гуров проболтался мне, что она его любит. Но она только рассмеялась на мои слова, назвала меня ревнивцем и ушла в свою комнату. За ужином, однако ж, она была что-то скучна, и когда мы встали из-за стола, подошла ко мне и позвала с собою в сад.

— Ты не обманываешь меня,— сказала она,— Гуров хочет просить мою руку?

— Нет; он сам мне сказал это, и я думаю, что отец его уж говорил с Игнатьем Кузьмичом.

— И ты так равнодушно говоришь об этом?

— Да разве плакать надобно? Пожалуй, я...

— Нет, зачем же? Не трудитесь... так это верно?

— Зачем мне обманывать?

Таня заплакала.

— Разумеется,— сказала она дрожащим от слез голосом,— зачем тебе обманывать... Уверяй меня, уверяй больше... Так уж это решено? Ведь меня отдадут ему? Не правда ли?

Не знаю, что было со мною в этот вечер: хотел ли я вознаградить себя за целый день скуки, только я был до чрезвычайности весел.

— Послушай, Таня,— сказал я,— ну, что ж, если ты и выйдешь за него замуж?..

— Разумеется, разумеется, если я и умру, так ничего!

кому какое дело!.. Никто и слезинки не проронит, как будто бы и не было Тани, как будто никого и не любила она!

Она замолчала и отвернулась от меня.

— За что же ты сердишься на меня, Таня?

Молчание.

— Таня! а Таня! что ж ты молчишь?

— Что мне говорить? Я все уж сказала; ведь вам все равно... Ну, выйду замуж за Гурова, буду счастлива... Чего же более?..

— Да ведь ты его любишь, Таня?

Нет ответа.

— Он сам сказал мне это... правда?

— А правда ли, что у вас под холодною личиною таится нежное и любящее сердце?

Я засмеялся, Таня тоже улыбнулась.

— Ведь ты обманываешь меня? — сказала она,— зачем же так мучить?.. Не стыдно ли? А впрочем, знаешь что? мне даже жалко, что Гуров не хочет на мне жениться.

— Это почему?

— Да ты на что-нибудь решился бы тогда...

— На что же я мог бы решиться, Таня?

Но Таня улыбнулась и ничего не отвечала.

— Впрочем,— сказала она,— так как ничто нам еще не угрожает, то нечего и говорить об этом.

И мы расстались. Признаюсь вам, эти слова немало меня беспокоят; я сам не знаю наверное, будет ли просить Гуров руки Тани; но это дело весьма возможное, и я ужасаюсь и предугадываю последствия, которые поведут для меня за собою эти переговоры. Прошу вас, если вы меня любите, дать мне какой-нибудь ответ, как поступить мне в этом случае, потому что сам я решительно не могу ничего придумать для своего спасения. Я столько натерпелся в жизни голода, холода и всяких щепетильных преследований, что, признаюсь, рад был хоть несколько отдохнуть, и если не был счастлив, зато и несчастлив не был. А теперь опять заботы, опять хлопоты, опять страдание! А я было заперся совсем и так рад был своему спокойствию! Что ни говорите, а избегать зла в природе человека; обладание же Таней, в настоящую минуту, для меня решительное зло. Это так несомненно, так логически доказал я себе, что никакие доводы не убедят меня в противном. Бога ради, пишите мне, научите, что мне делать, потому что, без всяких шуток, положение мое невыносимо: я и себя и ее мучу, и себя и ее обманываю.

Жду письма вашего с нетерпением и надеюсь, что вы не забудете меня. Помните, что я в таком оцепенении, что не

могу сам выйти из него, что нужен какой-нибудь внешний толчок, чтоб разбудить меня от этой мертвой апатии и вытолкнуть вновь на ровную дорогу, с которой я сбился.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЕВНИКА ТАНИ

...Наконец сегодня утром позвали меня к отцу. Он сидел в своем кабинете с Марьей Ивановной; перед ним лежало на столе распечатанное письмо, и портрет покойницы мамы, обыкновенно задернутый занавескою, на этот раз был открыт: все заранее было рассчитано, чтоб произвести сильный эффект. Отец начал первый.

— Милая,— сказал он торжественным тоном, который вовсе не шел к его лицу,— в вечной заботливости о твоем счастии, я и Марья Ивановна...

Он остановился, закашлялся и не знал, как продолжать; я тоже стояла и ждала.

— Так вот, видишь ли, друг мой, я и Марья Ивановна, заботясь о твоем благополучии...

И опять остановился.

— Что ж ты, батюшка? язык, что ли, проглотил? — прервала Марья Ивановна,— что это с тобой сделалось? иной раз не уймешь, а вот как дело, так у него и языка нет.

— Эка баба, эка проклятая баба! — сказал отец,— слова вымолвить не даст! Ведь это дело деликатное, баба ты, баба-наседка, нужно это дело издалека повесть, нужно обдумать... то-то, говорил я тебе пословицу-то, помнишь? а все суется... экой собачий нрав!.. Все бы мутила да пакостила! Черт, право черт, прости господи мое прегрешение! сатана сидит у тебя в сердце, сударыня!

И я все стояла и ждала, к чему поведет это предисловие.

— Так вот, видишь ли, Таня,— снова начал отец,— вот мы с Марьей Ивановной... дьявол, а не женщина! сатана, сударыня, сидит в тебе! все бы мутить, все бы изгадить...

— Да кончите же, папенька, что вы хотели сказать мне?

— Да вот все она... эка проклятая баба! слова не даст сказать; все бы ругаться да лаяться, прости господи мое прегрешение!..

— Ну, что-то еще будет? — сказала наконец Марья Ивановна,— ну, продолжай, продолжай, свет мой; скоро ли все это кончится?

— Я говорю правду, истину говорю: ни в грош меня не ставишь, сударыня, в бога не веруешь.

— Да, да; ну, нет ли еще чего?

— Обо всем дашь ответ на том свете, богомерзкая баба, за все заплатишь. Ты, чай, ждешь не дождешься моей смерти... я тебя насквозь вижу... да вот и умер бы, да назло тебе буду жить, да и тебя еще похороню.

— Объясните хоть вы мне, Марья Ивановна,— сказала я,— зачем меня сюда призвали, чего хотят от меня?

— Ах, милая! видишь ли, что у папеньки есть нужные дела, дай же ему отвесть душу, а мы с тобой еще подождем, еще успеем...

— Ну, говори, говори, проклятая! вишь, у тебя язык-то чешется; вся в отца, сейчас видно подлое семя.

— Ну, кончил, что ли, ты, батюшка? все ли рассказал, отец мой?

Отец хотел было опять отвечать, но я его удержала.

— Добрый папенька,— сказала я,— ради бога, перестаньте; разве вы не видите, что это меня терзает?

— Вот только для тебя, Таня; право, только для нее... слышь ты, проклятая баба! ну, говори же, коли лучше меня умеешь.

Марья Ивановна начала.

— Вот, видишь ли, друг мой,— сказала она,— лета твои уж не детские, пора тебе и пристроиться, найти себе партию... да ведь тебе, я думаю, и самой хочется этого, плутовка! То-то вот — как ни мила девическая воля, как ни тепло под крылышком у папеньки и маменьки, а все, чай, лучше, как своим-то домком?.. Так ли, голубушка Таня, а? Что ж ты не отвечаешь, друг мой?

Но я все еще как-то неясно понимала, что хотела она сказать этими словами; я чувствовала, что готовится что-то страшное, какой-то неожиданный удар, но я так мало до сих пор думала об этом, что, несмотря на всю ясность слов Марьи Ивановны, не могла себе определительно растолковать их.

— Я слушаю вас, Марья Ивановна,— сказала я,— только вы, кажется, еще не кончили?

— Нет, милая, да ведь это не долго будет... Так вот, видя, что ты в лета входишь, Игнатий Кузьмич и я... ведь я хоть и мачеха тебе, Таня, а все равно что родная мать: бывает, и матери не заботятся так о родных детях, как я о тебе...

— О, я верю, Марья Ивановна, и благодарю вас за это.

— То-то же, друг мой, я и надеюсь, что ты не забудешь меня... Так мы вот думали, думали, какую бы для тебя приискать повыгоднее партию, чтоб прилично было девушке дворянской фамилии, ан вот жених-то и сам приискался...

— Жених? Мне? — сказала я и остановилась, как громом

пораженная; я чувствовала, как вдруг застыла во мне вся жизнь, как вдруг порвались и исчезли все мои силы.

— Да, милая, вот и письмо, которое сегодня прислал к нам Николай Григорьич: он пишет, что уверен в любви твоей, Таня, а?.. А от нас скрывала, плутовка!

И она улыбнулась; я взяла письмо и пробежала глазами, но не могла ничего понять из него: до такой степени в один миг оцепенели все мои способности, одеревенело все существо мое; я не чувствовала в эту минуту ни горести, ни отчаяния, как будто все умерло, кончилось во мне, как будто все превратилось в какую-то неестественную слабость.

— Что ж ты стоишь, милая? — сказала Марья Ивановна,— поздравляю тебя, друг мой; подойди же, поцелуй у папеньки руку, поблагодари его: ведь это он все так об тебе заботится.

Я не знаю, как это все сделалось, но я подошла и машинально поцеловала у отца руку, машинально также поцеловала в губы Марью Ивановну. Отец даже что-то сказал мне, как будто вроде родительского благословения, но я ничего не поняла: я все думала о том, что это за странный рок, который так обидно забавляется судьбою моею и как будто в насмешку устроивает все так, что одна минута счастия влечет за собою целую бездну погибели и страдания.

Бессвязно долетали до меня приветствия и поздравления домашних, смутно слушала я слова Марьи Ивановны: «Смотрите, как довольна, говорить не может от радости... а нам ни полслова, плутовка! Да уж бог с тобой: была бы ты счастлива, была бы ты весела, а нам, старикам, пора и на покой! Так ли, друг мой?»

Наконец и он подошел.

— Позвольте вас поздравить, Татьяна Игнатьевна,— сказал он.

— С чем, Андрей Павлыч?

— С началом новой жизни; ведь вы с завтрашнего дня будете объявлены невестой.

— Ах, да, а я и забыла... благодарю вас, Андрей Павлыч, благодарю за участие.

И он еще хотел что-то сказать мне, но не мог, потому что в продолжение целого дня Марья Ивановна не отступала от меня ни на шаг. Что же хотел он сказать мне?

Не знаю, как добила я этот несчастный день; насилу-то оставили наконец меня одну, насилу могу я запереться в своей комнатке. Говорят, будто завтра приедет жених, и мне приказано пораньше заснуть, чтоб быть свежее и веселее.., а я больна и, может быть, вовсе не встану с постели!

Господи! где рука твоя, где твоя благость? Я умираю, я гибну, я поневоле подниму на себя руки, если все это не кончится! потому что нет мне больше силы терпеть, потому что терпенье — бесплодная добродетель, над которою смеются, в которую бросают каменьями! Пусть же покажет оно лицо свое, пусть явится оно, давно желанное провидение, когда нужна его помощь, потому что тут нечего ждать, нечего медлить, надо скорее спешить на помощь, потому что одна минута промедления будет стоить целой жизни человеку!

Уж скоро будет неделя, как Гуров объявлен моим женихом и почти безвыездно живет у нас. Нельзя представить себе того мученья, которое я терплю все это время: целые дни он, как тень, ни на шаг не отходит от меня, целые дни твердит мне о своей любви, о симпатии душ, читает свои стихи, спрашивает у меня советов, и когда я молчу, потому что действительно не знаю, что отвечать на его вопросы, он жалобно, почти со слезами говорит мне: «Что ж вы ничего не скажете, Татьяна Игнатьевна? или вы равнодушны к моему чувству, или вы не любите меня, друг мой?»

Если б он знал, какая горькая для него истина заключается в этих невольно высказавшихся словах!

И как будто нарочно, Нагибин постоянно оставляет нас одних, чуть только есть маленькая возможность ускользнуть ему от меня!

Отчего же не могу я любить Гурова? отчего он жалок мне? отчего его любовь кажется приторною, переслащенною, его предупредительность надоедает мне? И действительно, в нем совершенно нет никакого внутреннего содержания и слишком мало образованности, начитанности, чтоб хоть сколько-нибудь заменить этот недостаток, так что в одну минуту, в одном разговоре, он так вполне всего себя выскажет, что более ничего не остается и знать об нем. А между тем любовь именно и живет этой неизвестностью, именно в том и обаяние ее, что беспрестанно думаешь, будто вполне изведала всю душу, всю жизнь любимого человека, и беспрестанно открываешь в нем новые стороны, новый неисчерпаемый источник для изучения... До тех только пор и живет страсть, покуда она еще не вполне удовлетворена, покуда еще остается ей желать; тогда только и возможна она, когда пробуждают ее от полузабытья ее, заставляют быть деятельною, предприимчивою...

Ничего этого в Гурове нет; он как будто не понимает этого необходимого закона любви, как будто не сознает, что лю-

бовь нужно поддерживать, подстрекать, иначе она умрет, зачахнет при самом своем рождении. Могу ли же я любить этого человека?..

А между тем странное дело! каждый день собираюсь я высказать ему все это, разуверить его — и никак не могу решиться, и едва соберусь с духом и хочу говорить — не могу: язык немеет, слова, как нарочно, не являются на мысль, и поневоле откладываю попытку до другого раза. А другой раз опять та же история: однажды даже я довольно твердо сказала ему: «Николай Григорьич, мне нужно откровенно поговорить с вами»,— а между тем и сама не понимаю, как это сделалось, заговорила совсем о другом: о погоде, о стихах, и все по-прежнему осталось в положении неизвестности.

Хоть бы кто-нибудь дал мне совет, помог мне выйти из этого тяжелого положения, а то, право, я так запугана, так оробела, что и под венец меня поведут, а я ни слова не вымолвлю! Один человек мог бы разбудить меня, одним словом мог бы разрешить все мои недоумения, но он не хочет сказать это слово, он сам так нерешителен, что за ним бы надобно приставить няньку, указывать ему каждый шаг, чтоб он не споткнулся и не упал. И вот мы оба страдаем, оба мучимся, потому что давит нас какой-то тяжкий кошмар, который оковал все жизненные силы наши!

И отчего он так чуждается меня? отчего так заботливо избегает моих взоров? зачем, к чему все это, боже мой? Зачем не объясниться, не сказать раз навсегда, что нужно забыть эту несчастную любовь, что она ни к чему не ведет, что ее нет? По крайней мере, я знала бы, чего мне держаться; я не надеялась бы! А то — и да и нет, и люблю и не люблю... бог знает, что это за страдание!

Боже мой, боже мой! ужели же эта минута, в которую мы оба так вполне, так совершенно были счастливы, не оставила после себя никакого следа! ужели все это упоение, все это счастие было только обманом расстроенного воображения, а на самом-то деле все оставалось по-прежнему: темно, холодно, пусто?..

С какою невыносимою грустью перечитываю я те страницы дневника, где я описывала свое счастье! И что за безумие было думать, что может выйти что-нибудь путнее из этой больной любви, и можно ли быть таким ребенком, предаваться таким детским, несбыточным мечтам, зная эту неестественную слабость, это страшное отсутствие всякой энергии!

А я уж было совсем устроилась в этой тихой, уединенной

жизни и так хорошо распорядилась ею, распределила каждую минуту ее, ничего не оставила, ничего не забыла: и был у меня тесный кружок друзей, были дети... какое безумие, какое простодушие! Я сама была ребенком, когда мечтала об этом, когда так искренно предавалась увлекавшей меня волне счастья!

Но я узнала теперь всю глубину этой позорной, постыдной безжизненности! Сегодня улучила я наконец минуту, когда Гуров говорил о каких-то делах с отцом, чтоб объясниться с Нагибиным.

Он сидел один в беседке и так углубился в чтение какой-то книги, что и не заметил сначала, как я вошла и села подле него.

— Насилу-то я вас поймала, Андрей Павлыч! — сказала я,— вы, право, сделались как-то неуловимы с некоторого времени. Думаешь, вот улучила наконец минуту, вот поймала — смотришь, а вас уж и нет: вы или с отцом говорите, или около детей... какая на вас напала вдруг странная охота распространять просвещение!

Он смутился и ничего не отвечал; видно было, что такое неожиданное нападение мучило его, и он ждал только случая, чтоб снова ускользнуть из рук моих.

— Что ж это вы бегаете от меня? что вы всякий раз опускаете глаза, когда я смотрю на вас? с которого времени сделалась я так страшна, Андрей Павлыч? с которых пор мое присутствие так тяготит вас?

— Да я никогда не избегал вас, Татьяна Игнатьевна,— проговорил он, запинаясь на каждом слове,— я боялся помешать вашему счастью.

— Моему счастью? позвольте узнать, с кем это? Это очень любопытно!

— Да с Николаем Григорьичем!..

— А, с Николаем Григорьичем! Скажите пожалуйста... Я и не подозревала!.. Так вы боялись помешать моему счастью? Какой вы, право, добрый, Андрей Павлыч!

И я посмотрела на него, ожидая ответа, но он опустил глаза в землю и молчал.

— И долго вы намерены продолжать свое доброе дело, долго вы намерены меня мучить? Объяснитесь ли вы, наконец? будет ли когда-нибудь предел вашим сборам? а?.. Да скажите же что-нибудь, Андрей Павлыч!

— Право, я не знаю, чего вы требуете от меня, Татьяна Игнатьевна.

— Чего я требую от вас, чего я хочу! Ах, боже мой, и вы до сих пор не догадались, бедное, невинное дитя! Да я

требую от вас вашего же собственного счастия, я требую, чтоб вы сбросили с себя эту искусственную мертвенность, которою вы сами сковали все чувства свои, я требую, чтоб вы ожили!.. И вы спрашиваете, чего я хочу, а я столько раз говорила с вами об этом — и вы до сих пор не догадались!.. Полноте, Андрей Павлыч, зачем же так открыто, так грубо лгать?

— Да коли это невозможно, Татьяна Игнатьевна, коли все, что вы хотите истребить во мне, так тесно слилось с моею природою?..

— А кто вам сказал, что мертвенность есть принадлежность вашей натуры? Ведь вы же сами выдумали это, Андрей Павлыч! А если вы так легко могли себя уверить в этом, то точно так же можете уверить себя и в противном: ведь это так мало стоит для вас, которые действуете только по указаниям рассудка; ведь вам стоит только слово сказать этому непогрешающему судье: он, право, такой добрый, такой благонамеренный в искусных руках ваших, что мигом разобьет в пух и прах все это шаткое здание убеждений и доказательств, которое еще за минуту с таким жаром отстаивал.

— Ах, Татьяна Игнатьевна! зачем же смеяться над тем, что составляет и счастие и несчастие, и славу и позор человека?

— Скажите просто: несчастие и позор. Зачем тут примешивать славу и счастие?

— Затем, что оно так на деле, Татьяна Игнатьевна, затем, что я не могу жить иначе, нежели живу, рассуждать иначе, нежели рассуждаю... Коли хотите, я первый соглашаюсь с вами, что рассудок и один рассудок — это односторонне, это неполно, да в таком-то полубытии, в таком-то противоречии рассудка в жизни и заключается источник всего моего счастия и всего моего несчастия... Разве я виноват хоть сколько-нибудь в этой односторонности? разве я виноват, что рассудок мой противоречит чувству, а не умеряется им?.. ведь меня не спрашивали, какие условия жизни желал бы иметь я, когда родился я на свет; мне заранее дали уже готовые условия, готовую средину, для меня же собственно предстоит только одна забота — забота, как приспособить жизнь свою к этой односторонности, как вынесть из нее возможно меньшую сумму зла.

— И вы... устроились, Андрей Павлыч?

— Да; по крайней мере, я старался...

— Верно, вы много старались, что так блистательно успели в этом?.. и вы довольны собою?..

— Кто же вам говорит, Татьяна Игнатьевна, что я доволен своим положением? зачем приписывать мне мысли, кото-

рых я никогда не имел? И не доволен, да будь доволен... что ж с этим делать!

— Да, в самом деле, делать нечего... Ну, и односторонность-то эта — кто же в ней-то виноват, Андрей Павлыч?

— Ах, боже мой! да как же мне объяснить вам? это так уж есть, это в воздухе...

— Следовательно, уж и помочь этому нельзя, стало быть, нечего и говорить об этом? Так, что ли, Андрей Павлыч?

Он задумался и долго не отвечал мне.

— Да что ж делать, что предпринять мне! Научите меня, Татьяна Игнатьевна, если можете! Чем же виноват я, что беспрестанно ускользает от меня эта середина, которой я добиваюсь? что ж делать, если нет другого выхода: или быть вечным юношей или преждевременным стариком, или сжечь и разрушить, или оледенить и заморозить все...

И он сказал это с видом такого глубокого отчаяния, что слышно было в звуках его голоса, как тяготило его самого это безвыходное противоречие; но я как-то зла была в эту минуту, я чувствовала потребность вылить наружу всю желчь, которая мало-помалу накоплялась в сердце моем.

— Итак, решительно нет для вас никакого спасения, Андрей Павлыч? — сказала я.

— Нет, решительно нет; по крайней мере, я не вижу,— отвечал он более спокойным тоном,— это необходимо, и я должен покориться закону необходимости.

— Необходимость? И, полноте, Андрей Павлыч! может быть, на вашем языке это так зовется, а попросту-то знаете ли, как называется подобный закон?

— Позвольте узнать,— сказал он, насмешливо улыбнувшись.

— Да... просто, трусостью...

— Что ж, коли хотите, я с вами не совсем несогласен...

— А! вот как!..

— Да; потому что дело не в слове, а в понятии, которое оно выражает.

— Стало быть, вы просто трус, Андрей Павлыч?

Он смутился; но это смущение было так мгновенно и так быстро уступило место самому твердому спокойствию, что нужно было вглядываться в его лицо с таким напряженным вниманием, с каким я вглядывалась, чтоб заметить эту краску, которая на одну минуту показалась и скрылась на щеках его...

— Коли хотите,— сказал он,— есть разница между обыкновенным трусом и человеком нравственно обессиленным вследствие горестного сознания невозможности... и даже

неразумности борьбы с необходимостью... Впрочем, если вам непременно угодно, чтоб я был трусом, я и на это согласен.

— Итак, все кончено между нами, Андрей Павлыч, и мне нужно будет выйти замуж за Гурова?

— Ах, боже мой! право, я не знаю! Как же я могу что-нибудь сказать вам за или против...

— Да нет, скажите... мне нужно... Чего же ждать? чего жалеть?.. уж лучше разом... кончимте разом, Андрей Павлыч! Это последняя моя просьба; вы будете спокойны, я не стану вам больше надоедать...

И я чувствовала потребность выйти из этого тягостного положения, разрешить хоть чем-нибудь эту неизвестность, а вместе с тем желала отдалить приближение роковой минуты и как смерти ждала и страшилась его ответа.

— Ах, чего вы от меня требуете, Татьяна Игнатьевна! — сказал он спустя несколько секунд,— в свою очередь, спрошу я у вас, неужели вы из всех моих разговоров ничего не поняли? неужели ваше чувство так закрыло глаза вашему рассудку, что вы не видите, чтó меня мучит, какой червь гложет мое сердце?..

— Так вы меня любите? — спросила я.

Он молчал.

— Что ж, не любите вы меня, Андрей Павлыч?

Но он опять не отвечал на мой вопрос; наконец мне не стало более силы, глухое рыдание невольно вырвалось из груди моей, и, едва удерживаясь на ногах, вышла я вон из беседки. Я видела, что он как будто сделал движение, чтоб удержать меня, видела, что он также встал со скамейки; но когда, прошедши несколько шагов, я обернулась, он уж по-прежнему сидел на месте и читал свою книгу.

Итак, вот конец всем моим предположениям! Итак, мне нужно выйти замуж за Гурова, нужно покориться закону необходимости!.. Право, так! ведь это он сказал, это слова его! Что ж! покоримся ей; пусть будет она помыкать нами, если мы сами ничего не можем, если мы простые марионетки без души, без воли, без чувства! И как легко будет жить потом: надо только убить, заморить всякую искру чувства, уничтожить сознание бытия, а потом даже и рассуждать ненадобно, только вовремя поднимай руки и ноги, вовремя кивай головой и проч., а там все само собою устроится! Что за чудная, что за спокойная жизнь!

И грустно смотрю я на эти строки, которые каких-нибудь десять дней назад писала рука моя, диктовало полное упоения и радости сердце... и всё мне хочется вычеркнуть их, вырвать и бросить куда-нибудь дальше, чтоб не напоминали они мне

моего улетевшего счастия! И к чему вы теперь, дорогие, полные благоуханной любви, строки? Оно уж прошло и не возвратится никогда, это волшебное время любви, и по-прежнему стонет и ноет мое бедное сердце, и по-прежнему раскрылись едва зажившие раны его!

ОТ НАГИБИНА К г. NN

Знаю я, что советовать в этом деле постороннему человеку нельзя, что лучшие тут советчики собственный рассудок и обстоятельства; коли хотите, скажу вам даже, что я и не послушал бы ваших советов и по-прежнему оставался бы в нерешимости, по-прежнему бы висел на воздухе. Что ж прикажете делать? бывают обстоятельства, которые приводят человека в положение такого странного оцепенения, что он, как будто чувствуя, что никакая внутренняя сила не в состоянии разбудить его, по невольному инстинкту ищет, чтоб что-нибудь внешнее вызвало его из этого несносного страдания, жалуется на свое положение, просит советов, хоть знает, что никакие советы не могут иметь тут силы.

В таком именно положении находился я, когда просил вас помочь мне; в таком положении, если еще не в худшем, нахожусь я и в настоящую минуту. Я убит, я не в состоянии не только действовать, но и рассуждать; я решительно ничего не понимаю: что я, наконец, такое, к чему я, зачем я, как будто бы назло и себе и другим существую?

Вообразите себе человека, умирающего от голода. Бледный, едва укрытый лохмотьями своего рубища, лежит он на голом полу и издыхает, как никому не нужная собака, в предсмертных конвульсиях; в двух шагах от него рассыпаны бессметные сокровища, в двух шагах от него проходят люди с веселием и песнию на устах; но он ничего не видит, не видит, что у него есть все под рукою, чтоб утолить голод, не оскорбляется слух его веселием ликующей толпы; равнодушно смотрит он, равнодушно прислушивается ко всему, как будто не его и дело, как будто не о нем и речь идет. Он создал себе свой особый кумир; ему с детства вбивали в голову, что это так есть, что иначе и быть не может: одному жизнь, другому смерть, и он не противится, он скорей согласится умереть с голода среди довольства и роскоши, но не осмелится оскорбить свой кумир. Идет мимо прохожий и говорит ему: «Безумный человек! зачем же непременно хочешь ты умереть, когда все зовет тебя к жизни? посмотри, оглянись вокруг себя: перед тобою, как перед законным властелином, земля разверзает недра свои;

тебе лучшие дары, лучшие силы ее; на тебя рассыпает солнце лучшие лучи свои; перед тобою склоняется вся природа; ты все имеешь, все, что может составить счастье и наполнить жизнь человека! встань и живи!» И светлая мысль озаряет на минуту мысль бедного страдальца, и хочет он встать, и хочет жить, и усиливается подняться на ноги, и медленно простирает изможденную руку... Но, увы! тщетны все усилия его: он чувствует, как гнездится уж смерть в окостеневшем сердце его, как крадется и ползет она, как змей, по всем жилам его существа; вот уже коснеет язык его, вот помутился и померк умоляющий взор, вот и весь он вздрогнул и вытянулся — и все стихло и смолкло вокруг него, и слышится только неведомый, но страшный голос, говорящий над ним: «Смерть ему, слабому, неразумному слепцу, ибо многое было дано ему, и от всего добровольно отказался он, сам потушил в себе свет разума, данный ему природою, и осудил себя на вечную ночь, на вечную тьму!»

Не таково ли же точно и мое положение, друг мой? не умираю ли я от апатии и равнодушия среди жизни и любви, как тот несчастный от голода — среди довольства и пресыщения? И я чувствую, что умираю, чувствую, что эта неестественная борьба рассудка и жизни втягивает в себя, как в бездонную пропасть, лучший сок моего существа, и добровольно сознаюсь, что и мне, как тому несчастному слепцу, можно сказать: «Безумный! тебе дано было много, и ты от всего отказался; над тобою сияло в вечной красоте своей светлое солнце, но ты укрылся от лучей его и предпочел им тьму и холод сырой пещеры; вокруг тебя ключом била и блестела вечно юная, вечно неувядающая жизнь; но ты отвернулся от нее, ты проклял все, что носило на себе печать жизни, ты создал себе свой особый мир, который наполнил порождениями своего мнительного рассудка, и заперся от всех с этими холодными, мертвыми призраками; ты всю жизнь свою исповедовал одну только доктрину, доктрину смерти. Безумный! опомнись; не время ли перестать возиться с фантомами? не время ли начать новую жизнь?»

Чувствую всю правду этих слов, желал бы возвратиться снова к этой жизни, полной предрассудков, но вместе с тем обаятельной по полноте юношеского увлечения, по доверчивости к самой себе, которые сопутствуют ей; но уже поздно, потому что слишком забит во мне этот страстный огонь юности, слишком огрубела и затвердела кора сомнений и противоречий, которая давит и гнетет мое сердце.

Помните ли вы, в одном из моих писем я упрекал вас в идеализме, в непонимании действительности? Я говорил вам,

что вы, с своим всеобщим, всевосполняющим законом любви, которому хотите подчинить все сущее, создаете себе призраки, которые мешают вам бодро и смело взглянуть в глаза действительности, разобрать одну за одною все сокровенные, стихийные части ее. Как подумаю теперь и обсужу это дело по совести, то все эти упреки едва ли не более относятся прямо ко мне, нежели к кому-нибудь другому, потому что я целую жизнь свою гонялся за действительностью, целую жизнь объяснял ее себе, без отдыха преследовал этот необъяснимый феникс, беспрестанно исчезающий и беспрестанно возрождающийся, и не мог объяснить, не мог понять его. Коли хотите, я и понял действительность, да только в исканиях-то своих немного ошибся в расчете и, вместо того чтоб идти прямым путем, взял немного вкось, может быть, вправо, может быть, влево, только действительность-то моя вышла совсем другая, нежели действительная действительность, и вышло, что я тоже создал себе воображаемый мир, в котором все устроил по-своему, а теперь и жалуюсь, что мне тяжко жить, что я, как Вечный жид, беспрестанно преследовал и старался постичь жизнь, и все-таки пришел к одной смерти. И с горечью вспоминаю я, как некогда воображал себе, что я человек воли, человек действия... вздор, мечтание все это, друг мой! для того чтоб действовать, нужно иметь страсти, нужно иметь крайности, предрассудки, а у меня давно уж и следа нет ни того, ни другого; я так много уничтожил, до такой степени все разоблачил и обнажил, что ничего не оставил себе на забаву и утешение, и хожу один-одинешенек среди этого всеобщего разрушения. Да, мои силы до того парализированы, что я могу только созерцать, могу только наблюдать за жизнью, но не жить: сознание свободной, естественной жизни до того полно во мне, что оно ослепило меня своим блеском, поглотило собою все существование, и я, как пораженный, остановился перед величественным образом мною самим вызванного из праха мира и до того забылся в этом оцепенении, что бесплодное созерцание жизни принял за действительную жизнь.

Право, иногда так горько, так жутко приходится, что я невольно помышляю о смерти. И в самом деле, если рассуждать хладнокровно, кому я нужен, какую могу я принести пользу? Наконец, если даже отложить в сторону общество и людей, если даже совершенно заключиться в одном своем эгоизме, то для себя-то собственно что̀ могу я сделать; не представляется ли мне жизнь скорее нестерпимым игом, нежели радостью и благом? Потому что, если хотите, я и теперь ведь не живу, и теперь я мертв, только эта смерть медленная, мучительная, минута за минутою отравляющая человека: не лучше ли же

разом покончить с собою, нежели это тихое, систематическое самоубийство? И на это-то вовсе не надобно особенной силы духа, и я вовсе не хочу выставить себя героем, выказывая вам эту мысль. Откровенно скажу вам: геройство, по-моему, вещь подозрительная, вещь столько же несуществующая, как и трусость. Всеми нами управляют обстоятельства, все мы не что иное, как послушные и покорные рабы необходимости, и поэтому величайший герой делается трусом в таких обстоятельствах, где трус делается величайшим героем: все зависит от характера самого обстоятельства, от развитости человека, от положения его в обществе. В наше время для того, чтоб прослыть трусом, нужно иногда гораздо более храбрости, нежели для того, чтоб хладнокровно подставить под пулю свой лоб, когда того непременно требуют условия общественной жизни. Итак, тут на самом деле нет с моей стороны ни трусости, ни храбрости, а есть просто сознание невыносимой тяжести и даже ненужности жизни при известных условиях. Может быть, и даже вероятно, что я и ошибаюсь; но в иные минуты нельзя рассуждать хладнокровно, в иные минуты здравый рассудок как будто назло оставляет человека, а это именно большею частию тогда и случается, когда он всего более нужен. Вы скажете мне, быть может, что жизнь благо, данное нам природою, благо, которым мы не можем располагать; что каждый из нас имеет свое назначение, которое он должен выполнить?.. Знаю я все это и первый сознаю справедливость таких доводов; но ведь вы забываете при этом — обстоятельства, а они-то и управляют нами, они-то и делают так, что все эти прекрасные мысли как-то исчезают при одном приближении гнетущей действительности.

Что же касается до назначения, которое каждый из нас имеет, то я вам скажу, что большая разница между «имеет» и «должен иметь». Говоря a priori, каждый из нас действительно имеет свою особую, ему одному только свойственную роль, которую он должен выполнить в жизни, роль, с невыполнением которой рушится чудная гармония стройного общественного целого; но присмотритесь ближе к этой беспрестанно движущейся, нестройной массе людей, и вы убедитесь, что все эти назначения как-то странно перемешались, что тот, кому природа, казалось бы, дала все, чтоб быть великим мыслителем, великим государственным человеком, в действительности тачает весьма дурные сапоги или управляет с козел измученною парою лошадей; вы увидите, что некоторые забрали на свою долю слишком много назначений, а другие вовсе остались без всякой определенной роли, живут со дня на день и клянут ту несчастную минуту, в которую увидели они свет. Вот этим

другим-то — а их очень много — что ж остается делать, если они притом еще сознают эту неуместность, всю ненужность их жизни?..

Когда-то мне рассказывали, или я читал где-нибудь, что жил на свете человек, который умер от одного того, что потерял свою тень; если в подобном случае возможна смерть, то тем более возможна она, когда человек не находит смысла и цели жизни, когда человек вдруг узнаёт, что он обронил где-то или у него украли его назначение, чтó будет несколько поважнее потери тени.

Обращаясь лично к себе, я нахожу такую странную дезорганизацию во всем существе своем, что с ужасом отступаю от своего будущего, которое обещает мне только горестный ряд преследований и лишений, лишений ничтожных и мелких, если хотите, но тем не менее беспрестанных и безотвязных, от которых никакая сила не освободит вас, с которыми нельзя бороться — до того они неуловимы, до того ничтожны. Еще если б меня ждало какое-нибудь сильное несчастие, какое-нибудь явное, наглое преследование со стороны судьбы, это вызвало бы, по крайней мере, мои дремлющие силы, это очертило бы передо мною особую сферу, в которой я мог бы действовать, мог бы, наконец, чувствовать, что я живу; но нет: меня ждут умеренность и аккуратность, две большие добродетели, коли хотите, но в которых скорее слышится отрицание жизни, нежели жизнь. Да, я глубоко, сознательно несчастен, несчастен тем более, что даже имею достоверность, что нет выхода, нет спасения мне от гнетущего меня страдания, что я заперт в каком-то сказочном доме без дверей и окон, и не проникнет никогда в эту холодную темницу радостный луч солнца надежды.

Но более всего сокрушают меня непрошеные сожаления, непрошеные советы перемениться, сбросить с себя искусственную будто бы мертвенность, которою я оковал все существо свое. Искусственная мертвенность! Да, коли хотите, она искусственна, и во всяком случае не нормальна: разве я стою за это? разве я говорю противное? Да назовите мне, ради бога, хоть что-нибудь, что было бы не искусственно; назовите хоть одно отношение, хоть одно побуждение, за которое можно было бы поручиться, что оно нормально! Дело в том — и этого никак понять не хотят,— что на свете искусственность одна только и натуральна, а естественность, напротив, совершенно неестественна; тысячу раз повторял я, что человек сам по себе ничто, пустое отвлечение, покуда не выразится во внешности, которая, как масса живая и деятельная, в свою очередь обусловливает его действия; тысячу раз говорил я это, да меня

понять не хотят, убеждают переделать себя, быть иным... Такие несносные увещания терплю я каждый день со стороны известной вам особы, и, признаюсь, это начинает меня наконец тяготить! Надо вам сказать, что намерения Гурова на Таню вовсе не были шуткой, как мы предполагали, а выразились весьма обстоятельно в форме пламенного письма, которое он адресовал, как человек смышленый по-своему и понимающий все значение власти родительской, на имя дражайшего Игнатия Кузьмича. Дело в том, что Гуров и Таня помолвлены так неожиданно, так внезапно, что бедная совсем потерялась и оробела: беспрекословно и машинально дала она свое согласие на этот брак, потому что не знает, что ей делать, не знает, чего держаться, не уверена, буду ли я в состоянии представить ей надежную опору в случае ее сопротивления. Конечно, я чувствую, что и в этом случае виноватый, хотя и безвинно, один только я; но что ж делать мне? На днях она требовала от меня, чтоб я решительно, без оговорок, сказал ей, люблю я ее или нет. Скажите же на милость, не мучение ли это! Ведь она довольно меня знает, чтоб понять, что и без того я страдаю от неопределенности своего положения, что это-то и составляет кошмар моей жизни — а между тем хочет, чтоб я решительно объяснился! Да что ж я могу сказать ей? Что я ее люблю — и это будет верно; что я не люблю ее — и это справедливо! Она никак не может предположить себе возможность современного существования столь противоположных крайностей, не может понять, что если я и действительно люблю ее всеми силами души, то тем не менее сознание неразумности этой любви, при наличных условиях жизни, так сковало меня, что я стою, как пораженный громом, и желал бы отдаться влечению своего сердца, и не смею противиться слишком ясным указаниям рассудка. Любовь-то, коли хотите, во мне есть, но она не может выйти из пассивного своего состояния; она всегда останется на степени понятия чисто нравственного, отвлеченного.

Но вы мне скажете, может быть, что и сами видите тут необъяснимое противоречие — да разве я отказываюсь от этого? разве я называю это гармонией? В том-то и дело, что противоречие это необходимо проистекает из самой природы вещей, оно *действительно* есть и, следовательно, напрасно стал бы я противиться такому порядку вещей: он есть, и этого уже достаточно для оправдания его! А между тем, ведь есть же люди, которые упрекают действительность в неестественности и, наконец, изъявляют наивное желание, чтоб она исправилась, чтоб вела себя лучше, как будто она может сделаться иною, нежели какая она на самом деле!

Иногда, видя всю безотрадность своего положения, и рад бы я иначе жить, иначе мыслить, да ведь закона никто сам себе создать не может, никто не может сказать себе: поступай так, а не иначе, потому что для этого нужно бы наперед знать каждую минуту жизни той средины, в которой действуешь, а затем и каждую минуту жизни вселенной, которая, в свою очередь, обусловливает первую и которая ни на одно мгновение не остается одною и тою же и никогда на себя не похожа. Потребности, мой милый, никогда не являются по востребованию — взял да и создал себе такую-то и такую забаву: они даны нам вместе с организмом нашим и вызываются внешним миром, который не рождает новых, небывалых желаний, а только развивает, дает жизнь тому, что доселе существовало не более как в отвлечении.

Но вы, может быть, остановите меня, друг мой; вы возразите мне, что с таким началом покорности существующему порядку вещей падает всякая вменяемость, освящается всякое преступление; что после этого каждый злодей, присужденный на казнь, имеет полное право спросить общество, зачем оно не предупредило его злодеяний, зачем оно не дало его деятельности полезного направления, зачем развратило и унизило его, зачем не дало ему средств к жизни и сделало для него злодеяние привычкой... и так далее, до бесконечности. Вы скажете, что таким образом можно все оправдать, все подвесть под закон необходимости. Вот чрезвычайно естественные вопросы, которые, впрочем, решительно ни к чему не ведут. Все, отвечаю я, решительно все оправдывается, мой милый, и без единого исключения! оправдывается и общество, которое наказывает преступника, несмотря на столько извиняющих его обстоятельств, потому что и оно разве не вправе отвечать ему: «А как же я могу предупредить твои злодеяния, как могу я дать тебе средства удовлетворить твоему назначению, когда нет у меня этих средств. Поди же прочь и клади на плаху свою голову!» И общество и преступник будут правы, все будут правы, друг мой, и нигде не найдете вы виноватого!

А самое худое в этом деле — то, что когда я обдумываю эту безвыходную коллизию, мне невольно приходят всегда на мысль слова старого разбойника, о котором я где-то читал и которому поднесли едва отсеченную, еще дымящуюся в крови голову, сказав, что это голова его сына; «мой сын, отвечал он, имеет не одну голову».

Но при всех этих оправданиях, при всей неуклончивости и совестливости такого взгляда на жизнь, мое личное положение вовсе не делается сноснее и легче; сам-то я все-таки не живу, а созерцаю, потому что для того, кто вполне предается

наслаждению жизни, не нужно оправдания действительности,— скажу более: оправдания и объяснения находятся в прямом противоречии с жизнью, исключают ее.

Представьте себе такого человека, которому при рождении дано было бы свойство, что к чему бы ни обратился, на что бы ни взглянул он, все мгновенно разлагалось бы перед ним на стихийные свои части. Конечно, как умный человек, он не мог бы не видеть в этой сложности всякого живого организма многознаменательного и премудрого закона природы, он не мог бы не оправдать ее, но тем не менее положение его было бы ужасно, тем не менее человек этот должен бы был от всего отказаться, потому что для него не существовало бы строя, не было бы красоты: везде видел бы он грубую груду самых уродливых элементарных частиц — в картине Брюллова увидел бы он только краски, полотно и масло; перед глазами его исчез бы этот могущественный синтез, который из нестройной массы материалов создает стройное целое, творит неумирающее чудо красоты. Так точно и в моих глазах до того раздробляются, размельчаются все явления жизни, что я могу объяснить себе их, могу оправдать их разумность и соответственность причин результатам, но жить все-таки не могу, потому что слишком смело снял покровы, закрывавшие действительность, слишком обнажил пружины, двигающие ее.

Да и это было бы еще ничего, и с этим можно бы кое-как помириться, если б я остановился на объяснении себе действительности — а то ведь оно служило мне только как отправный пункт, из которого я пошел далеко вперед, от которого, идя шаг за шагом по горячим следам развития человечества, я пришел к признанию другой действительности,— действительности не только возможной, но непременно имеющей быть. Вот это уж окончательно сбило меня со стези жизни, окончательно убило во мне всякую возможность свободно и легко предаться влечениям природы своей! И когда я сопоставляю эти две действительности, столь между собою несходные, хотя и та и другая носят в себе те же семена жизни, тогда я вполне несчастлив, тогда мне делается несносно и тяжело жить, и невольно приходят в голову самые черные мысли. Не сопоставляй я этих двух несовместных друг с другом противоположностей, существуй для меня одно какое-нибудь из двух представлений действительности, я был бы вполне счастлив: был бы или нелепым утопистом, вроде новейших социалистов, или прижимистым консерватором,— во всяком случае, я был бы доволен собою. Но я именно посередке стою между тем и другим пониманием жизни: я и не утопист, потому что утопию

свою вывожу из исторического развития действительности, потому что населяю ее не мертвыми призраками, а живыми людьми, имеющими плоть и кровь, и не консерватор quand même[1], потому что не хочу застоя, а требую жизни, требую движения вперед. Это, если хотите, самый верный взгляд на вещи, но так как у меня отняли всякую возможность действовать в этом смысле, так как мне заранее известно, что этот взгляд должен навсегда — по крайней мере для меня — остаться только взглядом, и никогда не может быть приведен в действие, принять плоть и кровь, то и выходит, что я, отказавшись от утопии и отвернувшись от statu quo[2], повис на воздухе между тем и другим и чувствую всю верность моих понятий о действительности, а между тем шага не могу сделать в ней, чтоб не споткнуться и не упасть.

И эта неопределенность моего положения повергает меня иногда в такое глубокое отчаяние, что я спрашиваю сам себя: ужели иерархия организмов есть иерархия несчастия? Действительно, посмотрите вокруг себя, и вы увидите, что чем выше, чем сложнее организм, тем сложнее его потребности, тем сложнее изыскание средств к их удовлетворению, тем глубже несчастие... Посмотрите на низшие ступени бытия: там все само в себе находит удовлетворение, все само себе довлеет; там истинное место известной вам формуле: средства пропорциональны потребностям. Чем выше взбираетесь вы по этой бесконечной лестнице, тем более поражает вас борьба жизни с действительностью, тем более слышится тайный ропот неудовлетворения, жалоба на недосягаемость возможного счастия; наконец, человек, это последнее, задушевное слово создания, осуществляет, вместе с тем, и последнюю степень этой борьбы: целую жизнь мечется он, целую жизнь гоняется за счастием, ищет чего-то и наконец, разбитый, затертый, складывает с отчаяния на груди руки и не предпринимает уж ничего и смотрит равнодушно, как другие, в свою очередь, проходят мимо его, гонятся за счастием, ищут чего-то и, подобно ему, все-таки ничего не находят.

Конечно, на это есть весьма простой ответ, именно, что в натуре человека везде и беспрестанно искать и никогда вполне не удовлетворяться, что хорошо еще, если есть что́ искать, что наступит наконец и для человека пора счастия, когда и к нему можно будет применить приведенную мною формулу. Все это так: что настанет пора счастия, в этом нет никакого сомнения; что прирожденная человеку склонность всего доискаться,

---

[1] во что бы то ни стало (*франц.*).
[2] настоящего положения (*лат.*).

все объяснить себе — и доказывает превосходство его организма; что, наконец, если у животных нет собственно несчастия, зато и счастия в наличности не имеется — и это все как нельзя более справедливо, да человек-то тем не менее несчастен, тем не менее страдает, несмотря на всю неопровержимость этих доводов, и для меня, например, лично, весьма плохое утешение, что будут люди, которые будут жить цельною жизнью, когда я-то и восьмушки этой жизни не имею.

Но всего для меня несноснее, что я совершенно невинно заставляю других страдать. Вот уж почти с неделю, как Таня больна и не выходит из комнаты, потому что я не мог сказать ей, не покривив душою, что люблю ее, а Гуров целые дни ходит как сумасшедший и все спрашивает у меня советов, как ему поступить, потому что все знает про мои отношения к Тане. Надо вам сказать, что Гуров, несмотря на свою любовь к человечеству, довольно грязненькое животное; другой на его месте, зная нерасположение Тани, или отказался бы от руки ее, или, наконец, заставил бы ее любить себя, но он не хочет ни того, ни другого, не хочет отказаться от Тани, потому что хоть и ругает на каждом шагу презренное злато, однако ж, как видно, большой до него охотник; притом же ему двадцать четыре года, а в эту пору, сами знаете, и кровь разыгрывается, и воображение рисует такие соблазнительные картины... Гурову, как истинному идеалисту, непременно нужна самочка, непременно нужно существо, которое утоляло бы в нем излишний жар,— вот он и решился приобресть эту необходимую игрушку, но приобресть без всякой с своей стороны заслуги, без всякого усилия; одним словом, он в этой спекуляции надеялся не столько на свои собственные силы, сколько на бессилие и даже вовсе несуществование других соискателей. Но когда он увидел, что место занято другим и что этот другой довольно крепко укоренился в сердце Тани, это неожиданное происшествие так сконфузило его, что он сам не знает, что делать, и ко мне же обращается за советами, и меня же просит помочь ему. Я уверен, что если это продолжится, он непременно сфискалит на нас Игнатью Кузьмичу.

Первый разговор наш, из которого я узнал, что Таня открыла ему настоящую причину своей болезни, был до того исполнен всякого рода низостей со стороны Гурова, что я не могу не передать его вам, чтоб вы имели хоть поверхностное понятие об этом человеке.

Как-то, на днях, я хотел уже ложиться спать, как вдруг кто-то постучался у дверей моей комнаты, и вслед за тем я услышал голос Гурова: «Это я, Андрей Павлыч, позвольте сказать вам несколько слов».

— С удовольствием,— отвечал я,— но под условием, чтоб эти несколько слов были действительно не более, как несколько слов.

Я сел на кровать и ждал; но Гуров ходил большими шагами по комнате с нахмуренными бровями и ничего не говорил.

— Я вас слушаю, Николай Григорьич,— сказал я.

Он остановился передо мною и долго смотрел молча мне в глаза; наконец взял меня за руку и крепко пожал ее.

— Я все знаю,— сказал он с чувством.

— А! вы все знаете? ну, я не знаю... позвольте же мне полюбопытствовать, что такое вы узнали?

— Таня мне все рассказала...

— А! Таня? так вы только теперь узнали? ну, так что ж?

— Она вас любит, Андрей Павлыч; она мне сказала, что и вы влюблены в нее.

— Она сказала вам это? Верно, не так она выразилась, Николай Григорьич?

— О нет; в этом нет никакого сомнения... Я несчастнейший человек в мире!

— Отчего же так? Право, я не вижу тут большого несчастия. Ну, любит она меня; предположим даже, что и я влюблен, хоть я и не гусар, и не чиновник,— что ж вам-то до этого?

— Как что? а я-то с чем остаюсь? а мои планы, мои надежды?

— Ваши надежды... на что, почтенный друг мой?

— На ее любовь, на ее сердце, на обладание ею!.. И все это разбилось, все исчезло, и я один, один...

— О, да вы делаете успехи, милый идеалист! Вы и забыли, что в безнадежности-то и шик весь идеальной любви! Обладать женщиною... фи, мой друг, как можно говорить об этом порядочным людям: оставим это грубым материалистам — ведь так, кажется, вы называете людей, которые не довольствуются журавлем в небе, а хотят синицу в руки.

— Вы меня не поняли, Андрей Павлыч, вы не поняли, что обладать ею — значит обладать ее душою, значит жить ее жизнью, чувствовать ее чувством... О, это такое блаженство — иметь подле себя существо, которому понятны все задушевные мысли, которому можно перелить всю душу свою!

— То-то — перелить! Эк вас разобрало, Николай Григорьич!

— И все это рушится,— продолжал он, не отвечая на мое замечание,— все исчезает в ту самую минуту, когда я думал держать в руках своих это счастие, предмет лучших снов моих!

Он снова начал ходить по комнате и снова безуспешно старался придать лицу своему характер глубокого отчаяния.

— Вы благородный человек? — сказал он мне голосом, который усиливался сделать дрожащим.

— Право, не знаю, Николай Григорьич; это смотря по тому, как понимать это слово; а впрочем, говорите; может быть, я и действительно окажусь тем, чем вы меня почитаете.

— Скажите же, что мне делать?

— Вот странный вопрос! вы просите у меня совета против меня же... это несколько ново и весьма остроумно.

— Нет, скажите, что бы вы сделали на моем месте?

— На вашем месте? то есть, будучи вами, в ваших обстоятельствах, с вашим положением, так, что ли?

— Да.

— Я сделал бы именно то же самое, что вы делаете в настоящую минуту, то есть попросил бы совета.

Он несколько смутился этим ответом, и краска негодования на минуту вспыхнула на лице его; но в следующее за сим мгновение он был уже тих и кроток по-прежнему.

— Послушайте, Андрей Павлыч,— сказал он,— зачем же вы еще смеетесь надо мною?

— Ничуть, Николай Григорьич; я отвечаю на ваш вопрос по совести, как думаю. Впрочем, чтоб вы не думали, что я забавляюсь вашим затруднительным положением, я могу дать вам еще совет.

— Какой же?

— Да очень простой: женитесь на ней.

— Жениться? Да как же это, коли она любит вас?

— Разве это что-нибудь значит? разве вы не можете своими достоинствами заставить ее забыть про эту любовь?

— Жениться! — повторил он машинально,— ну, а вы-то как?

— Чтó я?

— Ну, да бывают разные случаи... я не хочу.

— Эге! вот вы куда махнули, мой милый идеалист! Да знаете ли, вы даете мне чудесную идею: в самом деле, и хорошо, и без хлопот... о, да вы гений, Николай Григорьич, вы одни можете устроивать подобные дела.

Но он облокотился на комод и задумался, закрыв для эффекта лицо руками.

— Смейтесь, смейтесь,— сказал он наконец,— смейтесь, холодный человек! Вы не знаете, что такое любовь; вы не знаете, какая страшная ревность жжет мою внутренность... О, я несчастнейший человек в мире!

— Так вам очень жалко поделиться своею игрушкою, милый ребенок? вам непременно хочется одному переливать свою душу?.. Успокойтесь, никто не будет вам препятствовать! Я и

не думал никогда пользоваться вашею беззащитностью; спите же спокойно, никто не притронется к вашей собственности, рвите ее, буйствуйте над нею, сколько душе вашей угодно: всякий знает, что она ваше достояние, и никто не может требовать от вас отчета!

Когда я сказал это, он как будто весь переродился; в глазах его блеснула животненная радость; он все забыл, забыл и нелюбовь к нему Тани, и оскорбительный тон, с которым я сказал последние слова свои; на лице его мгновенно исчезла вся прежняя озабоченность, пропали следы искусственного отчаяния, и все поглотилось одним чувством — чувством зверя, добившегося наконец любимого куска, на который давно уже скалил он зубы, но который долго у него оспоривали.

— Так вы отказываетесь? — сказал он, задыхаясь от радости.

— Ах, отказываюсь, отказываюсь! оставьте меня; мне спать пора!

— За что же вы на меня сердитесь, Андрей Павлыч?

— Я на вас сержусь? из чего же вы это заключаете?

— Да из того, что вы не хотите быть моим другом, не хотите говорить со мною...

— Послушайте, Николай Григорьич, да почему же вы думаете, что я непременно должен быть вашим другом? ведь у нас совершенно различные понятия: вы любите собственность, вы хотите исключительного права обладания принадлежащею вам вещью; вы не спрашиваете у Тани, хочет ли она быть вашею подругою; вам только бы другие не обладали ею, а до того, любит ли она вас, будет ли она счастлива,— вам и дела нет!.. Да, вы грубее, нежели самый грубый материалист!

— Помилуйте, Андрей Павлыч! да как же она будет любить другого? да что же я-то? с чем же я-то останусь?

— Кто же оспоривает ваши права, кто же запрещает ей любить вас, кто отнимает ее у вас... Впрочем, что об этом говорить! это слишком длинная и сложная материя, а теперь скоро полночь, пора спать...

И я стал уж раздеваться, но он все еще не уходил.

— Так вы точно отказываетесь, Андрей Павлыч? — сказал он.

— Да я ведь сказал уж вам, что отказываюсь: оставьте же меня, мне пора спать!

— И вы уедете?

— Уеду, уеду, вот только пусть кончится срок кондициям, уеду; наслаждайтесь одни, не буду мешать вам.

— Ну, а ей... я могу сказать, что вы просите ее забыть...

— Да, можете, только при мне, а до тех пор ни слова...

Слышите, Николай Григорьич, я сам хочу быть свидетелем вашего объяснения... вы обещаете ничего не говорить до тех пор?

— Честное слово.

— Смотрите же, сдержите свое обещание, а не то я не сдержу своего — скажу, что все это неправда, что я из сожаления к вам отказался от любви ее.

— Благодарю, благодарю вас, благороднейший человек!

— Не стоит, право, не стоит.

И я уже лежал в постели и хотел гасить свечу.

— Покойной ночи, Николай Григорьич,— сказал я.

— Ах, да, я и забыл, что вам пора почивать...

— Ну, почивать не почивать, а спать действительно время, да и вам, я думаю, хочется.

— О нет, мне не до сна... прощайте, Андрей Павлыч!

— Прощайте, прощайте! Да будете молиться богу, так не забудьте меня...

— Не забуду, не забуду; приятного сна, Андрей Павлыч!

И он ушел.

Но на самом деле не много я уснул в эту ночь: все мне думалось, как же я отдам эту чистую, невинную душу в руки такого гнусного, глупого человека, за что же так хладнокровно гублю я ее молодость, ее лучшие мечтания? За то ли, что она так вполне, так безвозвратно предалась мне? за то ли, что она отказывается от всего, бросает все, чтоб приковать свой жребий к моей незавидной, горестной участи? Вот что смущает меня, друг мой, вот что как раскаленным железом режет и жжет мое сердце!

И после этого где же благо моей жизни, где оно скрывается? Верно, уж очень далеко, что и духу его не слышно, и тени его не заметно на ровной, безотрадной пустыне жизни! Разрешите мне это, друг мой, если можете; укажите мне хоть признак, хоть едва заметную точку, на которой мог бы остановиться мой взор: где этот оазис, которого я столько времени не могу добиться; где этот ручей, у которого я мог бы утолить томящую меня жажду? Нет, не сыщете вы мне его, не укажете мне ничего, кроме песчаной, тяжелой пустыни, кроме бесплодных, обнаженных скал!..

И какое, например, *мое* назначение в жизни? Уж не то ли, чтоб от меня, как от чумы, все заражалось, все гибло при одном моем приближении? Уж не в этом ли загадка и смысл всего моего существования! А право, иного я не вижу! Ох, грустно мне, грустно! Друг мой, и денно и нощно стону я под бременем тяжкого сознания безвыходности моего положения, и все-таки ничего не могу сделать!..

Странно играет иногда нами судьба! Сводит она часто таких людей, которым, для собственного их спасения, и знать бы друг друга не нужно; и живут эти люди рядом, беспрестанно сталкиваются между собою, а между тем не знают, как покончить, как разорвать этот ненавистный союз, и клянут тот несчастный час, в который сошлись и узнали друг друга. Это положение грустно, Андрей Павлыч, потому что человек гибнет в этом недоразумении, но все же хоть как-нибудь можно объяснить себе его. Бывают случаи гораздо мудренее: бывает, что сближаются люди, которые действительно так удачно подходят один к другому, что с первого взгляда, кажется, не нужно никакого принуждения, чтоб сделать жизнь одного неполною и непонятною без существования другого, а между тем, странное дело, и у них все то же недоразумение, все та же неопределенность отношений, как и в первом случае! Коли хотите, они и сблизились, они и поняли, что созданы друг для друга, да не имеют силы, чтоб сказать это последнее слово, которое бы сняло им с сердца тяжелый камень, как будто стоит между ними какой-то страшный призрак, наводящий ужас и оцепенение на все существо их. И бедные люди чуждаются друг друга, и готовое слететь с языка слово мгновенно застывает на губах, потому что едва успеет раскрыться сердце человека, едва успеет расцвести и наполниться радостью все существо его, уж он тут, он стережет все движения его, этот бледный призрак, этот вечно бодрствующий спутник его жизни, и вмиг слетает радость с лица, и туча забот и сомнений зароится там, где, за минуту перед тем, все дышало блаженством и упоением.

Между мною и вами происходит именно такое недоразумение. Вы любите меня, я знаю это, и какие бы ни приводили вы мне против этого доказательства, я все-таки буду убеждена, что вы меня любите; я слышу любовь в вашем голосе, вижу ее в глазах ваших; каждое ваше движение, даже самая настойчивость уверить меня в противном, доказывают мне существование вашей любви. Итак, вы любите и между тем боитесь признаться себе в этом, и оба мы страдаем, оба мучимся, потому что нет у вас веры в меня, нет между нами откровенности!

Скажите же мне, что сковало ваш язык, что оледенило ваше сердце? Вы приводите мне тысячи доказательств, что любовь для вас невозможна. Какое ребячество, Андрей Павлыч! — стало быть, возможна, коли она есть! Зачем же мучить

себя? зачем беспрестанно забегаете вы мыслью в будущее! зачем взвешиваете каждое чувство свое? зачем за вами следит неотступное: «что будет?»

Чтó будет! Мало ли, чтó может быть! Может быть и горе, может быть и радость: будет горе, и тогда успеем нагореваться, друг мой. Чтó будет! да ведь знаете ли, к чему приведет это заглядывание вперед? оно приведет к тому, что вы увидите утопающего человека и не спасете его, при всей возможности спасти, *потому что* жизнь его, *может быть,* преисполнена несчастий и лишений, и, *следовательно,* спасение послужит только к тому, чтоб вновь возвратить его осаждающим со всех сторон преследованиям.

Вы хоть бы то взяли во внимание, что меня-то вы совсем измучили своею нерешительностью, что я страдаю, что я действительно больна и телом и душою. Вникните в мое положение, поймите, сколько муки должна я терпеть в эту минуту! Любить вас, быть вами любимой, ощущать приближение счастия и видеть, как оно исчезает в ту самую минуту, когда касаешься до него руками,— вот истинное бедствие, которое сильнее всех возможных цепей и темниц!

Некогда я страдала от неполноты жизни; сердце мое как будто просило и ждало чего-то, что могло бы дать смысл и разгадку моему существованию... Я увидела вас, и мне стало понятно все, чего так жадно искало все существо мое, и я определила себе наконец это нечто, которое висело надо мною и не давало мне ни днем, ни ночью покоя. И что ж? дальше ли я ушла от этого? счастливее ли я? что нужды, что я узнала на минуту, что такое счастие? вокруг меня все тот же холод, все та же пустота, и отчего? — оттого, что между мною и человеком, в руках которого вся моя жизнь, стоит глупое пугало, которое он сам себе выдумал!.. Ну, не грустно ли это?

А знаете ли что? вы часто говорили мне, что вся ваша жизнь должна быть посвящена изысканию истины (это даже, по-вашему, одна из причин невозможности для вас любви), следовательно, открытие ее должно бы радовать вас, а я уверена, что если б вам давали на выбор, с одной стороны, готовую истину, а с другой — удовольствие отыскивать ее, вы бы выбрали последнее: до такой степени срослась с вашей натурой потребность резонерства, до такой степени замерло в вас всякое светлое чувство жизни!

Часто думаю я, что будет из всего этого, какая участь ждет эту борьбу любви с бессилием, и, признаюсь вам, не могу дать себе никакого ответа на все эти вопросы. Со всем можно бороться, всего можно достигнуть силою воли, неутомимым преследованием, но бороться с бессилием, но преследовать

ничтожество... согласитесь сами, ведь это значит тратить жизнь свою на воздух, значит заранее обречь себя на вечное стремление, вечное желание, а вместе с тем и на вечное недостижение желаемой цели!

Зачем же мы узнали друг друга? зачем мы встретились? — вот еще вопросы, на которые тоже напрасно стала бы я искать ответа. Я сама сознаюсь, что лучше бы нам идти каждому своею дорогой, лучше бы не мешать друг другу; но ведь мы встретились, это дело конченное; следовательно, тут нечего рассуждать, что было бы, если б мы не знали друг друга... Мы встретились; следовательно, нужно принять все последствия этой встречи!

Вспомните, что́ была я до вашего приезда; вспомните, какими людьми была я всегда окружена; представьте, одним словом, себя на моем месте, со всем моим прошедшим, и скажите тогда, положа руку на сердце, могла ли я не любить вас, могла ли не привязаться к вам всеми силами души моей? Одно ваше появление среди этих людей было для меня так же радостно, как радостен луч солнца для томящегося в темнице, как радостна кружка воды для усталого путника. От вас услышала я первое человеческое слово, вы дали всей моей жизни смысл, в вас я должна была видеть все; до вас я сама не понимала хорошенько, что я такое... И вдруг очарование мало-помалу исчезает, идеал незаметно сходит до степени обыкновенного смертного, все, что прежде представлялось в таких огромных размерах, так оскорбительно уминьятюривается, так обидно суживается, что, право, не веришь глазам своим и спрашиваешь себя, неужели это то самое существо, к которому, еще за минуту перед тем, приближалась с таким благоговением, о чем томилась и мечтала вся душа моя!

Я против воли пишу вам все это, но нужно же нам разорвать наконец завесу, которая скрывает нас от нас самих, нужно убедиться, что положение наше жалко и смешно, что мы, с своими правилами и убеждениями, похожи на Дон-Кихота, принимающего ветряные мельницы за рыцарей, создания праздного рассудка — за действительность!

Помнится, когда-то вы сами, пораженные неестественностью своей жизни, с глубокою горестью говорили мне, что сами хорошенько не знаете, мертвый вы или живой человек... Вопрос этот очень натурально должен был прийти вам на мысль, хотя после всего, что я от вас слышала, после всех ваших недоумений, не может, кажется, оставаться никакого сомнения на этот счет. Вы — или живой человек и притворяетесь мертвым, или, если вы серьезно так чувствуете, как говорите, то

мертвый, совершенно мертвый, и нет для вас надежды когда-нибудь воскреснуть. Но я лучше согласна думать, что эта мертвенность случайна в вас, что она есть следствие каких-нибудь тайных, застаревшихся ран, уязвленного самолюбия, обманутых надежд и других горестей, которыми так обильно наделена жизнь бедного человека. Потому что неестественно, невозможно же ни во что не верить, потому что необходима для человека вера, как точка опоры, из которой он мог бы развивать свою жизнь: отнимите у него веру, и вы отнимете у жизни его цель и смысл, и все в нем будет так шатко и зыбко, что рушится при первом неприязненном дуновении действительности...

Видите ли, и я заразилась вашим примером, и я около вас научилась резонерствовать, и ваше же оружие против вас обращаю!

Скажите же, упрямство ли, желание ли блеснуть новизною заставляет вас так настойчиво поддерживать ваши мертвые теории, или просто не хотите вы отказаться от них, потому что горько вам сознаться, что все ваше прошедшее ложно, что все ваши убеждения, приобретенные ценою столь долгого опыта, разлетаются как дым, при первом несколько неповерхностном взгляде на них?

Но первого я никак не могу себе предположить, потому что уважаю вас и не могу подозревать в вас такое мелочное чувство... Да и притом перед кем хотели бы вы блеснуть? Перед простою деревенскою девочкой, не видавшею ни света, ни людей, пугливою, одичалою... я полагаю в вас столько самолюбия, что поймете, что публика слишком незавидна и не блестяща, что не стоит издерживать перед нею столько ума и способностей.

Следовательно, остается второе предположение. Постараюсь откровенно высказать вам свою мысль на этот счет.

Вероятно, вы не всегда имели одни и те же убеждения; вероятно, у вас была своя пора молодости, были другие верования, другие стремления, и вы не родились же ведь на свет с готовыми теориями, а тоже, как и другие люди, развивались, шли вперед? Скажите же мне, пожалуйста, что сделалось с этими прежними убеждениями, куда девались, куда исчезли они? Не отказались ли вы от них, как от мимолетных, хотя и сладких снов юности, во имя новых убеждений, более соответствующих настоящей степени вашего развития? А ведь и они приобретены были вами такою же тяжкою ценою, как и теперешние ваши верования, и они не дались вам даром, а выработаны вами в поте и крови лица! Для чего же вам теперь так стыдно и трудно отказаться от своих убеждений,

если вы сами признаёте их ложными, если вы сами чувствуете, как вы не раз мне и понимать давали, что они не дают вам жить, мешают дышать, гнетут и давят грудь вашу?

Но для того, чтоб не дать вам увернуться, я сделаю сама себе возражение, и тем легче будет это для меня, что, когда побудешь немного в вашей школе, возражения делаются привычкою и невольно сами собою являются на мысль. Вы скажете мне, может быть, что прежние ваши убеждения были не более как раздражение вашей фантазии, волнение крови, и, следовательно, вы должны были отказаться от них, как от заблуждений. Вы прибавите к этому, что теперешний ваш образ мыслей, напротив, не простое, юношеское заблуждение, а истина, основанная па здоровом свидетельстве рассудка... Не заблуждения? Кто же может поручиться в этом? Кто знает, что завтра же это здоровое требование рассудка не окажется самым юношеским заблуждением? Так, что ли, друг мой? Не правда ли, ведь все это еще неизвестно, все это требует еще доказательств... Скажите же, правильно ли рассуждает ученица ваша, сделала ли я успехи в великой науке построения силлогизмов?

Но между тем как я с вами *резонерствую,* сердце-то мое вовсе не довольствуется этою скудною пищею: оно просит жизни, оно живет страстью и не терпит никаких рассуждений ни о том, ни о другом. Шутки в сторону, сбросьте с себя эту тяжелую обузу, которую вы добровольно сами надели себе на плечи, не взвешивайте каждого своего движения, не подстерегайте в себе каждого рождающегося чувства! Что будет, то будет! Стоит ли так много думать об этом! Может быть, вы будете иметь много горя, зато и радость хоть на мгновение озарит вашу жизнь; теперь же, при вашей нерешительности, горе своим чередом, а радости-то и нет, радости-то и не бывало!

Вот как, мой милый, мой бесценный друг! Я знаю, вас мучит какое-нибудь затаенное горе, вас гложет какая-то старая, худо закрывшаяся рана; что ж? попробуйте хоть раз отдаться любви, этому всеисцеляющему доктору! Кто знает, может быть, ваша бедная Таня сделает чудеса, если вы захотите?

Пишу к вам все это больная, в постели; желала бы еще многое и многое сказать вам, да не могу: голова отяжелела, сердце устало, рука не пишет... а многое бы нужно передать вам!

Знаете ли что, друг мой? Не прийти ли вам завтра, когда все улягутся в доме спать, в мою комнату? Я так давно не видала вас, и все как будто недостает мне чего-то, все нет

около меня моего бедного резонера, некого побранить, не с кем ссориться!

А между тем мне кажется, что роли-то наши изменились — что не вы мой руководитель, а я принимаю на себя обязанность вашей гувернантки. Не правда ли, ведь это довольно забавно? Впрочем, всему своя очередь: вчера вы меня учили, нынче я наставляю милое дитя доброй нравственности и хорошему поведению, а коли хотите, не откажусь даже употребить некоторые понудительные меры, разумеется, не тяжкие, а сообразные с вашим возрастом, чтоб не шалил ребенок и не баловал по-пустому!

ОТ НАГИБИНА К г. NN

Москва

Вы удивитесь, может быть, друг мой, увидя слово «Москва», выставленное в начале этого письма. Вы думаете, что я еще в благословенном селе Ряплове, по-прежнему разливаю неимущим и жаждущим свет просвещения... Ошибаетесь, милый мой, сильно ошибаетесь: я в Москве, я прогуливаюсь по Тверскому бульвару, живу «на хлебах» в одном весьма почтенном семействе и не играю уже в любовь, а занимаюсь чем мне всегда следовало заниматься, именно — умерщвлением плоти.

Роман мой, едва начатой, уже кончился, и кончился, как можно было предвидеть, весьма балаганным образом — с большим спектаклем, с характерным дивертисманом, в котором участвовало все почтенное семейство Крошиных.

Вообще, это уж такое свойство современных трагедий и комедий, что они достигают именно совсем противоположных целей, нежели те, которые предполагали себе; первые, по размышлении зрелом, оказываются самыми пустыми и глупыми фарсами, вроде французских водевилей, а вторые, напротив, начинают за здравие, а кончают за упокой. Это уж, видно, век такой, что все вещи называются собственными именами, что действуют в трагедии не Ахиллы и не Несторы, а какие-нибудь Акакии Акакиевичи и Макары Алексеевичи, а судьба снисходит до воплощения себя в образе горничных и неумытых лакеев.

То же самое случилось и со мной, да и не могло оно быть иначе, потому что и я ведь подлежу общей категории: и я не могу представить никаких особых условий, вследствие которых имел бы право на исключение из общего правила.

Начал-то я как будто и по-человечески; и в самом деле, чего тут не было: и любовь, и бессилие, и борьба жизни с необходимостью — всё вопросы, как видите, современные, животрепещущие, а кончилось... о стыд, о посрамление! Знаете ли, чем все это кончилось? Ведь нас поймали, мой милый, нас изловили в ту самую минуту, когда роман *чуть было* не достиг высшей степени своего пафоса! Но это обстоятельство так занимательно, что я непременно хочу передать вам всю по порядку и в совершенной подробности последнюю главу моей любви.

Надо вам сказать, что немного спустя после последнего письма моего к вам я получил от Тани предлинное послание; в нем, как вы легко можете себе представить, были по-старому все возможные убеждения переменить себя, оставить свою неестественную жизнь, предаться увлечению страсти и прочая, и прочая — одним словом, письменно повторялись те же самые вещи, которые и в разговоре мне так страшно надоели; в заключение же меня просили прийти ночью, когда все улягутся спать, в ту заветную комнатку, где находится целомудренное ложе... Признаюсь, это приглашение встревожило меня, тем более что предмет-то совсем для меня новый: ночь, тайное свидание, луна... ведь в это время я привык спать! Притом же, я боялся увлечься, боялся вновь изменить предначертанному плану; я слишком мало уверен в себе, что не поручился за свое чувство, которое могло пробудиться еще с большею силою. Тысячу раз брался я за перо, чтоб отговориться от этого свидания, и тысячу раз бросал его. Какой-то тайный голос говорил мне, с одной стороны: ты погиб, если вновь сделаешь уступку этой неразумной страсти; у любви есть неистощимые запасы обольщений неотразимых, непредвидимых, против которых не устоять твоей бедной голове, которые все существо твое обхватят своею непобедимою, влекущею силою: остерегись же, не ставь так безрассудно на одну карту спокойствия всей твоей жизни... Но, с другой стороны, не этот ли же самый голос предательски шептал мне: стыдись, малодушный человек, иди смело и прямо навстречу опасности; неужели ты допустишь, чтоб могли тебе сказать, что все твои убеждения, все твои доводы не более как бледные, незначащие призраки, созданные больным рассудком твоим; неужели эти убеждения действительно так шатки, что боятся встретиться с жизнью, боятся, чтоб она не разбила в прах эфемерного существования их? Положение, как видите, совершенно однородное с знаменитою сценою нерешительности почтмейстера Шпекина при распечатывании письма Хлестакова, с тою разве разницею, что тут тайный голос го-

ворит слогом высоким, не гнушается фигур и украшений, а там он говорил простою, вразумительною прозою: «распечатывай» и «не распечатывай». Однако ж, после долгих борений, я решился идти, может быть и потому, что самого меня влекла в эту сторону задушевная мысль моя, точно так же как Шпекина влекло к распечатанию письма неугомонное его любопытство.

И Таня как будто предвидела это колебание, и едва начали в доме тушить огни, как у двери моей послышался голос ее горничной, звавший меня на условленное свидание.

Когда я вошел, она полусидела, полулежала на постели своей, в одной руке держа какую-то книгу, а другою облокотившись на столик; на ней была простая белая кофточка, и волосы ее — те мягкие, чудные волосы, которыми я столько любовался в бывалое время,— были тщательно прибраны под маленьким ночным чепчиком, накинутым на ее головку. Все мое существо как-то успокоилось, присмирело при входе в эту маленькую комнатку, как будто бы повеяло на меня тем девственным целомудрием, от которого так легко и свободно делается на душе человека, как будто все вдруг заговорило во мне забытым языком давно прошедшей моей юности... И я не мог удержать себя — я бросился перед нею на колени, с жадностью схватил ее бледные руки и покрывал их поцелуями; я плакал, я был вне себя: и радость и горе, и смех и слезы как-то странно смешались, как-то современно выразились в эту минуту и едва не задушили меня полнотою своею.

— Ну, полно же, полно, друг мой! — говорила она своим мягким, в душу льющимся голосом, а между тем и не думала отнимать рук своих, между тем в этом снисходительном «полно» скорее слышалось робкое одобрение, нежели действительное желание, чтоб я перестал.

И я пользовался этим позволением с каким-то ненасытным упоением, как будто хотел вознаградить себя за все то время, в которое не видал ее, как будто всю жизнь, всю душу хотел истратить в эту одну минуту блаженства и забвения. О, я был тогда действительно счастлив, как ребенок! Все как-то исчезло, стерлось передо мною; вся моя вселенная, все мое небо, мое прошедшее, мое будущее — все сосредоточилось в ней одной, в ее задумчивом взоре, в этой меланхолической улыбке, которая дрожала на губах ее! Да, это была истинно великая минута моей жизни, из тех минут, которые она одна дарила мне и за которые никогда образ ее не изгладится из моей памяти.

— Ну, перестань же, успокойся, друг мой,— сказала мне снова Таня,— садись; мне нужно серьезно поговорить с тобою.

— Говори, милая Таня, говори, бесценное сокровище мое; я слушаю тебя. Но не отнимай у меня этой чудной минуты упоения... Зачем ты просишь меня успокоиться? зачем говоришь ты о каком-то серьезном разговоре? Ведь успокоиться — значит не любить, друг мой... а мне нужно забыться, мне хочется умереть в эту минуту от полноты счастия...

Но она поспешно огняла свою руку от губ моих и задумалась.

— Что же ты задумалась, дитя? зачем не хочешь дать мне свою руку? Таня! а Таня! дай мне твою милую ручку... я ничего не прошу более, ничего не желаю... Ручку твою, ручку, милая Таня!

Но, взглянув ей в лицо, я увидел на глазах ее слезы.

— Да об чем же ты плачешь, странный, непонятный ребенок? Скажи мне, об чем эти слезы?.. скажи мне, милая, скажи хоть слово! Что же ты задумываешься? где же твоя прежняя веселость, где увлечение?

— Я и сама не знаю,— отвечала она сквозь слезы,— сама не понимаю отчего, но меня пугает твое упоение. Все мне кажется, что оно не живуче, что минута блаженства разом поглощает все твои силы, а потом опять наступит это холодное, убийственное бессилие... Ты слишком жадно упиваешься своим счастием, друг мой, и оно скоро надоедает тебе, потому что ты не умеешь распорядиться им, извлекаешь из него разом все лучшие его соки, а оно и без того чуть дышит, это бедное счастие, и без того оно с каждым днем хиреет и чахнет...

Она замолчала и посмотрела мне в лицо; но, вероятно, лицо мое глядело не совсем-то весело, потому что она улыбнулась и сама привлекла меня к себе.

— Ну, полно же! не смотри так угрюмо! — сказала она,— ведь я для тебя же говорю это, чтоб твое счастие было полнее и продолжительнее... ведь недаром же я писала тебе в письме своем, что хочу быть твоею наставницей: ведь ты еще молод, неопытен, за тобою еще нужен глаз да глаз... так, что ли, друг мой?

А знаете ли, ведь она правду сказала, что я не умею распорядиться своею жизнью! Действительно, не скоро можно расшевелить меня, не скоро разбудишь во мне давно умолкшую струну жизни; но если раз извлечен из нее этот полный, могучий аккорд, если раз умягчилась кора сомнений, сдавлявших мое сердце, я совершенно перерождаюсь; с каким-то жадным остервенением наслаждаюсь я этою чудною гармонией, так что вся моя энергия вдруг поглощается в этом упоении,

силы мои, доведенные до крайних пределов напряжения, парализируются и угасают, а через минуту исчезают и малейшие следы этого волнения, которое так недавно заставляло трепетать и дрожать всякую фибру существа моего. Не недостаток жизни, но слишком большое обилие ее — но не здоровое, а лихорадочное обилие — причина моей безжизненности; если хотите, энергия во мне есть, силы имеются; но все это в каком-то хаотическом брожении, все это неустроено, взаимно друг друга уничтожает, гложет, так что, вместо гармонического целого, на самом-то деле остается одна пустота, одно безразличие.

И действительно, я так изнемог после этого первого порыва страсти, что замечание ее уже застало меня почти холодным; молча сел я у изголовья ее кровати, не зная, что делать, что сказать; она посмотрела на меня с безмолвным сожалением и покачала головой.

— Что же ты вдруг так задумался, друг мой? — сказала она,— или мое замечание справедливо и весь запас твоего недавнего увлечения уж истощился?

Но я в смущении перебирал листы лежавшей передо мною книги и не отвечал ни слова.

— Странный ты человек! — продолжала она,— все как-то необъяснимо, непонятно в тебе делается: хладнокровие и страсть, смерть и жизнь — все это как-то странно ужилось в тебе, что незаметно даже и перехода от одного к другому. Одно мгновение ты весь трепещешь, ты умираешь под огнем страсти, и вслед за этим вдруг снова перерождаешься, сидишь как ошибенный, точно спутал, связал тебя кто-нибудь... Отчего же это, друг мой? Объясни, растолкуй...

Но я опять ничего не мог отвечать, потому что внутренно сознавал всю справедливость ее замечания; и она вздохнула глубоко, как будто понимая, что в этом молчании заключается безвозвратное осуждение мое.

— А знаешь ли, что я читала? — спросила она после нескольких минут томительного безмолвия.

— Нет, не знаю; а что такое? — отвечал я для того только, чтоб сказать что-нибудь.

— Я читала моего милого «Компаньйона», ту сцену... помнишь?.. Да, тогда мы оба были счастливы... Если б всегда было так возможно ..

Она опустила голову, и на глазах ее снова показались слезы.

— Что же ты не отвечаешь мне ничего,— сказала она дрожащим голосом,— скажи хоть что-нибудь, хоть слово! не мучь меня, за что же... я так страдаю!

— А я-то, Таня, разве я менее страдаю, разве меньше я достоин сожаления, друг мой?

— Так что же нам делать, по крайней мере? Что ж? умереть мне, что ли? или настанет и для меня наконец минута жизни?.. Скажи, не жалей меня: лучше разом убить, чем понемногу отравлять жизнь мою... Ведь сам же ты столько раз говорил это! Так не мучь же меня, скажи ясно, есть ли надежда на спасение?

— Право, я не знаю... Ведь ты видишь, Таня...

— Да, я вижу, я слишком хорошо вижу... Ах, лучше бы не прерывать мне этого минутного увлечения...

— Помнишь, я говорил тебе, что нам нужно расстаться? Я знал себя, я понимал свою нелепую натуру, когда умолял тебя согласиться на эту разлуку... ты сама не хотела!.. Виноват ли я, что беспрестанные встречи еще более растравили раны наши?.. А разлука многое бы излечила, многое изгладила бы из памяти...

— Да, да, я виновата; я чувствую, что ошиблась; но ведь этого уж не воротить... Теперь-то что же нам делать?

— Послушай, Таня,— сказал я с некоторым замешательством,— я говорил с Гуровым; он совсем не такой пустой человек, как кажется...

— А, понимаю! так и вы хотите, чтоб я была его женою!.. так это весь ваш совет? больше ничего вы не можете сказать мне?

— Откуда же взять мне другого совета? Скажите мне, Татьяна Игнатьевна, что же я могу для вас сделать? Право, не понимаю ваших странных требований! Увезти, что ли, я вас должен? Да ведь вы уж слишком большой жертвы требуете от меня, вы хотите, чтоб я отказался от здравого смысла, от приличий... Я не хочу пользоваться счастьем втихомолку, как лакей, который, забившись в угол, украдкою ест барский кусок... Как же меня-то вы так мало уважаете!

— Да, я не уважаю, делать нечего... Ну, так оставимте и говорить об этом: что же тратить понапрасну драгоценное время? Вам, я думаю, и спать пора...

— Ах, боже мой! ведь вы сами не знаете, как терзаете меня своим насмешливым тоном! Ну, положим, что я и увезу вас, положим, что я перестану быть человеком и сделаюсь на время хватом... что же будет из всего этого? что же впереди-то, какая будущность ждет нас?.. Отвечайте, Татьяна Игнатьевна! Ведь если уж рассуждать, так не нужно ничего оставлять неясным для себя, нужно определить себе все подробности нашего взаимного положения...

— Что будет? Зачем думать о том, что будет? Я столько

раз говорила вам, что нужно пользоваться настоящею минутою...

— Да ведь мы не в золотом веке живем, Татьяна Игнатьевна, хоть золотой век и впереди нас, как говорит один из любимейших писателей ваших... тем не менее он все-таки впереди, и бог знает, близко ли это впереди! Зачем думать о будущем? Вот прекрасно! Да ведь вы никогда не жили в настоящем-то свете, бедное дитя мое, а я вот столько лет уж бьюсь, как рыба об лед, об эту гранитную скалу, называемую жизнью, и до сих пор еще не понимаю ее, до сих пор не могу устроиться в ней!.. И вы думаете, что правильное развитие любви возможно в таком положении вещей, что любовь найдет в себе самой столько силы и жизни, что устоит под неумолимым бичом действительности!.. Не думать о будущем? да ведь я есть хочу, Татьяна Игнатьевна!..

И я посмотрел на нее; лицо ее было бледно, как полотно, глаза неподвижно устремлены на меня; скорбное, безвыходное отчаяние говорило в полураскрытых губах ее, в порывистом трепетании груди, как будто с моими словами безвозвратно рушилась для нее всякая надежда.

— Да, да; все это справедливо... я и не подумала об этом,— сказала она едва слышным голосом,— да я-то... ведь я должна погибнуть!

Я не мог вынести долее и рыдая бросился к ней на грудь.

— О да! крепче! крепче,— говорила она,— прижимай меня, целуй меня, друг мой... в последний раз... ведь это в последний раз!

И тихие слезы ручьем полились из глаз ее.

— Будь же счастлив, друг мой! пусть будет тебе радостью жизнь твоя! А там... когда-нибудь... вспомни о бедной Тане... Ведь ты не забудешь обо мне... когда меня не будет?

— Таня, милая Таня! зачем эти мысли? И ты будешь весела, и ты будешь счастлива...

— Нет, для меня уж все кончено! Я всю жизнь свою истратила в этой любви... Что же делать, если она не удалась мне? Видно, богу так угодно... Поцелуй же меня крепче, крепче... вот так... ведь это в последний, в последний раз...

И она взяла меня за голову, и молча смотрела мне в глаза, изредка только повторяя: «Ведь это в последний, в последний раз...» Вдруг она побледнела и с пронзительным воплем упала навзничь на постель. Я обернулся: в дверях стояла Марья Ивановна и за нею все семейство Крошиных. . . .

. . . .

. . . .

Знаю только, что в эту ночь я был глубоко несчастен. Никогда так горько не плакал я, никогда не была для меня так тяжела и невыносима жизнь; как будто все вокруг меня вдруг покрылось таким черным, безнадежным колоритом, что сердце надрывалось, рассудок погибал в этой повсюдной темноте. И я не стыжусь этих слез и откровенно признаюсь перед вами в своем отчаянии, потому что, ведь как хотите, а я много потерял в одну минуту; ведь все-таки эти два месяца, в продолжение которых разыгрывалась моя нехитрая драма, я хоть сколько-нибудь жил, хоть половинною, отрицательною жизнью, но все же во мне происходила борьба, я искал чего-то; одним словом, я чувствовал по крайнем мере, что существую, мог отдать себе отчет в своем дне — а это уж очень и очень много! Теперь мне действительно остается только заниматься умерщвлением плоти! Конечно, может быть, я и к этому привыкну — все может быть; привычка великое дело! — да ведь все же не более, как привыкну; ведь тем не менее я буду сознавать, что по привычке только терплю подобную жизнь, а на самом-то деле она ненавистна мне, на самом-то деле я бежал бы от нее... хоть на тот свет!

Такого рода мысли занимали меня всю ночь. Как нарочно, когда человеку нужно спокойствие, нужно присутствие духа, тут-то и являются картины самые мрачные, самые горестные. Конечно, всякий — и весьма основательно — может мне сказать, что я не логически размышляю, что я должен был бы радоваться, что развязался наконец с этою странною, больною любовью, которая отнимала у меня, без всякой нужды, всю энергию мысли,— да что же прикажете делать? Ведь я привык к ней; в продолжение двух месяцев она была единственным моим делом, единственною мыслью, с которою я просыпался и которая покидала меня только тогда, когда я засыпал. Разумеется, со временем, когда деятельности моей дана будет иная сфера, моя печаль обратится на радость — да когда-то дана еще будет эта новая сфера, а уж прошлого не воротить!

На другой день, когда я проснулся, у крыльца уже стояла кибитка, запряженная парою деревенских кляч, и все пожитки мои были уложены.

Я пошел к Марье Ивановне.

Она сидела в своей комнате и разливала чай; против нее сидел у стола Игнатий Кузьмич в совершеннейшем утреннем неглиже, которое только можно себе представить. Я поклонился, но мне кивнули головой сухо и с пренебрежением.

— А я думала, батюшка, что вы уж догадались уехать,— сказала Марья Ивановна.

— Я бы давно и уехал, но, к несчастию, у меня еще есть кой-какие счеты с вами...

— Какие это, батюшка, счеты? что за счеты? — возопила Марья Ивановна,— уж не за деньгами ли, отец мой, пришел? чего доброго? Развратил, испакостил весь дом, на фамилию пятно наложил — да еще, поди, плати ему за это!

— Так, матушка, так, сударыня! — сказал, с своей стороны, Игнатий Кузьмич, который только что помолился и, по-видимому, находился в периоде смиренномудрия.

— Однако ж все это не мешает нашим счетам,— сказал я.

— Что ты? что ты? в своем ли ты уме, отец мой! Чему ты учил-то? соблазну да скоморошеству! За что же платить-то тебе? Ведь тебе чужих денег не жаль, а нам они родные, кровные... вишь, расставил глаза на чужой карман!

— Я чужого, однако ж, не прошу у вас, Марья Ивановна, я требую только того, на что действительно имею полное право...

— А кто тебе сказал, что ты имеешь право? Да по-твоему, ты, пожалуй, скажешь, что имеешь право амуриться с благородною девицей? У тебя губа-то не дура, голубчик! Знаешь, что у нее коко с соком, так и подлипаешь... да нет,— не удалось, видно... бог тебя накажет за это: гордым бог противится — и в Писании сказано!

Я улыбнулся вместо ответа.

— Еще и смеется!.. в бога не верует, Писания не чтит... Да что ты-то, сударь, сидишь и ни слова не вымолвишь? Ведь ты глава семейства,— продолжала она, обращаясь к мужу.

— Как хочешь, матушка,— отвечал Игнатий Кузьмич,— как тебе угодно, сударыня!

— А мы тебя пригрели, призрели тебя, как родного сына в дом свой приняли! Вот, что называется, не поя, не кормя, ворога не наживешь!

— Ведь, право, Марья Ивановна, послушать вас, подумаешь, что я без вашей помощи и существовать бы не мог! Уж чего вы для меня не сделали: и одели, и напоили, и пригрели... разумеется, этого очень достаточно, и отдавать деньги, которые следуют мне по условию,— совершенно лишнее...

— А ты думал, что это так тебе и пройдет, что ты, дескать, будешь блудить да шаромыжничать, а мы, простофили, еще и денежки тебе за это отдадим! Да нет, молодчик, не на тех напал! поди-ко, да сам наперед поучись у простофиль-то! Я еще тебя проучу! Ты не думай, что отделался от меня; я еще тебя упеку!

— Так, матушка, так, сударыня! — пробормотал Игнатий Кузьмич.

— Так вы решительно не хотите рассчитать меня?

— Что, батюшка, за расчеты! Тебя, чай, с лихвой рассчитала твоя любезная: будь доволен и этим!

— Одному только удивляюсь я, Марья Ивановна: это той низости, до которой вы доводите себя, отзываясь так грубо о дочери своего мужа, а еще больше тому, что Игнатий Кузьмич равнодушно слушает такие отзывы...

— Так, матушка, так, сударыня,— начал Игнатий Кузьмич по привычке,— так...

— Что́ так? что ты-то, свет мой? оглупел, что ли? Твердит себе под нос: так да так... Развратная, сударь, распутная девка! А все твое потворство, всё твои слабости! Вот теперь и любуйся! Да как еще она у тебя давно не сбежала!.. Вишь, невтерпеж пришлось, рада всякому лакею на шею повеситься!

— Ну, однако ж, я не лакей,— заметил я мимоходом.

— Что ж? дворянин, что ли, ты, батюшка? одна своя душа за душою, а туда же: мы, дескать, дворяне!

— Так, истинно так,— продолжал Игнатий Кузьмич,— так, сударыня!

— Еще хорошо, что такой снисходительный жених попался,— продолжала Марья Ивановна,— а то не сносить бы тебе, молодчик, головы!

— Однако ж, слава богу, она на плечах, как видите.

— То-то на плечах! благодари за это бога; я бы не так с тобой разделалась, ты бы помянул у меня царя Давида и всю кротость его.

— Ну, да если вы не хотите исполнить наши условия, так мне ничего не остается более, как пожелать вам доброго здоровья.

— Прощай, батюшка, прощай! счастливого пути! чай, не помянешь нас лихом! за всех отблагодарила смиренница-то наша, Татьяна Игнатьевна! Ступай-ко в Москву развращать молодых девушек: там тебе бока-то отломают!

Это было последнее пожелание, которое я слышал в этом богоспасаемом доме. Через пять минут две крестьянские клячи тащили меня в тряской телеге по проселочной дороге в Москву. Когда мы выехали из ворот, в окнах заветной комнатки показалось знакомое белое платьице и кто-то махал мне на прощанье платком. Признаюсь, долго оглядывался я назад, желая в последний раз наглядеться на эти места, где я хоть на одно короткое мгновенье был счастлив; долго следил мой взор за движениями белого платьица, мелькавшего в заветном окне; долго с напряженным вниманием всматривался я в это

окно, желая за стеклами различить незабвенные для меня черты... наконец все скрылось, все слилось в одну едва заметную черную точку; наконец и она исчезла на туманном горизонте, и передо мною неизмеримою равниною тянулись вспаханные поля да луга, со всех сторон обрамленные синеющимся сосновым лесом... Сердце мое сжалось, как будто здесь оканчивался последний акт моей жизни, как будто там, за этими полями, за этим густым лесом, ожидало меня что-то страшное, или, лучше сказать, вовсе ничего не ожидало... и невольные слезы горького отчаяния полились из глаз моих.

— А что, барин, больно соскучел? — сказал мне сидевший на облучке мужик,— али жизнь-то у нас полюбилась?

Я не отвечал.

— Али тебя, то есть, при расчете как ни есть обошли?

— А что? — спросил я машинально.

— Так-с; знамо дело, корыстная барыня, своего не упустит! Ну, а барчонков-то ты на службу царскую, что ли, справлял?

— Нет.

— Так-с; а вот, то есть, дворовые-то поговаривают, что ты и барышню-то справил?

Молчание с моей стороны.

— А барышня важнеющая! сухопаровата немного!

— Не знаю,— сказал я в совершенном недоумении, что отвечать на подобные вопросы.

— Так-с; да ты с Дурыкина, что ли?

— Да, с Дурыкина.

— Знаем и Дурыкино; большое село, и господ много живет, да только всё дрянца, голь такая... да ты Нагибиных, что ли?

— Да, Нагибиных.

— И Нагибиных знаем, как не знать! и у них бывали, и матку твою, Нагибиху, знаем: такая поджарая да хворая! Да, видно, уж ваш род такой... Видали, как не видать! И к обедне туда хаживали, и ярмарки на селе важнеющие по храмовым праздникам бывают.

Я молчал.

— И наши мужички вот с холстом ездят, и деготь тоже продают, и красным торгуют... славное, хорошее село, да вот господ-то больно много — видимо-невидимо, словно мух... Что ж ты на Дурыкино-то не едешь?

— Нельзя.

— Так-с; примерно, в Москве изволите проживать?

— Да, в Москве.

— Чай, службу царскую несешь, деньги дерешь... знамое дело! Вот и намеднись исправник приезжал — такой грозный

исправник! Всё, говорит, снесу, ни кола, ни двора не оставлю, коли не заплатите; да Марья Ивановна — дай бог ей здоровья — отстояла: водочки выпил, пирогом закусил, да так и уехал... А вот через неделю опять приедет, видит бог, приедет! ну, и опять тебе водочки поднесут... Корыстная, крепкая барыня! от своего добра не отступится...

На этом и остановилась наша беседа. Видя, что я не совсем разговорчивого десятка, почтенный возница предпочел оставить меня в покое и во все остальное время обращался с вопросами более к своим клячам.

Итак, здесь кончается история моей любви. Никаких следов, никакого признака не осталось от нее: разве одно бесплодное воспоминание, да и то со временем угаснет, и то, как все в жизни, со временем согреется в безразличном тумане прошедшего. Теперь скажите мне, не прав ли я был, говоря, что никогда, ни к чему не поведет эта странная любовь, взросшая на болотной, тинистой почве горестей и сомнений?

Вы скажете, что это испытание, этот искус, через который я прошел, принесет мне пользу, что он даст крепость и полноту моим силам, что только с жизнью и опытом человек делается человеком,— и много хорошего можете вы еще сказать. Все это так, и действительно я вынесу из этой борьбы свою долю возмужалости, свою долю трезвости в воззрении на жизнь, все это принесет пользу — но кому? ведь все-таки не я воспользуюсь плодами посеянного мной, все-таки не мне, а другим проложит дорогу к жизни эта опытность, которую я извлеку из немудрого моего существования; я же лично тем не менее утрачу в этой борьбе всякую способность к жизни; я лично не приобрету из всего этого ничего, кроме преждевременной, медленной смерти. Конечно, я действовал и тут, как и везде, только по внушению своего собственного эгоизма и винить никого, даже самого себя, не могу, да в том-то и дело, что обстоятельства жизни нашей так чудно слагаются, что именно тот, кто и сеет и жнет,— никогда не печет и не варит, а печет и варит *другой,* совсем другой — такой, который и в глаза не видал посеянного!

С другой стороны, ведь и ее-то мне жалко, потому что, как бы то ни было, хоть совершенно невинно, а, собственно говоря, ведь мое равнодушие причина ее болезни и, может быть,— предстоящей смерти! Я твердо уверен, что она хладнокровно перенесла бы оскорбления своего семейства; знаю, что не они сведут ее в могилу: ее убьют несбывшиеся ее мечтания, убьет не нашедшая ни в ком отголоска любящая душа ее!

В самом деле, ее положение жестоко и незаслуженно! Всю

жизнь она была одна, всю жизнь томилась ожиданием какого-то светлого луча счастия и наконец нашла что-то, как будто и похожее на счастье,— и улыбнулось, и расцвело вдруг это грустное, бесцветное существование... но что же встретила она с моей стороны? одно старческое бессилие, одно отжившее рефлектёрство, об которое разбилась ее свежая, нетронутая мощь! Вот самое горестное обстоятельство в этом деле! Остальное еще можно кой-как перенесть, привыкнув немного к новой жизни, тем более что терпенья-то мне не занимать стать. Я твердо уверен, что если увижу ее когда-нибудь, то увижу счастливою; но в том-то и дело — увижу ли я ее? Да и бог знает, лучше ли будет, если она останется жива: мне все кажется, что это возможно только в таком случае, если она вполне покорится условиям грязной, скопидомской жизни, в которую вступает, а для этого ей нужно совсем переродиться, нужно перестать быть собою, то есть оглупеть, потерять всякое сознание своего достоинства — а этого я не полагаю возможным. Итак, во всяком случае, один только выход возможен для нее — смерть, и как ни вертись, а все-таки не отмолишься, не отговоришься ничем от этого грустного конца! Вот это так истинное несчастие!

Однако ж пора мне и кончить и без того уже чересчур длинное письмо мое. Ничего не пишу вам о теперешнем моем образе жизни, потому что сам еще достаточно не огляделся вокруг себя. Все это оставляю до будущих писем, разумеется, если еще не слишком надоел вам и вы пожелаете узнать немногосложные подробности моего небогатого событиями существования.

ОТ ТОГО ЖЕ К ТОМУ ЖЕ

...А между тем я, право, не так дурно провожу время, как предполагал. Надо вам сказать, что живу я вместе с общим нашим товарищем по школе, Валинским, на хлебах у некоего г. Вертоградова, служащего в одном из низших губернских мест, сутяги страшного, нажившего, по мере сил и трудов, маленький деревянный домик в отдаленном углу Москвы. У этого Вертоградова весьма скаредная физиономия, но в вознаграждение — премиленькая дочка, которая с Валинским находится в довольно приятных отношениях и о которой ниже. В настоящее время у меня понабралось достаточное количество уроков, так что и деньги водятся, лишнее съесть, лишнее выпить можно... Иногда даже как-то невольно делаешься оптимистом — а и нельзя же иначе: при деньгах и на мир смот-

реть любезное дело, и солнце «выглядит» светлее и обои на стенах как будто без заплат, и пухлое, красное, как самовар, лицо бородатого купчика так добродетельно, умильно на тебя смотрит, что на душе делается любо... *Дивны дела твоя, господи, вся премудростию сотворил еси!* Да притом же и Валинский, и Андрей, служитель, и Маша, хозяйская дочь,— всё это так добродетельно, так удобно подлаживается одно к другому, что истинная, невозмутимая гармония царствует между нами, такая гармония, которая и на ум не всходила ни Фурье, ни Сен-Симону, ни кому-либо из подвизавшихся с честью на этом поприще.

И что за чудная душа у Валинского! Как будто природа в нем одном хотела выразить всю светлую сторону человека! Это натура простая, откровенная, чуждая всякой зависти и в высшей степени добрая. Но это не та болезненная добродетель, которая так часто встречается в наше время и ограничивается бесполезным сетованием, проливаньем слез, подаянием и прочая; таких людей очень много, они встречаются на каждом шагу, и, скажу вам на ушко, совсем не так бескорыстны, как кажется с первого взгляда; нет, это люди тщеславные, которые всем в глаза лезут с своею добродетелью, кичатся ею, люди, которые почитали бы себя несчастнейшими существами в мире, если б не было на свете ни бедных, ни обиженных, потому что не на чем было бы выразиться их добродетели, не о ком было бы им соболезновать,— а соболезнование во многих случаях весьма и весьма приятно.

В Валинском все доброе как-то легко, без усилия, прорывается, как будто он инстинктивно сознает, что истинная добродетель состоит не в пришпориванье чувствительности, а в законном, естественном употреблении всех сил своих; ни в одном движении его вы не заметите, чтоб оно было обдумано, чтоб оно было плодом долгой борьбы, томительного размышления, а между тем каждое действие его запечатлено такою истиной, как будто он и делать иначе не может, как будто всякий другой образ действования противен природе его. Коли хотите, не доброта в обыкновенном значении этого слова, а глубокое чувство справедливости составляет главную основу его характера, потому что так называемая у многих добродетель — вещь довольно подозрительная, как я заметил вам выше, которую отнюдь не должно смешивать с человечностью. Многие, например, из нас принимают разумность сущего: и вы и я очень хорошо понимаем, что все существующее уже по одному тому имеет право на существование, что оно есть; что если один человек более или менее счастлив, а другой вовсе несчастлив, то причина этого заключается в вещах, а не в лю-

дях; но мы только что понимаем справедливость этих положений, а на самом-то деле куда как иногда жутко приходится нам, куда как ропщем мы на эту разумность!

В Валинском это трезвое понимание действительности доведено до высшей степени просветления; оно не осталось для него бесплодным отвлечением, а проникло в жизнь его, приняло плоть и кровь. Натура его как-то естественно, бессознательно поддается данному порядку вещей и с редкою проницательностью находит смысл и связь в явлениях совершенно, по-видимому, разрывчатых, нейдущих об руку. Поэтому никогда не слыхал я от него ни жалобы, ни ропота; поэтому со всеми он одинаково естествен и прост; богатому и бедному — всем равно и с тем же радушием — протягивает он руку свою, понимая, что как тот, так и другой чисты от нареканий, и тот и другой оправданы вполне гнетущею их действительностью.

Да! это не то, что мы с вами, хоть и мы хорошие люди!

И сообщество Валинского принесло мне действительно неоцененную пользу. В самом деле, иногда так неприятно слагаются в жизни обстоятельства, что невольно смотришь на все с черной, неприязненной точки. Тут-то, в эти грустные минуты, непременно нужен человек, который откровенным, неуклончивым взглядом на вещи рассеял бы все сомнения, вытолкнул бы вновь на прямую дорогу,— и Валинский вполне соответствует этому назначению.

На днях как-то вечером сидели мы оба дома. Конечно, наши сентябрьские вечера, особливо под конец месяца, не то чтоб пленяли особенною приятностью; конечно, и изморось грустная, мелкая и холодная дребезжит в окно; конечно, и город представляет неприятный вид с поднятыми шинелями пешеходов, с их зонтиками, калошами и прочим дрязгом; все это так, но всего этого ожидать было должно, все это в порядке вещей, и, следовательно, не на что бы, казалось, сердиться. Однако ж, с другой стороны, и рассердиться весьма натурально, потому что такое стечение обстоятельств подавляет душу человека, осуждает ее на бездействие, налагает несносную тяжесть на все существо его...

И я действительно рассердился.

— Владимир Иваныч,— сказал я,— объясните мне, пожалуйста, отчего бы это такое скверное время? ведь это, право, на смех да в пику бедному человеку.

Но Валинский не отвечал.

— Владимир Иваныч,— продолжал я,—скажите мне, отчего бы это люди в каретах ездят, а мы с вами пешком по грязи ходим?

То же упорное молчание.

— Владимир Иваныч! да что ж, спите вы, что ли?

— Любезный друг, оставьте меня, пожалуйста, в покое! Вы, кажется, имеете поползновение заниматься различными социальными вопросами, а на меня ненастье дремоту наводит. Я думаю, что гораздо было бы лучше, если б все ездили в каретах... а впрочем, знаете ли что? уж не испорчен ли у вас желудок, что вы сегодня в таком мрачном расположении духа?.. Я знаю прекрасное лекарство...

Но, признаюсь, в эту минуту мне было не до шуток: истинная меланхолия овладела мною, так что я готов был хоть в воду, только бы избавиться от этого несносного положения.

— Вы вечно с своими неуместными шутками,— сказал я,— вечно с своим оптимистским взглядом на вещи!.. Но, боже мой, скажите же, где эта жизнь, где разнообразие, о котором так много говорят, так много пишут? Нет, в жизни только пустота, а разнообразие только в книгах!

— И все это по поводу дождя! — сказал Валинский,— так вам очень досадно, что вы не ездите в карете?

— Ах, боже мой! да не во мне сила, Владимир Иваныч! В основании этих жалоб лежит нечто высшее, нежели мой личный эгоизм: этим порядком вещей оскорбляется идея справедливости, врожденная мне... Скажите, отчего и А, и В, и С, и сотни других, один другого ничтожнее, один другого презреннее, будут спокойно и без труда наслаждаться жизнью, тогда как мы просиживаем долгие, бессонные ночи, чтоб добыть себе черствый кусок хлеба?.. И будет жизнь этим людям сладка, и придут они самым естественным образом к тому глупому пристанищу, название которого вы можете встретить на губах у каждого, кто в жизнь свою только и думал о том, как бы повернее надуть и обокрасть своего ближнего.

— Да ведь все это есть, любезный друг; поставьте же вы себя на месте этих А и В и С: отказались ли бы вы ездить в карете? пожертвовали ли бы вы собою или богатством своим — что решительно все равно — в пользу человечества? Вы желаете счастья — похвально; но ведь и другой ищет его!

— Да, вы очень приятно рассуждаете, Владимир Иваныч; вы стократ счастливы, что, не пускаясь в дальнейшие рассуждения, приняли жизнь, как она есть, и с философским равнодушием доказываете, что нет в мире ничего произвольного!

— Послушайте, Андрей Павлыч,— сказал Валинский,— вы не совсем справедливы ко мне: я вовсе не так холоден, как кажусь... да, вот, видите ли, жалобы ни к чему не ведут... Знаете ли что? я бы серьезно советовал вам заняться чем-нибудь; людям в нашем положении не годится думать об удовольствиях: это только горячит кровь и расстраивает вообра-

жение без всякой пользы; нам надобно трудиться, много трудиться, чтоб в труде забыть все, что нас окружает... В наше время трудно и даже невозможно быть полным человеком: надо быть или материалистом, или спиритуалистом... я бы охотнее желал быть первым, но для этого нужно иметь поболее моего дохода, и потому, хотя в душе я и признаю все права материи, но в жизни иногда поневоле бываешь спиритуалистом, потому что часто эта одна сторона только и возможна...

— Трудиться!.. да, трудиться!.. Однако ж это странно: ведь есть же люди, которым жизнь легка, которым каждый миг есть новая радость, новое удовольствие...

— Едва ли; а если и есть такие, то, во всяком случае, в тысячу раз более таких, которые несравненно несчастнее даже нас с вами.

— Несчастнее? да; есть многие, которые, может быть, в эту самую минуту умирают от голода и холода!.. Однако ж зачем давать воспитание? зачем развивать потребность новой, лучшей жизни? Уж если так тесно жить на свете, не лучше ли было бы заранее заглушить в человеке все человеческие чувствования? Тогда, по крайней мере, мы не понимали бы всей глубины нашего несчастия!..

— Так, разумеется, так,— отвечал Валинский,— но, к счастию, человечество не рассуждает так... Во всем этом верно и несомненно только одно — что, при известных обстоятельствах, самые лучшие явления имеют самые гибельные последствия. А жаловаться-то все-таки не на кого...

Что касается до Маши... но прежде позвольте мне рассказать обстоятельства, в которых я познакомился с нею.

Вскоре после приезда моего в Москву, у Вертоградовых готовилось большое торжество: Фома Фомич получил чин коллежского асессора и намеревался отпраздновать его достойным образом. Можете представить себе, какой переворот во всем семействе должен был произвести этот вожделенный чин, предмет столь долгих и томительных ожиданий бедного Вертоградова, который, между нами будь сказано, происхождения не дворянского, как это достаточно показывает и фамилия его.

И действительно, с самого утра в доме все было вычищено; целый день горел на кухне неугасаемый огонь, и Авдотья Захарьевна, хозяйка дома, уподобясь весталке-хранительнице этого священного огня, без устали бегала из угла в угол, занимаясь стряпнею пирогов и других великолепных вещей. Уже с шести часов все в доме было готово, и жильцы были

одеты самым параднейшим образом, хотя приглашение было к восьми часам и только на чашку чая. Ну, и мы с Валинским начали было одеваться: смотрим, ан к нам явился Петя Блинов — помните, глупый студент?

— Что, будете у Вертоградова?

— Будем, будем! а ты за нами?

— Да, за вами; хорошо, говорят, будет; Марья Фоминишна на фортепьяно будет играть; всего кучу наготовили, и пуншу много будет: и с ромом, и с кизляркой...

— А тебе бы только пуншу! Закури же трубку, пока время есть.

Но было только семь часов с половиной; Блинов закурил трубку и сел; разговор наш, от полноты трепетного ожидания, как-то не клеился.

— Что, ты был вчера у Сережи Сюртукова? — обратился ко мне Блинов.

— Был; да ведь ты сам меня там видел...

— Да, да; я и забыл.

Молчание.

— Так-то-с, почтеннейший Андрей Павлыч,— сказал опять Блинов, выкурив трубку.

— Да,— отвечал я,— не хочешь ли еще трубочку?

— Да, не худо бы.

Опять молчание.

— Скучно, брат, на этом свете жить,— прервал Блинов.

— Да, не весело-таки,— отвечал я. Наконец, помолчав еще кой о чем, мы отправились к хозяину.

Боже! кого там не было, в этой маленькой комнатке! И Петя Мараев, и Саша Кузнецов, и Яша Позиков, и Граша Бедрягин! Удивительно даже, как могла она вмещать в себе столько прекрасных, а отчасти даже и знаменитых людей! И каждый из них отличался каким-нибудь качеством ума или сердца: Петя Мараев славился древностью своей породы; Саша Кузнецов верил в жизнь и счастие на земле и сочинял стихи; Граша Бедрягин, напротив, был скептик, наотрез отвергал благородство натуры человека и сочинял прозой; Яша Позиков пользовался популярностью, слыл славным малым и душою общества, посещал театр и был знаком с танцовщицами... Но, право, я не кончил бы, если б стал пересчитывать вам достоинства всех присутствовавших на этом вечере.

Кроме кавалеров, было много и дам, блиставших изобилием желтых лент; были и девицы в белых кисейных платьях, причесанные à la chinoise, à l'enfant [1] и проч., но между ними,

[1] под китаянку, по-детски (*франц.*).

как солнце между звездами, блистала Маша своею свежестью, безыскусственностью своих движений, стройностью стана и полным страсти взором. В самом деле, редко встречал я подобные глаза: голубые, вечно подернутые влагою страсти, они так мягко, так сладострастно смотрят на вас сквозь густые ресницы, что невольную неловкость ощущаешь во всем существе, и томительный трепет желания пробегает мгновенно по всем жилам; прибавьте к этому девственную полноту форм, густые русые волосы, необычайную белизну тела и полное грации личико, и вы будете иметь приблизительное понятие об этой девочке.

Когда мы вошли, Яша Позиков смешил всех до упада рассказами о своих приключениях с квартальными надзирателями, будочниками и другими блюстителями общественной тишины и спокойствия.

— Меня знают все,— говорил он,— я душа общества; даже квартальные жмут мне руку — право! Намеднись выхожу из театра, вдруг какой-то квартальный с почтением, ей-богу! и руку подал! каково? а? руку подал? вон оно куда пошло!

После нескольких незначащих приветствий господину и госпоже Вертоградовым Валинский подвел меня к Маше.

— Маша — хозяйская дочь! — сказал он,— мой приятель Нагибин! прошу любить и жаловать, как меня самого.

— Право? — сказала она, улыбаясь и грозя ему пальцем,— точно так же? Ну, смотрите же, не раскаивайтесь! Очень рада познакомиться с вами,— продолжала она, обращаясь ко мне.— Что это вы никогда к нам не побываете? Папенька очень желает, да и я, с своей стороны...

— Не верь, не верь ей,— прервал Валинский,— сама не хочет прийти ко мне именно потому, что ты живешь со мною... Совестно, изволите видеть, дитя малое, неразумное!

— Это правда? — сказал я,— и вам не стыдно, Марья Фоминишна? За что же вы, не зная меня, так жестоко наказываете?

— Ах, нет, неправда, неправда! Вы, пожалуйста, не верьте Владимиру: он ужасный лгун, он сам говорил мне, чтоб я не ходила...

— Кому же из вас должен я верить?

— Разумеется, мне,— отвечала она,— какое же в том сомнение!

— Разумеется, разумеется! что и говорить! — сказал Валинский.— Ну, да, впрочем, дело не в том, кто из нас прав, кто виноват, а в том, что ты будешь ходить теперь ко мне, и пост мой кончится: мне того только и нужно!

Маша потупилась.

— А! поймал, поймал тебя, негодная! Вот тебе вперед урок: не лги, послушествуй старшим!

— Я надеюсь, что вы будете считать меня своим другом?

— О, разумеется! Я уверена, что буду любить вас! Да притом и Владимир просил любить вас, как его самого, а его просьба для меня закон! — отвечала она, лукаво посматривая на Валинского.

— Ладно, ладно! — отвечал он,— там что будет, то будет, а покамест извольте-ко приходить к нам.

— Маша! Маша! — послышался из другой комнаты голос Авдотьи Захарьевны,— куда ты, мать моя, запропастилась? Поди же, займи кавалеров.

— А мы точно и не кавалеры! — проворчал сквозь зубы Валинский.— Ох, Маша, уж куда не по нутру мне твоя матушка: вечно кусок из-под носа утащит! Утопил бы я ее, право, утопил бы, давно бы утопил!

— Славная девушка! — продолжал он, когда Маша исчезла,— и какое доброе сердце! вы не поверите, а два месяца тому назад, когда я был болен, ночей не спала, украдкой ко мне бегала...

И он задумался.

— Я бы умер, непременно бы умер, если б не она! Сами знаете, прилично ли бедному человеку хворать: денег нет, а в аптеку нужно, обедать нужно, да и за квартиру тоже спрашивают... А она и денег принесла — выработала, говорит, а там — бог ее знает! за любовь все простить можно! Все-таки мне ее жалко!

— А что?

— Да так; ни за грош пропадет, бедняга... Жениться я на ней не могу, а другой никто не возьмет...

— Отчего же? — спросил я.

— Да бедна... сверх того, и другого любила, а люди ведь глупы: хотят, чтоб блюдо-то им непочатое дали; ну, а она девушка честная — не скроет! Поверите ли, иной раз совсем грустно сделается, глядя на нее... а она и не думает ни о чем, такая веселая ходит, и как ни в чем не бывала!.. Право, если б не она, я совсем был бы дрянь-человек, совсем опустился бы!

Между тем в гостиной собрался кружок кавалеров и дам. Яша Позиков рассказывал, что один его приятель видел в Париже такую обезьяну, которая и брила, и комнату убирала, и кушанье готовила, на что Петя Мараев, отличавшийся «ароматом светскости», заметил, что весьма покойно иметь подобного зверя, а главное, тем еще хорошо, что нет уж никакой надобности держать при себе лакеев, которые, по большей

части, бывают плуты и мошенники, обезьяна же, по самой природе своей довольствуясь малым, не может оказать подобных поползновений на барскую собственность; ergo[1], обезьяна, и в особенности ученая, гораздо лучше, нежели лакей.

При таком неожиданном заключении Граша Бедрягин обнял Мараева, сказав, что он сам того же мнения и весьма рад, что его теория об абсолютном и относительном несовершенстве натуры человеческой нашла себе отголосок в сердце такого милого и образованного юноши.

— Да,— прибавил он мрачным и таинственным голосом,— самое ничтожное и самое скверное создание в мире — человек, и это я узнал по опыту...

— Нет, отчего же? — возразил Кузнецов, вечный противник Бедрягина,— человек вовсе не самое скверное животное; есть многие животные гораздо хуже... Разве ты хотел бы сделаться собакою, или лошадью, или чем-нибудь этаким?

На это Бедрягин отвечал, что лошадь животное чистоплотное и что нет ничего позорного быть лошадью.

— Ну, а собакой? — возразил неумолимый Кузнецов.

На это Граша Бедрягин ничего не отвечал, но сжал кулаки и насупил брови, что̀ видя присутствующие, во избежание истории, поспешили переменить разговор и предложили Мараеву прочесть стихи его собственного сочинения.

Петя долго отнекивался, но наконец прочел; не могу слово в слово передать вам это стихотворение, но приблизительно оно было в этом роде:

«Там река шумит, ветер воет и небо облаками кроет; мы сидим с тобой оба; у тебя кудри так развеваются, и полная грудь твоя поднимается, и ланиты покрыты пурпуром стыдливости... А там река шумит, ветер воет и небо облаками кроет».

Читая, Мараев бросал страстные взоры на Машу; стихотворение произвело эффект.

— Ах, как обворожительно! Ах, какая прелесть! — говорила Авдотья Захарьевна.— Дайте, пожалуйста, списать! Маша, попроси Петра Николаича...

В это время Граша Бедрягин, соперничествуя с Мараевым на поприще литературы, встал с своего места и сказал с мрачным видом:

— Господа, я тоже сочинил на днях одну вещь, которою хотел бы поделиться с вами... Это не то чтоб повесть — нет, это просто идея, которая пришла мне в голову в одну из тех минут, когда сердце бывает полно презрения к человеку...

Кузнецов сомнительно покачал головою.

---

[1] следовательно (*лат*).

— Коли хотите,— продолжал Бедрягин с значительным видом,— я хотел тут изобразить человека, как я понимаю его...

Чтение началось, но не имело желанного успеха, потому, вероятно, что слушатели не достигли еще высоты идей Бедрягина; один Кузнецов слушал внимательно, да и тот потому более, что считал за нужное возражать своему вечному противнику.

Идеальный человек, которого хотел изобразить Граша в своем очерке, сильно напоминал своего автора. Унылов (так назывался он) даже страдал разлитием желчи, вечною болезнью Бедрягина; характер Унылова был скептический и угрюмый.

— Он верил бы,— говорил Бедрягин дрожащим голосом,— и в жизнь (усмешка), и в изящное (усмешка, смешанная с легким хохотом), и в благое (просто хохот); но он знал, что это не стоит труда, и предоставил это мелким душам...

— Нет, отчего же? — возразил Кузнецов,— не одни мелкие души верят в жизнь, и в изящное, и в благое! Напротив, мне кажется, и история доказывает...

Граша злобно взглянул на Кузнецова; впрочем, чтение кончилось без дальнейших неприятностей.

— Однако ж, кажется, мы довольно послужили музам? — сказал Яша Позиков,— пора бы их и к... А нам бы пуншику, Авдотья Захарьевна!.. Послужили музам? а? Не правда ли: музам? Ведь хорошо сказано? а?

— Вам не скучно? — спросила меня Маша, когда мы отошли несколько в сторону от компании.

— Нет; а вы?

— Да я привыкла; притом же они большею частию хорошие люди и любят меня. Вот это платье, что на мне теперь, это Мараев подарил.

— Право? Платье недурно.

— Да; вот видите ли... он ко мне... только ведь я вам это по секрету!.. питает слабость... а папенька хочет, чтоб женился, а он, разумеется, не соглашается.

— Отчего же разумеется?

— Как отчего? да он человек с состоянием, сын управляющего графа Д***, а я ничего не имею — это уж и неловко!

— Отчего же неловко, милая Марья Фоминишна?

— Ах, какие вы, право, странные! Как же вы не понимаете: он богат — ну, и ищет себе партию побогаче... зачем же ему со мной-то связываться? Я ему не пара...

— Так, так, Марья Фоминишна; справедливо рассуждаете.

— Насилу-то вы меня поняли! — сказала она,— вот, если б Владимир Иваныч... Вот это так пара! да тоже нельзя: нечем будет жить, папенька не отдаст!

— И вас это не волнует?

— Отчего же волновать? Пожалуй, волнуйся; ведь делу-то все-таки не поможешь!

— Милая Маша...

— Насилу-то вы называете меня просто Машей! а то — «Марья Фоминишна», право, скучно! Вы друг моего Владимира, я хочу, чтоб вы были со мною попросту, без церемоний — слышите?

— Слышу, слышу, добрая Маша.

— То-то же! А вот я завтра сама приду к вам, поближе познакомимся... Ведь правду-то сказать, я сама не хотела приходить к вам...

— Отчего же, милая Маша?

— А зачем вы сами у нас не бываете? Мне совестно, я вас не знала... ну, а теперь...

— Теперь вы позволите мне поцеловать вашу ручку?

— Сколько угодно! даже в губы; только не теперь: теперь увидят, тогда и после нельзя будет... а притом мне пора и к гостям. До свидания! Пожалуйста, не скучайте; я опять скоро приду.

Но самый пафос вечера выразился в ужине. Еще за полчаса, едва послышалось вожделенное стучание тарелок, едва начали расставлять в зале столы, все как-то вдруг присмирело и замолкло; даже на лице Позикова, обыкновенно осклабляющемся, выразилось нечто серьезное, мыслящее. Как будто что ни происходило до сих пор, все это было только дрянь, совершенная дрянь перед тем, что ожидало впереди. Зато, когда подали ужин, все заняты были одним только делом — едою, и в комнате, в полном смысле слова, можно было расслышать полет мухи, если б не звуки, производимые усердным стучаньем ножей и вилок. Самый голос Авдотьи Захарьевны, под стать этим звукам, делался как-то жалобен и дребезжащ, когда она обращалась к гостям с просьбою отведать хитрого соуса или пирога, называемого, вследствие крайней своей воздушности, шпанскими ветрами, приготовлению которых научил ее в 1812 году повар-француз.

— Ведь вот, батюшка,— говорила она, обращаясь к соседу своему,— и вражий народ, а меня научил — дай бог ему здоровья!

— Да, истинно вам скажу,— отозвался на другом конце Фома Фомич,— истинно бог один спас, никто, как бог! если б не он, царь небесный, так мы бы, кажется, давно...

Фома Фомич свистнул и махнул рукой, из чего присутствующие могли заметить, что в голове его происходили какие-то особые соображения.

Донского было выпито очень много, крымские вина тоже лились в изобилии, а под конец даже появилась бутылочка шампанского. Едва показалась эта бутылка, лица всех гостей превратились в одну самодовольную улыбку, а Фома Фомич, бывший, что называется, под куражом, взял ее, погладил, осмотрел со всех сторон и сказал, раскупоривая:

—А, ну-ко ты, долговязая, показывай нам, что у тебя там есть! Да ты смотри у меня не дури, не то сейчас тебя по-нашему, по-свойски! Ведь ты французский народ, у тебя в голове-то вздор бродит...

И точно, вино оказалось послушно увещаниям Фомы Фомича и не дурило.

— Ведь вот оно,— говорил Вертоградов, наливая бокалы,— ведь вот оно — и не много его, самая малость, а ведь одиннадцать рублев дал, у Крича в погребе брал! Да зато уж и вино! Тем хороши эти немцы, что сдерут, нечего и говорить: ой, ой, ой, как сдерут! да зато и вещь, изволите видеть, что ни в рот, то спасибо!

И все гости встали вдруг и закричали ура и долголетие Фоме Фомичу.

— Да вы, бабы, шли бы... того, к себе,— сказал Вертоградов, обращаясь к дамам и запинаясь на каждом слове,— а нам бы винца, мы бы того... выпили, покалякали... Так вы ступайте... а там, коли встретится в вас какая ни на есть надобность, так мы и пришлем...

После ужина Фома Фомич решительно раскуражился.

— А ведь оно... того,— говорил он с стаканом в руках,— асессорство-то недурно! ведь это не то, что прежде. Прежде что? разночинец — вот что! А теперь поди-ка ты — сунься! ан, нет: с истинным почтением и совершенною преданностью и прочая — изволь-ко, брат, отваливать! А? так, что ли? выпить, что ли?

Все молча согласились, что правда, и выпили.

— Эй, Мишка! — закричал Вертоградов маленькому сыну своему, как-то случайно очутившемуся в мужской компании,— ты что не пьешь, собачий ты сын? Поди-ко ты сюда, сякой-такой, говори-ко ты мне, что ты за птица, кто ты таков?

— Собачий...— отвечал Миша, оробев.

— Собачий! ведь экой ты скот! ведь я тебе говорю «собачий сын» — та́к, из ласки, а ты и заправду вздумал! Ну, говори же, кто твой отец?

— Фома Фомич,— отвечал Миша.

— Глупое ты отродье! асессор, коллежский асессор! ну отвечай, чей же ты сын?

— Собачий,— снова повторил Миша.

— Башка ты пустая! асессорский сын! ну, говори, кто же ты таков?

— Асессорский сын,— отвечал наконец Миша.

— Да; асессорский сын! так-то, знай наших! Вина ему! вина асессорскому сыну!

И Мише действительно поднесли стакан, наполненный какою-то смешанною дрянью.

— За здоровье Михайлы Фомича Вертоградова! — заорал во все горло Фома Фомич, и все, как дикие звери, бросились на ребенка с намерением подкидывать его; и я не знаю, что бы случилось, если б мы с Валинским не освободили его и не увели в другие комнаты.

Что было потом, мне неизвестно, потому что я остался в женской компании и не возвращался более в залу.

Когда я пришел, Маша сидела за фортепьяно и пела романс — «Кто мог любить так страстно».

— Как вы хорошо поете! — сказал я, когда она кончила и мы вышли в соседнюю комнату.

— Да, у меня есть голос... впрочем, музыка этого романса такая милая...

— А можно теперь поцеловать вашу ручку?

— Зачем же ручку? лучше в губы.

И она подставила мне свои губы.

— А еще лучше и в губы, и в ручку,— сказал я, взяв ее руку и целуя ее.

— Так вам не скучно было у нас? — спросила она.

— О нет, совсем нет! Притом же я познакомился с вами, а это уж большое вознаграждение.

— Да вы бы и после успели со мной познакомиться: ведь я не утерпела бы, пришла бы; ведь мне очень скучно одной, а Владимир так меня любит...

— А вы его любите? — спросил я.

— Да, а что?

— Так... он очень счастлив, этот Владимир!

— Потому что он немногого требует; он прост, очень прост, и за это-то я и люблю его так...

— А если он вас разлюбит?

— Разлюбит? не думаю... впрочем, может быть, это и будет когда-нибудь; да я, признаюсь вам, никогда не думала еще об этом.

— Ну, а если?

— Право, не знаю... да я и не претендую на вечную любовь; разумеется, придет когда-нибудь это время, но оно еще далеко...

— Вы думаете? Ну, а тогда что?

— Тогда?.. очень просто: мы расстанемся! Я очень хорошо понимаю, что он не может вечно любить меня, да и он не требует от меня этого... Вот видите ли, дело в том, чтоб эта разлука не стоила никому из нас слез...

— А почему вы знаете, что тут обойдется без слез?

— О, я уверена в этом! Ведь не вдруг же наступит эта холодность, а мало-помалу; притом это все-таки не помешает нам расстаться друзьями...

— О, милая, бесценная Маша! вы просто сокровище! — сказал я, целуя ее руку.

— Что ж это вам так странно кажется? Я так, напротив, думаю, что иначе и быть не может.

— Счастлив Валинский, что обладает вашею любовью! Я дал бы половину своей жизни, чтоб достигнуть этого счастья!

— О, да вы, кажется, строите козни своему другу! — сказала она, грозя мне пальцем и улыбаясь,— что, если он узнает это?

В эту минуту Валинский, как нарочно, вошел в комнату.

— Да вы, кажется, не на шутку подружились? — сказал он, взяв ее за руку и поцеловав в лоб,— что ж, он изъяснялся тебе в любви, что ли?

— Да, есть немножко,— отвечала она, лукаво смотря на меня,— ну, да ничего, немножко пошалить можно.

— Я так и знал, что он влюбится, увидев тебя... Это уж такая натура, изволите видеть... Смотрите же, Андрей Павлыч, не по-старому, не так, как в Ряплове...

Я не отвечал ничего.

— Ну, а я пришел проститься, да и вам тоже, Андрей Павлыч, советую: пора и спать! Надеюсь, Маша, что ты не будешь больше дичиться его, тем более что он был так любезен сегодня?

— Нет, нет! приду непременно, завтра же приду.

— Ну, так прощай же, жизнь моя,— сказал он, целуя ее,— а Авдотья Захарьевна в таких хлопотах: гости разъезжаются, проводить всякого надобно.

— Так что ж? для нас же лучше: не увидят. Прощай же, Владимир, да спи лучше, а то посмотри на себя, ведь ты ни на что не похож стал: бледный, худой... перекрести же меня!

Он перекрестил ее и снова поцеловал в лоб.

— А мне-то вы ничего и не скажете на прощание? — сказал я.

— О нет, как же! и вам... Да видите ли, занятие-то такое важное — некогда было! Впрочем, за мною не пропадет...

— Прощайте, прощайте, Маша! — говорил я, целуя ее в губы,— не забудьте же своего обещания.

— Не забуду, приду непременно; ждите меня.

С этими словами мы вышли.

Вы можете себе представить, какую ночь провел я после этого знакомства. В самом деле, все в мире как будто на смех и на досаду мне делается: и любят-то меня такие, которым бы и знать меня вовсе не следовало; а там, где я мог бы быть счастлив, где я мог бы сделать счастье других, там уж поздно, там и место давно занято, и я, поневоле, должен оставаться один на один с собою, поневоле должен забавляться одними сомнениями, потому что забав иных не имеется.

Вообще все мое существование — какое-то неудавшееся, погибшее существование; оно, если хотите, и могло бы что-нибудь выйти из него, если бы... да вот этого *если*-то именно и не имеется. И, признаюсь, мне иногда обидно и больно делается, когда другие веселятся, когда другие довольны собою; меня оскорбляет чужая радость, как обида, лично мне нанесенная в самую нежную, чувствительную струну моего существа! Все мне кажется, что это *мое* веселье у меня отняли, что *моею* радостью люди радуются, а я брожу себе в стороне один-одинешенек, и все гонюсь за чем-то, и все ничего не нахожу, как тот человек, который вечно искал потерянную тень свою!

И Маша, как нарочно, как будто с намерением, еще более растравляет мое бедствие, приходит каждый день и все более и более очаровывает меня своею непринужденною, детски естественною простотою. Часто бросается она ко мне на шею, целует меня в губы, и когда я, задыхаясь от страсти, в изнеможении падаю в кресло, она с хохотом вырывается из рук моих, забавляется моим смущением, позволяет себе всевозможные шутки и наконец снова целует, снова обнимает меня.

Однажды она пришла, когда Валинского не было дома.

— Знаешь ли, Маша,— сказал я после обыкновенных приветствий,— что я скажу тебе?

— Скажи, тогда и буду знать.

— Ведь я люблю тебя, Маша.

— В самом деле? да ведь я и прежде это знала! Ну, так что же?

— Да я не так люблю, как ты думаешь.

— А то как же?

— Да я хотел бы... вот, видишь ли, Маша, я самый несчастный человек в мире!

— Ну нет; я еще ничего не вижу...

— Да я хотел бы, чтоб и ты меня любила...

— А разве я не люблю тебя?

— Я хотел бы, чтоб ты любила меня, как Владимира.

— Вот вздор какой! а Владимир-то как же?

— Ах, боже мой! разве я прошу тебя разлюбить его?

— Ой, лукавите, Андрей Павлыч! право, лукавите...

— Совсем нет; я говорю, что чувствую...

— Да как же это я буду любить... обоих вместе?

— Так и есть; я говорил, что я несчастнейший человек в мире!

— Совсем нет... отчего же?

— Как отчего? и ты спрашиваешь меня? Я люблю тебя, а ты меня не любишь.

Маша пристально взглянула на меня и задумчиво покачала головкою.

— Нехорошо, Андрей Павлыч,— сказала она с упреком,— дурно изволите поступать!

— Что же мне делать, Маша? ведь я люблю тебя! Не могу же я заставить себя быть равнодушным.

— Я так и думала,— сказала она дрожащим от слез голосом,— скажите же мне, Андрей Павлыч, отчего нельзя никому довериться, нельзя ни с кем быть откровенною, чтоб не подать повода к различным заключениям?

— Да ведь я не виноват, милая Маша! что ж мне делать, если я люблю тебя!

— Ну, так мне остается одно только: не приходить к вам.

— Маша, да разве ты не можешь уделить мне частичку своей любви?.. я был бы так счастлив...

— Нет... если б я не любила его, тогда может быть... Вот видите ли, Андрей Павлыч, это совсем нельзя... И не думайте, чтоб я отказывала вам из того, чтоб не огорчить Валинского... совсем нет! я твердо уверена, что он даже внутренно не был бы на меня в претензии... Но я не могу любить другого точно так же, как его; мы так удачно подошли друг к другу... Нет! это невозможно, совсем невозможно, Андрей Павлыч, и мне, право, очень жаль, что у вас могла родиться такая мысль.

— Да как же быть-то, милая Маша?

— Как быть? Разумеется, оставить все времени: когда-нибудь эта блажь и пройдет!

— А покуда-то, а до тех-то пор что мне делать, Маша?

— Что делать? Быть со мною по-прежнему, быть твердым в бедствиях! — отвечала она, улыбаясь.

— Так, так, Маша; постараюсь; хорошо, если успею...

— И, главное, не огорчаться,— продолжала она,— а если будешь думать много, никогда не выйдет у тебя из головы... Посмотри на Валинского; видал ли ты его когда-нибудь в затруднительном положении?

— Да ему не на что жаловаться: он имеет все, что желает!

— Ну, не совсем-то все, потому что любовь далеко не составляет еще всего; однако ж он уживается, делает как может и что может, и не жалуется... Оттого-то, может быть, я и люблю его так...

— Да, я чувствую, что ты права, Маша, да ведь натуры-то своей не переменишь!

— Разумеется, да и менять не нужно! оставим это времени. Когда-нибудь она и сама собой переродится!

— Да ведь до тех-то пор я все-таки буду несчастен!

— Что же делать? Это, видно, уж такая твоя доля горемычная! всякому свое, нужно покориться... Обещаешь слушаться меня?

— Буду стараться, Маша, а поручиться не могу.

— Ну, так я не буду ходить... делать нечего.

— Нет, нет, это еще хуже; уж лучше я обещаюсь.

— Слово?

— Честное слово.

— А к чему же эта кислая мина?

— Да ведь не могу же я радоваться, Маша!.. Маша, а Маша?..

— Что еще?

— Да, право, нельзя ли как-нибудь... подумай...

— Опять?

— Ну, ну, не буду; только ты, пожалуйста, приходи по-прежнему.

И поверите ли, в настоящую минуту я действительно ничего не чувствую к ней, кроме самой почтительной, тихой дружбы; эта девушка своими простыми словами произвела во мне такую перемену, что я решительно не узнаю себя.

Так вот как мы живем да поживаем здесь! А впрочем, и Валинскому надо отдать справедливость: он как будто чувствует, что мне нужна помощь, что я еще не совсем выздоровел от своей прежней тяжкой болезни, и окружает меня самыми заботливыми попечениями, отдаляет от меня всякую горестную мысль о завтрашнем дне и других неприятностях, которые кишмя кишат в жизни бедного человека.

Да и Андрей — служитель — такая, право, добрейшая ду-

ша! На днях купил в комнату чижика, а на окно поставил горшок ерани. Все, говорит, веселее будет: и птичка божия что ни на есть споет, и по комнате душок приятный от растения будет... Право, весело!

А все-таки грустно, что она не любит меня! Мне все кажется, что с нею, именно с нею одною, только и мог бы я быть счастлив!..

Как вы думаете об этом предмете?

ОТ ТОГО ЖЕ К ТОМУ ЖЕ

Еще одно последнее письмо об этой странной любви, которая измучила, истомила меня... В настоящую минуту мне так больно, я так весь изломан от беспрестанных ощущений, которые скопились в последнее время, так страдаю душевно и телесно, что и до сих пор нахожусь как будто под влиянием тяжкого кошмара. И потому прошу вас не сетовать на меня, если письмо мое будет несвязно: это извиняется самыми обстоятельствами, в которых я нахожусь...

Надо вам сказать, что недели две назад, совершенно неожиданно, получил я письмо от Гурова. В нем меня извещали, что Таня находится при смерти и желает меня видеть. Не знаю, как выразить вам ощущение, которое почувствовал я при этой вести. Какое-то черное облако пронеслось перед моими глазами, и страшная, жгучая тоска овладела всем существом моим. Не знаю, хорошо ли я сделал, что поехал по приглашению Гурова; знаю только, что в ту минуту я не мог иначе сделать, потому что вся моя жизнь, все мое прошедшее влекло меня в эту сторону... Я вам говорю, что любовь к ней была единственною светлою минутою моей жизни, единственным счастием моим, а от счастия, как хотите, нельзя отказаться так легко. Итак, я не думал, я скакал туда, весь занятой одною только убивавшею меня мыслью — мыслью, что, может быть, я застану только бездушный труп ее... Приехав, я прямо бросился в ее комнату.

Она лежала на постели, умирающая, почти мертвая; вокруг нее молчаливою вереницею стояли Гуров и все семейство Крошиных. Было что-то тяжелое, зловещее в этом всеобщем безмолвии. Сторы окон были опущены; по всей комнате разливался какой-то неопределенный, матовый полусвет; в углу тихо теплилась перед образом лампада, и ни малейшего движения, ни малейшего шороха — как будто оцепенели все мускулы на этих суровых, очерствелых лицах, как будто страшное что-то совершалось в этих стенах.

Когда я вошел, Мария Ивановна приложила палец к губам и сделала мне знак, чтоб я не шумел. Только в эту минуту мог я хорошенько рассмотреть это чудное существо, которое я так преждевременно свел в могилу. Бледная, исхудалая, лежала она в изнеможении на постели; на ней была белая кофточка, а на голове надет маленький ночной чепчик; в этом наряде, так живо напоминавшем мне одну из лучших минут моей прошедшей любви, посреди окружавшего ее полумрака, она показалась мне призраком; что-то неземное, улетучивающееся было во всем существе ее; и потухающий взор, и полураскрытый рот, подернутый едва заметною улыбкой, и медленное, но ровное трепетание груди — все веяло тихою, безмятежною грустью, сожалением об улетающей жизни, и вместе с тем как будто говорило: мне хорошо, я счастлива, я несусь легко и свободно далеко, далеко на вечные, святые небеса!..

Шум, произведенный моим приходом, вывел ее из легкого усыпления, в которое она до того времени была погружена. Она посмотрела на меня, но на лице ее не выразилось ни радости, ни грусти; по-прежнему осталось оно бледно и ровно, только едва заметное движение рукою показало мне, что она желает видеть меня ближе.

Я подошел.

— А я ждала тебя,— сказала она чуть внятно,— я думала...

Она остановилась; дыхание ее сделалось трудно; невольные слезы полились из глаз моих.

— Что ж ты плачешь? Ребенок ты, право, ребенок! — сказала она.— Не плачь... слезами не поможешь... Что ж делать? видно, так нужно, друг мой!.. А я бы хотела поговорить с тобою наедине... Мне многое, многое нужно сказать... пока я еще жива...

— Ничего мне не жалко,— продолжала она, когда все вышли,— бог видит, что я без горести и без сожаления оставляю жизнь; но тебя... с тобой что будет?.. ведь ты не вынесешь... Для тебя, для тебя одного, хотела бы я еще пожить, хоть немного...

И она посмотрела на меня, и во взоре ее, уже слабом и полуугасшем, мелькнула искра нежности и чувства.

— В тебе была вся моя радость,— сказала она,— с тобою была легка мне жизнь; все бы снесла, все бы приняла я, ради тебя... Теперь все кончено... Скажи ж мне, любишь ли, любил ли ты меня?

— Люблю, любил, одну тебя любил, милая Таня! одну тебя и буду любить всю жизнь мою!

— Я и знала, что ты любил меня... да вот и любил, а ничего не вышло... Оттого-то и жаль мне тебя, что ты погибнешь один, что ты слаб, слаб, как дитя... А если б наша любовь была возможна! если б она удалась!.. Бедный! ты больше меня достоин сожаления! Я по крайней мере умираю... а ты остаешься жив...

— Таня, милая Таня! простишь ли ты меня? Я много виноват перед богом и перед тобою!

— О, я давно простила! Да ты и не виноват; ты и без того много сделал для меня: ты дал смысл моему существованию, ты был всем для бедной Тани! Притом же ты сам несчастен... я вижу, я понимаю, сколько тягости в этом бессилии... Обстоятельства давят, друг мой, обстоятельства жестоки... а мы не виноваты: что невозможно, то невозможно!

Она остановилась и сделала знак, чтоб я ее приподнял; я осторожно взял ее за талию и посадил на постели.

— Похудела, подурнела я без тебя... да я и сама много виновата, сама не все сделала, чтоб привязать тебя... теперь я и вижу, что для любви нужна пища, да уж поздно... А все-таки умирать жалко... жалко для тебя!

Она задумалась; чуть заметное облачко печали отуманило на минуту спокойное и светлое лицо ее; рука небрежно откинулась на подушку; кофточка распахнулась, и белое, как мрамор, плечико показалось из-за спущенной сорочки.

— Посмотри, как похудела я! — сказала она, указывая на свою шею,— едва душа в теле держится... Да теперь уж и незачем!.. все кончено! бедная Таня!

— О, я не переживу тебя, я соединюсь с тобой! — говорил я, покрывая поцелуями ее руки.

— Нет, не нужно, я не хочу этого, друг мой!.. Вот видишь ли: жизнь так хороша, так много привлекательного, зовущего в ней, что грустно, невыносимо тяжело умирать... нет, ты живи, ты должен жить... и бог не простит тебе, если ты вздумаешь...

Слабою и дрожащею рукою привлекла она меня к себе.

— А я все смотрю и насмотреться на тебя не могу,— сказала она сквозь слезы,— ведь ты был единственною радостью моей жизни!.. Помнишь ли тот вечер?.. мы были вдвоем... ты глядел мне в глаза... где это время?

И когда я, задыхаясь от слез и рыдания, почти без чувства бросился к ней на грудь,—

— Полно же, перестань, мой друг,— сказала она едва слышно,— в эту минуту все должно успокоиться... О, я чувствую, чувствую, что конец мой близок...

И вдруг она упала навзничь, и лицо ее помертвело. В испуге я схватился за колокольчик и хотел звонить; но она удержала меня.

— Нет, не нужно,— шептала она,— не нужно... Я умираю... я хочу умереть... наедине с тобою...

Глаза ее вперились в воздух и сделались неподвижны.

— Ты видишь,— сказала она, вся трепеща от страха,— ты видишь... там стоят люди... они идут, они за мной... Душно мне, душно!.. Прощай, будь счастлив...

. . . .

Через полчаса она лежала на столе, вся в белом, и деревенский дьячок читал над нею молитвы.

И она умерла! умерла при мне, на моих руках!

. . . .

Так кончилась единственная эпоха моей жизни, в продолжение которой я имел право сказать, что я живу.

В Москве меня встретили друзья мои: Маша, Валинский и Андрей. Все они показали много участия в моей горести, хотя никто и не подумал утешать меня. В самом деле, в подобных случаях ничего не может быть несноснее, неделикатнее утешителей: они колют глаза, они еще более растравляют ваши раны, противопоставляя вашему горю свое черствое спокойное довольство. И долгое время сидел я, запершись в своей комнате, и не мог ни с кем сказать слово: так тяжело давило меня мое горе!

Но теперь, когда я спокойно рассуждаю, прав ли я, предаваясь такому горькому отчаянию, то, признаюсь, не могу не решить этого вопроса скорее в отрицательную, нежели в положительную сторону. Конечно, я многое потерял; конечно, в этом минутном проблеске жизни среди безжизния было много увлекательного, много младенчески светлого и упоительного; но ведь минута все-таки не заключает в себе целой жизни, все-таки остается минутою. Недостойно и постыдно для человека погибнуть и распасться под ударом слепого, неразумного случая; недостойно всю жизнь обратить в одну только сторону, всю деятельность ограничить одною только сферою, когда перед ним расстилается широкая и необозримая дорога, когда ему предстоит внесть свою долю мысли, сказать свое слово в общем, вековом труде человечества!

И Таня была права, тысячу раз права, когда говорила, что я должен жить, что моя собственная совесть накажет меня, если я буду отчаиваться! Да, она накажет меня сознанием великой бесполезности всего моего существования, сознанием, что все трудятся, все, по мере сил, работают на благо общее, и один я лишний на свете, и, как негодный, полусгнив-

ший член тела, засвидетельствовал жизнь свою только тем, что заражал прочие, здоровые части стройного целого.

А между тем, как посмотрю я внимательно — какую же пользу могу принести я? какое же слово суждено мне сказать в общей речи человечества? Не вижу, не вижу я ничего! Деятельность моя совсем парализирована! Уж не говорю я об воле — воли нет и не может быть,— но страсти, энергии нет во мне! Весь я одряхлел, ослабел, распался — и с горечью смотрю на развалины моего бесполезного прошедшего!

А отчего все это? Оттого, что мне не дано практического понимания действительности, оттого, что ум мой воспитали мечтаниями, не дали ему окрепнуть, отрезвиться и пустили наудачу по столбовой дороге жизни! И естественно, что всякий шаг был для меня камнем преткновения, что я ничего не понял в действительности и стал ругаться над ее нелепостью, проклинать гнетущую ее силу!.. И когда навели меня на истинный путь, когда указали мне, что все в жизни имеет связь и смысл, что нелепость существует в моем воображении, а на деле все понятно и стройно, когда я сознал все это — было уже поздно! Прежняя моя праздная и ничтожная жизнь погубила во мне всякую искру деятельности, притупила всякую энергию, и я по-прежнему остался один с своими сомнениями, беспрестанно стараясь примирить противоречие теории и практики, разума и жизни, и всегда без успеха, потому что между теориею и жизнью не было посредствующего члена, не было деятельности, которая одна только в состоянии совершить великое дело примирения.

Даже и теперь, как вы видите, я нахожусь в подобном же положении. Меня и убивает смерть Тани (даже от отчаяния, от самоубийства я, пожалуй, не прочь), и между тем не хочу отчаяния, не хочу смерти, потому что недостойно человека упасть духом и ослабеть перед ударом слепого неразумного случая! Видите ли, какое жалкое рассуждение!

Везде, всю жизнь искал я средины, везде хотел примирить крайности и жить разумно — и чего же достиг? Достиг того, что сознаю нелепость крайностей, отстал от них, а средины-то, разума-то все-таки не добился, и вишу теперь на воздухе, не зная, что́ я и куда несет меня поток жизни, и дела мне нет до того, принесет ли он меня куда-нибудь...

Среди всеобщего движения, среди этой вечно трудящейся, без отдыха работающей толпы я совершенный анахронизм: вижу много хорошего, что остается сделать,— и не могу ни к чему приступиться; чувствую всю тягость, всю неестественность своей жизни — и не могу сделать ни шага, чтоб выйти из нее... Право, положение было бы даже очень забавно,

если б слишком близко не касалось нежнейших струн существа моего.

С грустью и недовольством смотрю я на мое прошедшее, мое настоящее, мое будущее. Что было в моей прежней жизни? — сомнения! Что в настоящем моем? — сомнения! Что в будущем? — сомнения! Нигде ничего верного, нигде светлой мысли, на которой можно бы остановить взор свой, отдохнуть душою; нигде факта, на который можно было бы опереться и с гордостью сказать: это мое дело, это я сделал! Все, что я сделал, точно так же может быть сделано и учеником на школьной скамейке: и он тоже ничего не знает, и он ни к чему приступиться не может!.. Да; есть много таких характеров, которые вдали кажутся и огромными и величественными, а вблизи преобидно умаляются... Что в том, что я много наблюдал, многому выучился, многое вычитал?.. что в том пользы, говорю я, когда у меня руки не поднимаются, ноги не ходят? Все это знание больше ничего, как слова, слова, слова... Да и вся жизнь моя не более как противоречия, противоречия, противоречия...

ГЛАВА

Робким и нерешительным шагом шел Николай Иванович садом по дороге из первого Парголова в Заманиловку. Разные непредвиденные вопросы беспрестанно восставали в голове его и мутили его воображение. То вдруг возникал в уме его вопрос, какого сорта его любовь, не есть ли это потребность, им самим придуманная и навязанная себе же, а вовсе не свободное, естественное движение существа его,— и действительно оказывалось, что если бы любовь его к Вере Александровне была любовь естественная, то он не задавал бы себе подобных вопросов, не рассуждал бы об ней, а простонапросто шел бы себе в Заманиловку без всякой задней мысли и сомнений. Итак, этот факт был для Нажимова ясен, так ясен, что он, который исповедовал, что человек везде и всегда должен поступать только по естественному влечению своей природы, даже испугался результатов своих размышлений по поводу настоящего его положения и быстро повернул было назад. Но не сделал он еще и трех шагов в этом обратном направлении, как больная его мысль, не перестававшая работать с обычною неутомимою деятельностью, представила ему дело в совершенно противоположном виде. «Но если,— говорил он сам себе,— рассуждающая любовь неестественна, стало быть, ее нет, стало быть, я не люблю; а если я не люблю, если я равнодушен, то нет для меня никакой причины не идти к Загреевым». И Нажимов вновь воротился и пошел по дороге к Заманиловке. Потом опять начинала тревожить его другого рода мысль. «Но если,— думал он,— я столько рассуждаю о своих отношениях к Вере Александровне, если я беспокоюсь о них, следовательно, Вера Александровна интересует меня, следовательно, я люблю; но, с другой стороны, имею ли я право любить, не теряя своего собственного человеческого достоинства?» И тут расстроенному воображению

его являлись вереницами такие страшные буки и пугалы, что ему становилось страшно, грудь его давила какая-то несносная тяжесть, холодный пот выступал на теле, потому что на один и тот же вопрос являлось ему вдруг два совершенно противоположные ответа, из которых один говорил совершенно ясно и доказательно да, а другой совершенно ясно и доказательно нет. «Чем сложнее организм, чем более заключает он в природе своей поводов к обнаружению своей деятельности, тем выше стоит он на ступенях бытия; чем более в человеке потребностей, чем разнообразнее они, тем шире натура человека, тем законнее его право на титул венца создания. Если же, по какому-либо случаю, вся жизненная деятельность человека поглотится в одной только потребности — этот факт уже достаточен для того, чтобы низвести совершеннейшее из созданий на степень низшего организма. Итак, если допустить возможность такой любви, которая непомерным развитием своим была бы в состоянии заслонить собою все другие отправления нравственного организма человека, то вместе с тем должно признать в этом человеке совершенное отсутствие признаков, доказывающих высшую натуру; следовательно, любовь и высшая натура — понятия друг друга исключающие, уничтожающие». Но через несколько минут его снова брало раздумье. «А с другой стороны,— говорил он,— такое проявление деятельности, где человек участвовал бы современно всеми сторонами своего существа, не всегда для него возможно, потому что иногда самые обстоятельства, в которых человек поставлен, или так мало заключают в себе вызывающей силы, что не возбуждают от сна дремлющих сил его, или часто даже имеют в себе такое губительное начало, что совершенно парализируют их; следовательно, чрезмерное развитие одной какой-нибудь страсти в человеке нисколько не доказывает ни высшей, ни низшей степени организма; следовательно, любовь — страсть вовсе не унизительная».

Хорошо еще, что Николаю Ивановичу не пришло на мысль, что он смешивал тут два понятия, совершенно различные, — понятие человека нормального, которого силы находятся не в борьбе между собою, а умеряют друг друга, с понятием своего личного положения, положения совершенно ненормального,— а приди это ему на мысль, мы услышали бы, может быть, изыскания еще более интересные, нежели те, которые мы уже знаем. Такого рода мысли и рассуждения мучили бедного Нажимова в продолжение всего пути от первого Парголова к Заманиловке. Об одном только и о самом простом, по-видимому, деле не подумал Николай Иванович. Не подумал он о том, что его бессильное, больное раздражение, которое он на-

зывал любовью, по закону какой-то необъяснимой необходимости заразило своим тлетворным дыханием существование, полное силы и энергии, что его узенькая и сухая натура, не имевшая ничего в предмете, кроме удовлетворения своей мертвой потребности резонёрства, сгубила своим столкновением жизнь и счастие целого семейства. Не подумал он об этом, да и время ли было ему об этом подумать: его занимали вопросы гораздо глубже этого, вопросы общечеловеческие: согласно ли, например, с достоинством человека подчиниться влиянию одной страсти и проч. А я уверен, что если бы <он> не заносился своею мыслью слишком высоко, а, не гнушаясь, посмотрел бы вокруг себя, то увидел бы непременно, что одному человеку вовсе не след компрометировать счастья нескольких людей и что если он уже не в состоянии изменить своей натуры, то ему следует удалиться и принесть себя в жертву. Но Нажимов не думал об этом и, занятый своими соображениями, шел себе потихоньку по дороге.

Наконец показалась и знакомая дача, и садик, обсаженный кустами акаций, и в садике мелькнуло что-то белое.

«Она»,— подумал Нажимов, отворяя калитку.

В самом деле, это была Вера Александровна; она сидела в самом углу садика в беседке; в руках ее была книга, и она, казалось, была так занята своим чтением, что не слыхала, как подошел к ней Нажимов; свет едва-едва пробивался сквозь ветви акаций, которыми усажена была беседка, так что Вера Александровна была окружена каким-то мягким, необыкновенно заманчивым полумраком, который придавал еще более прелести и без того прекрасному лицу ее; она была одета в белое кисейное платье с высоким лифом, легко и грациозно обрисовывавшее ее стройную талию; волоса были причесаны гладко и очень просто; в этой одежде в ней было что-то до того легкое, улетучивающееся, что Николай Иванович в невольном восторге молча остановился перед нею. На него как будто пахнуло давно забытым теплом его юности, и затвердевшее чувство жизни вдруг растопилось на дне его сердца; как пораженный, притаивши дыхание, стоял он перед этою чудною женщиною, боясь малейшим движением пробудить ее внимание и тем расстроить очарование свое. Однако ж через несколько минут Вера Александровна подняла глаза.

— Ах, это вы, Николай Иванович,— сказала она, подавая ему руку,— а я так занялась своим чтением, что и не слыхала, как вы пришли; вы, может быть, давно уже здесь?

— Нет; я только сейчас вошел.

— Тем лучше; садитесь, пожалуйста... а впрочем, знаете ли, здесь темно: пойдемте лучше в комнату.

— Если бы вы позволили, я лучше желал бы остаться на воздухе...

— Ну, так пойдемте на балкон...

— Отчего же вы не хотите остаться здесь?

— Да здесь неловко... мы видеть друг друга не будем,— сказала она, улыбаясь,— пойдемте, пойдемте...

И она вышла из беседки; она чувствовала, что в этом полусвете есть какое-то возбуждающее свойство, располагающее человека к восторженности и мечтательности, и боялась этого. Нажимов нехотя последовал за нею.

— А я теперь одна... надо же случиться такому обстоятельству: собирались вы, собирались, насилу приехали, а тут, как нарочно, ни папеньки, ни мужа нет дома...

— Где ж они?

— Да с утра еще в город уехали, да вряд ли и вернутся сегодня...

— А Варвара Александровна тоже с ними уехала?

— Нет, Варя ушла с Колей к знакомым в третье Парголово... право, предосадно!

Николай Иванович не отвечал; Вера Александровна тоже не знала, как продолжать разговор; в взаимном положении их было много принужденного, потому что обоих волновала одна и та же тайная мысль, которую они во что бы ни стало хотели скрыть друг от друга, а между тем чувствовали, что по какому-то тайному случаю наступила наконец для них решительная минута, когда долго удерживаемое слово должно необходимо быть сказано, когда необходимо должна упасть та завеса, которая долгое время скрывала их от них самих.

— Я, может быть, помешал вам, Вера Александровна,— сказал наконец Нажимов.

— О нет! напротив, я очень рада вашему приезду! досадно только, что и папенька и муж в городе; они были бы так рады видеть вас...

— Что вы читали, Вера Александровна?

— Да Гётевы «Wahlverwandtschaften» [1].

— Это мой любимый роман.

— Право?

— Да; потому что в основании его лежит истина...

— Вы думаете, что этот мрачный закон предопределения, который кладет какой-то тяжелый колорит на все действие, может существовать?.. не знаю, а мне делается больно, когда я читаю этот роман...

---

[1] «Избирательное сродство» *(нем.)*.

— Странное дело, Вера Александровна! вам делается больно, что люди поступают естественно, вам делается обидно, когда люди не могут долее лицемерить, когда они не в силах долее удерживать маски, закрывавшие от них истинные чувства их... Вам больно, Вера Александровна! мне так, напротив, как-то светло и легко делается, когда я могу отдохнуть душою на подобном создании от вечных цепей принуждения и апатии, которые нас сковывают...

— Однако ж сам Гёте понял это, кажется, так, как я понимаю, потому что недаром же дал он всему действию такой невыразимо грустный характер.

— О нет, вы ошибаетесь, Вера Александровна! грустная сторона этого явления заключается не в самой сущности его, а в его внешнем выражении; обидно не то, что этих людей влечет друг к другу какая-то безотчетная необходимость — эта безотчетность чувства именно и составляет обаяние страсти,— обидно то, что это естественное влечение людей друг к другу при самом рождении своем вызывает уже тысячи препятствий, тысячи химер...

— Однако ж как хотите, а для меня это все-таки странно... неужели человек должен всегда покоряться какому-то внешнему закону необходимости, неужели в нем до такой степени нет воли, что непременно нужна какая-то слепая случайность, чтобы вести его?

— Да почему же вы думаете, что это случайность? почему вы представляете себе закон необходимости чем-то внешним? ведь этот закон в нас самих, в нашей природе; повинуясь ему, мы себе повинуемся... Разумеется, я первый бы восстал, если бы Гёте имел в виду какую-либо внешнюю силу, царящую над действиями человека... Дело в том, что этого нет, что сила, заставляющая нас действовать, заключается в нас самих и в окружающей нас средине, и когда начало нашей деятельности заключается только в нас, тогда действие наше естественно и потому совершенно; но так как оно всегда изменяется столкновением с известною срединою, то и является с первого взгляда как будто бы порочным; но первое-то побуждение все-таки чисто и прекрасно...

— Может быть... но все-таки я думаю, что в человеке есть довольно силы, чтобы противустоять этому влекущему закону и быть в состоянии свято исполнить долг свой...

— Бог знает...

— Однако ж, я думаю, что это зависит от самого человека, и если он захочет, то всегда найдет в себе эту силу...

— О нет! нет в нем этой силы, нет ее... Бедный Эдуард напрасно противится увлечению, напрасно уезжает дальше от

Оттилии; тщетно Шарлотта думает заглушить в себе страсть к капитану, тщетно добродетельный, но глупый Митлер усиливается как-нибудь, хоть на живую нитку, согласить отвсюду восстающие противоречия: против них согласилась сама природа их, она грозит им смертью за безумное сопротивление их, и они идут, идут, сами не зная, не давая себе отчета, куда приведет их светлый поток их страсти...

— Однако ж они торжествуют над этой страстью...

— Смерть над всем торжествует, Вера Александровна...

Вера Александровна не отвечала; Нажимов взял в руки книгу и молча перелистывал ее; было около девяти часов, и солнце только что село; вечер был тихий и теплый; все дачники, как будто радуясь такому редкому явлению, оживленными группами рассыпались по деревне.

— Не хотите ли вы прогуляться? — спросила Вера Александровна.

— С удовольствием; только не по деревне...

— Отчего же?

— Оттого, что тут много народу, а я, вы знаете, не большой охотник до общества...

— Да что же вам за дело до других? вы здесь ни с кем не знакомы...

— Все это так, Вера Александровна, но ведь и вы не любите сборищ, зачем же вы сегодня хотите непременно изменить своим любимым привычкам... Вообще вы что-то очень не в духе сегодня, Вера Александровна...

— Если вы непременно хотите, пойдемте в сад.

— Да, и на озеро... вы будете так добры?

— Уж не думаете ли вы кататься на лодке? — спросила Вера Александровна, с какою-то живостью схватившись за эту мысль.

— Если только это возможно...

— Отчего же нет... Маша,— сказала Вера Александровна горничной,— скажи Андрею, чтобы он шел на озеро; мы будем кататься на лодке.

— Зачем же вы хотите Андрея? я и сам надеюсь справиться с лодкой!

— Нет... вы, пожалуй, опрокинете ее,— сказала шутя Вера Александровна.

— А я думал, что мы будем с вами одни, что я буду грести... в таком случае зачем же нам не гулять просто по деревне...

Вера Александровна молчала; бедная женщина чувствовала, что роковая минута наступает и что как ни старалась она до сих пор отдалить ее, все-таки она не исчезала, а снова

являлась с более и более угрожающею настойчивостью. Она понимала, что если откажет Нажимову в его настойчивом требовании ехать вдвоем на лодке, то самым этим действием откроет ему то тайное чувство, которое руководило ее в этом случае. А с другой стороны, мысль, что страсть, и без того уже раздраженная этим продолжительным свиданием, не будет иметь более силы скрываться, ужасала ее. И бедная не знала, на что ей решиться, потому что, наконец, ее влекла к Нажимову задушевная мысль ее, и надо было слишком много геройства с ее стороны, чтобы своею собственною силой выйти из затруднительного положения. Она взглянула на Нажимова: он стоял перед нею и смотрел ей в глаза.

— Зачем же вы непременно хотите противиться? — сказал он слабым голосом, взяв ее за руку.

Вера Александровна побледнела и поспешно выдернула руку свою.

— Хорошо, мы поедем вдвоем,— сказала она,— только я надеюсь, что вы не опрокинете лодку.

И Вера Александровна улыбалась, говоря это, но улыбка ее была как-то неестественна.

И молча пошли они к озеру; во всех их движениях было что-то принужденное, связанное, как будто наступала для них минута, в которую должна объясниться им целая жизнь их; как будто для нее одной существовало все их прошедшее и в ней одной заключено все будущее их.

Тихо и ровно катилась лодка по озеру, дружно ударялись весла по дремлющей и, как стекло, прозрачной воде; ни малейшего звука, ни малейшего движения вокруг пловцов; чуть-чуть рябит теплый июльский ветер ровную поверхность озера; смолкла и уснула давно в гнездах своих веселая стая птиц; догорает на отдаленном горизонте вечерняя заря, отражая в воде последние лучи свои; синее безоблачное небо раскинулось без конца в недоступной высоте своей; что-то торжественное, зовущее в этом всеобщем безмолвии; оно навевает на душу сны, полные обаяния и сладости, оно зовет на лоно природы давно отторгшихся сынов ее, оно напоминает истерзанному и измученному жизнью об утраченном рае его юности, о тех бывалых его порывах, когда он весь кипел стремлениями к доброму и прекрасному... Но наши пловцы были грустны — более чем грустны: на них невыносимо тяжелым камнем лежала ложность их положения; они хотели развязать как-нибудь этот гордиев узел, в который сами невольно впутались, и не могли, потому что слова замирали на губах, мысль скудела под бременем поглощавшей их страсти. Долгое время плыли они молча и не смотря друг другу в глаза, боясь даже

в них увидеть обличение тайной их страсти; наконец Нажимов не выдержал; он бросил в лодку весла и облокотился рукою на колено.

— Бедные, несчастные мы люди! — сказал он с горечью.

Вера Александровна сидела против него, опустив в землю глаза и машинально расплескивая концом зонтика воду; лодка медленно плыла сама собою; одно весло, небрежно кинутое, плашмя ударялось о поверхность озера; Нажимов взглянул на Веру Александровну и покачал головой; она была бледна, как полотно, и едва дышала.

— Бедные, несчастные мы люди! — повторил Нажимов и глубоко вздохнул.

Заря уже догорела: ночь одела окрестности таинственным покровом своим; в воздухе начинало свежеть; тут только Николай Иванович вспомнил, что уже поздно и что, вероятно, отсутствие Веры Александровны немало беспокоит домашних ее; он взялся за весла и поплыл к берегу. Они вышли из лодки и пошли к дому; было уже темно, на улице не было видно гуляющих, в раскрытых окнах светились огоньки, то там, то сям; как неясный шум, долетали до слуха их веселые голоса дачников; какая-то лихорадочная тревога обняла все существо их; от озера до дачи было с полверсты; долго шли они молча, употребляя неимоверные усилия, чтобы сдавить в себе поток страстного раздражения, который спирал им дыхание в груди; но тщетны были все их усилия: страсть гнела их влекущею своею мощью, сковала их души силою непобедимого своего очарования.

— Отчего же вы не хотите любить меня? — спросил наконец Нажимов голосом, дрожащим от волнения.

Молчание.

— Действительно ли не любите вы меня, или только не хотите признаться себе в этом?

То же молчание.

— Зачем же вы не хотите отвечать мне, зачем хотите вы мучить меня?

И он взглянул на Веру Александровну; скрестив на груди руки, едва дыша, смотрела она на него, как будто умоляя пощадить ее слабость; на глазах ее дрожали слезы. Нажимов остановился; измученный, истомленный неимоверною внутреннею борьбою, в изнеможении прислонился он к перекладине, приложив руку к горевшему лбу.

— Бедные мы, неразумные люди! — сказал он едва внятно,— мало мы мучимся, мало страдаем мы в жизни! мы сами, как дети, спешим затоптать в грязь наше счастие... Целую жизнь мы ждем: вот наступит наконец эта давно желанная

минута, мы терпеливо сносим все лишения, все преследования... и вот эта минута наступила, а мы тешим себя какими-то пугалами, мы сами отворачиваемся от счастия, сами отталкиваем его от себя...

И он взял ее за руку и хотел привлечь к себе, но она сделала над собою отчаянное усилие и вырвала руку свою.

— Так вы не любите меня? — сказал он почти умоляющим голосом,— зачем же не скажете вы мне прямо, что это невозможное мечтание, зачем же заставляете вы страдать меня, Вера Александровна!

— Что же мне делать, что делать мне! научите меня,— отвечала она прерывающимся голосом.

— Скажите раз навсегда, любите вы меня или нет...

— Да что же мне говорить вам: ведь вы видите...

— Зачем же вы хотите противиться этой любви, зачем же вы мучите и себя, и меня...

— Зачем?..— отвечала она и вдруг вздрогнула: бедная женщина позабылась в чаду восторженной любви своей и теперь только что вспомнила, что дома, может быть, думает об ней муж, что, может быть, в эту самую минуту ждет он ее с грозным вопросом: где ты была? Что ответит она ему? какими глазами посмотрит на него? А он между тем так любил ее, он холил и лелеял ее, как любимое дитя своего сердца.

— Зачем? — повторила она с горькою иронией,— пойдемте домой: там вы увидите зачем!

И она не пошла, а скорее побежала по дороге к дому, так что Нажимов едва успевал следовать за нею.

— Вероятно, я буду иметь удовольствие видеть там Василия Дмитриевича,— сказал он, иронически усмехаясь.

— Да, он, может быть, приехал; идемте, идемте скорее, Николай Иванович.

— О, да как вы спешите, Вера Александровна! вероятно, это оно, это страшное «зачем», которое так пугает вашу добродетель?

Вера Александровна остановилась.

— Как же вы-то,— сказала она,— не имеете в сердце своем столько сожаления, чтобы не мучить меня подобными вопросами! разве вы не видите, что я ничего не могу, что я скована, связана...

— Да... вы скованы, вы связаны, Вера Александровна! я говорил, что мы сами отпираемся от счастия, что сами создаем себе какие-то призраки... и после того еще жалуемся на жизнь, говорим, что нам вздохнуть свободно нельзя... Бедные, жалкие мы люди...

— Да ведь <я> принадлежу другому, и этот другой меня

любит... понимаете ли вы меня, Николай Иванович? ведь он меня любит, ведь во мне все его надежды, вся его жизнь...

— А вы?.. вы любите его?

Вера Александровна не отвечала.

— Зачем же вы мучите себя? он любит вас! да виноваты ли вы, что он любит вас! хороша любовь, которая имеет результатом только несчастие любимого предмета! Дело не в том, любит ли он вас или нет, а в том, что вы-то его не любите. Он любит! а я разве не люблю вас?

— Да ведь я женщина, Николай Иванович! разве вы не чувствуете, что в одном этом слове заключается мое вечное осуждение, если я позволю сердцу своему раскрыться для какого-нибудь другого чувства, кроме чувства обязанности и слепого повиновения?..

— Так вы просто боитесь?

— О, в вас нет жалости, Николай Иванович! вы не видите ничего, кроме себя, вы не слышите никакого голоса, кроме голоса своего эгоизма...

— Так вы непременно хотите идти по пути добродетели, Вера Александровна? — спросил он насмешливо.

Она молчала.

— Так нет для меня никакой надежды?

То же молчание.

— Жалкие, несчастные мы люди! — повторил со вздохом Николай Иванович,— ну, так пойдемте же по пути к добродетели, Вера Александровна.

Первое лицо, которое они встретили, подходя к дому, был Немиров. Он стоял на балконе и, казалось, давно уже ждал их. Лицо его было несколько бледнее обыкновенного, но, впрочем, ни в одной черте его не было видно ни малейшего следа волнения или гнева; как всегда, оно было спокойно и серьезно, как всегда, оно выражало необыкновенную доброту и ясность. Немного поодаль стояла Варенька с заплаканными глазами; Александра Петровича, по-видимому, не было дома.

— О, да как вы загулялись сегодня! — сказал он, подходя к Вере Александровне и взяв ее за руку.

Вера Александровна ничего не отвечала; но, чувствуя прикосновение руки мужа, она судорожно сжала ее в своих и быстро поднесла ее к губам.

— А ведь ты можешь простудиться, Вера,— продолжал Василий Дмитриевич,— теперь сыро... Николай Иванович, как это вы не напомнили ей, что поздно? право, в другой раз я буду на вас в претензии.

Варя сердито взглянула на Нажимова.

— Это все вы виноваты, Николай Иванович,— сказала она,— а между тем Веру бранят.

— А Варя все плакала без вас,— начал снова Немиров,— такая, право, странная! Уж бог знает, чего ей не чудилось! и потонули-то вы, и заблудились... ну, да слава богу, все, кажется, благополучно...

Но никто не отвечал на слова Василия Дмитриевича; это молчание длилось несколько секунд и наконец становилось тягостным, Немиров чувствовал, что на нем одном лежала обязанность вывести всех действующих лиц этой маленькой драмы из затруднительного положения, и потому как ни тягостно было ему самому притворствовать и казаться равнодушным, но он и на этот раз решился пожертвовать собою.

— О, да какие вы все сегодня угрюмые! — сказал он шутя,— а ведь это все вы, Николай Иванович! право, вы совсем испортили у меня Веру своими философскими разговорами: прежде она у меня была такая резвая, веселая, а нынче... Да что с тобою, друг мой,— продолжал он, обращаясь к жене,— ты что-то бледна сегодня: уж не больна ли ты? Пойдемте-ка в комнату... Варя, скажи, чтобы подали самовар поскорее.

— Вы меня извините, Василий Дмитриевич,— сказал Нажимов,— а мне пора вас оставить: я и без того уж запоздал, а между тем обещался прийти ночевать у одних знакомых в первом Парголове...

— Да напейтесь хоть чаю с нами...

— Ах, боже мой! да зачем же вы удерживаете, братец, Николая Ивановича,— сказала Варя довольно сухо,— вы видите, что уж поздно, и Вера больна...

Василий Дмитриевич взглянул на нее и покачал головою.

— Вы видите, что мое присутствие здесь неприятно для некоторых лиц,— сказал насмешливо Нажимов,— а я бы не желал быть кому-нибудь в тягость...

— Как вам угодно, Николай Иванович, я не могу вас удерживать; впрочем, я надеюсь, что вы смотрите на слова Вари, как на выражение досады, весьма извинительной после тех беспокойств, которые испытала она во время вашего отсутствия.

— Совсем нет, совсем нет, вы ошибаетесь, братец,— начала было Варя, но Нажимов не дал ей кончить.

— Пожалуйста, не трудитесь объяснять, Варвара Александровна, я и без объяснений очень хорошо понимаю, что всегда имел привилегию возбуждать вашу антипатию.

Николай Иванович поклонился и ушел; Вера Александровна с мужем вошли между тем в комнату. Между тем, ото-

шедши несколько шагов, Нажимов услышал, что кто-то назвал его по имени; он обернулся: перед ним стояла Варя.

— Я надеюсь, Николай Иванович,— сказала она твердым голосом,— что вперед мы не будем уж иметь удовольствия видеть вас.

— А вы очень этому рады?

— Да, я желала бы этого...

— А если я не исполню вашего желания?

— Не думаю; а впрочем, тогда вас будет об этом же самом просить папенька.

— Вы от себя или от других изъявляете мне это желание?

— Вы видели, что я не имела еще времени ни с кем переговорить об этом.

— Бывают разные обстоятельства, бывают некоторые незаметные движения...

— Вы полагаете, Николай Иванович?

— Да... маленькие семейные знаки... а впрочем, если для сохранения добродетели вашей сестрицы достаточно моего отсутствия, я с удовольствием исполню вашу просьбу...

— Для добродетели Веры решительно все равно, будете ли вы ездить к нам или нет.

— Так какое же вы имеете право вмешиваться в чужие дела, Варвара Александровна?

— А какое право имеете вы расстроивать чужое спокойствие?

Николай Иванович задумался.

— Стало быть, все-таки мое отсутствие,— сказал он с насмешкою,— вещь далеко не так равнодушная для добродетели Веры Александровны.

Варя побледнела; из робкой неопытной девочки она вдруг выросла и сделалась женщиной в полном смысле этого слова.

— Вы низкий человек! — сказала она,— прежде я имела к вам антипатию, теперь я презираю вас.

Николай Иванович смешался, закусил губу и вышел.

Между тем Немиров и Вера Александровна, оставшись один на один, были тоже в весьма затруднительном положении. С одной стороны, Василий Дмитриевич все знал, все понимал и хотел скрыть это и от жены, и от самого себя, если бы это было возможно, хотел бы сам не знать и не понимать ничего: Василий Дмитриевич был, видимо, взволнован, видимо, убит своим положением и хотел не только казаться, но и в самом деле быть равнодушным. С другой стороны, Вера Александровна хотела бы все высказать своему мужу, между тем не могла решиться, потому что чувствовала, что каждое слово ее будет истинным приговором его. И в самом деле, что

она могла сказать ему? что она не любит Нажимова — но, во-первых, она сама слишком хорошо чувствовала, что любит его, а во-вторых, и происшествия того вечера подтверждали эту любовь; что она борется с этою несчастною любовью, что она надеется искоренить малейший след ее в сердце своем — но все же это еще очень и очень гадательно, все это, может быть, и будет, а может быть, и нет, и главное — уверенность в будущем равнодушии вовсе не отрицала наличности любви в настоящем, а, напротив, даже предполагала ее. И оба они страдали невыносимо, потому что между обоими стоял черный фантом, называемый заднею мыслью, который мешал им высказать слово их положения. И тогда только, в первый раз после пяти лет брачной жизни, предстала уму их, во всей ужасающей откровенности своей, мысль, что в них нет веры друг в друга; и в первый раз эта мысль так отчетливо стала перед ними и так настойчиво требовала себе объяснения, почему и нет ли тут какой-нибудь тайной причины, от них не зависящей, и которой они до того не замечали, что оба они ужаснулись этой неугомонности, и долго старались они заглушить в себе эти вопросы, хотели как-нибудь, хоть на короткое время, продолжить еще обман, но все уже было тщетно, слово уже высказалось само собою, а неутомимая мысль подхватила его на лету и делала свое дело.

Василий Дмитриевич начал было рассказывать, как он ездил в город, с кем он виделся, где был, но все выходило у него как-то неладно; говорил он, например, что был у Ивана Макаровича и переговорил с ним о важном деле — и между тем тут же прибавлял: «А хороший человек — Иван Макарович! жаль, что я не мог с ним сегодня видеться!» И Вера Александровна на все отвечала утвердительно, вовсе не замечая в словах мужа противоречий. Наконец и этот предмет истощился, а между тем настояла безотлагательная потребность развлечь чем-нибудь раздраженное чувство.

— Ты что-то бледна сегодня, друг мой,— сказал Немиров после минутного молчания,— здорова ли ты, не хочешь ли лечь в постель?

— Да... я хотела бы остаться одна,— отвечала Вера Александровна.

Немиров взял ее за руку и поцеловал в лоб.

— Вера,— сказал он дрожащим голосом,— ты не имеешь ничего сказать мне?

Вера Александровна молчала.

— Ну, бог с тобой, ступай к себе в комнату... а я было думал... а впрочем, я сам во всем виноват,— продолжал он вполголоса и глубоко вздохнув.

В это время вошла к ним Варя и хотела было идти за сестрою в ее комнату, но Вера Александровна решительно сказала, что желает остаться одна.

Запершись в своей комнате, Вера Александровна вполне предалась горестным мыслям, которые осаждали ее. Беспрестанная борьба с собою до того убила, истерзала ее душу, что она, бледная, измученная, упала в изнеможении на постель и горько зарыдала. И в самом деле, в ее положении было мало утешительного. Целые пять лет жила она счастливо, никогда не задавая себе никакого вопроса, и вдруг в один вечер она прожила целую жизнь, в один вечер она увидела перед собою такую бездну, что сердце ее надрывалось, голова кружилась от ужаса и неизвестности. Отчего, например, ей до того никогда и в голову не приходило спросить себя, действительно ли она счастлива, а теперь этот вопрос неотразимо напрашивался на мысль, а мысль между тем так ясно, так отчетливо доказывала, что счастья она еще не знала. Конечно, она не была несчастна, конечно, она не могла никогда положительно указать на ту или другую обманутую надежду, на то или другое несбывшееся мечтание; но в том-то и дело, что надежд-то, мечтаний-то этих не было, что в жизни ее не было ни светлой, ни мрачной стороны, что шла она по заведенному порядку, ничем болезненно не возмущаемая, но зато ничем и не очарованная светло. В ее жизни недоставало одного условия — именно самой жизни; в ее любви к мужу не было одного качества — не было страсти, не было деятельности.

Отчего прежде не рождалася никогда в ней потребность определить характер своих отношений к мужу, а теперь, в эту минуту, она явилась с необыкновенною назойливостью и требовала себе удовлетворения? И по размышлении оказывалось, что действительно между ею и мужем любви нет и не может быть, что то, что̀ некогда она называла любовью, было не что иное, как невольное уважение к нравственным качествам и необыкновенной доброте Немирова. Но в самом-то деле она чувствовала к нему даже нечто похожее на боязнь, потому что в его убеждениях было что-то уже совершенно определившееся, остановившееся, а определенность мысли как-то невольно предполагает мертвенность ее. Вера Александровна жила в будущем, Вера Александровна искала чего-то; Василий Дмитриевич жил в настоящем и ничего не искал, не потому, чтобы это не было в его натуре,— напротив того, Немиров был несколько идеалист и вовсе не прочь был от мечтаний,— но самый его возраст, самые обстоятельства поставили его в такое положение, что он должен был отказаться от мечтаний и обратить всю свою деятельность непосредст-

венно на окружающие его предметы. А любовь именно и воспитывается неизвестностью, она хочет быть предприимчивою; любовь — чувство по преимуществу эстетическое, которое жаждет простора и света и хиреет и гибнет в узких рамках обыкновенных домашних отношений.

И при этом Вере Александровне невольно приходили на мысль слова Нажимова, что она ничем не обязана мужу, и производили в ней невыразимое мученье. Тщетно говорила она себе, что Василий Дмитриевич человек с необыкновенно благородной душою, что в ней одной заключены все его надежды, вся его жизнь, что ее равнодушие убьет его; тщетно придумывала она себе тысячи обязанностей, тысячи претекстов, чтобы доказать себе непростительность своей любви к Нажимову,— внутри-то себя она не могла не сознаться, что все-таки в любви должна быть взаимность, а без этого условия любовь одного не обязывает ни к чему другого.

И горько, горько плакала бедная женщина, видя, как вдруг, в одну минуту, рухнула вся ее прошедшая жизнь. Конечно, в этой жизни не было положительного счастия, но она привыкла к ней, и притом судьба приковала ее жребий к участи такого человека, которого она не могла не уважать. А с другой стороны, что же представляло ей и будущее, каким путем могла она выйти из своего настоящего? всё это были вопросы темные, полные неизвестности... А между тем настоящее невыносимо, каждый момент его есть уже ложь, каждое явление — принуждение. Притом же все это совершалось не бессознательно; вся эта ложь чувствовалась и тяжелым камнем ложилась на сердце. Как же выйти из ложного положения, как уничтожить его? Вера Александровна решительно не находила на этот вопрос ответа, потому что средства, представлявшиеся ее воображению, были до того противны всей прошедшей ее жизни, всем ее прежним убеждениям, что они страшили ее, и она спешила отогнать от себя самую мысль об них, подобно тому как спешит освободиться от тяжелого кошмара человек, изнемогающий под тяжестью его.

А между тем Немиров, с своей стороны, находился в не менее горьком положении. Сбираясь просить руки Веры Александровны, Василий Дмитриевич, конечно, не скрывал от себя тех неровностей, которые могли возникнуть из этого отношения. Он очень хорошо знал, что уже немолод, между тем как невесте его было только семнадцать лет, что между ними уже не может существовать никакой взаимности, что совершенному единодушию препятствовало естественное несходство их во взгляде на жизнь, даже в самой манере жить, но он и не требовал от нее любви, он ждал от нее одной дружбы,

одной доверчивости. Конечно, не мешало бы ему поразмыслить в то же время и о том, что дружба не единственно возможная страсть души, что одно чувство, как бы богато и развито оно ни было, не в состоянии наполнить целой жизни человека, что, наконец, современное существование дружбы и любви — вещь вовсе не несовместная, что наличность одного даже заключает в себе как бы неясный намек, наводит на желание другого, но эти-то именно мысли и не пришли ему в голову, потому что и тут, как и во всех случаях своей жизни, он судил только по себе, потому что свою собственную восторженную натуру переносил он и на всю окружавшую его средину. Что он в сорок лет остался тем же двадцатилетним юношей, понимающим все назначение своей жизни в удовлетворении какой-то наперед заданной идее долга, что его восторженная до фанатизма натура могла вынести это незаконное поглощение всех стихий жизни в пользу какой-нибудь одной — следовало ли из этого, чтобы все люди были таковы, следовало ли свою болезненную восторженность и односторонность делать для всех обязательною? Действительно, легко и естественно приобрел Василий Дмитриевич дружбу и полную доверенность жены своей; действительно, пока это чувство ничем не развлекалось, пока весь мир Веры Александровны был сосредоточен в одном ее семействе, дружба ее к мужу жила своим собственным содержанием, и хотя не было в ней ни особенной энергии, ни юношеского увлечения, все-таки она, хоть с грехом пополам, поддерживалась собственною своею силою, хотя уже оказывалась сильная потребность в освежении ее, а по внимательном наблюдении чувство это даже как-то очень подозрительно намекало на равнодушие. И одного вечера было достаточно, чтобы разбить в пух и прах все столько лет лелеянные, столькими годами нажитые теории Василия Дмитриевича о святости долга, о вечной юности чувства и т. д. Но этим не ограничилась, однако же, пытка Василия Дмитриевича. Что убеждения его претерпели генеральное и невозвратное крушение — это бы еще ничего, от этого страдал он один; истинное мучение Немирова было в том, что эти миражи, которыми он столько лет себя тешил, поразили коррозивною своею силою другое существо, полное силы и страсти, и увлекли его в темную бездну безвыходного отчаянья или безвыходной апатии. Виновата ли она, что ее сердце билось с большею силою для Нажимова, нежели для него? виновата ли она, что в одной молодости Нажимова заключалось уже такое увлекающее начало, перед которым напрасно старалась бы она устоять? Рассудок ясно говорил, что все это сделалось само собою, без всяких усилий со стороны

Веры Александровны, и что, следовательно, обвинение, если только оно было возможно, падало само собою.

«Да чем же я-то виноват, за что же я-то терплю во всем этом; ведь я употребил неимоверные усилия, чтобы сгладить противоречия; я был добр, великодушен: за что же я-то так несчастен?» Но рассудок ясно и определительно отвечал ему, что он сам создал себе несчастие, потому <что> всю жизнь свою смотрел на мир сквозь розовую призму восторженности, потому что всю жизнь видел в действительности не действительность, а осуществление какой-то идеи долга и обязанности. Горько было Василию Дмитриевичу, а все-таки нужно было наконец сознаться, что для того, чтобы выпутаться из неестественности своего положения, предстояло ему одно только средство — отказаться от любви своей к Вере Александровне. Но, с другой стороны, как же сделать это, как привести в исполнение это намерение? Слово «развод» не раз уже мелькнуло в голове Немирова, но как-то резко, неприятно поразило его мысль. Как все натуры, исключительно обращенные в одну сторону и застигнутые врасплох каким-нибудь явлением, безвозвратно разрушившим всю прежнюю их жизнь, Немиров колебался, не имел еще достаточно энергии, чтобы разом разрешить затруднение, и всё приискивал средства, как бы сгладить неровности таким образом, чтобы хоть издали все казалось ровно и гладко. И потому он решился и тут принесть себя в жертву, но сделать это без огласки, так, чтобы и Вера Александровна не чувствовала всей важности его самоотвержения, потому что иначе жертва его не имела бы никакого достоинства и значения. Не понял он одного только, что такое постоянное молчаливое самоистязание невозможно, что Вера Александровна рано или поздно поймет его, и тогда еще более увеличится тяжесть ее положения, еще тяжеле сделается цепь ее...

— Ни ропота, ни жалобы не услышит она от меня,— говорил сам себе Василий Дмитриевич — я принесу всего себя в жертву ее счастию, я буду хранителем ее жизни, и что мне за дело до того, любит ли она другого, а не меня, если этот другой достоин любви ее.

В это время донеслось до слуха его из соседней комнаты глухое бесслезное рыдание, и Василию Дмитриевичу послышалась в нем какая-то жгучая, болезненная жалоба на вечную опеку, какое-то невыразимо настойчивое требование простора и свободы; и вырвался у него самого глубокий страшный стон из груди, и чуть-чуть не повторил он слова Нажимова: «Жалкие, неразумные мы люди!»

ЗАПУТАННОЕ ДЕЛО

Случай

I

«Будь ласков с старшими, невысокомерен с подчиненными, не прекословь, не спорь, смиряйся — и будешь ты вознесен премного; ибо ласковое теля две матки сосет».

Такого рода напутственный завет был произнесен Самойлом Петровичем Мичулиным двадцатилетнему его детищу, отправлявшемуся из дома родительского на службу в Петербург.

Самойло Петрович, бедный мелкопоместный дворянин, в простоте души своей был совершенно уверен, что, снабженный подобными практическими наставлениями, Ванечка его, без всякого сомнения, будет принят в столице с распростертыми объятиями. На всякий случай старик, однако ж, кроме душеспасительного слова, вручил сыну тысячу рублей денег с приличным наставлением носить их всегда при себе, не мотать, не мытарствовать, а тратить себе помаленьку.

«Дитя оно молодое,— думал добродетельный старик,— и повеселиться, и пожуировать жизнью захочет — бог с ним! Да притом же и объятия-то... кто его знает! — прижимист, сухосерд нынче стал человек».

А впрочем, тут же, для острастки, прибавил, обращаясь к сыну:

— Ты у меня смотри! Там, говорят, актерки завелись; в душу, бестия, влезет, и не пронюхаешь, как беленькую из кармана вытащит,— так ты с ними не водись, с актерками-то, и деньги береги! Это мне прошлого года на постоялом дворе проезжий офицер сказывал, опытный офицер!

Из этого видно было, что Самойло Петрович был человек характера по преимуществу положительного и что в предпо-

лагаемых связях Ванечки с актерками его более пугала не нравственная сторона вопроса, а денежная, что вот, дескать, зáраз беленькой и не бывало в кармане.

Видно было также, что старику как будто бы и мерещилась в потемках истина насчет распростертых объятий, да ленива была на подъем его умственная сила: подумать-то было куда тяжело, да еще и до неприятных результатов дойдешь, чего доброго!

И вот уже около года живет юноша в Петербурге, около года он добронравен, не прекословит, смиряется и на практике во всей подробности осуществляет отцовский кодекс житейской мудрости — и не только двух, но и одной матки не сосет ласковое теля!

А между тем он ли не уклонялся, он ли не угождал, он ли не нагибался! Кротче сердцем, смиреннее душою, кажется, в целом мире нельзя было сыскать человека! И все-таки от всей фигуры фортуны видел он один только зад... пренеприятное дело!

Сунулся было Иван Самойлыч к нужному человеку местечка попросить, да нужный человек наотрез сказал, что места все заняты; сунулся он было и по коммерческой части, в контору купеческую, а там всё цифры да цифры, в глазах рябит, голову ломит; пробовал было и стихи писать — да остроумия нет! От природы ли голова его была так скупо устроена, или обстоятельства кой-какие ее сплюснули и стиснули, но оказывалось, что одна только сфера деятельности и была для него возможною — сфера механического переписыванья, перебеливанья,— да и там уж народ кишмя кишит, яблоку упасть некуда, все занято, все отдано, и всякий зубами за свое держится...

Словом, вся жизнь господина Мичулина, с самого его въезда в Петербург, была рядом мучительных попыток и исканий, и всё без результата... А отцовские деньги всё уходили да уходили, а желудок просил есть по-прежнему, да и кровь-то еще молода и тепла в жилах... просто ни на что не похоже!

Поникнув головою, тихим шагом возвращался Иван Самойлыч домой после одной из ежедневных и неудачных своих экспедиций.

Дело шло уж к десяти часам вечера. Печальное и неприятное зрелище представляет Петербург в десять часов вечера и притом осенью, глубокою, темною осенью. Разумеется, если смотреть на мир с точки зрения кареты, запряженной рьяною четверкою лошадей, с быстротою молнии мчащих его по гладкой, как паркет, мостовой Невского проспекта, то и дожд-

ливый осенний вечер может иметь не только сносную, но даже и привлекательную физиономию.

В самом деле, и туман, который, как удушливое бремя, давит город своею свинцовою тяжестью, и меленькая, острая жидкость,— не то дождь, не то снег,— докучливо и резко дребезжащая в запертые окна кареты, и ветер, который жалобно стонет и завывает, тщетно силясь вторгнуться в щегольской экипаж, чтоб оскорбить нескромным дуновением своим полные и самодовольно лоснящиеся щеки сидящего в нем сытого господина, и гусиные лапки зажженного газа, там и сям прорывающиеся сквозь густой слой дождя и тумана, и звонкое, но тем не менее, как смутное эхо, долетающее «пади» зоркого, как кошка, форейтора — все это, вместе взятое, дает городу какую-то поэтически улетучивающуюся физиономию, какой-то обманчивый колорит, делая все окружающие предметы подобными тем странным, безразличным существам, которые так часто забавляли нас в дни нашей юности в заманчивых картинах волшебного фонаря...

И покачивается себе сытый господин, самодовольно развалившись на мягких подушках, и сладко жмурит глаза, одолеваемый неопределенною, но тем не менее мягкою дремотою, необыкновенно вкрадчивым, но вместе с тем и необыкновенно сладким полузабытьем... И напоминает ему оно, это волшебное полузабытье, то блаженное состояние, которое каждый из нас более или менее ощущал в детстве, слушая долгим зимним вечером бесконечно-однообразные и между тем никогда не утомляющие, давным-давно переслушанные и между тем всегда новые, всегда возбуждающие судорожное любопытство рассказы старой няни о Бабе-яге-костяной-ноге, об избушке на курьих ножках и т. п.

Притаились дети вокруг стола в узкой и низенькой детской; молчат они и не пошевельнутся; нет улыбки на розовых губках их, не слышно свежего, звучного смеха, за минуту перед тем оглашавшего комнату; все мускулы на этих полных жизни личиках выразили какое-то напряженное внимание; тусклый и трепещущий свет разливает кругом давно забытая и страшно нагоревшая светильня сальной свечки; обычно тихо и мерно дрожит древний голос древней няни с медными и круглейшими самого круга очками на носу и с незапамятных времен начатым чулком в руках, старую сказку о Змее Горыныче... Люблю я это морщинистое лицо старой няни, люблю ее желтые костлявые руки, люблю ее уверенность, будто она действительно вяжет чулок, между тем как на деле только спускает одну петлю за другою; люблю ее воодушевление, ее сочувствие к высокой добродетели Полкана-

богатыря, Бовы-королевича; люблю ее движение, когда она, внезапно помолодев и озаренная какою-то юною силою, стучит дряхлым кулаком по столу, приговаривая: «Дернет Полкан-богатырь за руку — рука прочь; схватит за голову — голова прочь»...

И сжимается детское сердце страхом великим, и сочувствует Илье Муромцу, следит за борьбой его с страшным Соловьем-разбойником, и робко вглядываются зоркие глазки в темный угол комнаты, высматривая, нет ли там Бабы-яги, не затаился ли где-нибудь ехидный Змей Горыныч, и весело смеются и хлопают дети в ладоши, когда няня неопровержимыми доводами доказывает им, что Змей Горыныч давно околел и издох, гадина, стараниями разных добродетельных витязей... И сладко засыпают они, резвые дети, и самые розовые мечты убаюкивают юные воображения их, точно так же как убаюкивают они и того господина, который сквозь туман и ветер едет себе в уютной карете своей, между прочим твердо уверенный, что ни туман, ни ветер не огорчат пухлых и благовоспитанных щек его...

Но не в карете ехал, а шел себе скромно пешком Иван Самойлыч, и потому весьма естественно, что петербургский осенний вечер утрачивал в его глазах свой благовидный и благонамеренный характер. Холодный и резкий ветер, дувший ему в самое лицо, не навевал на него сладостной дремоты, не убаюкивал его воспоминаниями детства, а жалобно и тоскливо стонал около него, нагло набрасывал ему на глаза капюшон его шинели и с видимым недоброжелательством насвистывал в уши один и тот же знакомый припев: «Озяб бедный человек! хорошо бы бедному человеку у огня да в теплой комнате! да нет у него ни огня, ни теплой комнаты, озяб, озя-яб бедный человек!» И снова тосковал и стонал холодный ветер, и снова расстроивал все мечты злосчастного Ивана Самойлыча, тщетно придумывавшего все возможные средства, чтоб избавиться от докучливого друга, и играл бедным человеком, как бумажкою, случайно брошенною на дороге.

Конечно, и в ступающем осторожно по грязи человечестве рождались кой-какие мысли по поводу дождя, ветра, слякоти и других неприятностей, но это были скорее мысли черные и неблагонамеренные, вращавшиеся большею частию около того пункта, что есть, дескать, в мире, и даже в самом Петербурге, люди сытые, которые едут теперь в каретах, которые сидят себе покойно в театрах или просто дома один на один с нежною подругою; но что этот господин, едущий в карете, мигающий из кресел смазливенькой и затейливо поднимающей ножку актрисе, сидящий один на один с миловид-

ной подругой и прочая,— вовсе не оно, странствующее во мраке грязи и невежества человечество, а совсем иной, совершенно ему незнакомый господин...

«Что же за доля моя горькая! — думал Иван Самойлыч, всходя по грязной и темной лестнице в четвертый этаж,— ни в чем-то мне счастья нет... право, лучше бы не ехать сюда, а оставаться бы в деревне! А то и голодно-то и холодно...»

В дверях его встретила хозяйка квартиры, Шарлотта Готлибовна Гётлих, у которой он нанимал весьма маленькую комнату с одним подслеповатым окном, выходившим на самую помойную яму. Шарлотта Готлибовна взглянула на него недоверчиво и покачала головой; в первой комнате раздавались шумные голоса собравшихся нахлебников: голоса эти неприятно поразили слух Ивана Самойлыча. С некоторого времени он стал как-то задумчив, сделался мизантропом, убегал всякой компании и вообще вел себя довольно странно.

И нынче, как всегда, пробрался он потихоньку в свою комнату и заперся, молча выпил поданный ему стакан чая, бессознательно выкурил обычную трубку вакштафа и начал думать... На этот раз мыслей оказалось нестерпимо много, и всё такие чудные, одна другой страннее. Они вдруг засуетились в голове его ужасно, с быстротою молнии начали перебегать по всем нервам его мозгового вещества и выковывать такие античные морщины на лбу его, каких, наверное, не имелось ни у одного из обитателей скромного «гарнира».

В сущности, дело было чрезвычайно просто и немногосложно. Обстоятельства-то Ивана Самойлыча были так плохи, так плохи, что просто хоть в воду. Россия — государство обширное, обильное и богатое — да человек-то иной глуп, мрет себе с голоду в обильном государстве!

А тут, кроме безденежья, еще и другие горести завязались и окончательно сбили с толку героя нашего. Припоминая все, что сделал он со времени отбытия из дома родительского в обеспечение своего голодного желудка, господин Мичулин впервые усомнился, действительно ли поступал он в этом деле как следует и не обманывал ли себя насчет покорности, уклонения, добронравия и других полезных добродетелей.

Впервые, как будто бы сквозь сон, мелькнуло у него в мозгу, что отцовский кодекс житейской мудрости требовал безотлагательного и радикального исправления и что в некоторых случаях скорее нужен наскок и напор, нежели безмолвное склонение головы.

Но малый-то он был по преимуществу скромный и безответный, да притом же и оробел ужасно. Приехал он в Петер-

бург из провинции; жизнь казалась в розовом цвете, люди смотрели умильно и добродетельно, скидали друг перед другом шляпы чрезвычайно учтиво, жали друг другу руки с большим чувством... И вдруг оказалось, что люди-то они все-таки себе на уме, такие люди, что в рот пальца им не клади! Ну, куда же тут соваться с системою смиренномудрия, терпения и любви!

И куда ни обернется он, за что ни схватится — все вокруг него глядит как будто самостоятельно. Шел он, например, давеча по Невскому — навстречу начальник отделения идет, и крест на шее, и вид такой привлекательный... А ведь еще молодой человек! Конечно, он уж и полноват, и с брюшком, а все-таки молодой человек. Вот и он тоже молодой человек, а не начальник отделения... Что за притча такая!

Встретил он также щегольские дрожки: лошади отличные, пристяжная так и подкидывает; в дрожках едет господин с орлиным носом и проницательными глазами смотрит на мир, как будто взором своим хочет провертеть диру во вселенной.

— Смотрите-ка,— говорят кругом,— это В*** едет! пройдоха, кулак, бестия! а ведь что за голь, что за голь-то была! просто, с позволения сказать, в одной рубашке хаживал.

И между тем В*** — еще молодой человек, да ведь и он, Мичулин, молодой человек, а не ездит же в щегольских дрожках!

А вон и еще молодой человек — этот даже совсем розовый молодой человек, а ведь на нем одно пальто рублей шестьсот стоит; он и весел, и беспечен, все движения его живы и непринужденны, смех его звонок и свободен, глаза бодры и светлы, на щеках здоровье ключом бьет. Актриса ли мимо проедет — улыбнется ему, да и он актрисе улыбнется; важный человек встретится, руку ему жмет, шутит с ним, смеется...

— Этот молодой человек — князь С***,— говорят все кругом... Да ведь и Иван Самойлыч молодой человек, а он уж и хил, и желт, и согнут, да и актриса ему не улыбается...

Да уж что тут далеко ходить, в отвлеченности пускаться! в одинаковой с ним сфере, подле него, в самом «гарнире», все нахлебники пользуются хоть какою-нибудь ролью, каким-нибудь значением, одним словом, действуют как люди взрослые и самостоятельные... Иван Макарыч Пережига, например, был некогда мирным деревенским жителем и затравил на своем веку не одну сотню зайцев. Конечно, и зайцы и деревня — все это было уж очень давно; конечно, в настоящую минуту Иван Макарыч пользовался несколько двусмысленною репутацией насчет способов жизни, да ведь в этом винов-

на уж собственная его блудная натура, да притом хоть как-нибудь, а доставал-таки он себе кусок хлеба. Жил тут же и Вольфганг Антоныч Беобахтер, философии кандидат; этот служил, а в свободное от занятий время играл на гитаре различные бравурные арии. Вместе с ним проживал еще Алексис Звонский, чрезвычайно сведущий и ученый молодой человек; этот писал стихи, ставил фёльетон в газету. Наконец, рядом с Иваном Самойлычем обитала Наденька Ручкина: и она была девица сведущая, хотя только по своей части...

Мысль эта давно уж вором кралась в сердце Ивана Самойлыча, и вдруг зависть, глубокая, но бессильная и робкая, закипела в груди его. Все, решительно все оказывались с хлебом, все при месте, все уверены в своем завтра; один он был будто лишний на свете; никто его не хочет, никто в нем не нуждается, как будто бы и век ему суждено заедать даром хлеб, как слабому, малоумному младенцу. Один он не может определительно сказать, что будет с ним завтра.

— Да что же я, в самом деле, такое? — говорил он, прогуливаясь мелким шагом по комнате — не потому, впрочем, чтобы не мог ходить и крупным, а потому что крупному шагу препятствовала самая дистанция комнаты,— отчего же на меня, именно на меня обрушиваются все несчастия? отчего другие живут, другие дышат, а я и жить и дышать не смею? Какая же моя роль, какое мое назначение?..

— Жизнь — лотерея! — начал было по привычке отцовской кодекс житейской мудрости,— смиряйся и терпи!

— Оно так,— подзыкал между тем какой-то недоброжелательный голос,— да почему же она лотерея, почему ж бы не быть ей просто жизнью?

Иван Самойлыч задумался.

«Ведь хоть бы этот князь! — думал он,— вот он и счастлив, и весел... Отчего ж именно он, а не я? Отчего бы не мне уродиться князем?»

И мысли всё росли и росли и принимали самые странные формы.

— Да что́ же я, что́ же я такое?— повторял он, с бессильною злобой ломая себе руки,— ведь годен же я на что-нибудь, есть же где-нибудь для меня место! где ж это место, где оно?

Так вот какая странная струна задребезжала вдруг в сердце Ивана Самойлыча, и задребезжала так назойливо и бойко, что он уж и сам, по обычной своей робости, не рад был, что вызвал ее.

И все предметы вокруг него смотрели как-то подозрительно и странно, принимали такую настойчивую, вопрошающую физиономию, как будто тащили его за воротник, душили за

горло и, приставив к его лбу холодное дуло пистолета, сиплым басом допрашивали его: отвечай же нам, что́ же ты в самом деле такое?

Бледный, испуганный, упал он на кресло, закрыл руками лицо и горько заплакал...

В голове его внезапно отчетливо нарисовался деревенский его дом, родитель в вязанной из шерсти ермолке, мать, вечно болеющая зубами и с вечно подвязанною щекою, отец дьякон с дьяконицею, отец иерей с попадьею... Как все там просто, как дышит все деревенскою, буколическою тишиною, как зовет все к отдохновению и успокоению!.. И зачем было оставлять все это? зачем было менять известное, полное самых приятных и вкусных ощущений, на неизвестное, чреватое горестями, огорчениями и другим дрязгом? Зачем было соваться с кротостью и смирением туда, где нужны дерзость и упрямое преследование цели?

А между тем в соседней комнате раздался знакомый Ивану Самойлычу голосок, напевавший известную арию из «Русалки»:

Прийди в чертог ко мне златой,
Прийди, о князь ты мой драгой...

Голосок был небольшой, но необыкновенно мягкий и свежий. Господин Мичулин невольно начал прислушиваться к пению и задумался... И думал он много, и сладко думал, потому что в знакомом маленьком голосе было что-то юное, как будто дающее крылья его утомленному воображению.

Странное действие производят на нас иногда самые ничтожные, по-видимому, явления! Часто самого пустого обстоятельства, просто звуков какой-нибудь нелепой шарманки или голоса разносчика, тоскливо и протяжно вопиющего: «Игрушки детские! игрушки продать!» — достаточно для того, чтоб расстроить всю умственную систему какого-нибудь важного господина, разбить в прах все эти штуки и экивоки, которые на пагубу человечества в голове его строятся...

Так точно было и с песенкой, вылетавшей из соседней комнаты. Песенка была самая простая, лилась себе ровно и без претензий, и вдруг поразила слуховой орган Ивана Самойлыча и, сама не зная как, совершенно расстроила все его соображения о смысле и значении жизни, о конечных причинах и так далее, в противоположность конечным причинам,— до бесконечности. И стал было господин Мичулин сам подпевать и звать к себе дрожащим голосом дорогого князя, стал было бить ногою такт и улыбаться и покачивать головою... Но вот тихо-тихо замер последний звук песенки, еще

раз, и уж в последний раз, стукнула в такт нога Ивана Самойлыча, еще раз ускоренным шагом стукнуло его сердце, и вдруг ничего не стало слышно, и прежняя темнота опустилась на его душу, прежний холод охватил сердце...

Потому что не он, а другой был тот дорогой князь, которого звала песенка в золотые чертоги, потому что ему наотрез было сказано, «что уж чему не быть, так и уж не бывать, и беспокоиться о том не извольте...»

С горя, чтоб хоть сколько-нибудь рассеять печальные мысли свои, решился он отправиться в общую комнату.

II

Там в облаках табачного дыма беседовала вся обычная компания Шарлотты Готлибовны.

На первом плане плотно сидел Иван Макарыч Пережига. Он был в венгерке весьма лихого покроя и в настоящую минуту курил табак из саженного черешневого чубука. История господина Пережиги весьма проста. Жил он некогда в малороссийской своей деревне, травил зайцев, и вдруг — кто его знает? — запил ли он, проигрался ли в пух, или просто другие какие-нибудь независящие обстоятельства приключились,— только в одно прекрасное утро и зайцы и деревня както исчезли, и он принужден был отправиться искать счастья в Петербург. Малый был он видный, сильный и плотный, несмотря на свои сорок лет, и потому не остался долго без занятия... Вообще с тех пор, как он поселился у Шарлотты Готлибовны, благородная немка стала как-то благоприятнее смотреть на мир, чаще улыбалась и несравненно больше послаблений и льгот оказывала нахлебникам.

Жизнь Иван Макарыч вел беззаботную и веселую. Вставал он рано; утром ходил обыкновенно в ближайший трактир, выпивал рюмку горчайшей, сыгрывал, не переставая, партий двадцать в бильярд, к которому с малолетства питал весьма нежную страсть; иногда он давал десять и пятнадцать вперед, иногда ему давали вперед пятнадцать и десять...

Доконав таким образом утро, он уходил домой обедать, по дороге осматривал с незапамятных времен брошенную на мостовую и никем не прибранную дохлую кошку (действие нашей повести происходит в одной из отдаленнейших частей столицы), перевертывал ее тросточкой на все стороны и вообще с участием следил за успехами разложения бренной земной твари.

Вечером Иван Макарыч обыкновенно передавал слуша-

телям эпизоды из своего безвозвратно минувшего благоденствия; рассказывал разные любопытные случаи, бывшие с ним во времена его ожесточенных войн против волков, зайцев и других животных, которых он называл общим, но несколько темным именем «скотов» и «подлецов».

Из этого видно, что жизнь Ивана Макарыча как нельзя лучше содействовала его растительным и воспроизводительным силам.

Характер имел он от природы веселый, но не лишенный легкого сардонического оттенка. Он охотно любил подшутить над учеными и не пропускал никогда случая сказать белокурому Алексису, который в науках, что называется, собаку съел и читал-таки на своем веку и Бруно Бауера, и Фейербаха:

— Ну, а что, Бинбахер-то все на своем стоит? все говорит, что того-то нет... главного-то, на́большего-то и нет? Бестия, бестия этот Бинбахер! уж эти мне немцы!.. вот тут они, тут у меня сидят!

Иван Макарыч ударял себя при этом плашмя ладонью по горлу, желая этим выразить, что зарезали, дескать, его немцы, и не без лукавства посматривал на Шарлотту Готлибовну, которая и краснела, и улыбалась в одно и то же время, и с детски наивным простодушием отвечала:

— О, ви очень любезни кавалир, Иван Макарвич!

Но при этом оставалось покрытым совершенно непроницаемою тайной, кого именно разумел господин Пережига под неблагозвучным именем Бинбахера — Фейербаха или Бруно Бауера.

По левую сторону от Пережиги рисовалась сама хозяйка «гарнира». Это была длинная, прямая и тощая фигура, как будто бы сейчас проглотившая аршин. Движения благородной немки отличались какою-то особенною апатичностью и дубоватостью, неприятно поражавшею взор. Как будто все ее мысли, весь ее организм устремились в одну сторону — к любезному ее другу, Ивану Макарычу. Она с немым подобострастием смотрела ему в глаза, с самодовольною улыбкою прислушивалась к звукам его богатырского голоса, как будто хотела всем и каждому на стене зарубить, что это, дескать, все мое; все, что вы тут ни видите,— принадлежит мне, мне без раздела.

Лицо ее было худощаво и покрыто красными пятнами, глаза маленькие, выражавшие какое-то ненасытное нахальство, углы губ опущены, и желудок выдавался несоразмерно вперед.

Едва раскрывал Иван Макарыч рот, чтобы сказать слово, как и она, в свою очередь, спешила показать ряд острых и

кривых зубов и начинала улыбаться, смотрела ему томно в глаза и, по окончании его речи, гордо окидывала взором все общество.

По всему было видно, что она оставалась совершенно довольна своей судьбою и в особенности не могла достаточно нахвалиться Пережигою.

Кроме хозяйки и Пережиги, в комнате находились еще два лица: кандидат философии Вольфганг Антоныч Беобахтер и недоросль из дворян Алексис Звонский.

Беобахтер, маленький и приземистый, быстрыми, но мелкими шагами ходил по комнате, бормотал себе под нос какие-то заклинания и при этом беспрестанно делал рукою самое крошечное движение сверху вниз, твердо намереваясь изобразить им падение какой-то фантастической и чудовищно-колоссальной карательной машины.

Алексис, вытянутый и сухой, сидел около стола и, устремив влажные глаза в потолок, обретался в совершенном оптимизме. Молодой человек размышлял в эту минуту о любви к человечеству и по этому случаю сильно облизывал себе губы, как будто после вкусного и жирного обеда.

По обыкновению, дело шло о вещах, вызывающих на размышление, и таинственный Бинбахер оказывался совершенным подлецом...

— Ведь я вам скажу, они все врут, бестии! — кричал Пережига,— уж как же тут без него обойдешься! Это в ихней земле — ну, там свисни раз-два — все и готово! Там оно можно, а поди-ка ты в другом месте повозись-ка — ведь ни на шаг без пакости... Уж вы у меня спросите: мне это дело вот как известно...

И Пережига показал изумленным слушателям огромного размера ладонь.

— О, как это правда! о, как это очень правда! — воскликнула Шарлотта Готлибовна, подобострастно глядя в самое лицо своему другу и так близко наклонившись к нему, как будто хотела положить ему в рот длинный и сухой нос свой.

Господин Беобахтер, самым мягким тенором, поспешил объявить, что, несмотря на это, он «все-таки надеется», и тут же почел за долг с необычайною грацией отмахнуть голову какому-то фантастическому, но тем не менее закоренелому врагу преобразований — преобразований таинственных, но уже заранее во всей подробности нарисовавшихся в его золотушном воображении.

— Вы материалист, Иван Макарыч,— отозвался Алексис,— вы не понимаете, какая сладость заключается в слове «надежда»! Без надежды холодно, сухо, безотрадно! Одним

словом, без надежды нет любви — вот искреннее убеждение моего растерзанного сердца!

Надо сказать раз навсегда, что Алексис в стихах своих постоянно изображал груди, вспаханные страданьем, чела, взбороненные горькою мыслью, и щеки, вскопанные тоскою; но о чем были эти «страдание, горе и тоска» — тайна эта была глубоко скрыта во мраке его хитрого мозгового вещества.

— Пожалуй себе, надейся! вот и он надеется,— прервал Пережига, указывая на Ивана Самойлыча,— да ведь яйцо выеденное разве получит!

Все взоры обратились на Мичулина. Он стоял у печки бледный и задумчивый, как будто бы сам глубоко чувствовал свое ничтожество. Сначала он и стал было прислушиваться к общему разговору, хотел было и свое словечко как-нибудь ввернуть, но разговор был сухой и ученый, да притом же к нему и не обращался никто, как будто все молчаливо соглашались между собой, что для ученого разговора он не годится.

— Ну, что, как делишки? — обратился к нему Иван Макарыч.

Мичулин не отвечал, но еще унылее прежнего окинул взором компанию.

— Говорил я тебе, душа ты горькая,— продолжал Пережига,— говорил тебе, поезжай в деревню! уж где тебе тут! сирота сиротой выглядишь — а туда же лезешь!

Шарлотта Готлибовна никак не упустила случая, чтобы тут же не удивиться высокой справедливости замечаний своего любезного друга, а Беобахтер все сильнее и сильнее наяривал ручонкою заветное движение сверху вниз.

— А по-моему, вы очень хорошо сделали, что остались здесь,— сказал он, быстро остановившись перед Мичулиным и пристально смотря ему в глаза.

Постояв с полминуты, он приложил палец к губам и самым вкрадчивым тенором продолжал:

— «Ведь в наши дни спасительно страданье!»

— Страданье есть удел человека на земле,— начал было Алексис,— страдать и любить...

Беобахтер сделал отрицательный жест головою, давая тем знать, что Алексис совершенно не в ту сторону перетолковывал слова его.

— Страданье тем приятно,— говорил он таким равнодушным тоном, как будто дело шло о чрезвычайно вкусном обеде,— тем приятно, что вот, как тут прихлопнет, да там притиснет, да в другом месте, тогда...

И он с особенным наслаждением напирал на слова «прихлопнет» и «притиснет».

— Нет, я с тобой никак не могу согласиться,— возразил Алексис, вовсе не стараясь доискиваться, что будет после таинственного «тогда».

Иван Самойлыч решительно не знал, к чьей партии ему пристать: к Беобахтеру ли, доказывавшему несомненную полезность страдания, к Алексису ли, тоже предписывавшему страдание как лекарство от всего, даже от самого страдания, но по какому-то странному обстоятельству никак не соглашавшемуся с кандидатом философии; или, наконец, к Пережиге, уверявшему по чести, что все это вздор, а вот, дескать, у него спросите, так он знает.

— Любовь хорошо! отчего ж и не любовь? — говорил между тем Беобахтер, как будто бы обращаясь единственно к Ивану Самойлычу, а на самом деле видимо желая уязвить Алексиса,— да любовь после, а прежде-то прочь всё, прррочь!..

Господин Беобахтер, по-видимому, с особенною нежностью любил слова, заключающие в себе букву *р*.

— Вы меня понимаете? — продолжал он, еще пристальнее смотря в глаза Ивану Самойлычу.

— Догадываюсь,— отвечал робко Мичулин.

— Отчего же *после* любовь? — приставал Алексис,— и теперь любовь, и потом любовь? Зачем этот ригоризм!

И умолк, как будто бы словом «ригоризм» он насквозь проткнул своего противника.

Иван Самойлыч между тем собрался с мыслями и заметил компании, что, конечно, может быть, любовь и страдание вещи полезные и спасительные, да обстоятельства-то его из рук вон плохи,— им-то как помочь? страдание, дескать, хлеба не дает, любовь тоже не кормит... Так нельзя ли уж что-нибудь такое придумать, что бы он мог применить к делу.

На это Беобахтер забормотал что-то об индивидуализме, говорил, что думать о себе подло; что если он и погибнет, то это еще ничего не значит и даже в некотором отношении принесет несомненную пользу для будущего, как реактив.

— Да, как рррeактив! — повторил он, метая из крошечных глаз молнии.

Вообще кандидат философии в этом случае совершенно не пощадил личности Ивана Самойлыча; но так как Алексис остался таким объяснением совершенно доволен, то Беобахтер счел за нужное тут же присовокупить, что все-таки любовь — *потом,* а прежде...

Тут буква *р* посыпалась в таком изобилии, что у слушателей даже в ушах затрещало.

— Да что ты их слушаешь! — вступился Иван Макарыч,— нет, видно, вы и Бинбахера-то — только так говорите, что читали! По-моему, ты просто ступай в деревню да храпи себе на боку! Право, славное будет житье! Так, что ли?

Иван Самойлыч робко усмехнулся; его самого уж давно ласкала эта лакомая перспектива.

— А то, брат, пропадешь, ей-богу, пропадешь! — продолжал Пережига,— или запьешь с горя — уж я знаю!

Последовало несколько минут молчания.

— Оно конечно, водка! — снова начал Пережига,— отчего бы и не выпить? и в глазах светлее, и на людей веселее смотреть, да и горя не чувствуешь... да ведь она, водка-то, вор! она познание есть зла и добра!

Мичулин стоял у печки бледнее прежнего; Беобахтер искоса поглядывал на него, как Бертрам на Роберта, и весьма затейливо улыбался; Алексис не слушал: он закатил глаза под лоб и беседовал с человечеством.

— Вот у нас в трактир отставной чиновник ходит,— продолжал Пережига,— весь трясется, такой оборванный да ощипанный, и глаза гноятся, и руки дрожат; кажется, в чем душа держится, а все пристает: поднеси, дескать, Емеле водочки... Да хоть бы польза какая была, а то от водки-то только коробит его да жжет...

Снова минута напряженного молчания.

— А вот ведь и чиновник был, в службе служил, мундир носил, да и не Емелей, а Данилом Александрычем прозывался, а уж Емелей-то это так, после трактирные прозвали! Да вот выгнан был из казенного места, выгнал его хозяин за неплатеж на улицу — ну, он с горя рюмочку, потом другую, а там и пошел, и пошел... Познание есть зла и добра!

Последовало опять несколько секунд тягостного молчания.

— А впрочем, по мне как знаешь! — продолжал Пережига, обращаясь к Мичулину,— оно конечно, коли хочешь, он и счастлив! дали ему водки — он и забыл, что в разодранных сапогах ходит... право, так!

И внезапно, по какому-то непостижимому сцеплению идей, на Пережигу напал припадок сентиментальности, и он стал восторгаться тем, что за минуту выставлял в глазах Ивана Самойлыча как вещь, которой должно всячески остерегаться. Шарлотта Готлибовна тоже круто переменила образ мыслей и заранее глубоко вздохнула.

— Да еще как счастлив-то! — говорил Иван Макарыч,— пуще князя всякого счастлив; поди-тка ты, чай, какие ему сны видятся! не надо ему ни дворцов, ни палат! вот она, школа жизни-то, вот! а то что вы тут с Бинбахером! в Сибирь его, Бинбахера, на каторгу его!

Долго еще Иван Макарыч не мог успокоить своего филантропического потока, долго сидел он, покачивая головой и приговаривая: «Право, не надобно ему ни дворцов, ни бархату; каждая слеза его...»

Но что была каждая слеза, то Пережига скрыл, хотя Шарлотта Готлибовна и почла за нужное наперед во всем безусловно с ним согласиться.

А между тем все как будто бы притихли. Беобахтер попрежнему грациозно двигал рукою сверху вниз, но уже скорее бессознательно, нежели с намерением; Алексис еще более облизывал себе губы, беседуя с человечеством; Иван Самойлыч конфузился и выводил кой-какие доморощенные заключения из виденного и слышанного.

В это время часы уныло зазвенели одиннадцать. Но и часы били на этот раз как-то особенно злонамеренно. Ивану Самойлычу показалось, будто каждое биение часового колокольчика заключало в себе глубокий смысл и с упреком говорило ему: «Каждая дуга, которую описывает маятник, означает канувшую в вечность минуту твоей жизни... да жизнь-то эту на что ты употребил, и что такое все существование твое?»

Отчего же прежде никогда не говорил ему этого бой часов? отчего прежде окружающие его предметы не смотрели на него с таким вопросительным, испытующим видом?

И едва начинал он в уме своем развивать движение руки Беобахтера, как в мозгу его зарождалась другая мысль, совершенно в pendant[1] к этому значительному движению,— мысль страшная, давно не дававшая ему покоя, и которая была не что иное, как известное уже читателю из первой главы: «Кто ты таков? Какая твоя роль? Жизнь — лотерея» и проч.

И потом все это исчезало, и на сцену являлся полусгнивший, дрожащий старик и, указывая на водку, говорил: «Познание есть зла и добра».

— Да ведь и не Емеля был он совсем, а, слышь ты, Данило Александрыч, и служил некогда, и молод был некогда, да вот выгнали же его из службы и стал он Емелей, по милости добрых людей.

---

[1] под стать *(франц.)*.

С ужасом и содроганием вспоминал Иван Самойлыч этот странный анекдот; в голове его вдруг пробежала мысль: «А ну, как и я — Емеля?» — да тут же и примерзла к мозгу — до такой степени эта мысль испугала его...

В таком именно настроении духа подошел он к своей комнате, как вдруг за соседней дверью, ведшей в уединенное жилище девицы Ручкиной, послышался шорох. Сердце его забилось; чудная песенка назойливее прежнего зазвучала в ушах — и все звала, все звала... дорогого князя...

«Идти или не идти?» — думал Иван Самойлыч.

А между тем уж стучался.

— Кто там? — раздался за дверью знакомый свеженький голосок.

— Это я... вы не почиваете, Надежда Николавна?

— Нет, не сплю... войдите.

Иван Самойлыч вошел; перед ним стояло маленькое, уютное существо, но до того живое и вертлявое, что в одно и то же время виделось во всех углах комнаты; существо розовое и свежее, облеченное только большим под кашемир платком, плохо скрывавшим приятную нежность ее форм и беспрестанно распахивавшимся по причине неимоверной живости движений маленького существа.

«У, какая игривая!» — была первая и совершенно естественная мысль Ивана Самойлыча, но мысль, подобно молнии промелькнувшая минутно и скрывшаяся, как в туче, в мозговом лабиринте своего владельца.

— Что это вы сегодня так долго засиделись, Иван Самойлыч? — отозвалось между тем маленькое существо, переходя от одного комода к другому, от стола к кровати, подбирая с полу разные ниточки, бумажки и всё прибирая к сторонке, чтоб ничего не пропало втуне, потому что вперед, на черный день, пригодится.

— Да я так-с... я насчет того-с...— бормотал сконфуженный Мичулин.

— То есть как же насчет того? уж опять не насчет ли прежнего? и-и-и не думайте, Иван Самойлыч!

Мичулин молчал, хоть внутренно и скорбел, быть может, о том, что ему даже и думать было запрещено.

— А я в театре была... сегодня «Уголино» давали... до страсти люблю трагедии... а вы?

Иван Самойлыч с любовью смотрел на Наденьку и как будто бы соображал, каким образом это крошечное, совершенно водевильное тельце могло до такой степени пристраститься к трагедии.

— Господин Каратыгин играл... уж я плакала, плака-

ла... И какой видный мужчина! Я до смерти люблю плакать...

Господин Мичулин даже хихикнул от умиления.

— Так вы весело провели вечер? — спросил он, а глаза его между тем все сильнее и сильнее разгорались: потому что и по физике известно...

Но тут мозг его решительно отказывался действовать.

— Очень весело! Я вам говорю, я ужасти как плакала... особливо, когда эта душка Вероника...

— С вами был кто-нибудь?

— Да, кавалер... он, видите, был прежде мой жених, когда я еще у родителей жила... сватался за меня... Такой тоже видный из себя мужчина, яблок нам купил... да я все плакала, мне не до яблок было...

Молчание.

— А и яблоки-то такие славные были — такая, право, жалость... и не попробовала.

Мичулин вздохнул.

— Что вы сегодня такие мрачные? — спросила Наденька.

— Да я так-с...— отвечал он снова, запинаясь,— я ничего-с...

Но Наденька все-таки поняла, в чем дело; она тотчас же, по свойственной ей подозрительности, догадалась, что все это по тому делу, по прежнему...

— Нет, нет, и не думайте, Иван Самойлыч! — сказала она, волнуясь и махая руками,— никогда, ни в жизнь не получите!.. Уж я что сказала, так уж сказала! мое слово свято... и не думайте!

И по-прежнему с невозмутимым равнодушием маленькая женщина подбирала с полу бумажки, перевешивала с одной вешалки на другую разные платья и юбки, без всякой, впрочем, совершенно надобности, а единственно из удовлетворения живости и бойкости характера.

— Гм, в жизнь!.. а что такое *жизнь?* — соображал между тем господин Мичулин,— вот в том-то и штука, Надежда Николавна, что такое *жизнь?..* Не есть ли это обман, мечтанье пустое?

Наденька на минуту перестала суетиться и в изумлении остановилась посреди комнаты.

Перед нею стоял все тот же ординарный господин Мичулин, которого она аккуратно видала каждое утро и каждый вечер; все так же геморроидален был цвет его испещренного рябинами лица, только на губах едва заметно играла не лишенная едкости и самодовольствия улыбка, как будто бы го-

ворила эта улыбка: «А что, задал я тебе, голубушка, загвоздку? на-тка, поди, раскуси ее!»

— То есть как же обман? — в свою очередь, робко и нерешительно спросила Наденька, думая, что Иван Самойлыч потому, *вероятно,* заговорил об обманах, что сам намерен употребить в отношении к ней какое-нибудь злостное ухищрение.

— Да так-с, обман! просто обман! Посудите сами, ведь если бы я в самом деле жил, я бы занимал какое-нибудь место, играл бы какую-нибудь роль!

Наденька уж совершенно разуверилась и обдумывала, что бы ей такое поднять с полу.

— Так вы думаете,— сказала она с расстановкою,— что тот только и живет, кто играет какие-нибудь роли?

Иван Самойлыч понял, что под словом «роли» Наденька разумела исключительно те, которые играет господин Каратыгин, и поэтому не нашелся что отвечать.

— Гм,— сказала девица Ручкина.

— Так я все вот насчет этого дела,— снова начал Мичулин.

— То есть насчет чего же, Иван Самойлыч? если насчет того, то будьте совершенно покойны: уж я что сказала, так уж сказала, а если насчет чего другого, извольте, я с удовольствием.

Иван Самойлыч не отвечал; сердце его надрывалось; слова замирали на губах, и даже что-то похожее на слезу сверкнуло в глазах его... В который раз получал он этот черствый отказ! в который раз он унижался и умолял, и все тщетно!..

— Оно не то, Надежда Николавна,— говорил он дрожащим голосом,— все бы еще снести можно! Да ведь *другие!..* Ведь другие-то пьют, другие едят, другие веселятся! Отчего же другие?

Действительно ли несчастие его происходило оттого, что другие живут, другие веселы, или просто присутствие маленького существа, к которому сам питаешь маленькую слабость, еще горче делает наше горе,— как бы то ни было, но герою нашему действительно сделалось тяжко и обидно.

А между тем Наденька тоже задумалась; она, конечно, заметила эту слезу, но все еще как-то думалось ей, что Иван Самойлыч хитрит, что все это он насчет того дела, насчет прежнего, а назначение и роль были тут только предлогом, чтобы пустить ей пыль в глаза и, пользуясь ее ослеплением, поставить-таки на своем.

— Да, оно, конечно, обидно,— сказала она тонко и деликатно, делая вид, как будто не замечает, куда клонится речь господина Мичулина,— да знаете ли, Иван Самойлыч, уж не пойти ли вам спать?

Иван Самойлыч сознался, что действительно уж поздно и что спать пора.

— Так я пойду,— сказал он нежным голосом,— а уж вы. Надежда Николавна, подумайте об том-то...

На это Наденька отвечала, что уж она что сказала, так уж сказала, и слово ее свято, будьте в том совершенно покойны.

Лежа на одинокой постели своей, долго не мог заснуть Иван Самойлыч. Все ему чудилось живое, полненькое личико Наденьки, и светло и роскошно рисовалась и суетилась перед глазами его эта миньятюрная, уютная фигурка, вечно хлопочущая, вечно бегающая... И мерещится ему во мраке его комнаты, что вот сверкнула ее дивная грудь, вот промелькнула около самых его губ крошечная ножка... и ловит он ее взглядом, и усиливается высмотреть в густой темноте это дорогое, мимолетное видение, но тщетно! во мгле тонет взор его, во мгле, в глубокой, непроницаемой мгле, и не успевает он опомниться, как перед ним стоит длинный и тощий вопрос, вопрос насмешливый и недоброжелательный, составляющий все несчастие и гибель его бедной жизни.

И скорее закрыл он глаза, чтоб не видеть этого больного, изнеможенного вопроса, и начал думать о том, как было бы приятно, если бы Наденька... О, если бы Наденька!.. если б она знала, как бьется сердце бедного Ивана Самойлыча, несчастного Ивана Самойлыча, каждый раз, как долетает до него ее маленький, незатейливый голосок, поющий маленькую, незатейливую песенку!.. Если б она видела, другими глазами видела, как судорожно и трепетно сжимается это сердце, как прислушивается это ухо, как притоптывает эта нога, как преображается и озаряется внезапным светом и теплотою все это так долго зябнувшее на стуже и непогоде существо! Если б она видела все это! И как смелá и бойкá была его мысль, какое будущее готовил он ей, этой дорогой, вечно незабвенной Наденьке! не то чреватое горестями и лишениями будущее, которое на самом деле ждало ее, а будущее ровное и спокойное, где все так удобно и ловко слагалось, где всякое желание делалось правом, всякая мысль становилась делом... если б знала она!

Но не видала, не знала она ничего! Обидна и груба казалась ей привязанность господина Мичулина, и тщетно раскрывалось сердце скромного юноши, тщетно играло воображение его: ему предстояла вечная и холодная, холодная мгла!

III

Уж мозговое вещество Ивана Самойлыча подернулось пеленою, сначала мягкою и полупрозрачною, потом все более и более плотною и мутною; уж и слуховой его орган наполнился тем однообразным и протяжным дрожанием, составляющим нечто среднее между отдаленным звучанием колокольчика и неотвязным жужжанием комара; уж мимо глаз его пронесся огромный, не охватимый взором, город с своими тысячами куполов, с своими дворцами и съезжими дворами, с своими шпицами, горделиво врезывающимися в самые облака, с своею вечно шумною, вечно хлопочущею и суетящеюся толпою. Но вдруг город сменился деревнею с длинным рядом покачнувшихся на сторону изб, с серым небом, серою грязью и бревенчатою мостовой... Потом все эти образы, сначала определенные и различные, смешались: деревня украсилась дворцами; город обезобразился почерневшими бревенчатыми избами; у храмов привольно разрослись репейник и крапива; на улицах и площадях толпились волки, голодные, кровожадные волки... и пожирали друг друга.

Но вот и. города исчезли в тумане, и деревня утонула в синем, неизглядном озере, и волки скрылись далеко-далеко в густые леса фантазии Ивана Самойлыча... Но что же вдруг так сладко поразило слух его, что защекотало вдруг, зашевелило бедное его сердце? С тоскою и трепетом вслушивается он в эти вечно милые, вечно желанные звуки, с томлением и грустию впивает в себя чудную гармонию простенькой песенки, ласкающей слух его... О, она сосет его душу, она заставляет ныть и стонать его сердце, эта странная, маленькая песенка! Потому что за маленькой песенкой воображение рисует ему маленький ротик, за маленьким ротиком маленькую женщину — женщину полненькую, живую, как ртуть.

— Наденька, Наденька! — молящим голосом говорит Иван Самойлыч.

Но гордо и с обидным презрением смотрит на него, униженного и умоляющего, маленькая женщина. Крошечная ироническая улыбка мелькает на розовых губках ее; миньятюрное негодованьице слегка приподняло ее тонкие ноздри и окрасило нежным пурпуром упругие щеки... Но как хороша она! Боже, как хороша она, несмотря на негодование, несмотря на обидное презрение, выражающееся во всякой фибре лица ее! как охотно преклоняется перед нею Иван Самойлыч!

— Наденька! — говорит он задыхающимся от волнения голосом,— я не виноват, что люблю вас... Что же мне делать, если это выше сил моих!..

И он с трепетом ждет ее слова: он не замечает, что возле нее стоит другое лицо — лицо, принадлежащее ученому другу ее, белокурому Алексису; не замечает, как томно опирается она на руку юноши, какие полные неги и томления взоры от времени до времени обращает к нему...

Но вот и на него взглянула она, но как-то сурово и с недоумением. Обиженным тоном отвечает она ему, что удивляется, каким образом мог он даже подумать сделать ей такое странное предложение; что, конечно, он человек неглупый, и даже начитанный человек, но что и она, с своей стороны, девушка честная, и хотя не дворянка, но не хуже иной дворянки сумеет подать карету не только ему, Ивану Самойлычу, но и всякому другому, даже получше и почище его, кто осмелится подъехать к ней с подобным предложением.

И снова все исчезает в безразличном тумане: и белокурое, но несколько апатическое лицо Алексиса, и миньятюрная, вечно тревожная, фигурка Наденьки, и тоскливо звучит вдали знакомая песенка о дорогом князе и золотых чертогах...

— Что же я в самом деле такое? — спрашивает себя господин Мичулин,— какое мое назначение, какая судьба моя?

Толпами собираются около него бледные призраки и насмешливо кричат ему: «Ох, устал, устал ты, бедный человек! разломило тебе всю голову!»

Бледный, трепещущий, падает он на колени, прося пощадить его, объяснить ему это страшное дело, не дающее ему ни днем, ни ночью покоя, но падает так неловко и неожиданно, что бледные призраки мгновенно исчезают.

В комнате темно; старинная кукушка жалобно прокуковала два раза и замолкла.

«Черт знает, что за дрянь в голову лезет! — подумал Иван Самойлыч,— а вот еще философы утверждают...»

И он было намеревался, не пускаясь в дальнейшие рассуждения, во сне узнать, что утверждают философы, как вдруг за тонкою перегородкою, которая одна отделяла его постель от заветной комнатки, послышались голоса.

Иван Самойлыч начал прислушиваться.

— Уж я вижу, сударь,— щебетал знакомый ему голосок,— уж, пожалуйста, не приводите мне своих резонов, уж пожалуйста... Я все, все насквозь вижу...

— Нет, Наденька! ты ошибаешься, друг мой, ошибаешься,

милый ты человек! — отвечал Алексис, стараясь придать голосу своему льстивый тон.

— Уж, пожалуйста, в чем другом, а в этом не ошибусь... Стыдитесь, сударь! вы думаете восторжествовать своим коварством?.. Да нет, не к той подъехали! Уж вы меня извините: хоть я и необразованная, хоть я по-вашему и не умею, а уж если на то пошло, так, право, не хуже вас сумею сказать, что так и что не так...

— Да помилуй же, Наденька! право, я нигде не был... Что ж тут так и не так?..

— Я вам говорю, что все насквозь вижу, все ваши хитрости вижу, Алексей Петрович! Уж как вы там меня ни называйте — образованная ли я или необразованная — а уж я все-таки вижу!

Алексис молчал.

— Зачем же притворство и коварство? — продолжала между тем Наденька,— уж скажите мне лучше прямо, что я несчастнейшая из женщин!.. Я девушка прямая, Алексей Петрович; я честная девушка, Алексей Петрович, и не люблю ходить вокруг да около... Уж скажите мне просто, что я в слезах должна проводить остаток дней своих!

— Отчего же в слезах, Наденька? — отвечал лаконически Алексис и потом прибавил: — Отчего же в слезах, милый, хороший ты человек?

И опять все смолкло вокруг Ивана Самойлыча, но не в голове его: там, напротив, началась страшная деятельность, начался шум и стукотня; мысли бегали по мозговым его нервам, перебивали друг у друга дорогу, и вдруг накопилось их такое множество, что он уж и сам не рад был, что проснулся и, как глупая тварь, поддался грубому и животненному инстинкту любопытства...

Не успел еще он хорошенько сообразить, как бы этак, воспользовавшись недоразумением, хитро вырыть ближнему яму, как уж и действительно каким-то образом подкопался под Алексиса. В судьбе его внезапно произошла совершенная и неожиданная перемена; в одно мгновение ока он сделался решительно баловнем фортуны; он ходит по Невскому под руку с молодою женой, в бекеше с седым бобровым воротником, на лбу красуется глубокий шрам, полученный в битве за отечество, а на фраке огромная испанская звезда с бесчисленным множеством углов. Он меняется приятною улыбкою и поклоном с значительными господами, он совершенно доволен своею судьбою и беспрестанно вынимает из кармана необыкновенно массивный хронометр, как будто бы для того, чтоб узнать, который час, а в самом деле для того только,

чтоб показать народу, пусть-де видит он, какие на свете бывают удивительные часы и цепочки.

С презрением и иронически улыбаясь, смотрит он на проходящего мимо и дрожащего от холода, в изношенном донельзя темно-вишневом с искрою пальто, Алексиса и делает вид, будто не замечает его. Но Алексис издалека завидел знакомую ему маленькую фигурку; он уж спешит к ней с обыкновенным приветствием: «Здравствуй, Наденька, здравствуй, хороший ты, милый человек!» — но вдруг у самых ушей его раздается грозный голос: «Милостивый государь! вы забываете...» — и Алексис, поджав хвост, удаляется поспешными шагами восвояси.

Но вот и четыре бьет на каланче думы; Иван Самойлыч по привычке уж чувствует в желудке приятную тоску.

— Не прикажешь ли, душа моя, зайти в магазин, купить чего-нибудь к обеду? — говорит он, обращаясь к Наденьке.

— Отчего же и не зайти? — отвечает она с таким философским равнодушием, как будто бы действительно так и быть должно.

И в самом деле, люди богатые: отчего же и не зайти!

Уж с четверть часа стоят они в великолепном магазине.

Наденька, как существо живое и по преимуществу прожорливое, бегает из одного угла в другой, переходит от винограда к великолепным бонкретьенам, от превосходных, подернутых легким пухом юности персиков к не менее превосходному ананасу, всего отведывает, всего откладывает в свой ридикюль... Но все это в порядке вещей, все так и быть должно; одно только несколько странным кажется Ивану Самойлычу: седой и строгий приказчик как будто подозрительно, как будто исподлобья смотрит на все эти заборы. Он мысленно негодует уж на такую неуместную недоверчивость; уж рука его протянута, чтобы расстегнуть великолепное пальто и показать негодяю корыстолюбцу многоугольную испанскую звезду, как вдруг... Но тут его руки опускаются; холодный пот градом катит с благородного чела, он бледнеет, осматривается, щупает себя... Боже! нет никакого сомнения! все это было самообольщение: и испанская звезда, и пальто с удивительно теплым воротником, и одутловатые щеки, и гордый вид... все, решительно все исчезло, как по волшебному мановению! Как и в бывалое время, висит на нем, как на подлой вешалке, его старая и вытертая шинелька, более похожая на капот, нежели на шинель; по-прежнему желты и изрыты рябинами его щеки; по-прежнему согнута его спина и унижен и скареден его вид.

Тщетно толкает он исподтишка неосторожную Наденьку, тщетно мучит он мозг свой, стараясь выжать из него что-нибудь похожее на изобретательность: Наденька, нисколько не конфузясь, услаждает свое нёбо дарами юга, и тоже не конфузясь, спит мозг Ивана Самойлыча, тупо и равнодушно смотря на неимоверные старания его выпутаться из беды и как будто подсмеиваясь над собственным своим бессилием... О, неосторожная Наденька! о, глупый мозг!

— Десять рубликов и семь гривенок-с! — звучит ему между тем в самые уши страшный голос приказчика.

— Серебром? — шепчет в ответ, заикаясь и совершенно растерявшись, Иван Самойлыч.

— Да, серебром... неужто ж медными? — решительно и вовсе непоощрительно отвечает тот же самый досадный голос.

Мичулин конфузится еще пуще.

— Так-с; серебром-с...— говорит он, бледнея и между тем ощупывая карманы, как будто отыскивая бывшие в них неизвестно куда завалившиеся деньги,— отчего же-с? я с удовольствием... я человек достаточный... Скажите пожалуйста, а я и не заметил!.. Представьте себе, мой милый, я и не заметил, что у меня в кармане дыра, и какая большая, скажите!..

Но приказчик только покачивает головой.

— А ведь можете себе представить,— продолжает Иван Самойлыч тоном соболезнования,— и пальто совсем новенькое! только что с иголочки! ужасно, как непрочно шьют эти портные! Да и не удивительно! французы, я вам скажу, французы! Ну, а француз, известно, ветром подбит! уж это нация такая... Не то что наш брат русский: тот уж за что примется, так все на славу сделает,— нет, далеко не то!.. Скажите, пожалуйста, и давно вы этак торг ведете?

— Торг-то мы ведем давно,— отвечает угрюмый приказчик,— а деньги-то вы все-таки отдайте...

— Ах, боже мой! право, какой скверный народ эти французы! право, только что с иголочки! О, премошенники эти портные! не дай бог, мошенники!

— Видно, брат, мошенник-то ты! — неумолимо и резко отвечает угрюмый приказчик.— Знаем мы вас! у вас у всех карманы-то с дырьями, как к расплате приходится! Иван Терентьич! а сходи-ко, брат, за Федосеем Лукьянычем! Он, кажется, тут, поблизности!

Услышав знакомое ему имя Федосея Лукьяныча, Иван Самойлыч совершенно упал духом. Со слезами на глазах и униженно кланяясь, показывает он седому приказчику дирявые карманы своего пальто, тщетно доказывая, что не виноват же

он, что за минуту перед тем имел и бобровый воротник, и испанскую звезду, и одутловатые щеки и что все это, по ухищрениям одной злобной волшебницы, которая давно уж денно и нощно его преследует, вдруг пропало, и остался он дрянь дрянью, что называется, гол, как сокол, пушист, как лягушка.

— Мамону-то послужить умеешь! — говорит ему бесстрастный голос седого приказчика,— тельцу-то поклоняешься, чреву угождаешь! а что в Священном писании сказано? забыл? грех, брат, тебе! стыдно, любезный!

— Послужил, почтеннейший, попутал лукавый, точно, попутал! — отвечает жалобным голосом Иван Самойлыч,— да ведь это в первый раз; ведь другие едят же...

— Да другие-то почище! Мало ли что делают другие! у других в кармане-то, брат, не дырья!

И седой приказчик строго покачивает головой, приговаривая:

— Ишь с чем подъехал, анафемский сын! ишь ты: и испанская звезда у него была! Знаем, брат, вас! знаем, чревоугодники, идолопоклонники!

А между тем Мичулин робко посматривает на Наденьку. Дерзко и с презрением глядит она на него, как будто хочет окончательно доконать и уничтожить несчастного.

— Так вы вот как, Иван Самойлыч! — говорит она ему, быстро размахивая руками,— так вы изволите на хитростях! вы хотели воспользоваться моею к вам откровенностью! Уж сделайте одолжение! я все понимаю! Может быть, я и необразованная, и не читала книг... Уж, пожалуйста, не отпирайтесь! я все вижу, все понимаю, очень хорошо понимаю... все ваши коварства... Сделайте одолжение!

— Да что же я, в самом деле, такое? — бормочет между тем Иван Самойлыч, очень кстати вспомнив, что затруднение именно в том и состоит, что он до сих пор не может себе определить, что он такое,— да чем же я хуже других?

— Известно чем! — лаконически отвечает седой приказчик,— известно чем! у других в карманах-то нет дырьев.

— Другие едят, другие пьют... да я-то что ж?

— Известно что! — звучит тот же самый жесткий голос,— можете смотреть, как другие кушают! — но так иронически звучит, как будто бы хочет сказать недоумевающему Мичулину: «Фу, какой же ты, право, глупый! не можешь никак понять самой простой и обыкновенной вещи!»

Иван Самойлыч уж было и смекнул, в чем дело, и начал было углубляться в подробное рассмотрение ответа приказчика, как вдруг слух его поражает другой, еще страшнейший голос,— голос Федосея Лукьяныча.

Важно и не мигнувши слушает Федосей Лукьяныч жалобу старого приказчика о том, что вот, дескать, такие-то мошенники и приедалы перерыли всю лавку, наели на десять рубликов и семь гривенок, и теперь показывают только карманы, и то не цельные, а с дырьями.

— Гм,— мычит Федосей Лукьяныч, оттопырив губы и обращаясь всем корпусом к Мичулину,— ты?

— Да я, того,— бормочет Иван Самойлыч,— я шел и устал... освежиться захотелось... вот я и зашел!

— Гм, да ты не оправдывайся, а отвечай! — основательно возражает Федосей Лукьяныч, окидывая взором всех присутствующих, вероятно, для того, чтоб удостовериться, какой эффект производит на них его соломонов суд.

— За дело ему, за дело! — кричит с своей стороны Наденька,— осрамить меня хотел! опозорить, злодей, задумал!.. Уж, пожалуйста, подальше с своими резонами! я очень хорошо все знаю и вижу.

— Фамилия? — отрывисто вопрошает суровый голос Федосея Лукьяныча, снова обращаясь к нашему герою.

— Мичулин,— отвечает Иван Самойлыч, но так робко, как будто бы и сам не уверен, точно ли это так и не есть ли это такое же создание блудного его воображения, как и теплое пальто, испанская звезда, одутловатые щеки и проч.

— Имя? — снова вопрошает Федосей Лукьяныч, весьма, впрочем, довольный, что произвел робость и страх в истязуемом субъекте.

— Иван Самойлов,— еще тише и робче отвечает герой наш.

— Странно! а впрочем, бывает и хуже! Эй, любезный, взять его!

Последние слова, очевидно, относились к одному рослому мужчине, как-то случайно тут же прогуливавшемуся.

И вот уж берут Ивана Самойлыча под руки; вот открываются перед ним двери ада...

— Пощадите! батюшки, пощадите! — кричит он, задыхаясь от трепета.

— Да что это, с ума, что ли, вы сошли, Иван Самойлыч? — раздается вдруг у самого его уха знакомый голос,— совсем спать не даете добрым людям! Ведь я очень хорошо понимаю, к чему все это клонится, да уж не бывать этому! сказано, так уж сказано, и напрасно вы беспокоитесь и из себя выходите!

Иван Самойлыч открыл глаза: перед ним в заманчивом неглиже стояла миловидная Наденька, та самая Наденька, которая и проч.

IV

— А, это ты, Наденька! — бормочет сквозь сон Иван Самойлыч,— что ж это ты не спишь, душенька? А можешь себе представить, мне при-ви-делось, будто Фе-до...

Наденька покачала головкой и ушла.

А между тем Лета, эта услужливая река, снова заливает волнами своими воображение господина Мичулина, снова начинает она шуметь в ушах его, снова беснуется и выходит из себя и из берегов своих.

И вдруг он опять очутился на улице; но на нем уже не прежнее щеголеватое пальто, а обыкновенная истертая его шинелька, и не благовидна и не горда его осанка, а как будто скоробился, сморщился он весь, как будто все члены ему свело от холода и голода...

Но не заглядывает он в окна кондитерских, булочных и фруктовых лавок. Сколько соблазнов не рассыпано, а лежит перед ним в красиво и симметрически расположенных кучках и заперто под замком! О, если бы все это было рассыпано! уж, конечно, он подобрал бы все эти удивительно вкусные и уж одним видом своим возбуждающие аппетит в человеке вещи, и снес бы их к себе на квартиру, и положил бы всю эту сладкую ношу к неимоверно уютным ножкам неимоверно маленькой, но вместе с тем и неимоверно миленькой Наденьки!

Но все это заперто, все под ключом! на все это *можете глядеть!* как выразился недавно с убийственным хладнокровием строгий приказчик...

А дома ждет его зрелище, полное жгучего, непереносимого отчаяния! В холодной комнате, в изорванном платье, на изломанном стуле сидит его жена; около нее, бледный и истомленный, стоит его сын... И все это просит хлеба, но так тоскливо, так назойливо просит!..

— Папа, я есть хочу! — стонет ребенок,— дай хлеба...

— Потерпи, дружок,— говорит мать,— потерпи до завтра; завтра будет! нынче на рынке всё голодные волки поели! много волков, много волков, душенька!

Но как говорит она это! Твой ли это голос, милая маленькая Надя? тот ли это мелодический, сладкий голосок, распевавший себе беззаботно нехитрую песенку, звавший князя в золотые чертоги? Где твой князь, Надя? Где твои золотые чертоги? Отчего твой голос сделался жёсток, отчего в нем пробивается какая-то едкая, несвойственная ему желчь? Надя! что сделалось, что сталось с тобою, грациозное создание?

где веселый румянец твой? где беззаботный твой смех? где хлопотливость твоя, где твоя наивная подозрительность? где ты, прежняя, ненаглядная, миленькая Наденька?

Отчего глаза твои впали? отчего грудь твоя высохла? отчего в голосе твоем дрожит тайная злоба? отчего сын твой не верит твоим словам... отчего это?

— Да ведь и вчера говорили мне,— отвечает ребенок,— что всё голодные волки поели! да вон другие же дети сыты, другие дети играют... я есть хочу, мама!

— Это дети голодных волков играют, это они сыты! — отвечаешь ты, поникнув головою и не зная, как увернуться от вопросов ребенка.

Но напрасно стараешься ты, напрасно хочешь ты успокоить его: он не верит тебе, потому что ему хлеба, а не слов надобно.

— Ах, отчего же я не сын голодного волка! — стонет дитя,— мама, пусти меня к волкам... я есть хочу!

И ты молчишь, подавленная и уничтоженная! Ты вдвойне несчастна, Надя! Ты сама голодна, и подле тебя стонет еще другое существо, стонет сын твой, плоть от плоти твоей, кость от костей твоих, который тоже просит хлеба...

Бедная Наденька! что же нейдет он, что не спешит он на помощь к тебе, этот давно желанный дорогой князь твоего воображения? что не зовет он тебя в золотой чертог свой?

С томлением и непереносною тоскою смотрит Иван Самойлыч на эту сцену и тоже уверяет маленького Сашу, что завтра все будет, что сегодня всё голодные волки поели. Что ему делать? как помочь?..

И ты тоже знаешь, бедная Наденька, что нечем ему помочь, ты понимаешь, что он ни на волос не виноват во всем этом; но ты голодна, подле тебя стонет любимое дитя твое, и ты упрекаешь мужа, ты делаешься несправедливою...

— Зачем же вы женились? — говоришь ты ему жестким и оскорбительным голосом,— зачем же вы связали себя другими, когда и себе не в состоянии добыть кусок хлеба? Без вас я была счастлива, без вас я была беззаботна... я была сыта... Стыдно!

В свою очередь подавленный и уничтоженный, стоит Иван Самойлыч. Он чувствует, что в словах Нади страшная правда, что он *должен был* подумать — и много подумать — о том, прилично ли бедному человеку любовь водить, достаточно ли будет на троих его скудного куска... И неутомимо, неумолимо преследует его это страшное «стыдно!».

А между тем в комнате все холоднее и холоднее; на дворе делается темно; ребенок все так же стонет, все так же жа-

лобно просит хлеба! Боже! да чем же все это кончится? куда же поведет это? Хоть бы поскорее пришел завтрашний день! а завтра что?.. вот вопрос!

Но ребенок уж не стонет; он тихо склонился головкой к груди матери, но все еще дышит...

— Тише! — едва слышно говорит Наденька,— тише! Саша уснул...

Но что же за мысль гнездится в головке твоей, Наденька? Зачем же ты улыбаешься, зачем в этой улыбке вдруг сверкнуло отчаяние и злобная покорность судьбе? Зачем ты бережно сажаешь ребенка на стул и, не говоря ни слова, отворяешь дверь бедной комнаты?

Наденька, Наденька! куда ты идешь? Что хочешь ты делать?

Ты сходишь несколько ступеней и останавливаешься... ты колеблешься, милое дитя! В тебе вдруг забилось это маленькое, доброе сердце, забилось быстро и неровно... Но время летит... там, в холодной комнате, в отчаянии ломает руки голодный муж твой, там умирает твой сын! О, как бледно его детское лицо, как мутен его взор, как он стонет, как тосклив и жалобен его голос, просящий хлеба!.. И ты не колеблешься; в отчаянии ты махнула рукой; ты не сходишь — бежишь вниз по лестнице... ты в бельэтаже... ты дернула за звонок... Страшно, страшно мне за тебя, Надя!

А он уж ждет тебя, дряхлый, бессильный волокита, он знает, что ты придешь, что ты *должна* прийти, и самодовольно потирает себе руки, и самодовольно улыбается, поглядывая на часы... О, он в подробности изучил натуру человека и смело может рассчитывать на голод!

— Я решилась,— говоришь ты ему, и голос твой спокоен...

Да, спокоен, не дрогнул твой голос, а все-таки спокойствие-то его как будто мертвое, могильное...

И старик улыбается, глядя на тебя; он ласково треплет тебя по щеке и дрожащею рукою привлекает к дряхлой груди своей юный стан твой...

— Да как ты бледна, душенька! — говорит он ласково,— видно, тебе очень кушать хочется...

Э! да он просто шутник! он превеселый малый, этот маленький старичок, охотник до миленьких, молоденьких женщин!

— Да, я хочу есть! — отвечаешь ты,— мне нужно денег.

И ты протягиваешь руку... Стало быть, ты еще хороша, несмотря на твое страдание; стало быть, есть еще в тебе, несмотря на гнетущую нищету твою, нечто зовущее, возбуждающее застывшие силы шутливого старика, потому что он

не считая кладет тебе в руку деньги; он не торгуется, хотя и знает, что может купить тебя за самую ничтожную плату...

— Ешьте,— говоришь ты мужу и сыну, бросая на стол купленный ужин, а сама садишься в угол.

— Это жадные волки дали, мама? — спрашивает тебя ребенок, с жадностью поглошая ужин.

— Да. это волк прислал,— отвечаешь ты рассеянно и задумчиво.

— Мама! когда же убьют голодных волков? — снова спрашивает ребенок.

— Скоро, дружок, скоро...

— Всех убьют, мама? ни одного не останется?

— Всех, душенька, всех до одного... ни одного не останется...

— И мы будем сыты? у нас будет ужин?

— Да, скоро мы будем сыты, скоро нам будет весело... очень весело, друг мой!

А между тем Иван Самойлыч молчит; потупив голову, с тайным, но неотступно гложущим угрызением в сердце ест он свою долю ужина и не осмеливается взглянуть на тебя, боясь увидеть во взоре твоем безвозвратное осуждение свое.

Но он ест, потому что и его мучит голод, потому что и он человек!

Но он думает, горько думает, бедный муж твой! Страшная мысль жжет его мозг, неотступное горе сосет его грудь! Он думает: сегодня мы сыты, сегодня у нас есть кусок хлеба, а завтра? а потом?..— ведь вот о чем думает он! ведь и завтра ты будешь *должна*... а там опять...

Вот эта страшная, гложущая мысль! Наденька, Наденька! правда ли это? правда ли, что ты будешь *должна?*..

Ивану Самойлычу делается душно; глухое рыдание заливает грудь его; голова его горит, глаза открыты и неподвижно устремлены на Наденьку...

— Наденька! Наденька! — стонет он, собрав последние силы.

— Да что ж это, в самом деле, за срам такой! — слышится ему знакомый голос,— здесь я, здесь, сударь! что вам угодно? что вы кричите? Целую ночь глаза сомкнуть не давали! Вы думаете, что я не понимаю, вы думаете, что я не вижу... Крепостная я ваша, что ли, что вы на меня так грозно смотрите?

Иван Самойлыч открыл глаза; в комнате было светло, у кровати его стояла Наденька в совершеннейшем утреннем дезабилье.

— Так это... был сон! — сказал он, едва очнувшись,— так ты, того... не ходила к старику-то, Наденька?

Девица Ручкина взглянула на него в недоумении. Но вскоре все сделалось для нее ясным как на ладони; ее вдруг осенила светлая мысль, что все это неспроста и что старик-то именно не кто иной, как сам Иван Самойлыч, но уж если она раз сказала: не бывать! — так уж и не бывать тому, как ни хитри и ни изворачивайся волокита.

— Нет, черт возьми! должно же это кончиться! — сказал про себя Иван Самойлыч, когда Наденька вышла из комнаты,— ведь этак просто ни за грош пропадешь!

Господин Мичулин взглянул в зеркало и нашел в себе большую перемену. Щеки его опали и пожелтели пуще прежнего, лицо осунулось, глаза сделались мутны; весь он сгорбился и изогнулся, как олицетворенный вопросительный знак.

А между тем нужно идти, нужно просить, потому что действительно, пожалуй, ни за грош пропадешь...

Да полно, идти ли еще, просить ли?

Сколько времени ходил ты, сколько раз просил и кланялся — выслушал ли кто тебя? Ой, ехать бы тебе в деревню к отцу в колпаке, к матери с обвязанною щекой...

Но, с другой стороны, тут же рядом возникает вопрос, требующий безотлагательного объяснения.

«Что же ты такое? — говорит этот навязчивый вопрос,— неужели для того только и создан ты, чтобы видеть перед собою глупый колпак, глупую щеку, солить грибы и пробовать домашние наливки?»

И среди всего этого хаоса противоречащих мыслей внезапно восстает в воображении Ивана Самойлыча образ злосчастного Емели... Этот образ так ясно и отчетливо рисуется перед глазами его, как будто действительно стоит перед ним согнутый и трясущийся старик, и может он его ощупывать и осязать руками. Все туловище Емели как будто разлезается в разные стороны, все члены будто развинчены и вывихнуты; в глазах слезы гноятся, и голова трясется...

Жалобно протягивает он изнеможенную руку, дрожащим голосом вымаливает хоть десять копеечек — и потом указывает на штоф с водкою и приговаривает: «Познание есть зла и добра!»

Иван Самойлыч стоит как в чаду; он хочет освободиться от страшного кошмара своего и не может...

Фигура Емели преследует его, давит ему грудь, стесняет дыхание... Наконец он делает над собою сверхъестественное усилие, хватает шляпу и опрометью бежит из комнаты.

Но на пороге его останавливает Беобахтер.

— Вы поняли, что я говорил вам вчера? — спрашивает он с таинственным видом.

— То есть... догадываюсь,— отвечает Иван Самойлыч, совершенно смущенный.

— Разумеется, это были только некоторые намеки,— снова начинает кандидат философии,— ведь это дело сложное, очень сложное, всего и не перескажешь!

Минутное молчание.

— Вот, возьмите это! — прерывает Беобахтер, подавая Мичулину крохотную книжонку, из тех, которые в Париже, как грибы в дождливое лето, нарождаются тысячами и продаются чуть ли не по одному сантиму.

Иван Самойлыч в недоумении берет книжку, решительно не зная, что с нею делать.

— Прочтите! — говорит Беобахтер торжественно, но все-таки чрезвычайно мягко и вкрадчиво,— прочтите и увидите... тут всё!.. понимаете?

С этими словами он удаляется, оставив господина Мичулина в совершенном изумлении.

V

Погода на дворе стояла сырая и мутная; как и накануне, сыпалось с облаков какое-то неизвестное вещество; как и тогда, месили по улицам грязь ноги усталых пешеходов; как и тогда, ехал в карете закутанный в шубу господин с одутловатыми щеками, и ехал в калошах другой господин, которому насвистывал вдогонку ветер: «Озяб, озяб, озя-я-яб, бедненький человек!» Словом, все по-прежнему, с тем только незначительным прибавлением, что всю эту неблаговидную картину обливал какой-то бледный, мутный свет, которого первоначальные цвета до сих пор еще с большим успехом ускользали от всеразлагающего взора оптики.

Навстречу Ивану Самойлычу ехала очень удобная и покойная карета, придуманная в пользу бедных людей, в которой, как известно, за гривенник можно пол-Петербурга объехать.

Иван Самойлыч сел. В другое время, при «сем удобном случае», он подумал бы, может быть, о промышленном направлении века и выразился бы одобрительно насчет этого обстоятельства, но в настоящую минуту голова его была полна самых странных и черных мыслей.

Поэтому кондуктор не получил от него ни улыбки, ни поощрения — ничего, чем так щедро любят наделять иные охотники до чужих дел.

А между тем в карету набираются другие господа; сперва

вошла какая-то скромная девушка, потупив глазки: бедная девушка, но честная, должно быть, и живет своими трудами, и так чистенько одета, и в руках картоночку держит... славная девушка! Вслед за девушкой вошел в карету и белокурый студент весьма приятной наружности и сел прямо против нее. Иван Самойлыч поневоле начал прислушиваться.

— Здравия желаем-с! — сказал белокурый студент, обратясь к девушке. Но девушка не отвечает, а, посмотрев исподлобья на юношу и лукаво улыбнувшись, подносит ко рту платок и отворачивает к окну свое личико, изредка испуская из-под платка скромное «ги-ги-ги!».

— Наше почтение-с! — начал снова студент, обращаясь к веселой девушке.

Но ответа и на этот раз не последовало; только скромное «ги-ги-ги!» выразилось как-то резче и смелее.

— А что вы скажете насчет этого нововведения? — ласково спросил Ивана Самойлыча очень опрятно одетый господин с портфёлем под мышкою.

Господин Мичулин махнул головою в знак согласия.

— Не правда ли, как дешево и экономически? — снова и еще ласковее обратился портфёль, в особенности нежно, хотя и не без энергии, напирая на слово «экономически» и, по-видимому, питая немалую надежду поднять посредством его из праха умирающее человечество.

—Да-с, выгодная спекуляция! — отвечал Иван Самойлыч, усиливаясь, в свою очередь, поощрительно улыбнуться.

— О, очень выгодно! очень экономически! — отозвался в другом углу господин с надвинутыми бровями и мыслящей физиономией,— ваше замечание совершенно справедливо, ваше замечание выхвачено из натуры!

И надвинутые брови, произнося слова: «Выхвачено из натуры», сопровождали их таким усиленным движением рук, как будто чрезвычайно тупым заступом копали глубокую-глубокую яму.

— Впрочем, это смотря по тому, с какой точки зрения смотреть на предмет,— глубокомысленно заметил господин с огромными черными усами, и тут же физиономия его приняла такой таинственный вид, как будто спешила сказать всякому: знаем мы, видали мы!..

— Батюшки, пустите! да отворяй же, лакей! батюшки, вспотел, измучился!.. Ну, уж город! эк его угораздило!

Разговор, принимавший несколько назидательное направление, вдруг прервался, и взоры всех пассажиров обратились на толстого господина в какой-то странной лилового цвета венгерке, который, пыхтя и кряхтя, влезал боком в карету.

— Ну уж, город! — говорила венгерка,— истинно вам скажу, божеское наказание! я, изволите видеть, здесь по своему делу — так, поверите ли, просто, то есть, измучили, проклятые! душу тянут, вздохнуть не дают! И всё этак — в белых перчатках: на красную, подлец, и смотреть не хочет — за кого, дескать, вы нас принимаете, да правосудие у нас не продажное! а вот, как сто рублев... Эка бестия, эка бестия! поверите ли, даже вспотел весь!

И венгерка снова начала кряхтеть и пыхтеть, со всех сторон обмахиваясь платком, что возбуждало немалую веселость в скромной девушке, и чуть слышные «ги-ги-ги!» снова начали вылетать из-под платка, закрывавшего рот ее.

— Уж вы меня извините, сударыня! — снова начала венгерка,— я, может быть, и стесняю вас своею корпуленцией... Я вам скажу, господа, у нас в семействе престранное дело! матушка-то моя, царство ей небесное! — фамилии Чесоткиных, если изволили слыхать, а батюшка, и мы все по нем, по фамилии Чекалин, имею честь рекомендоваться!.. Так вот-с, тут-то самая штука и есть! вот я, братец Платон Иванович, сестрица Лукерья Ивановна да сестрица Авдотья Ивановна — хорошая была женщина, покойница, и прехлебосолка! — так вот мы все вышли в фамилию Чекалиных — и препотливый народ! то есть, два шага сделал — и уж вспотел! а вот братец Семен Иванович и сестрица Варвара Ивановна — те пошли по фамилии Чесоткиных и не потеют... Истинно вам говорю! честью вас уверяю, не лгу!.. У, вспотел! то есть, просто вспотел, как какая-нибудь каналья!

— То есть, что же вы разумеете под точкой зрения? — прервал портфёль, которого видимо конфузил санфасон[1] лиловой венгерки,— если вы хотите сказать этим то, что французы так удачно называют поэнь де вю, кудёль...[2]

— Знаем мы! пожили мы! и французов видали, да и немцев тоже! — отвечали усы — и потом, наклонясь с таинственным видом и оглядываясь во все стороны, прошептали вполголоса:

— Что-то скажут об этом извозчики... вот что!

Присутствующие вздрогнули; действительно, никому из них до тех пор и в голову не приходило, что-то скажут о том извозчики, а теперь около них, и сзади, и спереди, и по бокам, вдруг заговорили тысячи извозчичьих голосов, кивали тысячи извозчичьих голов, весь мир покрылся сплошною массою воображаемых извозчиков, там и сям прерываемою... опустелыми извозчичьими колодами!

---

[1] непринужденность (от *франц.* sans-façon).

[2] точка зрения, взгляд (от *франц.* point de vue, coup d'oeil).

И все вдруг присмирели; только надвинутые брови почли за нужное мимоходом отрыть воображаемым и чрезвычайно тупым заступом ужасно большую глыбу промерзлой земли.

— Да; если иметь такого рода консидерацию[1],— бледнея, прошептал портфёль,— но уж не спасал погрязшее человечество затейливым словом «консидерацию».

— Да уж что тут? — говорили между тем усы еще таинственнее и ударяя себя при этом кулаками в грудь,— уж я знаю, уж вы *меня* спросите! мне это дело как своя ладонь известно!

И усы действительно показали немелкого разбора голую ладонь и, еще более наклонившись и предварительно оглянувшись на все стороны, вполголоса приговаривали:

— Уж мне это дело ближе известно... я служу *там*...

— Так вы тоже *бюрократ?* — спросил портфёль, оправившись от первого ошеломления и как в каменную стену упираясь в слово «бюрократ».

— Да ведь это опять-таки с какой точки зрения посмотреть на предмет! — лаконически отвечали усы.

— А я вам скажу, господа, что все это вздор! совершенный вздор! — загремела венгерка.

По соседству чуть слышно раздалось знакомое «ги-ги-ги!» веселой девушки.

— Истинно так! — продолжала греметь венгерка,— истинно так! что это за народ, хоть бы и извозчики! дрянь, осмелюсь вам доложить, просто слякоть!.. Вот кабы вы у нас, в нашей стороне, побывали, вот народ! тот, так уж действительно, усахарит! вот природа так природа! это уж, истинно вам говорю, смотреть в свое удовольствие можно! А то что это за народ у вас, взглянуть не на что! просто дрянь, слякоть!

И венгерка тоскливо покачивала головою.

— Да; это если смотреть на предмет с одной точки,— сказал между тем портфёль, улыбаясь и не обращая внимания на пессимистское возражение венгерки,— но если взглянуть на дело, например, со стороны эманципации животных...

Усы жалобно замычали.

— Да ведь это все пуф! — сказали они,— это всё французы привезли! Извозчики — вот главное дело! извозчики — вот корень причины! извозчики, извозчики, извозчики!

И снова в глазах всех присутствующих замелькали извозчики, извозчики, извозчики!

— Вот оно дело-то! — продолжали усы,— вон он сыт, наелся,— его и колом с печи не своротишь! А вот как хлебца-то

[1] осмотрительность (от *франц.* considération).

нет, он и пошел, и пошел... а уж как пошел, так известно, что будет!.. знаем мы! видали мы!

— О, ваше замечание совсем справедливо! ваше замечание выхвачено из природы! — отозвались брови,— голод, голод и голод — вот моя система! вот мой образ мыслей!

— Так вот с какой точки зрения должно смотреть на предмет! — таинственно повторили усы,— а уж что тут животное! Животное, известно, скотина! скотина и есть, и пребудет вовек!

— Однако ж, читали ли вы в «Петербургских ведомостях» артикль? [1] — возразил портфёль, с необыкновенным усилием напирая на слово «артикль».

— Знаем мы! читали мы! вздор все это, надуванция! Гога и Магога!

— Однако ж с большим увлечением написан...

— Увлечение? — загремела венгерка,— уж позвольте, насчет увлечения...

— Ги-ги-ги! — отозвалось по соседству.

— Так вот, изволите видеть, я все насчет увлечения-то! — продолжала венгерка,— да вот барышенке-то все что-то смешно... веселая барышенка!.. так вот, насчет того-то... у меня, смею вам доложить, покойник батюшка, царство ему небесное! — предводителем был, так вот увлечение! Как замахает, бывало, руками... у! Отстаивал, нечего сказать! умел-таки постоять за своих, покойник! Нет, нынче такие люди повывелись! с фонарем таких не отыщешь! нынче всё разбирают: может, дескать, и прав!.. о-о-ох, времена тугие пришли!.. и барышенка-то все смеется... веселая барышенка!

— Когда же можно вас видеть? — говорил между тем исподтишка студент.

— Ах, какие вы, право, странные! — отвечала веселая барышенка, еще пуще закрываясь платком.

— Вы находите? — снова начал студент.

— Разумеется! ги-ги-ги!

— Отчего же разумеется?

— Да как же это можно!

— Да отчего же это не можно?

— Да нельзя!

— Странно! — сказал студент, хотя, по-видимому, не отчаивался еще в успехе своего предприятия.

— Главное дело в том,— соображали вслух усы,— чтоб человеку цель была дана, чтоб видел человек, зачем он существует... вот главное — а прочее всё пустяки!

---

[1] статью (от *франц.* l'article).

Иван Самойлыч начал прислушиваться.

— О, ваше замечание совершенно справедливо! ваше замечание, так сказать, выхвачено из природы!

Очевидно, что слова: «так сказать» — были сказаны бровями единственно для красоты слога и что на самом деле брови ни капли не сомневались насчет выхвачения из самой природы глубокомысленного замечания усов.

— То есть вы разумеете под этим то, что у французов зовется проблемою жизни? — спросил портфёль, сильно напирая на слово «проблемою».

— Что французы? что немцы? — лаконически отвечали усы,— уж поверьте моей опытности, уж мне лучше знать это дело, уж я *там* и служу... все это надуванция, всё Гога и Магога!.. это дело мне вот как известно!

И снова усы показали обнаженную ладонь чрезвычайно почтенного размера.

— Однако ж, согласитесь со мной, ведь и французская нация имеет свои неотъемлемые достоинства... Конечно, это народ ветреный, народ малодушный — кто же против этого спорит?.. Но, с другой стороны, где же найдете столько самоотвержения, того, что они сами так удачно назвали — резиньясьйон? а ведь это, я вам скажу...

И портфёль с таким увлечением уверял и напирал на свою речь, что все присутствующие закивали головами и действительно убедились, что «резиньясьйона», кроме французов, нигде не найти.

— Знаем мы! видали мы и французов и немцев! пожили-таки на своем веку! — говорили бесчувственные усы,— все это вздор! главное дело, чтоб человек видел, что он человек, знал бы цель!.. Цель-то, цель — вот она штука, а прочее — что? вздор! все вздор!.. уж поверьте моей опытности...

— Вот вы изволили выразиться насчет цели нашего существования,— скромно прервал Иван Самойлыч,— изволите видеть, я сам много занимался насчет этого предмета, и любопытно бы узнать ваши мысли...

Усы задумались; Мичулин ожидал с трепетом и волнением разрешения загадки.

— Лакей! что ж ты, братец, не остановишь! ворон считаешь, тунеядец! — загремела венгерка.

— Так и я тут выйду,— меланхолически сказали усы.

— А как же ваши мысли насчет этого обстоятельства? — робко заметил Иван Самойлыч.

— Все зависит от того, с какой точки взглянуть на предмет! — разом сообразили усы.

— О, это совершенно справедливо! ваше замечание вы-

хвачено из натуры! — отозвались надвинутые брови, в последний раз с особенным напряжением копая воображаемым заступом воображаемую яму,— все, решительно все зависит от точки зрения...

Усы и брови вышли из кареты. Медленно и неповоротливо поплелся снова экономический экипаж по гладкой мостовой.

— Когда же вас можно видеть? — по-прежнему спрашивал студент у веселой барышенки.

— Ах, какие вы странные! — по-прежнему отозвалась барышенка, закрывая рот платком.

— Отчего же странный? — приставал студент.

— Да как же это возможно!

— Да отчего же это невозможно?

— Да оттого, что нельзя!

— А я так думаю совсем напротив,— отвечал студент и дернул за снурок.

— Пойдемте! — сказал студент.

Барышенка вздохнула.

— Пойдемте же! — снова сказал юноша.

— Ги-ги-ги!

Карета остановилась, студент вышел, барышенка немножко подумала — и все-таки пошла за ним, сказав, однако ж: «Ах, право, какие вы странные! уж чего не вздумают эти мужчины!» — но сказала она это решительно только для очищения совести, потому что студент уж вышел и ждал ее на улице.

Наконец и Ивану Самойлычу пришлось выходить. На улице, по обыкновению, сновала взад и вперед толпа, как будто искала чего-то, хлопотала о чем-то, но вместе с тем так равнодушно сновала, как будто сама не сознавала хорошенько, чего ищет и из чего бьется.

И герой наш отправился искать и хлопотать, как и все прочие.

Но и на этот раз фортуна, с обыкновенною своею настойчивостью, продолжала показывать ему нисколько не благовидный зад свой.

Как нарочно, нужный человек, к которому уж в несчетный раз пришел Иван Самойлыч просить себе места, провел целое утро на воздухе по случаю какого-то торжества. Нужный человек был не в духе, беспрестанно драл и марал находившиеся перед ним бумаги, скрежетал зубами и в сотый раз обещал согнуть в бараний рог и упечь «куда еще ты и не думал» стоявшего перед ним в струнке маленького человека с весьма лихо вздернутым седеньким хохолком на голове.

Лицо нужного человека было сине от свежего еще ощущения холода и застарелой и уж прогорклой досады; плечи вздернуты, голос хрипл.

Иван Самойлыч робко вошел в кабинет и совершенно растерялся.

— Ну, что еще? — спросил нужный человек отрывистым и промерзлым голосом,— ведь вам сказано?

Иван Самойлыч робко приблизился к столу, убедительным и мягким голосом стал рассказывать стесненные свои обстоятельства, просил хоть что-нибудь, хоть какое-нибудь, хоть крошечное местечко.

— Я бы не осмелился,— говорил он, заикаясь и робея все более и более,— да ведь посудите сами, последнее издержал, есть нечего, войдите в мое положение.

— Есть нечего! — возразил нужный человек, возвышая голос,— да разве виноват я, что вам есть нечего? да что вы ко мне пристаете? богадельня у меня, что ли, что я должен с улицы подбирать всех оборвышей... Есть нечего! ведь как нахально говорит! Изволите видеть, я виноват, что ему есть хочется...

Седенький старичок с хохолком тоже немало удивился.

— Да ведь и я не виноват в этом, посудите сами, будьте снисходительны,— заметил Иван Самойлыч.

— Не виноват! вон как отвечает! На ответы-то, брат, все вы мастера... Не виноват! Ну, да положим, что вы не виноваты, да я-то тут при чем?

Нужный человек в волнении заходил по комнате.

— Ну, что ж вы стоите? —сказал он, подступая к господину Мичулину и как будто намереваясь принять его в потасовку,— слышали?

— Да я все насчет места,— возразил Иван Самойлыч несколько твердым голосом, как бы решившись во что бы то ни стало добиться своего.

— Говорят вам, что места нет! слышите? Русским языком вам говорят: нет, нет и нет!.. Поняли вы меня?

— Понять-то я понял! — глухим голосом отвечал Мичулин,— да ведь есть-то все-таки нужно!

— Да что вы ко мне привязались? да вы знаете ли, что я вас, как неблагонамеренного и назойливого, туда упеку, куда вы и не думаете? Слышите! есть нужно! точно я его крепостной! Ну, в богадельню, любезный, идите! в услуженье идите... хоть к черту идите, только не приставайте вы ко мне с вашим «есть нечего»!

И нужный человек снова начал разминать по комнате окоченевшие члены.

— Тут целое утро на холоду, да на сырости... орешь, кричишь, как на бестий, а они еще и дома покоя не дают...

— Да ведь я не виноват,— снова возразил Иван Самойлыч дрожащим голосом, худо скрывая накипевшую в груди его злобу,— я не виноват, что целое утро на холоду, да на сырости...

— А я виноват? — с запальчивостью закричал нужный человек, топнув ногою и сильно пошевеливая плечами,— виноват? а? да ну, отвечайте же!

Иван Самойлыч молчал.

— Что ж вы привязываетесь? Да нет, вы скажите, что ж вы пристаете-то? виноват я, что ли, что вам есть нечего? виноват? а?

— Стыдно будет, если на улице подымут,— заметил Иван Самойлыч тихо.

— Отвяжитесь вы от меня! — вскричал нужный человек, теряя терпение,— ну, пусть подымут на улице! я вам говорю: нет места, нет, нет и нет.

Иван Самойлыч вспыхнул.

— Так нет места! — закричал он вне себя, подступая к нужному человеку,— так пусть на улице подымут! так вот вы каковы! а другим, небойсь, есть место, другие, небойсь, едят, другие пьют, а мне и места нет!..

Но вдруг он помертвел, малый-то был он смирный и безответный, и робкая его натура вдруг всплыла наружу. Руки его опустились; сердце упало в груди, колени подгибались.

— Не погубите! — говорил он шепотом,— виноват — я! я один во всем виноват! Пощадите!

Нужный человек стоял как оцепенелый; с бессознательным изумлением смотрел он на Ивана Самойлыча, как будто не догадываясь еще хорошенько, в чем тут дело.

— Вон! — закричал он наконец, оправившись от изумления,— вон отсюда! и если еще раз осмелитесь... понимаете? Нужный человек погрозил, сверкнул глазами и вышел из комнаты.

VI

Иван Самойлыч был окончательно уничтожен. В ушах его тоскливо и назойливо раздавались страшные слова нужного человека: нет места! нет, нет и нет!

— Да отчего же нет мне места? да где же наконец мое место? Боже мой, где это место?

И все прохожие смотрели на Ивана Самойлыча, как будто исподлобья и иронически подпевали ему: «Да где же, в са-

мом деле, это место? ведь кто же нибудь да виноват, что нет его — места-то!»

Мичулин решился немедленно обратиться с этим вопросом к людям знающим, тем более что его мучили уж не одни материальные лишения, не одна надежда умереть с голода, но и самая душа его требовала успокоения и отдыха от беспрестанных вопросов и сомнений, ее осаждавших.

Знающие люди были не кто иные, как известные уж читателю Вольфганг Антоныч Беобахтер, философии кандидат, и Алексис Звонский, недоросль из дворян.

Оба друга только что пообедали и, сидя на диване, покуривали себе папироски. У Вольфганга Антоныча была в руках гитара, на которой он самым сладкозвучным образом тренькал какую-то страшную бравуру; у Алексиса плавала в глазах какая-то мутная влага, на которую он беспрестанно и горько жаловался, говоря, что она мешает ему прямо и бодро взглянуть в самые глаза *холодной, бесстрастной* и *безотрадной* действительности. Друзья, казалось, были в хорошем расположении духа, потому что говорили о будущих судьбах человечества и об эстетическом чувстве.

Оба друга равно стояли грудью за страждущее и угнетенное человечество; разница состояла только в том, что Беобахтер, как кандидат философии, непременно требовал ррразррушения... а Алексис, напротив того, готов был положить голову на плаху, чтоб доказать, что период разрушения миновался и что теперь нужно *создавать, создавать* и *создавать...*

— Ну, клади,— говорил Беобахтер самым равнодушным голосом, делая при этом обычное движение разжатою рукою сверху вниз и уже совсем приготовившись отмахнуть Алексису его легковесную голову.

Но Алексис головы не клал.

— Уж ты не коварствуй,— возглашал Беобахтер мелодическим голосом в ту минуту, когда вошел Иван Самойлыч,— ты не уклоняйся, а говори прямо: любишь или не любишь? любишь — так прочь их, с лица земли их — вот что! А иначе не любишь!

— Однако ж за что ж их с лица земли? — заметил, с своей стороны, Алексис,— я, право, никак не могу понять этой жестокости...

И действительно, по лицу Алексиса можно было угадать, что он точно никак не мог понять.

Кандидат философии крошечным сжатым кулачком описал самую незаметную дугу.

— И знать я ничего не хочу, и видеть ничего не хочу! — говорил он медовым своим голоском,— и не представляй ты

мне своих резонов! все это софизмы, любезный друг! Не любишь, говорю тебе, не любишь — и всё тут! Так бы и сказал с первого слова! Разрушить, говорю тебе, ррразрушить — вот что нужно! а прочее все вздор!

И господин Беобахтер сделал несколько аккордов на гитаре и запел совершенно особенную и крайне затейливую бравуру, но запел таким голосом, как будто гладил кого-нибудь по головке, приговаривая: «Паинька, душенька! умница, миленький!»

— Странно, однако ж!..— заметил после некоторого молчания, собравшись с мыслями, Алексис.

Беобахтер сделал совершенно незаметное движение плечами.

Буква *р* снова посыпалась в страшном изобилии.

— Странно, однако ж! — не переставал возражать, с своей стороны, Алексис, всякий раз все более и более собираясь с мыслями.

— Уж я тебя, подлеца, насквозь знаю,— говорил Беобахтер,— ведь ты «буржуазия», я тебя знаю...

На это Алексис отвечал, что, ей-богу, он не «буржуазия», и что, напротив того, для человечества готов всем на свете пожертвовать, и что если уж на то пошло, то, пожалуй, хоть сейчас же, среди белого дня, пройдет по Невскому под руку с необразованным невеждой мужиком.

— Ну, уж это будет не эстетически! — заметил господин Беобахтер.

— Ну, я не думаю,— отвечал Алексис, еще раз собравшись с мыслями.

— Что такое эстетическое чувство? — спросил господин Беобахтер, видимо намереваясь дать своим доказательствам вопросительную форму, столь часто употребляемую самыми знаменитыми ораторами.

Алексис задумался.

— Эстетическое чувство,— сказал он, собравшись с мыслями,— есть то чувство, которым в высшей степени обладает художник.

— Что такое художник? — столь же отрывисто спросил кандидат философии.

Алексис снова задумался.

— Художник,— сказал он, в последний раз собравшись с мыслями,— есть тот смертный, который в высшей степени обладает эстетическим чувством...

— Гм,— заметил господин Беобахтер,— прочь их! с лица земли их! Нет им пощады!.. я тебя знаю, всю твою душу насквозь вижу: ты подлец, ренегат...

— Странно, однако ж,— заметил Алексис.

Но Вольфганг Антоныч не слушал; он сделал аккорд на гитаре и сладким тенором запел известную: «Разгульна, светла и любовна», всячески стараясь выразить что-нибудь удалое, отколоть какое-нибудь отчаянное коленце, но решительно без всякого успеха, потому что коленце оказывалось самым смирным и снисходительным.

— А я к вам, господа, насчет одного дельца,— приступил Иван Самойлыч.

Беобахтер и Алексис начали вслушиваться.

Мичулин вкратце изложил им свои утренние похождения, рассказал, как он был у нужного человека, как просил о местечке и как нужный человек отвечал, что места ему нет, нет и нет... Затем Иван Самойлыч уныло поник головой, как бы ожидая решения знающих людей.

Но Беобахтер и Алексис упорно молчали: первый — потому что не вдруг мог отыскать в голове своей неизвестно куда завалившуюся сильную мысль, которую он давно уже припас и которая могла одним разом сшибить с ног вопрошавшего; второй — потому что имел благородную привычку всегда выждать мнение кандидата философии, чтоб тут же приличным образом возразить ему.

— Да ведь мне есть нужно,— начал снова Иван Самойлыч.

— Гм,— сказал Беобахтер.

Алексис начал собираться с мыслями.

— Конечно, он не виноват в этом,— продолжал Мичулин, с горечью вспомнив полученный утром от «нужного человека» жесткий отказ,— конечно, жизнь — лотерея, да в том-то и штука, что вот она лотерея, да в лотерее-то этой билета мне нет...

Беобахтер положил в сторону гитару и посмотрел ему пристально в глаза.

— Так вы меня не поняли? — сказал он с укором,— а прочли вы книжку?

Иван Самойлыч отвечал, что не имел еще времени. Беобахтер грустно покачал головой.

— Вы ее прочтите! — убеждал он самым меланхолическим тоном,— там вы все узнаете, там обо всем говорится... Все, что я вам ни говорил,— все это только предварительные понятия, намеки; там все полнее объяснено... но уж поверьте, тут иначе и быть не может! Или любишь, или не любишь: тут нет средины: я вам говорю!

— Однако ж это странно! — тотчас же возразил Алексис, хотя и не развивал далее своей мысли.

— Так вы думаете? — перебил Иван Самойлыч.

— Прочь их! с лица земли их! вот мое мнение! *Ррррр...*

— А вы как насчет этого дела? — спросил Мичулин, обращаясь к Алексису.

— Моя грудь равно для всех отверста! — отвечал Алексис совершенно невинно.

За сим водворилось глубокое молчание.

— Извините, что обеспокоил вас, господа,— сказал Иван Самойлыч, намереваясь удалиться восвояси.

На это знающие люди отвечали, что это ничего, что, *напротив,* они очень рады, и что если вперед случится какая-нибудь нужда, то смело обращался бы прямо к ним. При этом с немалым также искусством дано было ему заметить, что если между ними и существует некоторое разногласие, то это только в подробностях, что в главном они оба держатся одних и тех же принципов, что, впрочем, и самый прогресс есть не что иное, как дочь разногласия, и если их мнения не безусловно верны, то, по крайней мере, об них можно спорить.

Со всем этим Мичулин, конечно, не мог не согласиться, хотя, с другой стороны, не мог и не сознаться внутренно, что все это, однако ж, чрезвычайно мало подвигало его вперед.

На столе у себя он нашел тщательно сложенную записку. Записка была следующего содержания:

«Иван Макарович Пережига, *свидетельствуя свое совершенное почтение* его высокоблагородию Ивану Самойлычу, честь имеет иметь честь покорнейше просить его высокоблагородие, по случаю дня тезоименитства, пожаловать завтрашний день, в три часа пополудни, откушать обеденный стол».

С досадою отбросил он от себя затейливую записку и лег на кровать.

Но ему не спалось; кровь его волновалась; злоба кипела в груди, и все нашептывал тайный голос какую-то вкрадчивую и вместе с тем страшную легенду.

Вокруг все тихо; ни шороха не слышно в комнате соседки. Мичулин встал с постели и начал ходить по комнате — средство, к которому прибегал он всякий раз, когда что-нибудь его сильно тревожило.

А между тем ветер все шумит на улице, все стучится в окно к Ивану Самойлычу и совершенно вразумительно свистит ему в самые уши: «Озяб бедный ветер! пусти его, добрый человек, бог наградит тебя за это!»

И герой наш решительно не знает, кому отвечать: продрогнувшему ли ветру или комоду под красное дерево и картине, изображавшей, в противоречие свидетельству всей истории, погребение кота мышами, и уж не висевшей, а как будто бе-

гавшей по стене, потому что и комод и картина тоже, в свою очередь, допекали ужасно и насмешливо спрашивали: «А отвечай нам, отчего оно лотерея? какое твое назначение?»

Господин Мичулин хотел уж было извиниться, сказать, что он, дескать, человек и в этом качестве не может разорваться и удовлетворить разом все требования, но тут поднялся такой шум и гам; неуклюжий комод так настойчиво наступал ему на ноги, вертлявая картина так громко суетилась на стене, требуя немедленного удовлетворения, а с другой стороны, бедный ветер так продрог, дожидаясь на улице, что Иван Самойлыч решительно не знал, что ему предпринять.

А Наденька между тем вкушала в соседней комнате на маленькой своей кроватке то удивительное кушанье, полное разных десертов и неимоверно воздушных пирожных, которое называется сном. В ее позе было нечто необыкновенно грациозное и девственное; маленький, уютный ротик был полуоткрыт; булавочное ее сердечко быстро и усиленно билось в миньятюрной темнице своей.

Но она не обращала внимания ни на страстное буйство ветра, который, смотря на нее из окошка, злился и завывал, ни на полный томления взор молодого месяца, только что скинувшего с себя черную епанчу из туч, которая, на досаду, не давала ему до тех пор пощеголять перед людьми своею молодостью и удальством. Она спокойно спала себе, как и всякая другая смертная, и надо же какому-то злому недругу беспокоить и будить ее в эту сладкую минуту; надо же, чтоб какая-то безобразная белая фигура дернула ее за руку в самый патетический момент сна!..

Открыв заспанные глаза, Наденька немало струхнула. В околотке давно уже носились слухи насчет какой-то странной болезни, которая ходила будто бы из дома в дом в самых странных формах, проникала в самые сокровенные закоулки квартир и, наконец, очень равнодушно приглашала на тот свет.

Сообразив все эти обстоятельства, Наденька сильно встревожилась, потому что была крайне животолюбива и ни за что в свете не согласилась бы умереть. А привидение между тем не шевелилось и молча устремило на нее глаза свои. Наденька заключила, что дело-то плохо и что конец ее пришел невозвратно, и потому, простившись мысленно с ученым своим другом и поручив, кому следует, свою крошечную душу, обдумывала уж, какой даст *там* ответ в своем бренном и несколько легком земном странствии, как вдруг молодой и щеголеватый месяц взглянул прямо в лицо привидению.

— Так вы так-то! — вскричала Наденька, оправившись

внезапно от своего испуга и быстро вскочив с постели, несмотря на очевидную легкость своего костюма,— так вы вот как! вы не удовлетворяетесь тем, что по целым ночам стонете и не даете мне спать — вы еще и подсматривать вздумали! Вы думаете, что я не благородная, не мадам, так со мною все, дескать, можно! Ошиблись, сударь, очень ошиблись! Конечно, я простая девица, конечно, я русская, да не хуже иной барыни, не хуже немки; вот что-с!

И маленькие глаза ее горели, маленькие ноздри раздувались, маленькие губы дрожали от гнева и негодования... Но привидение, которое было не что иное, как сам Иван Самойлыч, вместо ответа издало чрезвычайно простой и односложный звук, более похожий на мычанье, нежели на вразумительный ответ.

— Я все понимаю! — бойко сыпала между тем Наденька,— все понимаю не хуже всякой другой... Бесстыдник, сударь, срамник!

Иван Самойлыч отвечал, но как-то отрывисто и бессвязно; и притом звук его голоса был так сух и беззвучно-бесстрастен, как будто ему и не шутя было больно и тошно жить на свете.

Говорил он все прежнюю свою историю, что вот, дескать, другие едят, другие пьют... всё другие...

Наденька слушала его в страхе и трепете; никогда она не видала его столь решительным; сердце ее упало; голос замер в груди; она хотела звать на помощь и не могла; умоляя, простирала она свои маленькие ручонки к лукавому нарушителю ее спокойствия; жалобен и безмолвно-красноречив был ее взор, взывавший о пощаде... Привидение остановилось.

— Так вам очень гадко со мною?..— сказало оно голосом, заглушаемым накипевшими в груди рыданиями,— так я очень противен?..

— Оставьте меня! — едва слышно шептала Наденька.

Привидение не трогалось; молча стояло оно у заветного изголовья, и невольные слезы непризнанной горести, слезы оскорбленного самолюбия, крались по впалым и бледным, как смерть, щекам его.

— Бог с вами! — сказало оно шепотом и медленно направило к двери шаги свои.

Наденька вздохнула свободно. Сгоряча она хотела было закричать и объявить всем и каждому, что вот, дескать, так и так; но — странное дело! — ни с того ни с сего почувствовала она, как будто в груди ее вдруг зашевелилось что-то такое, что, с одной стороны, очень и очень намекало на совесть, а с другой — могло назваться, пожалуй, и жалостью. Грустно

взглянула она вслед удаляющемуся Ивану Самойлычу и даже чуть-чуть не решилась позвать его назад, чтоб объяснить ему, что не виновата же и она, что дело такой оборот приняло... и все-таки ничего не сказала, а просто посмотрела, как он вышел из комнаты, заперла поплотнее дверь, покачала головой, прибрала с полу две или три завалявшиеся бумажки и снова легла почивать.

А ветер по-прежнему дрогнул на дворе и стучался в окна бедных обитателей бедного «гарнира» и молил их, чтоб они пустили его обогреть окостеневшие от стужи руки — и по-прежнему никто не хотел сжалиться над его сиротскою участью... С другой стороны, юный месяц все еще гулял по небу, подсматривая во все окна, как гуляет иногда по Невскому щеголь из должностных, тоже подсматривающий в окна великолепных магазинов, а по временам и подмигивающий какой-нибудь красотке, живущей своими трудами и летящей, как муха, с картонкой в руках... Словом, все было благополучно; даже пьяный мужик преспокойно лежал себе посреди самой улицы и не был поднят.

VII

Именинный обеденный стол был устроен на славу. Шарлотта Готлибовна не пожалела ни трудов, ни издержек, чтоб угодить своему любезному кавалеру. Она истоптала себе все ноги, но к трем часам все уж было готово. Даже она, сухопарая и продолговатая хозяйка, приличным образом подкрасившись, рисовалась в столовой, производя приятный для слуха шум своею накрахмаленною, как картон, юбкою.

Когда Иван Самойлыч явился в столовую, вся компания была уж налицо. Впереди всех торчали черные, как смоль, усы дорогого именинника; тут же, в виде неизбежного приложения, подвернулась и сухощавая и прямая, как палка, фигура Шарлотты Готлибовны; по сторонам стояли известные читателю: кандидат философии Беобахтер и обольстительный, но несколько апатический недоросль Алексис под руку с девицей Ручкиной.

Казалось, Наденька была совершенно довольна своею судьбой, потому что очень любила порядочную компанию и вообще чувствовала некоторый недуг к людям, которые не принадлежали к так называемой швали — мастеровым, лакеям, кучерам и далее до бесконечности.

Конечно, рассуждая строго, происхождение Шарлотты Готлибовны было покрыто весьма густым мраком неизвестности, но Наденька смотрела на этот предмет особенно снисхо-

дительно. Она, разумеется, не могла не допустить, что Шарлотта Готлибовна, действительно, не русская...

И теперь, как и всегда, Иван Макарыч шутил над ученым Алексисом, приговаривая:

— А подлец Бинбахер-то! Знать ничего не хочет! ничего, говорит, не надо! все уничтожу, всё с глаз долой! А всё немцы! хитрые немцы!

И, по обыкновению, Шарлотта Готлибовна, потупив глаза, отвечала: «О, ви очень любезни кавалир, Иван Макарвич!» и, по обыкновению, осталось покрыто мраком неизвестности, что̀ именно разумел господин Пережига под словом Бинбахер.

— А не выпить ли нам водочки, мадам? — возопил именинник, обращаясь к Шарлотте Готлибовне,— ведь нынче времена-то опасные! слышь ты, холера по свету бродит! а вот мы ее, холеру! вот мы ее! по-свойски-то, по-нашему!

И действительно, холера, вероятно, сильно поморщилась, когда господин Пережига вытянул одним глотком огромную рюмку, которую он, не без едкости, называл стаканчиком на ножке.

За обедом было очень весело; лица всех смотрели как-то благоприятно и ободрительно. Алексис беспрестанно, и кстати и некстати, улыбался; Беобахтер тоже не делал обычного движения рукою сверху вниз; Пережига же всех по чести уверял, что Бинбахер ничего не знает, потому что немец, а вот у него спросите, так он — русский и знает, да еще так знает, что у Шарлотты Готлибовны от одной этой мысли закатывались под лоб глаза.

— У, как я был на своей-то стороне! — гремел он, с самодовольным видом покручивая усы,— то-то было время! то-то житье было! истинно скажу, уж было житье! Одних зайцев больше тысячи передушил, а уж про другую, про мелкую-то дичину, и говорить нечего!

Иван Макарыч с особенным наслаждением напирал на слово «дичину», но что хотел он сказать им — осталось тайной.

— Я вам скажу,— продолжал он,— у меня был двор!.. то есть, что̀ все эти здешние дворы! просто дрянь! Одних егерей было человек пятьдесят! Музыканты свои были! Театр домашний был! плясуньи были, комедии представляли! Вот оно, какое житье-то было! любезное житье!

Конечно, Иван Макарыч большую половину прихвастнул, но присутствующие из учтивости почли долгом не возражать ему, а Шарлотта Готлибовна даже совершенно была уверена в истине слов своего любезного кавалера и с непритворным участием вмешалась в разговор, сказав в скобках:

— О, это, должно быть, ужасно чудесно было!

— Уж так чудесно, что просто невозможно! Уж я вам скажу, такие были актеры — просто на славу! Вся губерния съезжалась смотреть — истинно вам говорю!

. . . .
. . . .
. . . .

По поводу актеров господина Пережиги разговор перешел вообще к оценке эстетических и других способностей человека, и при этом развивались гостями самые мудреные и затейливые мысли.

Беобахтер, махая ручонкою сверху вниз, говорил самым приятным и вкрадчивым тенором, что человек-то он, конечно, ничего, а все-таки не дурно, и даже полезно, если «прихлопнет» да «притиснет». Буква *р*, по обыкновению, играла и тут весьма немаловажную роль.

Алексис болтал во рту языком и безотчетно размахивал во все стороны руками.

Шарлотта Готлибовна утверждала насчет этого предмета что-то столь жестокое и обидное, что Наденька почла за долг вступиться и тут же колко дать ей почувствовать, что она хотя и благородная немка (о! никто в этом не сомневается!), и хотя «всем, конечно, известно», что в *ихней* земле водятся дворяне, но, мол, ведь и в других землях отнюдь не все же мастеровые или чумички какие-нибудь... о нет, далеко не все!

Весь этот шум покрывался густым басом Пережиги, который смело утверждал, что все это вздор, что тут «иначе» быть нельзя и что у него, дескать, спросите, так он знает и мигом все объяснит.

— А скажите, пожалуйста,— начал между тем Иван Самойлыч, очевидно стараясь исподволь дать разговору интересующий его оборот,— вот вы, Иван Макарыч, вы человек опытный, бывалый... Вот хоть бы у вас: ведь, я думаю, у каждого из них было свое особенное назначение, своя особенная, так сказать, роль в жизни?..

— Разумеется, было! чего на свете не бывает! — отвечал Иван Макарыч, от частых возлияний одобрительно кивая на все стороны головой,— известно,— один псарь, другой егерь, третий просто чумичка! Как не быть!

И опять пошли толки о трудности отыскать человеку, в бренной его жизни, назначение. Пережига отзывался, что тут вообще «поломаешь-таки себе голову», и действительно, в то же время начал с таким рвением ломать себе голову при виде беспрестанно возрастающих и вновь отвсюду восстающих затруднений, что непременно погиб бы в этой борьбе, если бы

не спас его известный стаканчик на ножке, которому он не переставал свидетельствовать свое почтенье.

— Мое тут мнение вот какое! — вмешался господин Беобахтер,— все это вздор, а нужно — вот...— И махнул рукою сверху вниз.

Хотя последние слова были сказаны особенно мелодическим тенором, но Алексис не преминул возразить своему ученому противнику, сказав, что он не видит, почему непременно — «вот», и что гораздо будет лучше, если для всех равно отверсты объятия. При этом Алексис размахивал руками и действительно для всех отверзал объятия.

— Так вот вы изволили заметить,— снова обратился Мичулин к Пережиге,— что один чумичка, другой егерь... ну, это понятно: они уж люди такие — ну, и роли по них... А вообще-то как вы понимаете? — то есть вообще-то человеку какая роль предстоит в жизни? Вот хоть бы мне, например,— прибавил он в виде предположения.

И умолк.

И все гости тоже сурово молчали, как будто никто и не предвидел со стороны господина Мичулина подобного философического вопроса.

— Мое мнение вот какое,— разразился наконец сладкозвучный Беобахтер,— прочь всё — вот!..

И на этот раз Алексис, по обыкновению, отозвался, что *никак не может понять этого ригоризма* и что гораздо лучше, если для всех равно отверсты объятия.

Но сомнение все-таки осталось сомнением, и запутанное дело ни на шаг не подвинулось вперед.

— Так как же вы думаете, Иван Макарыч? — снова навязывался Мичулин.

— Это уж вы вот у них спросите,— лаконически отвечал Пережига, закрывая глаза от излишества возлияний,— это им будет лучше известно!

С этим словом Иван Макарыч, а за ним и все гости, вышел из-за стола.

Но именинник сильно ошибался, если в числе таинственных «их» разумел и ученого Алексиса.

Алексис, казалось, так сильно желал всякого счастия дорогому имениннику, что от полноты чувства едва мог болтать во рту языком.

— Ты не горюй, друг,— говорил он, обращаясь к Ивану Самойлычу,— ты друг, я тебя знаю; ты смирный и кроткий — вот!.. вот он — так буйный, я знаю, чего он хочет! да вот не дадут же тебе ничего! да! вот же назло тебе для всех отверсты объ-я-тия!.. да... объ-я-ти-я...

Наденька села возле него, начала усовещивать, уговаривала, чтобы он был хоть мало-мальски поумнее, но Алексис ничем не трогался, потому что в нетрезвом виде непременно считал долгом пускаться в конфиденции и обнажать догола свою крохотную душу.

— Ты оставь, ты отойди от меня, хороший, милый ты человек,— говорил он, вертя головою,— ведь я знаю, что ты про меня думаешь, что и он... вот тот, что от философии-то... я все знаю, да плевать я... Я сам знаю, что глуп, сам это чувствую, милый ты человек, сам вижу... Ну, что ж! глуп так глуп... уж такая, видно, слабая моя голова.

И захохотал, как будто бы и сам от всей души поздравлял себя с тем, что глуп и слабоголов.

Беобахтер, с своей стороны, не возражал ничего, потому что сам чувствовал в сердце приятную веселость и махал рукою уж не сверху вниз, а снизу вверх.

— Да уж ты не скрывайся... ты! от философии! — продолжал между тем Алексис,— ведь я вижу... я вижу, что ты меня презираешь... ну, презирай! Ведь я сам чувствую, что достоин презрения... дру-уг! да ведь что ж делать, коли голова-то слаба? голова-то, голова, вот что!..

— Ну, нализался же ты, брат,— лаконически заметил Иван Макарыч.

— А еще барин! туда же барином зовется! — подхватила девица Ручкина.

— Уж какой же я барин! — жаловался в ответ Алексис,— барин!.. самому иногда есть нечего — барин! Сапогов нет — барин!.. Пальто на плечишках изорванное — барин!.. Вот те и барин! да уж я вижу, что ты меня презираешь!.. ты! от философии!

И снова воображение Алексиса начало рисовать ему самые горестные картины, и снова пуще прежнего начал он жаловаться на свою слабую голову, на судьбу, на одного таинственного незнакомца, обсчитывавшего его по литературной части, и ко всему прибавлял — барин!

Наконец девица Ручкина почла долгом увести его в свою комнату.

Уныло посмотрел Иван Самойлыч вслед расходящимся гостям. Он видел, как Иван Макарыч пошел под руку с Шарлоттой Готлибовной, как Алексис, с своей стороны, пошел с Наденькой — тоже под руку... Да и философии кандидат Вольфганг Антоныч Беобахтер поспешно надел шинель и отправился на улицу, вероятно с тем намерением, чтоб пройтись с кем-нибудь — тоже под руку!..

И он тоже шел под руку, но не с Наденькой и даже не

с Шарлоттой Готлибовной, а с каким-то бестелесным и чрезвычайно длинным существом, называющимся: «Что́ ты такое? какое твое назначение?» — и так далее,— существом уродливым, которое, несмотря на видимую свою бесплотность, страшно оттянуло ему обе руки.

VIII

Разгоряченный вином и горестными мыслями, вышел Иван Самойлыч на улицу. На дворе стоял трескучий мороз, который в Петербурге весьма часто следует за самою несносною слякотью; извозчики, съежившись в клубок, проминались по укатанной дороге и хлопали в ладоши. В окнах высоких домов мелькали огни... приветные огни... Огни эти так гостеприимно манили к себе прозябнувшего и посиневшего на стуже странника, извозчики так тоскливо и вместе недоверчиво смотрели на них... Оборванному и оглоданному всегда кажется, что огонек как будто бы именно *на него* с особенною приветливостью глядит из окна...

Но Иван Самойлыч не думал ни об огнях, ни об извозчиках. Машинально шел он себе в легкой шинелишке своей, как будто бы вовсе и не чувствовал холода; в голове его было совсем пусто, одна только мысль чудовищно раскинулась в его воображении,— та мысль, что у него всего-навсе остался в кармане один целковый, а между тем надо жить, надо есть, надо за квартиру платить...

Но холод все-таки делал свое дело. Как ни закован был Иван Самойлыч в тройную броню неудач и лишений, но не мог не почувствовать покалываний и пощипываний своего привычного друга. Очнувшись невольно, он увидел перед собою огромное снеговое пространство, более похожее на поле, чем на городскую площадь. Посредине поля возвышалось великолепно освещенное каменное здание; у подъездов суетились кареты, сани, возки, кричали кучера и лакеи; там и сям под навесами пылали зажженные костры. А холод между тем щипал лицо, ломил череп, резал глаза; шинелька защищала плохо и скудно...

Вид залитого светом здания сильно расшатал вожделение в окоченевшем теле Ивана Самойлыча; он вспомнил про целковый, бывший у него в кармане, и потом, по какому-то безотчетному побуждению, взглянул на разложенные костры... костры пылали красным пламенем и далеко по площади расстилали густой и едкий дым...

«Что ж... можно и тут обогреться!» — подумал Иван Самойлыч.

Но странная, искусительная мысль блеснула вдруг в голове его; секунду, не более как секунду, стоял он в раздумье; потом вынул из кармана целковый, с ожесточением взглянул на него — и в одно мгновенье ока был уж у кассы театра и покупал себе билет в пятом ярусе.

Как нарочно, в этот день давали какую-то героическую оперу. В театре народу была куча; с шумом растворялись и запирались двери лож; смутный и густой говор носился по огромной зале от партера и до райка.

Иван Самойлыч очутился посредине между одним бравым офицером, защитником отечества, и какою-то довольно красивою, но сильно намазанною девицей.

С злобою смотрел он вниз на беспрестанно наполнявшиеся ложи, на дам в кокетливых нарядах, которые влетали в них подобно легким и прозрачным видениям... Голодному да измерзшему и ступа покажется легким видением — была бы только богато наряжена!

Но вот и говор утих. Посреди всеобщего безмолвия вдруг послышался отдаленный горный рожок; в каком-то полусне начал прислушиваться Иван Самойлыч к простой и жалобной мелодии его. В памяти его вдруг воскресли давнишние годы его детства, необозримые и ровные поляны, густой сосновый лес; синее озеро, лениво расплескивавшее свои волны, и посреди всего этого самая беззвучная, глубокая тишина, и только рожок, именно рожок, назойливо звучит в самое ухо, и именно ту же самую простую и трезвую мелодию. Но вот рожку начинает вторить флейточка, к флейточке нерешительно присоединяется скрипка — и вдруг звуки начинают расти, расти, и наконец целые потоки их вырвались с шумом из оркестра и заходили по зале.

Загудели контрабасы, тоскливо жаловались на судьбу нежные флейточки; назойливо пилили и рвали душу скрипки; отрывисто и сухо командовал барабан.

Герой наш ожил; бледный, притаив дыханье, упивался он жалобным стоном флейты, отчаянным воплем скрипки; все нервы его были в каком-то болезненном, небывалом напряжении, голова горела, губы и глаза были сухи, во всем существе его разыгрывалась такая же буря, какая происходила в оркестре.

— Вот это так хорошо! так их! руби их! мо-шен-ни-ки, хри-сто-про-давцы! — шептал он, сам хорошенько не сознавая, почему бравурная музыка напомнила ему мошенников и христопродавцев.

— Что ж? хлопайте! выражайте же свое удовольствие! — заметил на ухо Мичулину сидевший сзади какой-то сын природы с огромными усами и бородой.

Занавес был поднят; на сцене, неизвестно о чем, но очень складно, толковала густая толпа; потом толпа расступилась, и какой-то господин начал что-то петь. У Ивана Самойлыча не было ни либретто, ни обязательного соседа; поэтому он очень немного понял из всего этого. Однако ж по всему было видно, что господин был доволен собою и немало сочувствовал восходящему солнцу, потому что сильно разводил руками.

— Фразы, брат! вздор все это! знаем мы! — говорил господин Мичулин, на которого, видимо, начал действовать образ мыслей Беобахтера,— знаем мы эту природу! ты нам давай барабанов — вот что!

И барабан не заставил себя ждать; музыка снова загремела полным оркестром, и снова гром заходил и заколыхался волнами по зале.

— Выражайте же свое удовольствие! — приставал упомянутый выше сын природы.

Ощущение, произведенное этой громкой, но вместе с тем глубоко-стройной музыкой, было как-то странно и ново для Ивана Самойлыча. Он никак не ожидал, чтоб за звуками могла ему слышаться толпа,— да и какая еще толпа! — вовсе не та, которую он ежедневно привык видеть на Сенной или на Конной, а такая, какой еще он не видывал, и, что всего страннее, возможность которой он вдруг начал весьма ясно и отчетливо сознавать.

— Да, дело-то было бы лучше! — думал он, прогуливаясь в антракте по коридору,— тогда бы, может быть, и я...

И он не оканчивал своей фразы, потому что и без дальнейшего объяснения очень хорошо и отчетливо постигал, что̀ было бы тогда.

Но вот оркестр снова заиграл. Сначала происходили неизбежные объяснения любовников; какая-то тощая госпожа, маринованным в уксусе голосом, преизрядно передавала смирному и безответному клеврету свои чувства; клеврет слушал совершенно равнодушно и только ждал случая, чтоб дать тягу за кулисы. Потом вприпрыжку выбежал из-за кустов как будто нарочно тут же очутившийся господин в бархатной кацавейке...

Мичулин все время отрицательно кивал головой, находя, по-видимому, что все это фразы...

Но вот на сцену спустилась ночь; красноватая луна горела на холстинном небе; озеро синело вдали; все деревья

будто притихли и притаились в ожидании чего-то страшного, необыкновенного; нигде ни шороха, ни шелеста...

И вдруг, посреди безмолвия, раздается оклик, и снова все стихло; вот и еще оклик, и еще, и еще... деревья как будто оживились и выпрямили сонные верхушки свои; озеро заходило холстинными волнами; луна горит все краснее и краснее...

Снова целый гром на сцене, снова все волнуется и колышется, и слышатся Ивану Самойлычу и выстрелы и стук сабель, и чуется ему дым...

С волнением смотрит он во все глаза на сцену; с судорожным вниманием следит за каждым движением толпы; ему и в самом деле кажется, что вот наконец все кончится; он хочет сам бежать за толпою и понюхать заодно с нею обаятельного дыма... С особенною нежностью смотрит он на молодого человека, раздирающим голосом молящего оставить ему его любовь и наивные мечтанья... Он так юн, так свеж еще, молодой человек! ему так жалко вдруг расстаться с своими обаятельными кумирами; ему хотелось бы еще долго обманывать свое сердце и убаюкивать себя золотою мечтой. Но тщетны все его усилия: истина налицо; она трезво и без страха снимает с души его лишние покровы... И грустно повторяет горное эхо вопль юноши, последний вопль!..

. . . .

Вот что говорили звуки душе Ивана Самойлыча.

Но барабаны и выпитое за обедом вино порядочно-таки расшатали его воображение. Быстрыми шагами шел он по улице, напевая какой-то вовсе недвусмысленный мотив и сильно стараясь подделаться под барабан. Рядом с ним очутился и сын природы, который сидел сзади его в театре. С сыном природы шел еще какой-то господин, который беспрестанно кивал утвердительно головой и улыбался.

— Ну, что, как вам понравилась опера? — приступил сын природы к Ивану Самойлычу,— а ведь с перчиком опера-то? а? как вы насчет этого?

— Да; я думаю, что если б...— процедил Иван Самойлыч сквозь зубы.

— Уж и не говорите! я сам об этом много думал, да вот нас-то мало... вот что! А я уж думал об этом, как не думать! спросите вон хоть у него. Антоша! друг! приятель! ну, скажи, ведь думал я об этом?

Антоша поспешно закивал головой и выставил ряд весьма острых и длинных зубов.

— Рекомендую вам его! — продолжал сын природы, подводя к Ивану Самойлычу Антошу и почти насильно соединяя

их в одни общие объятия,— благороднейший человек! Я вам скажу, мы много с ним думаем, черт возьми! чудеснейшая душа! и как сострадает! право, никто так не сострадает! Антоша! друг! приятель!

Антоша осклабился.

— Очень рад,— пробормотал Иван Самойлыч, совершенно сконфуженный такою бесцеремонностью.

— Вам, может быть, странна такая откровенность? — говорил между тем господин с усами и бородой,— я вам скажу, вы не удивляйтесь,— я сын природы! я прост, так прост, что... да уж словом сказать, сын природы! уверяю вас... Антоша, а Антоша? друг! что ж ты ни слова не скажешь? душегубец ты, душка ты этакой!

Антоша, услышав знакомые ласковые эпитеты, кивнул головою так сильно, что чуть не расшиб себе лба о надолбу тротуара.

— Ведь я замечал за вами в театре-то,— продолжал сын природы,— я видел, что подле меня *человек* страдает, вот что! Ну, и открыл объятия, ей-богу открыл! Я сын природы, а уж откровенен-то, откровенен: меня даже раз, знаете, постегали за откровенность! Да нет, уж это, видно, нрав такой: опять, сударь, сделался откровенен, да еще откровеннее прежнего.

Молчание.

— Так как вы думаете, не соединиться ли нам в одни общие объятия? а? ведь как заживем-то! лихо, ей-богу, лихо заживем... Братство — канальство! братство — вот моя метода! больше знать ничего не хочу! то есть отнимите у меня братство — просто ничего не останется, просто дрянь дрянью сделаюсь!.. Так, что ли? братство, что ли? Эх, канальство, да отвечай же, ракалья, забулдыга ты этакой!

И едва начал Иван Самойлыч соображать, каким образом мог он вдруг возбудить в постороннем человеке столько симпатии к себе, как уж сын природы тискал его в своих объятиях и словно жесткою щеткою драл ему щеки своими усами и бородою, беспрестанно приговаривая: «Вот так люблю! разом гебя понял! разом увидел, что ты такое! у, да наделаем же мы им теперь вместе дела!»

— Да ну, полезай же! — говорил он, обращаясь к приятелю Антоше и сталкивая его с Иваном Самойлычем.

Антоша всем телом кинулся в объятия оторопевшего героя нашего.

Путники очутились около одного дома, которого окна были ярко освещены. Сын природы остановился.

— А не запечатлеть ли нам? — спросил он с таким видом,

как будто у него вдруг родилась чрезвычайно светлая и благотворная мысль,— Антоша! приятель! друг! ведь запечатлеть? а?

И он мигал глазами вычурной вывеске, на которой в живописном беспорядке красовались бильярд, чашки, окорок ветчины с воткнутою в него вилкою и графины с водкой.

Антоша три раза улыбнулся и шесть раз кивнул головой.

— Ну, а ты? — обратился сын природы к Ивану Самойлычу.

— Я не знаю,— бормотал Мичулин,— я забыл... я бы с радостью, да вот ведь забыл...

— Антоша! друг! а друг! про что это он говорит? а? ведь он про деньги, кажется, говорит, изменник, прррредатель!

— Ка...— заговорил Антоша и не кончил, а только клюнул кончиком носа в стену.

Сын природы стал перед Иваном Самойлычем, расставил ноги, уперся руками в бока наподобие ферта, взглянул ему в глаза с видом горько-уязвленной дружбы и с упреком замотал головой.

— А, так вот ты каков, предатель! Деньги! разве я спрашивал у тебя денег! спрашивал? а? так вот я же тебя — деньги! Антоша! друг!

И оба друга мгновенно взяли Ивана Самойлыча под руки и быстро потащили его вверх по тускло освещенной лестнице.

Мичулин совсем растерялся. Он еще в первый раз видел к себе столько сочувствия, столько горячей симпатии. И в ком? в людях совершенно ему чужих, в людях, которых ему довелось всего раз только видеть, и то мимоходом.

Половые засуетились. Машина заиграла.

— Эй, малый! — кричал сын природы,— да что это она, братец, там у вас размазню какую-то играет! ты нам давай барабанов — вот что! э? с барабанами есть?

— Никак нет-с,— отвечал половой, бодро потряхивая кудрями.

— Отчего ж нет?

— Да не требуется,— отвечал половой.

— Не требуется? Э, брат, видно, к вам народ-то такой, людишки-то всё такие — размазня — ходят! Нет, брат, мы вот втроем, мы души крепкие, закаленные... Антоша, а Антоша! друг! закаленные души, а?

— О-о-ох! — жаловался сын природы, покручивая усы,— времена-то наши еще не пришли, а то бы чего-чего мы втроем не наделали! Ей-богу, так! Свет бы наизнанку выворотили! Слышь ты, осел! слышишь, олух? — продолжал он, обращаясь к половому,— вот мы втроем какие люди! так ты давай нам

барабанов, бравуру давай — вот что! понимаешь? Ну, проваливай, да неси скорее, что там у вас есть.

Половой усмехнулся, тряхнул головой и пробормотал про себя: «Чудные вы, право, господа!»

Через минуту стол был уставлен бутылками, графинами и стаканами. В стороне скромно стояла закуска.

— Уж я таков есть! — говорил сын природы, наливая стаканы,— я вот весь тут на ладони, что хочешь со мною делай! Любишь — друг, не любишь — бог с тобою! а я уж тут весь, как есть, сын природы! Ни лукавства, ни хитрости!

Иван Самойлыч выпил — горько.

— Да ну, пей же! она, водка, откровенная! вот и я откровенный! вот и постегали меня раз, а все-таки откровенный — не могу, нельзя мне иначе! Антоша, Антоша! — продолжал он с укором,— и ты друг после этого? и тебе не стыдно, а? дар природы стоит перед тобою, и тебе не совестно? А друг! ай да друг! Ну, осрамил, брат!

Антоша выпил одним разом.

И пили они много, и долго пили. Иван Самойлыч и не помнил счета; едва опоражнивал он стакан, как перед ним вырастал новый и совершенно полный. Смутно, как будто во сне, мерещились ему тосты, предлагаемые зычным голосом сына природы.

Иван Самойлыч потерял всякое чувство. Он видел, правда, что сын природы как будто собрался куда-то выйти с Антошей и что-то указывал на него половому, но ничего не понял из всех этих жестов и разговоров.

Когда он проснулся, на дворе было уж светло. На столе лежали объедки вчерашней закуски, стояли графины с недопитой водкой. В голове его было тяжело, руки и ноги дрожали.

Он начал припоминать себе происшедшее, искал глазами своих товарищей, но в комнате не было никого. Внезапно в душу его закралось тревожное сомнение. «Что, если это мошенники! — подумал он,— что, если они завели меня, чтоб поужинать, да потом, напоивши, и оставили меня под залог?»

Эта мысль мучила его; на цыпочках подошел он к двери и приложил ухо к замочной скважине. В соседней комнате слышались ругающиеся голоса заспанных половых. Он вышел из засады и спросил шинель.

Начали искать шинель — шинели не оказалось; Ивана Самойлыча точно варом обдало. Половые засуетились; поднялась беготня, но ничто не помогало: шинель никак не отыскивалась.

— Да вы с кем приходили? — спросил буфетчик.

— Я не знаю; я первый раз их видел.

— Мошенники! Лизуны какие-нибудь!

— Да как же я без шинели-то?

— Не знаю,— отвечал буфетчик с расстановкой,— уж видно, так без шинели придется... ночью-то оттеплило... Да вот еще счетец не заплатили...

Язык Ивана Самойлыча прилип к нёбу.

«Сон в руку»,— подумал он и всем телом затрясся.

— Так прощайте... я уж так,— сказал он, направляясь за двери.

— А как же счетец-то? — возразил буфетчик.

— Да я не знаю... это они,— бормотал Иван Самойлыч и все шел к двери.

Но его не пустили; Мичулин вздумал было силой прорваться на лестницу; но два дюжие парня крепко держали его за руки и не хотели никак выпустить. Началась борьба; отчаянье, казалось, удесятерило его силы; он уже заносил ногу за порог, он был уж на лестнице, как вдруг у самого его носа, неизвестно откуда, вырос удивительного размера городовой, а в ушах пренеприятно зазвучало: «А куда ты, шаромыга, лезешь?»

На такую апострофу Иван Самойлыч почел за нужное отвечать, что он вовсе не шаромыга, а привык, дескать, к обращению деликатному и тонкому; но городовой, по-видимому, и знать не хотел деликатного обращения. Ему вдруг очень ясно представилось, что шаромыга-то ведь грубит, тогда как на самом деле Иван Самойлыч только оправдывался и объяснял, что вот, дескать, так и так, и больше ничего...

— А! ты еще грубить! ты еще рассуждать! Эй, кто там! взять его и распорядиться!

Не успел господин Мичулин оглянуться, как подле него очутилось три помощника, хотя и гораздо меньших размеров, нежели городовой. Все четверо схватили его и повели на улицу.

Тщетно умолял Иван Самойлыч городового отпустить, тщетно соблазнял он его, показывая в руке уцелевшие у него два двугривенных... тщетно! городовой бесстрастно шел возле, и не только понуждал его за рукав, но даже для того, чтоб публично выразить свое бескорыстие, орал во все горло:

— И, что ты! бог с тобой! да я тебя за сто рублев не выпущу! Ты, брат, знай свои порядки, ты, брат, слушайся, коли начальство приказывает — вот что! а не то что грубить да перечить! Уж этого, брат, нам совсем не надо!

А народу собралась целая толпа, а в толпе-то смех, в толпе-то веселье! взяли, дескать, барина в немецком платье!

— Эвося! — говорит бородатый молодец, уже поднявший было полу своего бараньего тулупа, чтоб утереть нос, и оставшийся в положении совершенного изумления,— глянь-ко, брат Ванюха! глянь-ко, кургузого ведут!..

— Что, видно, ваша милость прогуливаться изволите? — подхватывает другой, тоже, по-видимому, очень бойкий молодец.

— Ги-ги-ги! — отозвался известный Ивану Самойлычу голос девушки, жившей своими трудами.

— Наше вам почтение! — подхватил близ стоявший белокурый студент.

— Ха-ха-ха! — раздалось в толпе.

Мичулин был ни жив ни мертв. Что скажут об нем знакомые? — а знакомые непременно все тут, стоят себе рядом и смотрят ему прямо в лицо... Что скажет Наденька? — а Наденька непременно здесь, и уж наверное думает, что он, позабывшись, сходил за платком, вместо своего, в чужой карман... О! это очень горестно!.. И он снова вынимал из кармана заветные двугривенные, снова перевертывал их в глазах городового, стараясь, чтоб на них ударил как-нибудь солнечный луч и сообщил им ослепительный, неотразимый блеск.

Наконец его втолкнули в какую-то темную, преисполненную тараканами каморку; но и тут заклятые гонители не оставили его.

— Отпустите меня! — жалобным голосом вопиял Иван Самойлыч одному из приставников своих, называвшемуся Мазулей,— голубчик! почтеннейший! отпустите меня! Уж я после отблагодарю вас, почтеннейший! Вечно, всю жизнь буду вам благодарен, голубчик!.. Посудите сами: ведь я не какой-нибудь...

— Ах, друг ты, право, дру-уг! — отвечал Мазуля тоном, впрочем, довольно мягким,— ну, чего ты просишь, душа ты беспардонная! порядков ты не знаешь, дру-уг! Ты сади-ись! ты на народ посмотри! ведь тебя потреплют, потреплют — да и марш! Вот что! дру-уг! то-то, друг ты! душа беспардонная! а ведь мне...

И сердобольный наставник обратился к окошку.

— Борода́укин! а Бородаукин! — кричал он стоявшему снаружи товарищу,— куда, брат, рожок-то спрятал? смерть хочется — нос совсем свело! То-то, дру-уг, порядков-то ты не знаешь! ахти-хти!

Дверь отворилась, и просунутая дружелюбною рукою Бородавкина тавлинка открыла дары свои охотнику до сильных ощущений Мазуле.

— Да чем же все это кончится? — спрашивал сквозь слезы Иван Самойлыч.

— Известно чем! — отвечал Мазуля флегматически,— известно чем! нáбольший раза два стукнет, да и отпустит — вот чем!

Наступило молчание.

— А может, и три стукнет! Как ему вздумается! — сказал наставник, подумав немного.

Новое молчание.

Иван Самойлыч был в самом мучительном положении. Что ж он, в самом деле, такое, что его судьба так неумолимо преследует? Уж не принц ли он какой-нибудь, свергнутый с престола посредством крамолы властолюбивого царедворца и скитающийся теперь инкогнито? Но в таком случае он был готов сейчас же, и за себя, и за своих наследников, отказаться от всяких претензий на все возможные блага, только оставили бы его в покое в эту минуту.

А между тем вошел и Бородавкин. О, как жесток он был с Иваном Самойлычем! как презрительно и обидно обращался он с ним! И первым оскорблением было то, что он, без всяких церемоний, стал скидать перед ним свое платье, и в сотый раз не узнал своей шинели, хотя в сотый раз уж держал ее у себя в руках; в сотый раз оглядывал и перевертывал ее на все стороны — и все-таки никак не мог узнать,— и снова искал, и снова не находил.

— Да где же она? — спрашивал он сам себя, прибавив к этому несколько резкое выражение,— да куда ж она подевалась, распроклятая?

— Да она у вас в руках! — осмелился заметить Иван Самойлыч, но осмелился чрезвычайно робко и мягко, как будто бы делал страшное преступление.

— В руках? — ворчал Бородавкин себе под нос, как будто и не слыхал, что замечание исходило со стороны Ивана Самойлыча,— а кто ее знает? может, и в руках! Вот как не нужно ее, распроклятую,— так и лезет, так и лезет! глаза колет! а как нужда — тут ее и нет! Право, так! Хитер, лукав нынче сделался народ! Ну, полезай! да полезай же, тебе говорят!

— Да когда же все это кончится? — спросил Мичулин.

Бородавкин пристально взглянул на него и отвернулся.

— Чем же я виноват? посудите сами! Ведь я ничего, право, ничего...

Бородавкин не отвечал.

— Да чем же все это кончится? — снова вопиял Иван Самойлыч.

— Ты садись! — проговорил Бородавкин лаконически.

— Посудите сами, почтеннейший! ведь я просто так... за что ж?

— Ты, брат, совсем как малый ребенок! — возразил Бородавкин,— ничего ты не понимаешь, никакого порядка! Ну, чего ты хнычешь? ты садись!

— Да посудите же сами, голубчик... ведь я человек образованный...

— Образованный! ну, какой же ты образованный, коли порядков не знаешь, нáбольшему согрубил? А образованный! да ты садись, а я с тобой и говорить-то не буду, и слушать-то тебя не хочу!

И Бородавкин погрузился в размышления.

— Ведь мне, брат,— вот что! — сказал он подобно Мазуле, подумав несколько времени.

Наконец Ивана Самойлыча повели; проводники снова шли по сторонам. Вели его что-то долго, очень долго; на дороге встречались разные лица, которые оборачивались и насмешливо поглядывали на бледного и чуть живого от стыда героя этой повести.

— Должно быть — мошенник! — говорил франт в коричневом пальто и с столь же коричневым носом.

— А может быть, и государственный преступник! — отвечал господин с подозрительною физиономией, беспрестанно оглядывавшийся назад.

— Мошенник! я вам говорю — мошенник! — возразило с жаром коричневое пальто,— просто платки воровал! Посмотрите, что за рожа! За ничто, из одного удовольствия, готов зарезать человека... у! воровская душа!

Но подозрительный господин не угомонился и все-таки стоял на своем, что это должен быть важный государственный преступник.

Много мудрых речей слыхал Иван Самойлыч во время земного странствия своего; много полезных житейских советов прошло через слуховой его орган; но поистине ничего подобного не могло даже и представить себе не совсем бойкое его воображение тому, что изрекли уста нáбольшего. Речь его была проста и безыскусственна, как сама истина, а между тем не лишена и некоторой соли, и с этой стороны походила на вымысел, так что представляла собою один величественный синтез, соединение истины и басни, простоты и украшенного блестками поэзии вымысла.

— Ах, молодой человек! молодой человек! — говорил нàбольший,— ты подумай, что ты сделал! ты вникни в свой поступок, да не по поверхности скользи, а сойди в самую

глубину своей совести! Ах, молодой человек! молодой человек!

И действительно, Иван Самойлыч вникнул, и как-то вдруг ему представилось, что он и в самом деле сделал ужасно гнусное преступление.

— Да уж что ж делать? — отвечал он, внезапно подавленный могучею силою угрызений совести,— уж это грех такой случился! уж вы меня простите великодушно! право, простите!

Но на́больший быстрыми шагами заходил по комнате, вероятно придумывая, как бы этак вновь еще более убедить своего подсудимого и окончательно вызвать в нем пробуждение закосневшей совести.

— Ах, молодой человек! молодой человек! — сказал он спустя несколько минут.

И снова зашагал по комнате.

— Вы извольте сами милостиво рассудить,— начал между тем Иван Самойлыч,— ведь я человек благовоспитанный и одет, кажется, как следует благовоспитанному человеку, а не то чтобы какой-нибудь мужик!

— Ах, молодой человек! молодой человек! — возразил на́больший таинственным голосом и покачивая головой, как будто в одно и то же время и удивлялся неопытности Мичулина, и хотел ему сообщить что-то чрезвычайно секретное,— то-то вот неопытность! Да вы не знаете, какие дела на свете делаются! да иной с бобром, сударь, ходит! по-французски, по-немецки — и черт его знает еще по-каковски — а плут! мошенник, сударь! естественнейший мошенник! Ах, молодой человек! молодой человек!

Иван Самойлыч снова понурил голову, и снова на́больший зашагал по комнате.

— Что же мне с вами делать? — спросил на́больший после краткого размышления.

— Да уж будьте великодушны! простите! — заметил Иван Самойлыч.

— Право, не знаю! истинно вам говорю — в презатруднительное поставили вы меня положение! С одной стороны, и вас жаль: думаешь, ни за грош пропадет, по неопытности своей, молодой человек! а с другой стороны — пример нужен, долг повелевает!.. наша обязанность... о, вы не знаете, что такое наша обязанность!

Мичулин согласился, что обязанность действительно ответственная, но все-таки просил великодушно отпустить его.

— Уж разве для такого дня? — сказал на́больший в виде предположения (день был, по-видимому, торжественный).

— Да, уж хоть для дня-то!

— Право, не знаю... дело-то оно такое затруднительное...

И на́больший снова начал шагать, все обдумывая, как бы ему выйти из затруднительного положения.

— Ну, да уж бог с вами — была не была! отвечу перед богом; уж, видно, делать нечего — нрав у меня такой!.. то есть, поверите ли, последнюю рубашку готов с себя снять, а ближнего без рубашки не оставлю... нет!

Иван Самойлыч, с своей стороны, отвечал, что он готов снять с себя последнюю рубашку, чтобы выразить господину на́большему свою чувствительнейшую благодарность, но что уж помнить оказанное благодеяние станет по гроб, будьте в том уверены!

— Что мне ваша память! — отвечал на́больший со вздохом,— что мне благодарность ваша? Спокойствие совести — вот где награда! мир душевный — вот истинное услаждение!.. а уж о рубашке, прошу вас, не беспокойтесь: у меня и своих довольно! Ах, молодой человек! молодой человек!

IX

Не замеченный никем пробрался Иван Самойлыч в свою уединенную комнату. Не сказав никому ни слова о случившемся с ним происшествии, запер он дверь и задумался, горько задумался... Происшествие окончательно доконало его. А тут еще и лихорадка бьет, и мысли такие в голову лезут... тяжко, совсем тяжко жить на свете!.. А лихорадка все бьет! а мысли всё лезут, всё лезут!

И Мичулин думал, думал... пока не пришел к нему рыжий плечистый мужик с огненною бородою и не стал настоятельно требовать удовлетворения; за мужиком кидалась на него, показывая самые страшные и длинные когти, Наденька — и тоже искала удовлетворения... Иван Самойлыч совсем растерялся, тем более что над всем этим хаосом возвышалось бесконечное на бесконечно маленьких ножках, совершенно подгибавшихся под огромною, подавлявшею их, тяжестью.

Но всего обиднее то, что, вглядываясь в это страшное, всепоглощающее бесконечное, он ясно увидел, что оно не что иное, как воплощение того же самого страшного вопроса, который так мучительно и настойчиво пытал его горькую участь. И в самом деле, бесконечное так странно и двусмысленно улыбалось, глядя на это конечное существо, которое под фирмою «Иван Самойлов Мичулин» пресмыкалось у ног его, что бедный человек оробел и потерялся вконец...

— Погоди же, сыграю я с тобой штуку! — говорило бес-

конечное, подпрыгивая на упругих ножках своих,— ты хочешь знать, что ты такое? изволь: я подниму завесу, скрывающую от тебя таинственную действительность,— смотри и любуйся!

И действительно, разом очутился Иван Самойлыч в пространстве и во времени, в совершенно неизвестном ему государстве, в совершенно неизвестную эпоху, окруженный густым и непроницаемым туманом. Вглядываясь, однако ж, пристальнее, он не без удивления заметил, что из тумана вдруг начинает отделяться бесчисленное множество колонн и что колонны эти, принимая кверху все более и более наклонное положение, соединяются наконец в одной общей вершине и составляют совершенно правильную пирамиду. Но каково же было изумление бедного смертного, когда он, подойдя к этому странному зданию, увидел, что образующие его колонны сделаны вовсе не из гранита или какого-нибудь подобного минерала, а все составлены из таких же людей, как и он, только различных цветов и форм, что, впрочем, сообщало всей пирамиде приятный для глаз характер разнообразия.

И вдруг замелькали ему в глаза различные знакомые лица: вон и Беобахтер, философии кандидат, с гитарою в руках, вращающийся бессознательно в одной из колонн; вон и занимающийся литературою Ваня Мараев, мужчина статный и красивый, но с несколько пьяными глазами; и все эти знакомые лица так низко стоят, так бессознательно, безлично улыбаются, завидев Ивана Самойлыча, что ему стало совестно и за них, и даже за самого себя, что мог он водить знакомство с такими ничтожными, не стоящими плевка людьми.

— А что, если и я...— подумал он, да и не додумал, потому что мысль его замерзла на половине пути: так испугался он, вдруг вспомнив, что этак и себя может, пожалуй, увидеть в не совсем затейливом положении...

И как нарочно, огромная пирамида, до тех пор показывавшая ему, одну за другою, все свои стороны, вдруг остановилась. Кровь несчастного застыла в жилах, дыханье занялось в груди, голова закружилась, когда он увидел в самом низу необыкновенно объемистого столба такого же Ивана Самойлыча, как и он сам, но в таком бедственном и странном положении, что глазам не хотелось верить. И действительно, стоявшая перед ним масса представляла любопытное зрелище: она вся была составлена из бесчисленного множества людей, один на другого насаженных, так что голова Ивана Самойлыча была так изуродована тяготевшею над нею тяжестью, что лишилась даже признаков своего человеческого характера, а часть, называемая черепом, даже обратилась в совершенное ничтожество и была окончательно выписана из наличности.

Вообще, во всей фигуре этого странного, мифического Мичулина выражался такой умственный пауперизм, такое нравственное нищенство, что настоящему, издали наблюдающему Мичулину сделалось и тесно и тяжко, и он с силою устремился, чтобы вырвать своего страждущего двойника из-под гнетущей его тяжести. Но какая-то страшная сила приковывала его к одному месту, и он, со слезами на глазах и гложущею тоскою в сердце, обратил взор свой выше.

Но чем выше забирался этот взор, тем оконченнее казались Ивану Самойлычу люди. . . . .

. . . .

Он сам теперь чувствовал, какая страшная тяжесть давила его голову; он чувствовал, как, одно за другим, пропадали те качества, которые делали из него известный образ... Холодный пот обливал его тело; дыхание замерло в груди; волосы, один за другим, шевелились и вставали; весь организм трепетал в паническом ожидании чего-то неслыханного... Он сделал отчаянное, непомерное усилие — и... проснулся.

Вокруг постели его в глубокомысленном безмолвии стояли все жильцы Шарлотты Готлибовны. Первым предметом, особенно поразившим его отяжелевшие от сна глаза, была Наденька Ручкина, та самая гордая и непоколебимая Наденька, которая столько раз говорила ему, что уж если она что сказала — так уж сказала и слова своего не переменит ни в жизнь, и которая в настоящую минуту сидела на его постели и заботливо укутывала ему ноги. Это отрадное явление в одну минуту так поглотило все его внимание, что он забыл все окружающее; в душе его вдруг мелькнуло нечто похожее на мираж, и в воображении незаметно начала рисоваться тихая, но полная счастия семейная жизнь с любящею и любимою женою, с ненаглядными детьми... Он уж хотел было весело и бодро вскочить с постели, чтоб поцеловать эти розовые губки, самые розовые, какие только возможно встретить на целой поверхности земного шара, и потом, ловко подмигнув одним глазом и посмотрев под постель сперва с одной, а потом и с другой стороны, тут же сказать, как и подобает ласковому отцу семейства: «А куда спрятался этот плут-мальчик Коко?», или — «эта хитрая девочка Варенька...»; все это уже мелькнуло было в душе Ивана Самойлыча, как вдруг глазам его представилась действительность — действительность самая нагая и безотрадная, какую только можно было себе вообразить; одним словом, действительность, составленная из Шарлотты Готлибовны, Ивана Макарыча, господина Беобахтера и Алексиса Звонского.

— А мы было думали, что тебе уж того... карачун при-

шел! — заревел, как из бочки, сиплый бас друга и приятеля Ивана Макарыча над самым ухом Мичулина.

— Да, именно ми думаль, што вам уж совсем карачун,— отозвалась тощая фигура Шарлотты Готлибовны, томно опираясь на мощное плечо Пережиги.

— Смотря на вас в эту минуту, я понял наконец загадку жизни! Я видел бледную смерть, махающую неумолимым лезвием косы своей... О, это была страшная, торжественная минута! Мне представлялась эта бледная смерть... pallida mors... Вы читали Горация, Иван Самойлыч?

Так проговорил свое приветствие господин Беобахтер, но проговорил его таким сладким и приятным голосом, как будто бы дело шло о вещи самой обыкновенной.

— Да, мы думали, что вы уж совсем умерли! — отозвался, с своей стороны, апатически-лаконический Алексис.

Иван Самойлыч благодарил господ обитателей «гарнира» за участие, говорил им, что он еще совершенно жив, в доказательство чего и начинал было подниматься с постели. Но он не мог: голова его горела, в глазах было мутно, силы ослабли, и как ни старался он казаться бодрым и свежим, а поневоле должен был снова опуститься на подушку.

— Благодари, брат, бога, что ты еще не околел и что тут не было квартального надзирателя! — заревел снова Иван Макарыч и протянул уж руку, чтоб ударить больного, в знак сочувствия, по плечу — и непременно ударил бы, если б не удержала его Наденька.

— Квартальный надзиратель? — прошептал Иван Самойлыч едва внятным голосом.— А что, разве я что-нибудь... того?

— Да, брат; уж известно... того.

— О, ви очень вольна мисль делал! — прервала Шарлотта Готлибовна.

— То есть просто донеси я или кто-нибудь другой, просто найдись какая-нибудь этакая шельма, христопродавец — озолотят, ей-богу, озолотят! Не будь я Иван Пережига!.. ну, а тебя, известно, на казенную квартиру с отоплением и освещением... ха-ха-ха! Так ли, Шарлотта Готлибовна?

— О, ви очень любезни кавалир, Иван Макарвич.

— Да, это ужасно! быть закованным в тяжелые цепи, осужденным на вечную тьму, вечно видеть одно и то же сухое и прозаическое лицо темничного стража, слышать, как капля по капле вытекает ваша жизнь!.. о, это ужасно!..— сказал господин Беобахтер, особенно нежно напирая на слова: «капля по капле».

— Уж как пошел, брат, по мечтанию,— снова заметил Иван Макарыч,— да начал вывертывать в голове разные эта-

кие штуки, так тут уж, брат, адьё мон плезир[1], пиши пропало... Вот я про себя скажу: я в жизнь свою никогда не мечтал, а поди-тко, поищи другого такого молодца...

Шарлотта Готлибовна зарделась.

— Ну, так что ж ты не встаешь? — продолжал он, обращаясь к Мичулину и сильно тряся его за руку,— не спать же, в самом деле, целый день! Небойсь, раскис, укачали тебя домовые-то? Эка баба! просто даже смотреть на тебя противно! Просто гадиной такой выглядишь, что плюнуть хочется!

Но Иван Самойлыч молчал; бледный, как полотно, лежал он без всякого движения на постели; пульс его бился слабо и медленно; во всем существе своем ощущал он какую-то небывалую, болезненную слабость.

Наденька Ручкина наклонилась к нему и, взяв его за руку, спросила, не нужно ли ему чего-нибудь, что он чувствует — и так далее, как обыкновенно спрашивают сердобольные молодые девушки.

— Я не знаю... мне больно! — чуть слышно отвечал Иван Самойлыч,— мне очень больно...

— А! небойсь, и язык развязался! — ревел между тем Пережига,— небойсь, расшевелился, как женский-то пол подошел!

— Оставьте меня... я болен! — шептал Иван Самойлыч умоляющим голосом.

— Да и в самом деле, пусть его тут бабится! Милости просим, господа, ко мне! А вы бы, Шарлотта Готлибовна, подали нам водочки! О-о-ох, господи! за грехи мира сего наказуешь нас!

Иван Самойлыч остался один на один с Наденькой; глаза его неподвижно были устремлены на нее; бледное, худое лицо выражало непереносное страдание; медленно взял он ее руку и долго-долго прижимал к губам своим.

— Наденька! добрая! — сказал он прерывающимся голосом,— поцелуй меня... в первый и в последний раз!..

Наденька изумилась. По свойственной ей подозрительности она начала уж было смекать, что все это недаром, что все это штука, что он хочет только усыпить ее бдительность; но когда она взглянула на это изможденное лицо, на эти глаза, обращенные к ней с мольбою и ожиданием, ей вдруг стало как-то совестно своих подозрений; маленькому сердцу ее сделалось и тесно и неловко, а притом и слеза, самая миньятюрная, крохотная слеза, как-то совершенно нечаянно навернулась на глаза и упала с ее глаз на раскрытую грудь

[1] прощай, моя радость (от *франц.* adieu, mon plaisir).

Мичулина. Делать нечего, Наденька отерла слезу, наклонилась и поцеловала больного. Лицо Ивана Самойлыча улыбнулось.

— Что это с вами, Иван Самойлыч? — спросила Наденька,— верно, вы простудились?

— Ох, нет! это всё то... всё по тому делу... помните, по которому я к вам приходил?

— А что, разве оно важное какое-нибудь дело, что так расстроило вас?

— Да; оно, знаете... дело капитальное!.. А как мне больно-то, больно-то, если б вы знали!

Наденька покачала головкой.

— Не послать ли за лекарем, Иван Самойлыч?

— За лекарем?.. да; оно бы не худо! может, что-нибудь и прописал бы... а впрочем, зачем? ведь дела-то он мне все-таки не объяснит!.. нет, не нужно лекаря!

— Да, по крайней мере, он помог бы вам, Иван Самойлыч.

— Нет, уж это пустое дело, Наденька! самое пустое! я вам говорю, а я уж знаю... Оно, может статься, и поможет, да толку-то в этом что будет! Ну, выздоровлю... а потом-то?.. нет, не надо лекаря...

Наденька молчала.

— Да, к тому же, лекарю-то ведь нужно денег; к бедному хороший-то и пойти не захочет... вот оно что! а какой попадется-то — Христос с ним! только измучит... лучше уж так умереть!

В это время дверь с шумом отворилась, и в комнату ввалилась дебелая фигура Пережиги с штофом в одной и рюмкою в другой руке.

— А вот, хвати-ко, друже, бальзамчику! — ревел знакомый Иван Самойлычу голос,— это, брат, знаешь, как душу отведет, ей-богу, отведет!.. А умрешь, так, видно, так уж оно быть должно, видно, так уж и богу угодно! ну-ка, выпей. Да не морщись же, баба!

И Мичулин с ужасом видел, как дрожащая и неверная от частых жертв Бахусу рука Пережиги наполняла рюмку жгучим, как огонь, составом, заключавшимся в графине. Он начал было отказываться, говорил, что ему легче, что он — слава богу, но тщетно: рюмка была уже налита, да притом же и Наденька, своим мягким голоском, убеждала его попробовать, авось, дескать, от этого немного и полегчит ему. Не переводя духу, выпил Иван Самойлыч поданную водку и почти без чувств упал на постель.

— Эка водка! эка вор-водка! — говорил между тем друг и приятель Иван Макарыч, глядя на искаженное конвульсиями

лицо Мичулина.— Эк ее забирает, эк забирает! у, бестианская водка! еще как он не захлебнулся! право, так! живуч, живуч! а ведь в чем душа держится!

И Пережига с самодовольною улыбкою любовался изнеможением и страданиями Ивана Самойлыча, как будто хотел сказать ему: «А что, брат! задал я тебе задачу? посмотрим, как-то ты из нее выпутаешься... а живуч! живуч!»

Действительно, выпутаться было уж довольно трудно. Наденька побежала за доктором и вскоре привела какого-то немца, несколько навеселе, беспрестанно нюхавшего табак и плевавшего во все стороны. Лекарь подошел к больному, долго и с напряжением щупал ему пульс, как будто хотел провертеть у него в руке дыру, и покачал головой; велел высунуть язык, осмотрел и тоже покачал головой; потом понюхал табаку, снова пощупал пульс и пристально осмотрел язык.

— Schlecht [1],— сказал доктор в раздумье.

— Что ж? есть ли какая-нибудь надежда? — спросила Наденька.

— О, никакой! и не полагайте! а впрочем, поднимите пациенту голову...

Голову подняли.

— Гм, никакой надежды! уж вы поверьте, я уж знаю!.. вы давали ему что-нибудь?

— Да, Иван Макарыч давал ему водки.

— Водки? schlecht, sehr schlecht... [2] А есть у вас водка?

— Не знаю; спрошу у Иван Макарыча.

— Нет, не нужно: я так, более из любопытства... а впрочем, уж если есть, так отчего и не выпить?

Наденька вышла и минут через пять воротилась с графином.

— Водка очень часто здорово, а очень часто и вредно,— глубокомысленно заметил медик.

— Что ж, умереть, что ли, надобно? — робко и едва слышно спросил Иван Самойлыч.

— Да уж это будьте покойны! умрете, непременно умрете!

— А скоро? — снова спросил больной.

— Да этак часа через два, через три, надо будет... Прощайте, почтеннейший; желаю вам покойной ночи!

Однако ночь была неспокойна. По временам больной, действительно, засыпал, но потом внезапно вскакивал с постели, хватал себя за голову и жалобным голосом спрашивал у Наденьки, куда девался его мозг, зачем сдавили у него душу,

---

[1] плохо *(нем.)*.

[2] плохо, очень плохо... *(нем.)*

и проч. На это Наденька отвечала, что головка его цела, слава богу, а вот, мол, не хочется ли ему выпить ромашки — так ромашка есть. И он брал чашку в руку и беспрекословно выпивал ромашку.

На другой день к обеду ему сделалось как будто и полегче: он был спокоен, и хотя очень слаб, но мог, однако же, говорить. Он брал у Наденьки руки, прижимал их к сердцу, целовал их, прижимал к глазам, ко лбу, и плакал... тихими, сладкими слезами плакал.

И Наденьке, с своей стороны, тоже было жаль его. Впервые она как будто поняла, что в ее глазах умирает человек, что этот человек любил ее, а она жестко и неприязненно оттолкнула его от себя. Кто знает, что причиною этой смерти? Кто знает, может быть, он был бы и здоров и весел, если бы... о, если бы ты взглянуло, доброе, чудное существо, взглянуло глазами сострадания и сочувствия на это обращенное к тебе лицо! если бы ты могло уронить хоть один луч любви на эту бедную, истерзанную горем и нуждою душу! о, если бы это было возможно!

— Послушайте,— говорил между тем Иван Самойлыч, взяв ее за руку,— вы забудьте, что я надоедал вам, что я оскорблял вас... Оно конечно, я много и много виноват, да ведь что же делать? ведь я один, Наденька, совсем один... Никого у меня нет, горько мне приходилось, а ведь одному скучно, куда как скучно!.. Ведь я же не виноват, что не красив и не учен,— что же мне с этим делать? Разумеется, и вы не виноваты, что не могли любить меня...

Больной с трудом перевел дыхание; грустно посмотрел он в лицо Наденьки, но Наденька молчала и, опустив глаза, смотрела в землю.

— Думается мне, однако ж,— снова начал Иван Самойлыч слабым голосом,— что если б с детства... в то время, когда и кровь-то в нас тепла, если б в то время не положили меня под пресс да не заковали, так, может, и вышло бы что-нибудь из меня... Воспитали-то меня так, что ни к чему не годен я сделался... с детства так вели, как будто и целый век должен был малоумным остаться да на помочах ходить... Вот как пришлось трудом кусок себе добыть — и негде, и нечем... Да и тут, право, не знаю, винить ли мне кого-нибудь... отец мой человек старого века и необразованный, мать тоже: они не виноваты, что не видали...

— А может быть, я и сам во всем виноват,— продолжал он через минуту,— потому что ведь бог дал мне волю, а я действовал как грубое животное!.. Да, я виноват, да и не перед собою одним виноват, а еще и богу ответ дам, что допустил

так насмеяться над собою... А впрочем, и тут опять-таки еще бог знает, мог ли бы я что-нибудь сделать один-то!

И снова умолк Иван Самойлыч, и снова, потупив глазки, ничего не отвечала Наденька.

— Так вот та́к-то, Наденька! — продолжал больной, — часто мы и сами во всем виноваты, а других виним! . . .
. . . .
. . . . Вот это-то дело, оно-то и сгубило меня, Наденька! в нем-то именно и смерть моя! а совсем не в том, будто бы я простудился... Простудиться может тело, простуду можно вылечить, а вот как душа-то больна, как сердце-то ноет да стонет, вот тогда-то страшно, Наденька! не дай бог как страшно!..

Он замолчал; Наденька задумчиво опустила головку и долго о чем-то размышляла. Думалось ли ей, что действительно сам виноват Иван Самойлыч в том, что дозволил обстоятельствам до такой степени лишить себя всякой бодрости, или она оправдывала его тем, что обстоятельства все-таки обстоятельства, как ни борись против них... Это ли, другое ли ей думалось, дело в том, что как-то грустно, необычайно грустно, сделалось бедной девушке. Может быть, к этим мыслям присоединилась другая, не менее горькая и безвыходная мысль — мысль ее собственного безотрадного, чреватого лишениями и трудом будущего, та мысль, что и она находится в подобном же положении, и она должна бороться... вечно и упорно бороться!.. И она забыла и об Иване Самойлыче, и об апатически-лаконическом Алексисе; в воспоминании ее вдруг мелькнула деревенская избушка, старый господский дом, запущенный сад с поросшими травою дорожками, река, вяло и как будто нехотя катившая свои сонные волны в какое-то далекое, неведомое государство; стая уток, апатически полоскавшаяся в воде; толпа грязных и оборванных ребятишек, столь же апатически копавшаяся в грязи и навозе... Но все это так живо, так быстро воскресло в ее памяти, так быстро, один за другим, сменялись — и сосновый синеющий вдали лес, и вспаханные борозды полей, и старая деревянная церковь... Лучше ли ей было тогда? лучше ли, чище ли сама она была в то время?.. Лучше ли было бы, если бы вдруг, по какому-нибудь волшебному случаю, ей снова пришлось воротиться к этой давно прошедшей, давно уж изгладившейся из памяти жизни?..

А между тем на дворе уж и смерклось; в комнате тихо, ни шороха, ни звука; Наденька подумала, что Иван Самойлыч заснул, и вознамерилась идти в свою комнату. Но перед уходом, чтобы ближе удостовериться, действительно ли спит

больной, она наклонилась к нему и начала прислушиваться к его дыханию. Но дыхания не было слышно... Она взяла его за руку — рука была холодна... Наденьке сделалось страшно. В первый раз в жизни была она один на один с мертвым человеком... а притом неподвижные глаза покойника так и смотрели, так и смотрели на нее, как будто хотели сконфузить бедную, будто упрекали ее за какое-то страшное преступление... С невольным чувством содрогания набросила она поскорее на лицо усопшего одеяло и выбежала из комнаты.

Через пять минут все нахлебники Шарлотты Готлибовны, и в числе их сама она под руку с Иваном Макарычем, явились на поклон к покойнику. Толков было много; некоторые даже сомневались, точно ли умер Иван Самойлыч. У самой Наденьки на минуту мелькнула было обыкновенная ее мысль: «А что, дескать, если он только хитрит, чтоб усыпить ее бдительность?» А Иван Макарыч даже решительно утверждал, что это все вздор, что господин Мичулин не может умереть, потому что вчера еще дал он ему такого лекарства, от которого и мертвый из гроба встанет.

— Надо вам сказать, господа,— говорил он, обращаясь к присутствующим,— что на свете иногда чудные бывают штуки! Спьяну, что ли, это делается, а вдруг человек не пошевельнется, не моргнет — а между тем жив и все слышит, что вокруг него делается!.. Я вам говорю, господа, что бывали даже примеры, что и в землю зарывали живых... У меня в деревне этого не случалось, потому что у меня был во всем надзор и порядок — упаси боже! А вот в Голландии еще недавно крестьяне одной казенной деревни сыграли такую штуку с одним исправником... честью вас уверяю!

На это Ивану Макарычу никто не отвечал, хотя и знал ученый Алексис, что в Голландии исправников не водится.

Но для того, чтоб окончательно убедиться, точно ли умер Иван Самойлыч, и иметь право развивать свои познания насчет заживо погребенных, любознательный Пережига подошел к нему поближе, потряс его за нос — нос был холодный, приложил руку ко рту — дыхания не оказалось.

— А кто его знает! может быть, и в самом деле умер! — сказал он с убийственным равнодушием, отходя от бездушного трупа,— и водка не спасла тебя, бабья душа! И хорошо, брат, сделал, что умер!

Однако ж, так как Мичулин не имел совершенно никаких родственников, ни знакомых, то Шарлотта Готлибовна почла нужным послать за полицейским чиновником, наперед пересмотрев всюду, не имеется ли чего ценного. Но ценного оказалось всего только поношенный сюртук да из белья кое-что.

Вследствие такой бедности капиталов все нахлебники тут же решились сделать складчину, чтоб приличным христианину образом похоронить своего собрата.

Полицейский чиновник не заставил долго ждать себя. Малый он был нрава веселого и вообще любил, при удобном случае, пошутить, не выходя, впрочем, из пределов благопристойности... о, ни-ни, как это возможно!

— Скажите, пожалуйста! — начал он, когда объяснили ему причину его призыва,— так вот-с какое странное над вами стряслось дело! Ну-с, делать нечего! приступим к освидетельствованию, посмотрим, не окажется ли каких боевых и насильственных знаков!

Шарлотта Готлибовна знала, что господин чиновник изволит шутить; поэтому нисколько не смутилась, а только сказала ему с самою очаровательною улыбкою:

— О, ви очень любезный кавалир, Деметрий Осипич!

— Да-с! уж этого, изволите видеть, и закон требует, а я орудие, ничего, как ничтожное орудие... Да-с, посмотрим, посмотрим... а может быть, его и отравили?.. Ха-ха-ха! может быть, у него и деньги были, мильонщик был, ха-ха-ха!

И веселый Дмитрий Осипыч заливался добродушным и звонким хохотом.

Осмотрев тело Ивана Самойлыча и удостоверившись, что отравы или удавления тут нет никаких, добродушный Дмитрий Осипыч изъявил желание осведомиться об имуществе покойного.

— Ну, давайте же нам их сюда, давайте нам мильоны-то! — говорил он с обычной своей веселостью,— ведь неравно наследники будут, ха-ха-ха!.. Э! — продолжал он, перебирая пожитки умершего,— да у него целых шесть рубах было! и фуфайка теплая... а умер!

— Скажите же, пожалуйста, господа,— обратился он к присутствующим,— что ж бы это за причина была такая, что вот жил-жил человек, да вдруг и умер?..

— То есть, вы хотите узнать философию смерти? — заметил Беобахтер.

— Да-с, я, знаете, люблю иногда вечерком позаняться этакими разными мыслями, и, признаюсь, есть вещи, которые сильно интригуют меня; например, вот хоть и это — жил-жил человек, да вдруг и умер!.. Странное, очень странное дело!

— О, это не легко объяснить себе! тут целая наука! — отвечал господин Беобахтер,— над этим многие философы немало трудились... Да, это трудно, очень трудно!.. тут бесконечное!

— Что тут трудно! — прервал Пережига,— трудно, трудно! а дело-то очень просто объясняется! Извольте видеть, уж как

пошел человек по мечтанию, как пошло в его голове разные штуки да закорючки выкидывать, так уж известно — плохо дело! Вот и смерть приключилась! Какое же тут бесконечное? что за философия? То-то, брат! все с своими выморозками лезешь! Уж я говорю, растянуться и тебе, как ему! Право так, помяни мое слово!

— То есть, что же вы разумеете под словами «пошел по мечтанию»? — спросил Дмитрий Осипыч.

— Ну, да уж известно что: скепцизм, батюшка, скепцизм одолел! вот что!

— Гм, скепцизм? — соображал Дмитрий Осипыч,— скепцизм? то есть, что же вы под этим разумеете?

— А вот, примерно, человек с собакой идет: ну, мы с вами просто так и говорим, что вот, мол, человек идет и за ним собака бежит, а скепцист: нет, говорит, это, изволите видеть, собака идет и человека ведет.

— Тсс, скажите! так, стало быть, покойник был странный человек? — спросил Дмитрий Осипыч и тут же с упреком покачал головою на Ивана Самойлыча.

— Я вам говорю: по мечтанию пошел! Уж какую он в последнее время ахинею городил, так хоть святых вон понеси: и то нехорошо, и то дурно...

— Тсс, скажите пожалуйста! — продолжал Дмитрий Осипыч, строго покачав головою,— а ведь чем была не жизнь человеку! и сыт был, и одет был! звание, сударь ты мой, имел! и вот не усомнился же возроптать на создателя своего... Честью вам доложу, уж нет в мире животного неблагодарнее человека. Пригрей его, накорми его — укусит, непременно укусит! Уж такая, видно, его натура, господа!

БРУСИЛ

Рассказ

Вечер был пасмурный; дождик лил на дворе как из ведра, ветер беспрестанно захлопывал ставнями окна нашей дачи; взглянешь на небо — небо все в тучах: видно, надолго зарядило ненастье; на дворе сыро и холодно; баба идет по задворкам и, заворотивши подол до колен, флегматически шлепает босыми ногами по густой грязи...

Мы все сидели кружком против горящего камина; разговор был вял и тяжеловесен; и форма и содержание его прямо согласовались с цепенящим настроением без сравнения гнусной и бесконечно мерзостной петербургской природы. Чувство жизни гасло под бременем этого удушья, как будто и оно, вместе с бабой, заворотившей подол, вязло в серой грязи, замокло на дожде и отупело под тяжелыми тучами гадкого петербургского неба. И в самом деле, речь шла о скуке, этой прародительнице всякого дыхания, хвалящего господа.

Вероятно, и вам не раз случалось встретиться с нею, благосклонный читатель; это дама чрезвычайно скромная, с потупленными глазками, с опущенною на лицо вуалью и в до крайности сереньком платьице; она вечно ходит с вами под руку; сопровождает вас на службу, читает с вами «Северную пчелу», засыпает с вами в Александринском театре и охотно разделяет ваше одинокое ложе. Одним словом, таинственная незнакомка делается неизменною подругой вашей жизни. Но кто эта незнакомка, где родилась она, какое солнце пригрело и воспитало ее? Люди мы были все молодые, и все решительно согласились, что у общей нашей приятельницы, как и у всех вообще приятельниц, есть своего особого рода маменька, тоже дама, по преимуществу серенькая, называющаяся бездеятельностью.

Но, решивши таким образом вопрос, мы тут же весьма кстати догадались, что вовсе ничего не решили и что, для

удовлетворительного разъяснения этого запутанного дела, нужно добраться до того, отчего деятельность-то наша так бедна и ничтожна, или лучше — отчего мы целый век как будто толчемся и движемся, а результаты выходят всё самые крохотные, самые обидные.

Предположения на этот счет были самые разнообразные. Одни приписывали это воспитанью, другие непониманию действительных интересов; третьи, наконец, тому, что в самой действительности слишком мало сил, вызывающих и поддерживающих истинную деятельность.

Один Николай Иваныч, общий наш приятель и человек бывалый, ходил по комнате и в глубокомысленном молчанье покручивал усы. Он глядел на всех нас как-то особенно затейливо, и вся его физиономия как будто превратилась в одно длинное и глубоко-значительное «гм».

— Да, странные бывают случаи! — разразился он наконец,— черт его знает, иной с виду кажется и порядочный человек, и говорит как будто дело, и на вещи смотрит по-человечески, а вот как дойдет до практики — тут разом дрянь-то вся и выльется наружу, тут и окажется вся гнусность, да еще и не простая гнусность, а с затеями, с прибаутками...

Николай Иваныч усиленно зашагал по комнате и зло начал крутить усы.

— Да ведь до чего доходит! — продолжал он спустя несколько секунд,— не только другим, а себе, самому себе, с каким-то диким остервенением начинает человек гадить да понемножку на малом огне себя жарить, как будто всем и каждому на стенке зарубить хочет: смотрите, дескать, добрые господа, как я себя исказил и изуродовал, на что, мол, я теперь похож?

— Ну, верно, у Николая Иваныча какая-нибудь новая история в подтверждение старой идеи, что нужно всегда пребывать в золотой середине, избегать крайностей и так далее... Знаем, знаем мы все эти погудки и не раз уж, кажется, вы были биты на этом поле. A bas[1] Николая Иваныча! не нужно нам золотой посредственности!

Николай Иваныч остановился посреди комнаты и окинул нас взором сожаления, как будто вызывая на бой того дерзновенного, который бы осмелился сразиться с ним на поприще силлогизмов. Мы все были люди молодые; он же был хоть и не стар, а все-таки пожилых лет, да притом же и волоса на голове реденьки как-то стали. Но по какому-то особенному

---

[1] долой (*франц.*).

инстинкту он всегда чувствовал себя как-то лучше, когда находился в обществе молодых людей, и тщательно избегал компании своих ровесников, открыто называя их существами, погрязшими в болоте предрассудков и покрытыми тиною привычки.

— То-то вот, молодые люди! — сказал он,— ведь только глумитесь вы надо мной с вашей золотой посредственностью, а того и не подумаете, что не в названье сила. Пожалуй, себе! самую почтенную вещь можно назвать шутовским именем, да стыдно-то будет не ей, а тому, кто дал ей глупое прозвище... Я говорил и теперь утверждаю, что каждое действие свое надо обдумать, сообразить с обстоятельствами, выяснить себе его последствия, а не бросаться в воду, не спросясь броду... Если вы это называете золотой посредственностью,— быть по-вашему: я не нахожу ничего бесчестного в этом названье.

— Однако ж не легкую вы опеку навязали человеку, почтеннейший Николай Иваныч,— возразил один из присутствовавших, весьма молодой человек,— ведь подумаешь, маленькая какая задача: поди-ка, сообрази сперва с обстоятельствами, да потом обсуди, какие будут последствия... Да покуда все это соображаешь да обсуживаешь, так и время, пожалуй, уйдет... Этак нам с вами всю жизнь придется сидеть сложа руки да снаряжаться на великие подвиги, которые, к несчастью, никогда не будут совершены.

— Лучше мало делать, но делать с уверенностью и основательно,— возразил Николай Иваныч и, как в неприступной крепости, заперся в своей фразе.

— Скажите лучше: не «мало», а просто ничего не делать, это будет добросовестнее,— отозвался, в свою очередь, молодой человек.

— Пожалуй, хоть и ничего; по-моему, даже это сноснее. Что из того, что мы делаем, беспрестанно делаем? менее ли скаредна оттого жизнь наша? легче ли нам оттого, что мы беспрерывно толчемся? Для деятельности надобно цель, надобно будущее, а деятельность для одной деятельности... как хотите, а это, во времена óны, называлось романтизмом или самоудовлетворением.

— Позвольте, Николай Иваныч, тут дело идет не о деятельности для деятельности — на этот предмет мы смотрим точно так же, как и вы,— а об том, отчего бесплодно направлена наша деятельность? Вы приписываете это вне самого человека, непониманию каких-то «действительных интересов»; мы же относим это к тому, что самая действительность запирает человеку все выходы для обнаружения полезной деятельности. Вот положение вопроса.

— Эй, господа, берегитесь романтизма,— прервал Николай Иваныч, очевидно уклоняясь от прямого пути,— это такая заразительная болезнь, которая стоит иной проказы... Время турниров и рыцарей прошло, да не в турнирах дело; и во фраке случается иной раз встретить такого рыцаря, который сделал бы честь варварской памяти средним векам; оболочка только изменилась, слова другие, а сущность все та же; прежде делала романтиком любовь, чувство рыцарской чести; нынче... да нынче на всяком шагу обязан быть романтиком: живешь в обществе — ты гражданин; женишься — семьянин; служишь — товарищ. Так и обхватывает с самой колыбели, так и пронизывает насквозь романтизмом. Идолы, идолы и идолы... Создан, господа, человек так, что без божка, хоть крошечного, обойтись никак не может!

— Да нет,— подхватил молодой человек, завязавший спор,— вы нам сперва докажите, что можно что-нибудь делать, как вы говорите, соображаясь с обстоятельствами, обсудивши наперед последствия.

— Делать немного, но твердо и основательно,— возразил Николай Иваныч,— вы хотите вдруг все выворотить наизнанку, а того и не возьмете в толк, что в мире все делается постепенно и что нужен великий запас терпенья, если хочешь быть сколько-нибудь полезным.

— Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faule Leute! [1] Знаете ли вы, чья добродетель терпенье, Николай Иваныч! а впрочем, зачем же вас обижать! я берусь без шуток доказать вам, что ваше терпенье ведет к насильственному бездействию.

— Любопытно было бы знать ваши доказательства.

— Да дело очень просто; на практике ваше золотое правило решительно никуда не годится; если бы нам вечно обдумывать последствия своих действий, вечно сидеть над собою с пучком розог, то это едва ли бы не значило постоянно приговаривать себе: этого не делай, к этому не прикасайся, того не моги... Потому что много ли из нас — да полно, есть ли еще хоть один,— кто мог бы с уверенностью сказать: вот на это я имею право, вот это мне принадлежит? Не справедливее ли, что каждый из нас имеет тысячу поводов сказать себе: имею ли я на это право? Итак, если бы все действовали по вашей теории, не значило ли бы это, спрашиваю я вас, умышленно наполнить себе жизнь такими ужасами, которые в самом большом смельчаке могут навеки убить охоту действовать хоть как-нибудь.

---

[1] Завтра, завтра, не сегодня, так ленивцы говорят! *(нем.)*

— Романтизм, мой милый, романтизм! — торжественно вскричал Николай Иваныч,— только больная голова не может вынести действительности, а здоровая никогда не наполнится ужасами при взгляде на нее.

— В том-то и дело, что вы совершенно напрасно называете ваше воззрение на жизнь здоровым. То, что вы величаете здоровым анализом действительности, есть не что иное, как больная, очень больная ваша мнительность. Хорош анализ, когда человек, открывши на теле рану, ограничивается тем, что констатирует ее существование, уясняет себе происхождение ее и обсуживает, какие могут быть оттого последствия! И не поднять руки, чтобы завязать эту рану! И не позволить сердцу даже содрогнуться при виде этого безобразия! И отчего? оттого, что все это, изволите видеть, романтизм, романтизм, романтизм!

— Однако ж, вы не станете пить холодную воду, когда разгорячены,— возразил Николай Иваныч победоносно.

— Экую хитрую штуку вы сказали! конечно, не стану, да ведь тут результат мне положительно известен, а в жизни много ли таких случаев? Соображать свою жизнь с обстоятельствами! предвидеть последствия! да спрашиваю я вас: где вы найдете указание на все подробности жизни, как предугадаете последствия? Если бы все повиновалось определенным законам — à la bonne heure![1] вы были бы правы! а то, видите ли, нынче и природа-то действует как будто со сна: вот теперь должно бы быть лету, а у нас осень; мы и дрожим против камина от холода.

Николай Иваныч молчал.

— Вы вообразите себе,— продолжал молодой человек,— что вы, в самом деле, поставлены в необходимость все взвешивать и обдумывать; ведь вам жить будет невозможно. Если у вас есть сегодня кусок хлеба, чтобы утолить голод, вы не будете его есть: кто знает, может быть, сегодня же вас обокрадут, лишат возможности купить другой кусок хлеба... И вы не смеете есть, вы морите себя голодом в том расчете, что вам, *может быть,* завтра еще понадобится этот самый кусок хлеба... А завтра что? да ведь и завтра не легче, потому что из-за завтра глядит столь же черное и чреватое разными невзгодами послезавтра... Нет, Николай Иваныч, птицам небесным не следует думать о завтрашнем дне, а мы все, в настоящую минуту, более или менее птицы небесные! Это не утешительно, но несомненно.

— A bas Николая Иваныча! à bas золотую посредствен-

[1] в добрый час! *(франц.)*

ность, ослиные добродетели! — закричали хором присутствующие.

— Да ведь этак,— начал тот же юноша,— вы, пожалуй, всю вину свалите на человека; этак, если я оборван да оглодан, так я отчета нигде попросить не могу, отчего, дескать, я оглодан: пеняй, мол, сам на себя, сам во всем виноват. Гнусно, Николай Иваныч, ужасно гнусно!

— Гнусно, Николай Иваныч! — кричала толпа.

Николай Иваныч ходил по комнате и только отдувался, теребя усы.

— Однако ж, Николай Иваныч, вы что-то начали говорить об людях, которые сами себе с особенным удовольствием пакостят,— заметил один из присутствующих,— верно, у вас в запасе какая-нибудь история. Не ради принципа, а ради скуки, снедающей нас, расскажите нам ее.

— Нет, это было простое воспоминание... да притом же ведь это дело конченое: я побит, следовательно, и рассказывать не для чего,— сказал Николай Иваныч обиженным тоном, не лишенным, однако ж, легкого сардонического оттенка, как будто бы в самом-то деле он и не был побит.

— Ну, вот, вы и обиделись! Сжальтесь над нами; посмотрите, какая на дворе гадость; не умирать же нам здесь от скуки; расскажите свою историю.

Николай Иваныч начал:

«История моя, будь она издана лет без малого сотню тому назад, наверное имела бы заглавием: «Пагубные последствия праздной жизни, или Каким образом человек сам сознательно устроивает собственное свое несчастие».

В мое время, господа, молодые люди жили в Петербурге как-то особенно странно. То есть, если я говорю вам «молодые люди», то разумею под этим названием только известный кружок таких людей — людей близких между собою по убеждениям, по взгляду на вещи, по более или менее смелым и не совсем удобоисполнимым теориям, которые они себе составили; одним словом, кружок, к которому принадлежал я сам.

Жизнь мы вели совершенно затворническую; большую часть дня сидели дома, а по вечерам собирались друг у друга. Сначала-то оно шло хорошо; люди были мы всё молодые, сошедшиеся не случайно; покуда запас новостей не истощился, покуда мы не узнали еще друг друга вполне, нам весело было собираться вместе по вечерам. Само собою разумеется, на этих сборищах не было ни тени буйства; то есть, если хотите, оно и было, но только в области мысли, где мы решительно

не признавали никакой опеки,— а отнюдь не в действиях. Дело ограничивалось обыкновенно неизбежной чашкой чая и разговором... зато разговор выкупал собою невинность чашки чая. Но все это было сносно только сначала; мало-помалу все личности, составлявшие этот кружок (а их было очень немного), сделались известны друг другу в такой изумительной подробности, что общество наше совершенно упало духом и готово было распасться. Было известно, например, что в такой-то день М—н будет упрекать М—ва за его систематическую, ребяческую непосредственность, за его безрассудное, ни к чему не ведущее и немного скифское удальство, и что̀ всего хуже — известно было даже и то, что М—в будет возражать на подобные обвинения. Одним словом, мы страшно скучали, потому что наизусть знали друг друга. В понедельник будут говорить о последней книжке любимого журнала; во вторник М*** будет развивать какой-нибудь экономический вопрос; в среду — вопрос психологический; в четверг — что делается за границей и хорошо ли делается и т. д.

В этом последнем отношении, как и все люди праздные, мы много занимались сочувствием и радовались падению какого-нибудь нелюбимого министерства с такою глубокою искренностию, как будто бы случай этот самим нам открывал дорогу в министры. Иногда, впрочем, для разнообразия порядок изменяли, и экономические вопросы развивались в понедельник, тогда как толки о последней книжке журнала отлагались на самый конец недели. Но, при всей этой принужденности отношений, мы как-то всё еще боялись сознаться в этом друг другу, и всякий раз с необыкновенным самоотвержением тот из нас, который был завтра на очереди, уходя домой и обращаясь к присутствующим, говорил: «А что, господа, так завтра у меня?» И все с не меньшим самоотвержением отвечали: «Да, у тебя; будем, непременно будем».— «То-то, смотрите же, я буду ждать»,— отвечал очередной и накрепко наказывал всем, чтобы не забыли, что у него, дескать, будет собрание, а не у С* и не у М*.

Теперь, когда я обдумываю свое прошедшее (вы извините мне, господа, это маленькое отступление), мне делается ясным, каким образом зародилось в наших сношениях это коррозивное начало всего сущего, называемое скукой. В самом деле, зачем мы собирались? Чтобы сообщать друг другу свои наблюдения? да ведь эти наблюдения надобно было делать над чем-нибудь живым, действительным, а мы имели только книги. Да и узнанное нами из книг не могло быть интересным предметом для наших вечерних бесед, с тех пор как личность каждого из нас была нам совершенно подробно известна.

Читали мы всё больше одни и те же книги; образом мысли, характерами так близко подходили друг к другу, что известная мысль производила почти одно и то же впечатление на всех нас. Одно только и могло бы истинно заинтересовать нас — это наблюдения, извлеченные из практической деятельности нашей, а их-то именно и недоставало. Кто его знает, мы ли сами насильно оторвались от общества, или общество оторвало нас от себя, только практической деятельности ни у одного из нас не было никакой. Эта-то насильственная скудость живой деятельности и, напротив того, чрезмерное, болезненное обилие деятельности чисто книжной и было тем злом, которое неутомимо грызло цепь, долго всех нас связывавшую. Положим, что некоторые из нас далеко пошли в сфере мысли,— да где же факты для подтверждения смелых теорий, которые каждый из нас более или менее создавал или, скорее, вычитал себе из книг? где земля, на которую можно смело опереться? Никаких, решительно никаких положительных знаний мы не имели, и потому поневоле должны были пробавляться общими местами и бесплодной силлогистикой. Многие, например, из нас весьма отчетливо могли себе представить будущность человечества, а не видели, что делается у них под руками, не могли бы сказать, ка́к нужно действовать в данную минуту, в данной средине...

Кто виноват в этой праздности — предоставляю судить вам самим, господа. Достоверно известно мне, что мы действительно, наконец, страшно обленились и находили неистовое удовольствие в сознательном переливанье из пустого в порожнее; но достоверно известно и то, что и мы не всегда были так апатичны, что и в нас когда-то была жажда деятельности, да по каким-то независящим (от кого?) обстоятельствам, в одно прекрасное утро, оказалась выписанною из наличности.

Жизнь есть ряд вопросительных знаков, господа.

Так вот такую-то удивительную жизнь вели мы во время о̀но.

В последнее время критики наши ввели похвальный обычай нападать на те произведения литературы, в которых изображаются так называемые «больные», то есть полоумные и юродивые. Действительно, ничего не может быть презреннее, нелепее «разочарованных». Это, по большей части, школьники, в юных летах вкусившие трубки, вина и женщин и воображающие, что, вне этих трех капитальных фактов жизни человеческой, остальная вселенная есть не что иное, как tabula rasa[1]. Люди эти всего более боятся всякого увлечения, назы-

[1] чистая доска (*лат.*).

вая это детскими игрушками, а сами и не догадываются, что их разочарование есть тоже игрушка (да притом еще и какая детская!) и что их вполне верно можно определить, назвав «очарованными разочарованными». Итак, критика очень хорошо делает, выказывая всю пошлость подобных людей, но вместе с тем она крайне неправа, обвиняя литераторов в пристрастии к изображению характеров подобного рода. Если правда, что литература должна быть зеркалом современного общества, то люди, одержимые тихим помешательством, должны составлять капитальное ее достояние. Видов этого помешательства ужасно много, и их тем труднее подметить, что нередко они имеют все признаки нормального, здорового состояния. Некоторые помешаны на самопожертвованье, другие на нравственности, третий желал бы, чтоб все люди, не исключая даже чинов петербургской полиции, были добродетельны; четвертый — чтобы все были счастливы, не исключая даже князя Чернышева. Основанием всех этих желаний — известное сочинение Тредьяковского: «Езда в остров любви». Где взять здоровых людей? Поневоле придется заниматься уродами, тем более что naturalia non sunt turpia[1].

На одном из тех приятных вечеров, как я вам сейчас описывал, явилось однажды новое лицо, Александр Андреич Брусин. В маленьких кружках, где собираются всё знакомые, примелькавшиеся лица, явление нового человека всегда производит порядочную кутерьму. В этого человека вглядываются особенно пристально, допытывают, так сказать, обнюхивают его, узнают все мелкие подробности жизни, и когда наконец все члены кружка удостоверятся, что нового, собственно, эта новая личность ничего не представляет, тогда все успокоиваются, и кружок умножается еще одним членом. Деспотизм такого рода кружков доходит даже до того, что если новобранец оказывает хотя малейшее поползновение выбраться из колеи затейливых, но бесплодных желаний, то бывает безвозвратно исключаем, как недостойный и недостаточно развитый, чтоб стать в уровень с членами кружка.

Такого же рода испытанию подвергнут был и Брусин. Оказалось, что он удовлетворял даже самым строгим требованьям; мечтательности, стремления строить утопии была доза препорядочная; практического смысла — нисколько. Как и все мы, он мечтал про какие-то отдаленные времена, которые должны были прийти после скончания веков, с удивительной легкостью устроивал счастье и будущие судьбы человечества и между тем не мог предложить ни одного средства, каким образом

---

[1] естественное не может быть безобразным *(лат.)*.

нужно бы вести человека к этим «будущим судьбам». А без этого всякая утопия — нелепость, потому что человек уж так устроен, что и на счастье-то как будто неохотно и недоверчиво смотрит, что и счастье ему надо навязывать...

Я сошелся с Брусиным скоро и близко. И не мудрено: нас связывали не только одинаковые убеждения, не только одинаковый образ жизни, но и одинаковое сознание глубокой бесполезности этой жизни, сознание того, что мы начали читать, не научившись азбуке, начали ходить, не научившись твердо стоять.

Мы поселились вместе и, от нечего делать, по целым дням вздыхали над нашей собственной инепцией[1]. Когда запас наших взаимных излияний истощился, то и к нам змеей подползла скука и грозила теми же грустными результатами, которые уж осуществились над небольшим кружком нашим. Тысячу раз мы давали друг другу твердое обещанье бросить эту праздную жизнь и приняться за дело. Но вопрос: как приняться за дело? какое это дело? И мы по-прежнему пребывали в косности.

Брусин был романтик в душе, романтик во всех своих действиях. Обстоятельства ли его так изуродовали или уж, в колыбели, судьба задумала доставить себе невинную утеху, создав нравственного уродца,— право, не могу достоверно сказать вам. Это такие темные, запутанные дела, над которыми тысячи здоровых и счастливо организованных голов сломаются прежде, нежели будут хоть на шаг подвинуты к вожделенному решению. Приятель мой весь был составлен из противоречий. Послушать, бывало, его, так всякий подумает: «Вот наконец хоть один человек, одаренный высоким практическим смыслом». Он до такой степени легко усвоивал себе всякую прекрасную идею, что она внезапно становилась его собственностью, являлась его уму со всеми мельчайшими подробностями, со всем дальнейшим развитием, со всем практическим применением. В воображении его мигом устроивалась жизнь деятельная, кипучая, в которой ни одной минуты нет праздной, в которой нет возможности опомниться человеку: до того полна она, до того поглощает всего человека. Но все это только в будущем, все это не обусловлено ни пространством, ни временем, а потому там легко и удобно распоряжаться по усмотрению. В настоящем же дело гораздо труднее и туже делается. Тут беспрестанно встречаешь на пути так называемые faits accomplis[2], с которыми не легко бороться, которые глубо-

---

[1] глупость (от *лат.* ineptia).

[2] совершившиеся факты *(франц.)*.

ко пустили корни. Жизнь есть пробный камень больных натур.

И действительно, редко случалось мне встретить человека, до такой степени негодного в жизни, как Брусин. Он был капризен и требователен до ребячества; повелителен до деспотизма; непостоянен и изменчив до самого узкого эгоизма. А всему причиной было ложное воспитание, которое получил он, подобно всем нам, и которое развило в нас только потребности и стремленья, а не указывало на средства удовлетворить им. Следствием такого направленья было то, что мы до того забежали вперед, до того разошлись с действительностью, что не имели ни одной точки, на которой бы могли, без тягостного чувства, помириться с нею. Из всего воспитания мы видели только конец, а начала и средины для нас не существовало.

Вы спросите меня, быть может, почему же я, сознавая столь ясно его глубоко бессильную и извращенную натуру, так сильно привязался к нему. Ответ на это очень прост. Во-первых, я сам, в то время, недалеко ушел от него в этом отношении. Во-вторых, несмотря на все его яркие недостатки, редко можно было встретить в чьем-либо характере столько симпатии ко всему страждущему и вопиющему, сколько нашел я в нем. Малейшее чужое горе, малейшее угнетение или несправедливость глубоко и искренно терзали его. Еще больше гнело его в этом случае сознание его собственного бессилия в деле помощи, и он действительно бывал глубоко и тяжко несчастлив. Хотя, конечно, все это несчастье и ограничивалось одними жалобами, но за намерение многое прощается, господа. Так вот где тайна моей привязанности к Брусину.

Жизнь наша в ту пору была самая горькая и тяжелая. Я уж дал вам некоторое понятие о том, каким образом мы проводили время; но это только нравственная сторона вопроса; матерьяльная была едва ли еще не плоше. Я-то, правда, служил да и <от> отца получал немного; следовательно, мог еще как-нибудь пробиваться; но Брусин никак не хотел вступить на службу, а между тем собственные его средства были самые ничтожные: всего тысячи две или полторы ассигнационных рублей в год. Согласитесь, чем же тут существовать?

А потребности были у него гигантские, как у всех людей, у которых воображение развито на счет рассудка. Воспитан же он был в каком-то заведении или пансионе, в кругу разных баловней фортуны; там-то именно и впились в него разные претензии,— а уж куда как худо, как беден человек да еще и затеи разные в голове заводятся. Да притом еще и беспечность, или не то что беспечность, а равнодушие какое-то дьявольское ко всякой работе, которою можно было бы доста-

вить себе кусок хлеба, как будто родился этот человек на то, чтоб жить ему на всем готовом. А иной раз — кто его знает — начнет, бывало, беспокоиться, и целый день жалуется, целый день мучит себя и все придумывает различные средства добыть себе денег, и все-таки остановится на том, что сложит себе руки и начнет клясть час своего рожденья, жаловаться на людей, на какие-то обстоятельства, будто бы отбившие его от честного труда, называть себя бесталантным, ни на что не годным человеком.

Это бывали едва ли не самые грустные минуты нашей жизни вдвоем; тщетно упрашивал я его успокоиться, тщетно доказывал, что жалобы ни к чему не ведут, а разве еще больше раздражают воображенье; что если он действительно не находит для себя приличной сферы деятельности, то нечего об этом говорить, так как это дело уж конченое, а надобно покориться обстоятельствам и от обстоятельств же ждать наступления лучшей поры.

Однажды, однако ж, мне удалось склонить его вступить на службу. Сначала он принялся было с рвением, сильно занимался и даже надоел мне своими разговорами о службе. Через два-три месяца, смотрю, малый-то начинает сидеть по утрам дома, дел к себе на квартиру уж не берет. «Что ж, почтеннейший Александр Андреич, или уж вам надоело?» — спрашиваю я его. «Да нет,— отвечает он мне,— это не мое призванье; я тут ничего не могу сделать».— «Да где же вы надеетесь что-нибудь сделать, Александр Андреич?» — «А вот подумаю; может быть, и нигде; нельзя же мне брать вознаграждение за труд, к которому я не чувствую ни охоты, ни привязанности». И ведь вышел в отставку.

Великий он был романтик, господа. На все смотрел сквозь увеличительные стекла, везде хотел совершить что-то гигантское, удивить мир каким-то необычайным подвигом, а того не мог понять, что то дело только и прочно, которое трудно и помаленьку делается, что те только и могут назваться истинными деятелями, которые неутомимо на всех пунктах равно преследуют свою цель. Да притом же на всякое свое действие смотрел он, как на совершение какой-то священной обязанности, гнушался личным интересом и никак не мог свыкнуться с тою весьма простой и ходящей по рукам мыслью, что исполнение обязанности нисколько не мешает обделыванию своих собственных делишек. Брусин создал себе великое множество всякого рода призраков, и сам же был первый страдалец своего затейливого воображения. Он никогда не хотел взяться за вещь прямо; нет, он подходил к ней издалека, заранее преувеличивал себе ее важность; от этого и выходило всегда так,

что начнет-то он, бывало, превеликолепно, а кончатся всегда эти пышные приготовления преобидно: или жалобами на судьбу, или самою ничтожною любовишкой.

Теперь позвольте мне описать вам его наружность. Роста был он довольно высокого, чрезвычайно строен, но худ и хрупок до крайности; я помню, раз как-то, в шутку, я поднял его к себе на руки и сам удивился его легковесности. Лицо его было тоже худощаво и очень бледно, но это была нежная, матовая бледность, от которой так и веяло теплотой жизни; глаза были карие и постоянно задумчивые; углы рта несколько опущены вниз, что в особенности нравилось женщинам; лоб высокий, подбородок круглый,— чтобы кончить мое паспортное описание. Одним словом, ни одна часть его лица не выдавалась резко вперед, не представляла угловатости; и оттого в лице его не было никакого особенно энергического выражения, а все оно дышало какою-то кроткою, но тем не менее недозревшею, преждевременною задумчивостью.

Но что особенно хорошо было в нем, и даже более чем хорошо — великолепно,— так это его густые темные волосы. И надо сказать правду, он распоряжался ими с особенной любовью и даже с кокетством. Зато поистине таких волос я никогда, даже ни у одной женщины, не встречал. Однажды даже как-то... но, впрочем, что об этом и говорить... тем более что это обстоятельство касается, собственно, одного меня.

Вы меня извините, господа, за эти мелочи: в свое время человек этот был очень, очень мне дорог.

И он не неглижировал своей наружностью, а, напротив того, занимался ею очень тщательно; я думаю даже, что большая часть его расходов именно на то шла, чтобы добыть хорошее белье и хорошее платье.

Так жили мы с ним около года. Вдруг я начал замечать, что приятель мой что-то часто подходит к окну, застаивается на одном месте и все кого-то высматривает наискосок. Я обратил на это внимание. Действительно, в той стороне дома (мы жили на дворе), в окне, начала показываться чья-то стройненькая талия, чье-то розовенькое личико... Сначала личико как будто кокетничало, задергивало занавеску, потупляло застенчиво глаза в пяльцы, в которых, по-видимому, с незапамятных времен вышивалась известная пара туфлей в подарок дорогому другу; но, несмотря на эти уловки, мне удалось, однако ж, заметить, что уголок ревнивой занавески по́часту робко и как будто невзначай поднимался, и два зорких и быстрых глаза смотрели в окно к Брусину. Я молчал и ждал, что из этого будет. Наконец, в одно прекрасное утро, вижу, что личико уж не скрывается за занавеской и не потупляется

стыдливо в заветную пару туфлей, что глазки прямо и смело смотрят на моего сожителя, что и губки как-то особенно лукаво улыбаются и что к ним, розовым губкам, по какому-то странному случаю, бывает очень часто подносима крошечная и самая аппетитная ручка. Часто даже случалось мне заметить между Брусиным и соседкой самую короткую степень дружественности. Так, иногда движения ее были особенно живы; она делала моему приятелю самые выразительные жесты, отрицательно качала головкой, как будто выговаривая ему; иногда проскакивали даже минуты какой-то необыкновенно грациозной bouderie;[1] она отворачивала от окна головку, углублялась в свое шитье, или даже совсем задергивала занавеску и надувала при этом так мило свои розовенькие губки и делала такой жест, такой жест... «Вот, мол, вам за то, что вы дурно себя ведете»... За один этот жест, за одно это грациозно-гневное выраженье губок черт знает чего бы я не отдал, господа... И все я, бывало, допытывался, что бы это за причина такая, что они вдруг поссорились. Заглянешь к нему в комнату; он тоже сидит задом к окну и как будто читает книгу, а сам то и дело поглядывает искоса на окошко соседки. А впрочем, не успевал я опять подойти к пункту моих наблюдений, уж размолвка и кончилась; занавеска снова отдернута, и снова соседка стоит у окна, и смеется, и грозит ему пальчиком. «Что, наказаны вы, будете вперед слушаться? а не то, смотрите, сейчас же опять занавеску на место, да еще и всю штору, пожалуй, спущу — вот как!»

Зло меня взяло, господа. Надо вам сказать, что человек — животное, по преимуществу, завистливое и беспокойное, и этими только качествами, собственно, и отличается от бессловесных. Характер ли мой дикий тому причиной или наружность моя,— право, не знаю, как тут растолковать, но только такая уж случилась, видно, со мной оказия, что женщины вообще как-то мало привязывались ко мне. Не знаю, как это мне бог помогает, но всякий раз, как я соберусь сказать женщине какую-нибудь любезность, непременно скажу или страшную грубость, или глупость. И не то чтобы нарочно, а так, уж несчастье такое, что́ ни скажу, все невпопад. Одну даму, помню, спросил я об здоровье мужа, а почтенный Прохор Семеныч между тем с неделю только что отошел в вечность. Выходит, я посмеялся над горестью неутешной вдовы, раскрыл еще незакрывшиеся раны горести и отчаянья. У другой, однажды, спросил, давно ли она ездила верхом, а она уж девятый месяц носила следы ревностного исполненья супружеского долга.

---

[1] капризности *(франц.)*.

Посмеялся, следовательно, над священнейшей из обязанностей, уничтожил одним разом семейство, нравственность, права природы, права супруга. И потому я, большею частью, старался молчать при женщинах или говорить только о погоде, в том вниманье, что эта благонамеренная дама, по-видимому, не отправляет никаких супружеских обязанностей и ничем не оскорбляется.

А ведь как хотите, холостая жизнь хоть кого взбеленит! Все один да один; вздуришься и пошел чертить... Вот оттого-то и досадно мне было, что живет со мной человек рядом, и на него умильно посматривают, за ним приволакиваются, а ко мне в окно хоть бы одним глазком взглянули.

Однако ж я все выжидал, не скажет ли мне чего сам Брусин, а между тем замечал, что и с его стороны производятся кой-какие ответные эволюции руками, глазами и так далее.

Действительно, однажды, после обеда, он подвел меня к окну. Время было летнее; жильцы побогаче все разъехались на дачи; дом, в котором мы жили, был невелик и имел всего два этажа; следовательно, мы почти одни и жили в это время в целом доме, да еще мастеровые какие-то занимали нижний этаж. Окно наискосок было отворено, и те же плутовские глазенки глядели прямо на нас. Когда мы подошли к окну, хорошенькая головка улыбнулась и высунулась из окошка.

— Видишь? — спросил меня Брусин.

Я не только видел, но даже злился пуще, нежели когда-нибудь: до того хороша была она. На ней было простенькое голубое ситцевое платье; на шее повязан маленький шелковый платочек — но как он был повязан, этот платочек, как кокетливо глядело все на ней, как все было у места! И тут (Николай Иваныч показывал на грудь) такая роскошь, такая нега и упругость, что я с сожалением вспомнил о тех несчастных еретиках, которые исповедуют грустное убеждение, будто русские женщины страдают недостатком, едва ли не самым печальным и злокачественным из всех возможных недостатков.

— Это Николай Иваныч,— сказал Брусин, указывая на меня.

— А, так вы Николай Иваныч? очень рада с вами познакомиться, сосед,— отозвался маленький, но хорошенький голосок.

Я только и делал, что кланялся.

— Вот вы ходите на службу каждое утро, вам не скучно,— продолжал тот же голосок,— а мне одной, не поверите, какая тоска! вот мы с Александром Андреичем и переговариваемся от скуки... право!

— Право? и давно вы так переговариваетесь? — спросил я.

— Да, право, не знаю... спросите у него. Да вы-то где ж бываете, что вас никогда не видно?

— А он занят важными делами, он трудится на государственной службе,— отвечал Брусин.

— Сделайте одолжение, не с вами, сударь, говорят; разумеется, они заняты службой... Это не то, что есть другие, которые цельный день сидят у окошка да выглядывают девушек... да-с; смейтесь, смейтесь; лучше бы вы место себе приискали — вот что!

— Ну, хорошо; я буду искать себе места.

— И лучше сделаете, гораздо лучше...

И все это было сказано таким тоном, что следовало, тысячу раз следовало расцеловать губки, произнесшие эти слова.

— Хоть бы вы, право, посмотрели за ним,— продолжала соседка, обращаясь ко мне,— такой негодный; просто покою не дает... Я, знаете, сначала из любопытства, да к тому же вижу, что молодой человек все один да один; скучно, думаю, ему, жалко мне стало; я и начала разговаривать, а он и взаправду подумал... Так нет же, сударь, ошибаетесь! вы противный, вы гадкий! я совсем, совсем, вот ни на столько не хочу любить вас... Да и хотела бы, так не могу... вот вам!

И она показала самую крошечную часть на мизинце; я взглянул на Брусина: грудь его поднималась высоко; он впился в нее глазами и, казалось, всем существом своим любовался каждым ее движением.

— Оля! голубчик ты мой! — едва мог он проговорить задыхающимся от волнения голосом.

— Оля! вот еще новости! покамест еще Ольга Николаевна — прошу помнить это!

— Знаете что! — продолжала она, обращаясь снова ко мне,— отведите-ка его от окна и будемте говорить с вами, а то ведь есть такие дерзкие молодые люди, которые — маленькое им снисхождение сделай — так уж и бог знает что возьмут себе в голову.

— А я так думаю, не приятнее ли вам будет, если я сам, вместо него, отойду от окна.

— С чего вы это взяли? уж не думаете ли и вы...

— Да, я думаю, и очень думаю...

— Напрасно вы думаете, и если вам это сказали некоторые господа, так скажите этим господам, что это неправда и что напрасно они воображают себе...

— Ну, так я отойду,— сказал Брусин.

Оля молчала.

— Вам, может быть, доставит удовольствие, если я не буду у окна,— снова начал Брусин.

— Сделайте одолжение, с вами не говорят, делайте как угодно; стойте тут, если хотите,— ни удовольствия, ни неудовольствия это мне не сделает... пожалуйста!

Брусин отошел; Оля засмеялась.

— А какая у вас миленькая квартирка,— сказала она,— мне все видно к вам в комнаты; да вот теперь, как ни посмотришь, все встречаешь в окне некоторых несносных господ... Такая, право, досада! на двор посмотреть нельзя, всё эти господа на глазах.

Брусин снова подошел к окну.

— А кто же вам велит смотреть в окна чужой квартиры? — сказал он.

Оля затопала ножками.

— Не вам, не вам, сударь, говорят! Пожалуйста, избавьте меня от своих разговоров... Да отведите, сделайте милость, от окна этого господина.

Брусин опять удалился. Последовало несколько секунд молчания. Приятель мой, ходивший в это время в глубине комнаты, начал снова мало-помалу приближаться и, наконец, очутился у самого окна.

— Ну, мир, Оля! — сказал он нежно.

— Вот еще! с чего вы это взяли, что я с вами ссорилась! разве мы друзья, чтобы нам ссориться!

Оля отворотила головку, а все-таки мы слышали очень явственно, что она там втихомолку смеялась.

— Да ведь ты сама смеешься, Оля! — сказал Брусин.

— Кто вам это сказал?

— Да я слышу...

— Совсем нет, и очень серьезно говорю, что это просто ни на что не похоже.

— Чтó ни на что не похоже?

— Да то, что не даете мне покою...

— Да полно же, Оля; ведь тебе самой, плутовка, хочется, чтоб тебе не давали покою.

Снова послышался смех.

— Ну, мир, что ли, Оля? да отвечай же!

— Не стоите вы, право...

Но хотя он и не стоил, а все-таки личико понемногу оборачивалось к нам. Когда они посмотрели друг на друга, то оба, неизвестно чему, засмеялись, и я снова увидел тот жест, про который говорил вам и который ясно обозначал: «Что, натерпелся ты? будешь ты вперед слушаться?» — хотя я решительно не понимаю, как можно не слушаться подобного ангела!

— За что же ты сердишься на меня, дурочка? — спросил Брусин.

— Ах, отстань от меня; ты глупый и ничего не понимаешь. Оля потупилась.

— Благодарю за комплимент.

— Это не комплимент, а правда. Не правда ли, Николай Иваныч, ведь он глупый?

— Не знаю; я так думаю, что не совсем...

— Ну, вот вы какие! и вы за этого негодного?.. а, право, премиленькая у вас квартирка...

Молчание. Видно было, что ей ужасно хотелось, чтоб ее пригласили на эту миленькую квартирку.

— Оля! а Оля! — молвил Брусин.

— Ну, что еще?

— Знаешь ли, что я вздумал?

— Вот какой глупый! разве я Анна-пророчица, чтобы знать, что ты думаешь! И он не глуп после этого, Николай Иваныч!

— А я думаю, кабы ты...

— Вот еще вздор какой! пойду я к тебе на квартиру; с меня и своей довольно...

— Да я и не думал тебе предлагать...

Оля зарделась и топнула с досады ножкой.

— Совсем и не думал,— продолжал Брусин, в свою очередь кокетничая и гоняя Ольгу,— и с чего берут, право, эти девушки... А я просто-напросто хотел попросить тебя запереть окошко.

— А вам что за дело до моего окошка?

— Да так; видишь некоторые лица... неприятно! Право, заперла бы ты окно, Оля!

— Ну, вот, теперь уж ты начал бесить меня. Мало мы ссоримся! довольно, что и я иногда пристаю к тебе!

— А! попалась, попалась же ты, плутовка! ну, за это надевай же шляпку да и марш к нам на квартиру!

— Зачем же шляпку... я и так...

— Без шляпки? смотрите, как теперь спешит!

— Да я совсем не к тебе, а к ним... да, к Николаю Иванычу — вот же тебе!

— Ну, хорошо, хорошо; только, пожалуйста, поскорее! а то все через двор переговаривайся... такая скука!

— Она уж была у тебя? — спросил я его, покуда Оля собиралась.

— Нет; это в первый раз.

— Хорошая девушка!

— Не правда ли? И какое сердце! Я когда-нибудь рас-

скажу тебе ее историю... она мне все с первого же разу пересказала.

— Поздравляю тебя...

— А ты и не заметил ничего? уж мы давно...

— Как же, как же! куда мне заметить что-нибудь...

В это время Оля проходила по двору.

— Посмотри, какая славная девушка! — сказал он мне и потом закричал ей: — А каков Николай-то, Оля! ведь он давно уж все знает, а мне и виду не подавал... право!

Оля улыбнулась и погрозила мне пальчиком.

Через несколько секунд она была уж у нас. Приятель мой был вне себя; он целовал ее руки, целовал ее губы, глаза, прижимал ее к сердцу, и потом опять целовал, опять обнимал, до того даже, что мне сделалось тошно.

— Да полно же тебе, Александр! — говорил я,— ты точно ребенок.

— За дело ему, за дело,— отзывалась Оля,— покою мне не дает: такой негодный!

А между тем нисколько не противилась ласкам Брусина, а только еще пуще раззадоривала его.

Наконец он выпустил ее из рук; с ребяческим любопытством начала она оглядывать каждый уголок нашей квартиры. Квартира была как и все петербургские квартиры, назначенные для помещения капиталистов; всего две комнаты; одна моя, другая — Брусина, и обе довольно скудно убраны; но Ольга осталась очень довольна и заметила, что такой удобной квартиры не только в Петербурге, но даже и у француза нет. В особенности нравилась ей комната Брусина. Она попеременно садилась то на диван, то на кресла, и все находила преудобным. Стала даже мало-помалу давать советы, как бы все получше устроить, и весьма удивлялась, как это у Александра нет в заводе кровати, и тотчас же изъявила сомнение в удобности дивана.

— Да ведь я не женат,— говорил Брусин,— зачем же мне кровать?

Она покраснела слегка и погрозила ему.

— То-то вот и есть, не умеете вы ничего сделать,— говорила она,— вот я бы поставила там у задней стены кровать: купила бы ширмочки; тут бы диван и стол, там кресла...

— Так ты бы нам все и устроила, Оля...

— Это что выдумал! ведь я тебе чужая.

— Да ты не будь мне «чужая».

— Как же это можно! ведь я тебе не сестра.

Оля плутовски посмотрела на Брусина.

— Да ты будь... моей женой.

Оля засмеялась.

— Вот прекрасно! сделайте одолжение, Александр Андреич; ведь я не какая-нибудь; я и дядюшке сейчас пожалуюсь — вот как!

— А! у вас есть и дядюшка? — спросил я.

— Да; и пресердитый; он теперь в Москве, а то бы...

— Ну, что ж, если б он был здесь? — спросил Александр. И протянул руку, чтобы обнять ее талию.

— А то, сударь,— отвечала она, ударив его по руке и увертываясь от его объятий,— что он не позволил бы всякому негодному мальчишке не давать покою честной девушке!

— В самом деле? — сказал Брусин и быстро поцеловал ее в самые губы.

— Ах, да что ж это за негодный такой! — говорила Оля притворно жалобным тоном,— уведите его, Николай Иваныч; посмотрите, пожалуйста, все платье на мне измял... Вот тебе, вот тебе за это, скверный мальчишка...

И она пребольно выдрала его за ухо; но он ничего; даже схватил наказывавшую его ручку и с большим аппетитом поцеловал. Правда, что ручка-то была такая маленькая да пухленькая...

Так проболтали мы целый вечер и, право, превесело провели время; Ольга разливала нам чай, а Брусин весь растаял от удовольствия. Я, впрочем, давно уж думал, что в нем есть сильное поползновение к фамилизму.

Под конец Оля даже развернулась и выказала себя определеннее; она закурила папироску и затягивалась не совсем дурно, потом начала класть ногу на ногу и опираться рукою в колено с какою-то особенной грацией, свойственной только известного рода женщинам.

Однако ж совсем у нас не осталась, как я сначала было думал; да, впрочем, и Брусин не настаивал много на этот раз.

На другой день она опять пришла к нам; те же самые сцены повторились, что и накануне, с тою только разницей, что она распоряжалась в нашей квартире, как полная хозяйка; все передвигала с места на место, беспрестанно дразнила и затрогивала Брусина, заставляла его бегать; одним словом, подняла такую кутерьму, которой, верно, наша скромная квартира никогда не видала в стенах своих. В этот вечер также она окончательно отдалась моему приятелю.

С этих пор Брусин начал жить совершенно новой жизнью; он с месяц был в каком-то чаду; целые дни просиживал дома и ни на шаг не отпускал ее от себя. И она тоже души в нем не слышала: целый день все пела да прыгала около него,

украдкой подползала к нему сзади, как кошка взбиралась к нему на плечи, закрывала ему ручонками глаза и уж целовала его, целовала его. А сама так и заливается звонким, веселым смехом.

Да и он-то, впрочем, хорош был! Сидит, бывало, и книгу в руках держит, как будто и не замечает, что она подкрадывается сзади. А сам ведь все видит и знает наперед, что вот она вспрыгнет к нему на плечи и будет его целовать... Да и книгу-то только для виду держал в руках, а сам и не смотрел в нее.

Но, признаюсь, мое положение было самое скверное. Быть действующим лицом в этом случае, может быть, и очень приятно — я против этого не спорю,— но зрителем быть, смотреть, как люди целуются и любовь водят... Да к тому ж они как-то совсем наизнанку выворотили мой прежний образ жизни. Бывало, жизнь моя шла по заведенному порядку; я знал, что вот тогда-то я буду то-то делать, что такая-то вещь или книга лежит у меня там-то; а теперь — примешься за дело, ан у соседей стук и возня; хватишься какой-нибудь вещи — а она в углу где-нибудь заброшена... И все эта негодная Ольга! ужасно не любила книг, настоящий Омар в юбке! Я было вздумал однажды серьезно выбранить их, да прошу покорно сохранить серьезное выражение с такими сорванцами! Ольга с первого же раза зажала мне ручкой рот, повисла мне на шею и, чтобы окончательно сбить меня с толку, даже поцеловала меня в губы... Да, поцеловала, господа, и она даже весьма часто целовала меня, да только без всякой задней мысли... без малейшей, уверяю вас! Меня очень многие женщины целовали, и всегда без задней мысли: такова, видно, судьба моя.

Когда же я не переставал ворчать, Ольга соблазняла меня обещанием познакомить когда-нибудь с одной из своих подруг, которые, разумеется, были все прехорошенькие... Против такого аргумента я тоже оказывался совершенно безоружным.

Когда она уходила хоть на минутку к себе на квартиру или со двора, Брусин делался скучен, и тогда ему приходили в голову самые дикие мысли, то есть, не то чтобы мысли эти были дики в существе своем, а vu les circonstances[1]. Это были мысли несбыточные, насквозь пронизанные романтизмом, идеализмом и прочими отвлеченными «измами».

Однажды мы как-то сидели вдвоем; Брусин вскочил с дивана и подбежал ко мне, будто озаренный какою-то необычайной мыслью.

[1] применительно к обстоятельствам *(франц.)*.

— Знаешь,— сказал он мне,— знаешь, какая мысль у меня?

— Что такое? верно, какая-нибудь страшная несообразность? — сказал я, зевая и потягиваясь в креслах, потому что мыслей, и притом самых разнообразных, являлась у него куча, и я имел уж достаточно времени, чтоб привыкнуть к ним.

— Я хочу сделать из нее женщину.

— Да она, кажется, и так женщина; природа создала ее такою: чего ж тебе еще хочется?

— Ах, ты меня не понимаешь... я хочу сделать из нее женщину в высоком значенье этого слова.

— А какое же высокое значенье этого слова?

— Да я хочу ее образовать; хочу пробудить в ней сознание ее назначения.

— Фу, какой вздор вы несете, Александр Андреич, стоило же из таких пустяков прерывать мои мечтания.

Брусин оскорбился.

— Отчего ж это вздор? — сказал он обиженным тоном,— я не вижу тут ничего несбыточного.

— Помилуйте, Александр Андреич,— ведь она не ребенок; почему же вы полагаете, что она живет бессознательною жизнью?

— Да; она не сознает своей жизни; она несчастна и между тем не понимает своего собственного несчастья.

— Полноте, друг мой, кто же вам сказал, что тут есть несчастье! Вы, кажется, в пылу своего романтизма, наделяете ее несчастьем, которое существует только в вашем воображении. Живет себе девушка беззаботно и весело,— так нет же, вздор все! совсем она не счастлива! и если, дескать, она весело смотрит да не жалуется на судьбу свою, так это потому, изволите видеть, что она не понимает своего несчастья! да ну, не понимает, черт возьми! что ж, лучше, что ли, ей-то, собственно, будет оттого, что она, вместо того чтобы быть бессознательно счастливой, будет сознательно несчастна? Ах, Александр Андреич, Александр Андреич!

Он задумался и быстрыми шагами ходил по комнате.

— Нет, ты все не то, ты все что-то не так рассуждаешь,— отвечал он на мои возражения.

— Ну, да положим, что твое перевоспитание может принести ей пользу, даст ей, как ты выражаешься, сознанье ее назначенья... Но надобно ведь прежде знать, примет ли она это перевоспитание?.. Ты, кажется, забываешь, что ее жизнь совершенно иная, нежели как ты, может быть, рисуешь ее в воображенье своем. Да притом, что это за слова: сознанье своего назначения? ты подумай, что ты говоришь! Где это

назначенье, в чем состоит оно? растолкуйте мне, Александр Андреич! а мне так кажется, что вы забежали что-то слишком вперед... То-то вот всё утопии: наделаете вы вздору с вашими «в высоком значенье этого слова».

Но он таки не послушался меня, и, к удивлению моему, в квартире нашей начало появляться великое множество всяких азбук, между которыми, впрочем, красовался какой-то курс психологии, вероятно тоже предназначенный для Ольги. И она, увидев эти приготовленья, испугалась не менее моего; ее здравый смысл очень ясно говорил ей о дикости затей моего приятеля.

Каким-то образом, однако ж, она сумела отлавировать от перевоспитания; чуть, бывало, Александр за книжку, она к нему на колени, щиплет его, задирает; а впрочем, никогда прямо не отказывается от ученья, а только задирает его. Тем это перевоспитанье и кончилось.

В другой раз ее как-то целый вечер не было дома (это было уж месяца два после короткого их знакомства). Брусин все сидел в углу такой угрюмый и ни слова не говорил. Наконец он подошел ко мне.

— Как ты думаешь? — спросил он меня,— счастлива она со мной?

— Право, не знаю; тебе, кажется, лучше следует это видеть.

Он начал ходить по комнате, как это всегда делывал в затруднительных обстоятельствах.

— Да,— говорил он сквозь зубы, как будто размышляя сам с собой,— однако ж вот уж целый вечер ее нет с нами.

Я расхохотался.

— Что ж ты смеешься? разве мое предположенье не может быть справедливым?

— Странно, однако ж, из того, что она один вечер проводит без тебя, заключать, что она тебя разлюбила!

Он снова начал ходить, и только урывками я мог слышать, что он ворчал себе под нос: «Однако ж она прежде ни одной минуты не хотела быть без меня, а вот теперь уж и целый вечер...» И беспрестанно поглядывал на часы.

Потом вдруг опять остановился передо мной.

— Знаешь ли что? у меня явилась мысль...

— Опять мысль? ну, говори, что еще такое?

— Не сделать ли мне ей какой-нибудь сюрприз?

— То есть, что ж такое «сюрприз»?

— Ну, подарить что-нибудь... платьице, мантильку...

Я глядел на него во все глаза.

— Это, верно, для того, чтоб возвратилась ее нежность к вам, Александр Андреич?

Он оскорбился.

— С тобой, право, ни о чем серьезно говорить нельзя,— сказал он обиженным тоном.

— Одно меня только удивляет тут, Александр Андреич: зачем вы себя мучите беспрестанно, зачем шпигуете себя разными пугалами? Ведь этак, знаете, не мудрено, что она и в самом деле перестанет любить вас.

— Это как?

— Да очень ясно; вот вы теперь ни из-за чего, просто из какого-то дикого удовольствия волнуете себе кровь. Что, если она воротится домой? Вы думаете, что ваши химеры не отразятся на вашем обхожденье с ней? Вы думаете, что это не положит печати принужденья на ваши взаимные отношения? А ведь от принуждения куда как недалеко до равнодушия! Эй, берегитесь, Александр Андреич,— опасную игру вы затеяли!

Но он никак не хотел убедиться и все продолжал пичкать себе голову всякими дикостями. Уж я не могу вам пересказать, чего он не передумал: уж и разлюбила-то она его, да и не любила совсем, а так только отдалась, в надежде поживиться от него чем-нибудь... Даже досадно и обидно было слышать, как человек так глубоко унижает себя. Иногда вдруг снова начинал придумывать средства возбудить в ней quasi[1]-остывшую нежность, и тут была тьма-тьмущая всяких нелепостей. То хотел он ей купить платье, то свозить на Крестовский, то конфет фунт подарить. А надо вам сказать, что о будущности женщины он имел самые широкие понятия,— да вот то-то и есть: все они таковы, романтики! как на словах, так хоть кого за пояс заткнут, а дойдет до дела...

Как я предугадывал, так и случилось, и в отношениях их поселилась совершенная холодность. Я решительно не мог понять этого человека, несмотря на то что часто и пристально вглядывался в него. С одной стороны, мне казалось, что он вовсе никогда и не любил Ольгу, что весь этот чад восторгов и упоений, которых я был свидетелем, был не что иное, как болезненное раздражение воображенья... Но, с другой стороны, отчего эти мученья, отчего эта ревность? зачем преследовал он ее, и, признаюсь, преследовал иногда так, что обхождение его глубоко оскорбляло меня?

Воспитание, господа, воспитание извратило его ум и сердце, а он не имел силы пересоздать себя. Воспитание сделало то, что он ни на чем не мог остановиться и беспрестанно кидался в крайности. То чувствовал он порывы лихорадочной деятельности, то вдруг погружался в самую болезненную апатию. То

---

[1] будто бы *(лат.)*.

же самое было и в любви; ни смело любить, ни смело отказаться от любви он не мог, потому что воспитание чудовищно развило в нем одно только качество — мнительность, которая и сделалась господствующим деятелем всей его жизни. Видимой причины разлюбить Ольгу не было (по крайней мере, в то время), но ему непременно нужна была какая-нибудь причина, чтоб удовлетворить этой мнительности, и он сам настегивал себе воображение, чтобы создать себе тысячи придирок. К тому же и самое содержание этой любви было так скудно, и притом с такою безумною непредусмотрительностью израсходовано, что через полтора месяца от прежнего упоения не осталось и следов. Другой сумел бы выйти из ложного положения, нашел бы силу отказаться от этой любви — и все-таки остался бы счастливым, а он не мог этого сделать, потому что не имел никакой точки опоры, потому что и вне этой любви его ожидала та же неопределенность, те же страдания. Эта-то неизвестность, в которой он постоянно находился, и была причиной всех его колебаний; а если и решался он на какой-нибудь шаг, то уж какой работы это ему стоило, через какой тугой и трудный процесс колебаний нужно было перейти этому решенью! Не знаю, сколько раз он ненавидел Ольгу и сколько раз снова возвращался к любви. Иногда он целые дни, шаг за шагом, преследовал ее. И это не было преследование смелое и открытое, а какое-то уклончивое и мелочное, свойственное только слабым людям и женщинам, которых (то есть сих последних) в настоящее время еще надобно тщательно отличать от «людей». Например, он не считал за нужное отвечать на ее вопросы, смеялся над ее несколько легкими манерами, над ее наивными и действительно слишком неразвитыми понятиями... Заметьте, впрочем, что в другое время все эти наивности возбудили бы в нем неистовый восторг и одни были бы достаточны, чтоб заставить его стать перед ней на колена и до истощенья целовать ее ноги.

По временам сцена переменялась: он вдруг начинал плакать, рвал на себе волосы, называл себя бесчестным и негодным человеком, просил у Ольги прощенья, и снова на целые сутки оба были счастливы... Но, с временем, и эти редкие минуты самообольщения стали все реже и реже. Ольга тоже начала плакать, так что я вдруг, вместо квартиры веселия и любви, очутился в квартире скорби и скрежета зубов. По временам она как будто возмущалась и хотела свергнуть с себя иго деспотизма, и часто, когда он уж слишком давал волю своему подозрительному воображению, из их комнаты долетали до моего слуха ее слова: «Да что ж, крепостная я ваша, что ли, что вы мной так командуете!» — но этим все и ограни-

чивалось: до того справедливо изречение, освященное мудростью веков, что женщину, что́ хорошую собаку, чем более бей, тем привязаннее она к своему господину.

Раз как-то, после такого возражения, Брусин убежал из своей комнаты, явился в мой кабинет и, настегав все количество пафоса, которым он мог распоряжаться, и став в приличную трагическую позу, обратился ко мне с видимым отчаяньем:

— Вы слышали? вы слышали, что сказала эта женщина?

Я не отвечал.

— И я мог любить ее! я мог любить женщину, которая не стыдится делать подобные ответы!

— Да что ж она сказала такого оскорбительного?

— Как? вы не слышали? она не постыдилась сказать мне, что она не крепостная, как будто я разделяю людей на крепостных и не крепостных.

— Да, не крепостная, не крепостная я ваша, что вы надо мной так куражитесь! — послышался из другой комнаты голос Ольги.

— Вы слышите? — сказал он, обращаясь ко мне.

— А вы не слышите, что она плачет? — спросил я.

Он сконфузился.

— Плачет? — сказал он спустя несколько минут,— да разве она понимает, о чем плачет, разве ее может оскорбить что-нибудь...

— И вы это от чистого сердца говорите, Александр Андреич?

— Да, я говорю это, хотя мне и больно сознаться в том, что я встретил грубость и тупоумие там, где ожидал найти...

— Что?

Он смешался и не отвечал.

— Грустно мне, Александр Андреич, обидно мне слышать ваши оскорбления! Когда вы полюбили ее, разве вы не знали, куда вы идете, на что решаетесь и с кем имеете дело...

— Да как же я мог знать это?

— А! по-вашему, лучше сделать несчастье бедной девушки, принести ее в жертву своему уродливому самолюбию, нежели, как следует всякому честному человеку, обдумать шаг, на который вы решаетесь! Спрашиваю я вас опять: чего, какой особенной любви вы ожидали от нее?

Он молчал.

— А ведь она между тем дала вам всю любовь свою! А вы не можете простить ей неразвитости ума, вас оскорбляет малейший промах в ее манерах! Да не в тысячу ли раз она более вправе упрекать вас в скудости и развращенности чув-

ства? Не вправе ли она обвинять вас в том, что вы каждую минуту с каким-то диким остервенением отравляете ее жизнь?

— Да что же мне делать, что делать мне, когда меня все это глубоко оскорбляет?

— Да кто ж виноват-то в этом, Александр Андреич? ведь она дает вам, что может, и не обязывалась никогда осуществлять в себе тот идеал женщины, который вам угодно было состроить в своем воображении... Не видите ли вы, что вы один виновник вашего несчастия, потому что смотрите на вещи не обыкновенными глазами, а сквозь увеличительные стекла?..

Замечательно, что, несмотря на оправдывающую ее сторону моих слов, Ольга едва ли не более оскорблялась ими, нежели обидным обхождением Брусина. Ее простой, но чрезвычайно здоровый смысл очень ясно понимал, что в этих словах заключалась и другая сторона, клонившая прямо к тому, чтобы разорвать эту странную, больную связь... Поэтому-то, когда разговор наш принимал такой оборот, она уводила его от меня и уж целый вечер ластилась около него и кое-как старалась замазать брешь, причиненную моими словами в его сердце.

Поистине уверяю вас, никак не могу и до сих пор объяснить себе причину этой живучей привязанности! Разве уж принять в соображенье то мудрое, освященное веками, изречение, о котором я вам упоминал.

Таким-то образом они и перебивались кой-как, то огрызаясь друг на друга, то взаимно прося друг у друга прощения, пока наконец одно обстоятельство окончательно не решило этого затруднительного и ложного вопроса.

В один из тех дней, когда Ольга казалась Брусину в розовом цвете, мы решились отправиться на острова. Я не понимаю, как она не нашла в себе довольно ума, чтобы отклонить эту поездку! Дело было в августе. День стоял жаркий, в городе духота страшная; в улицах везде пусто, только и видишь, что мастеровые шныряют, да и те такие бледные, испитые... Одним словом, так и зовет все за город, на вольный воздух, где и груди дышать привольнее, и мыслям есть где успокоиться. Оля сама напросилась на эту прогулку, и целый день были у ней всё сборы да приготовления, точно к празднику. Все пела да прыгала и так была весела, что приятель мой растаял совсем, да и я с каким-то особенным удовольствием смотрел на ее резвость.

Поехали мы в лодке к Кушелеву саду. Ольга ни минуты не оставалась в покое: то брызгала в нас водою, то раскачивала нарочно лодку, так что несколько раз чуть было не опрокинула ее. Все это, впрочем, и меня и Брусина чрезвычайно

радовало, потому что мы выехали из дому с намерением веселиться и уж во что бы то ни стало дали себе слово исполнить это намеренье.

День был воскресный, и дело шло уж к вечеру, но гуляющих было немного; посредине одной площадки стоял хор военных музыкантов и наяривал какую-то дикую арию. Гуляющие были большею частью из немцев, по той причине, что музыка играла даром, сад был тоже открыт даром, а немец, как известно, никак не пропустит случая попользоваться чем-нибудь даром. Мне кажется даже, что если бы немцу сказали, что в таком-то месте будут его бить *даром*, то он и тут бы не отказал бы себе в даровом удовольствии. Это уж, изволите видеть, национальный характер такой. Немцы, по большей части, сидели по скамьям, покуривали превонючие копеечные сигары и занимались молчанием. Гуляло также несколько чиновников из живущих на дачах. Эти господа, несмотря на жаркую погоду, были одеты все в черном и гуляли, по-видимому, только потому, что, живши на даче, нельзя уж не гулять. Некоторые из них водили за руки сынка или дочку, по временам останавливались и, указывая возлюбленным детищам на небо, преподавали им уроки астрономии, ограничивавшиеся по большей части тем, что этот, дескать, душенька, шар, который вон-вон там далеко на ниточке у бога висит, называется солнцем, и что есть на земле люди, не то мартинисты, не то коммунисты (преглупейший, душенька, народ, и за счастье, умница, почитай, что мы не в той стороне, а в нашей любезной матушке-России родились), которые солнцу молебны служат и обедни поют... По сторонам стояли группы кормилиц и нянек с золотушными, слюнявыми и пребезобразными детьми и тоже хранили молчание. Изредка только, когда безобразное дитя желало учинить какую-нибудь кувырк-коллегию, слышался дряблый голос няньки: «А вот погоди, я тебя рогатому немцу отдам!» — и безобразное дитя немедленно делалось тише воды, ниже травы. Одним словом, тут больше, чем где-нибудь, было место применить известный разговор, подписанный под одной карикатурою: «Кого здесь хоронят? — Помилуйте, здесь гуляют!»

Зато палатка, в которой находился трактир, была полна народу; в билиардной дым стоял такой, что у непривычного выжимал из глаз слезы и не позволял ясно различать предметы. Мы сели за особый стол и насилу добились себе чаю. Я начал уж проклинать все эти загородные так называемые удовольствия и твердо решился, напившись чаю, немедленно уехать домой, что и было одобрено моими спутниками. Но пока я хлопотал около чаю, успело произойти многое; как-то

нечаянно взглянул я на Ольгу: она сидела бледная и потупив глаза; Александр тоже напрасно хотел казаться хладнокровным; по стиснутым его губам и мертвенной бледности лица я угадывал, что в нем происходило что-то не совсем хорошее. В самом деле, невдалеке от нас стояло у окошка двое военных, которые, указывая на Ольгу и на нас, перешептывались между собою. Мне даже показалось, что один из них был несколько веселее обыкновенного и слегка кивнул Ольге головой.

— Пойдемте домой,— сказал я, не ожидая ничего хорошего от этой встречи.

Ольга поспешно начала собираться.

— Нет, зачем же домой! — отвечал Брусин дрожащим голосом и притоптывая от волненья ногой,— зачем домой? останемся лучше здесь! Ольга Николаевна встретила здесь старых и, по-видимому, весьма приятных знакомых — зачем же лишать ее этого невинного удовольствия?

Ольга молчала; военные всё перешептывались и искоса поглядывали на нас.

— Что ж вы не идете к знакомым-то, Ольга Николаевна! — злобно шептал между тем Брусин,— ведь мы вам можем дать только чаю, а они, верно, напоят вас вином... Ступайте же...

Она бросила на него умоляющий взгляд. Военные господа отошли в сторону, но все-таки поглядывали искоса на нас. Вероятно, эти господа думали, что когда они отойдут в другой угол комнаты, то мы уж будем в невозможности замечать их дьявольски-плутовских взглядов и канальски-лукавых улыбок. Так красивый, но глупый страус, спрятав голову свою под крыло, ни о чем не беспокоится, полагая, что если охотнику не видна его голова, то и все его туловище останется незамеченным.

Я сам был так сконфужен неожиданностью этой встречи, что решительно не находил слов для оправдания Ольги.

— Однако ж,— сказал Брусин, смеясь насильственным смехом,— эти господа и на нас что-то поглядывают, как будто и мы принадлежим к почтенному сословию; вот что значит быть в хорошей компании.

Слова эти были сказаны так громко, что все курившие и некурившие, немцы и не немцы, посмотрели в нашу сторону. Ольга вся вспыхнула и отшатнулась от него в сторону; но он был вне себя; давно накипевшая в сердце его горечь должна была выразиться; он взял ее руку и с бешенством стиснул так крепко в своей руке, что бедная едва не заплакала от боли.

— Таким образом мстят женщине только негодяи,— сказал я ему шепотом, теряя наконец всякое терпение.

— С низкою тварью и поступать нужно низко,— отвечал

он уж не то что с злобою, а даже с некоторым самодовольством.

— В таком случае ваше правило может быть применено к вам первым,— сказал я ему и потом, обращаясь к Ольге, прибавил: — Пойдем отсюда, от подобных людей, кроме бесславия, нельзя ничего ожидать, потому что они, по-видимому, находятся в вечном чаду.

Он вспыхнул, потому что и я, в свою очередь, начал говорить громко.

— Позвольте, однако ж, вам заметить,— сказал он, весь бледный и дрожащий от бешенства,— что прежде, чем уводить от меня мою любовницу, вы должны спросить ее, согласна ли еще будет она идти с вами.

Я посмотрел на Ольгу; она потупила глаза и снова опустилась на лавку. Он торжествовал.

— Послушайте, однако ж,— сказал я, снова обращаясь к нему,— прежде нежели мучить ее и бесславить публично, вы должны бы были, по крайней мере, удостовериться, точно ли она так виновата, как вы предполагаете.

Ольга с ужасом взглянула на меня.

— Мне кажется,— отвечал он, иронически улыбаясь,— достаточно взглянуть на лицо Ольги Николаевны, чтобы удостовериться в истине моих предположений. А впрочем, чтобы доставить вам удовольствие, я готов...

И он отправился прямо к тому месту, где стояли военные.

— Что вы наделали! — говорила мне между тем Ольга, вся трепеща от ужаса,— ради бога! уведите, уведите меня отсюда: он убьет меня!

Положение мое было просто невыносимо; дело запутывалось все более и более, так что я с минуты на минуту мог ожидать вмешательства посторонних и во всех случаях жизни всегда и везде равно пакостных лиц. Не думая лишней секунды, я взял ее под руку и вышел в сад.

Выходя, я видел, однако ж, что Брусин подошел к одному из военных и слышал даже мельком начало их разговора.

Разговор этот был такого рода:

— Позвольте узнать,— спросил Александр,— вам знакома женщина, которая сию минуту находилась со мной?

Офицер двусмысленно улыбнулся.

— А хоть бы и знакома, вам на что? — отвечал он.

— Да я бы желал знать, какого рода именно было это знакомство?..

— Вы довольно любопытны; я полагаю, впрочем, что такого же рода, как и ваше...

— Я ее любовник,— сказал Брусин.

— Ну, и я тоже,— отвечал офицер и поклонился.

Кругом все захохотало; но что было затем, мне неизвестно: я скорее спешил выбраться из этого ада и попасть домой.

Мы сели в лодку и отправились; Ольга закрыла себе лицо руками и всю дорогу плакала. Я тоже сначала решился было молчать, но потом мне стало и жалко, и досадно на нее.

— Ну, что ж ты плачешь,— говорил я ей,— есть об чем плакать; связалась ты с дураком...

Ольга молчала и плакала еще пуще.

— Зачем же ты скрывала от него, что у тебя есть другие?

— Да как же я могла сказать ему,— отвечала она прерывающимся от слез голосом,— ведь он не стал бы любить меня...

— А разве лучше, что теперь случилось?

Молчание.

— Уж если ты любишь его, если не можешь расстаться с ним, хоть бы других-то бросила...

Этот разговор я передаю вам в совершенной точности, не щадя своего собственного самолюбия. Действительно, я явился в этом случае довольно не в выгодном свете касательно изобретательности и советов, но в моем положении решительно ничего иного выдумать не было возможности.

Но что я ни говорил, никак не мог добиться от нее никакого ответа. Ясно было для меня только то, что Ольга принадлежала к числу тех женщин, которые в любви не держатся никаких предрассудков, не хотят никак, во что бы то ни стало, видеть в ней тягостную и утомительную работу сердца, а, напротив того, привязываются легко, хотя и искренно.

— По крайней мере, на будущее-то время старайся как-нибудь избегать этого,— сказал я.

— Постараюсь,— отвечала она сквозь слезы.

— Ну, что ж ты намерена теперь делать? — спросил я ее. когда мы пришли к нашему дому.

Она опустила глаза.

— Я бы советовал тебе отправиться к себе.

— А он? — спросила она робко.

— Ах, право, он мне надоел с своими глупостями, и я решительно хочу расстаться с ним.

— А он-то как же? — снова спросила она, побледнев.

— Да как хочет: мне что за дело!

— Да как же это? ведь он не может жить один...

Я посмотрел на нее с невольным удивлением, хотя после всего виденного и слышанного мною в течение этого вечера довольно странно было чему-нибудь удивляться.

— Видно, мало еще он тебя мучит,— сказал я с некоторою досадою.

Мы вошли во двор.

— Решайся, однако ж, на что-нибудь: к себе ты пойдешь или к нам!

Она снова потупила глазенки, и мне вдруг сделалось страшно жалко ее.

— Ну, как хочешь,— сказал я ей,— глупенькая ты, право, глупенькая: ведь опять будешь плакать! Ты видишь, каков он: что ж путного можешь ожидать ты от своей любви.

Через час явился и Брусин. Мы пробыли несколько времени вместе, и мне показалось, что он несколько успокоился. Проглядывала, правда, в его обхождении с Ольгой какая-то принужденность, но после всех сцен, которых я был свидетелем, нельзя было и требовать, чтобы он был откровенен попрежнему. Через полчаса я оставил их и сел заниматься.

Вдруг он явился ко мне.

— Нет ли у тебя десяти рублей? — спросил он меня.

Я дал ему.

— Да на что они тебе?

— Да так... нужно...

Я пошел за ним.

— Возьмите,— сказал он, подходя к Ольге и подавая ей ассигнацию.

Она побледнела и только могла пробормотать: зачем?

— Это за вашу снисходительность,— сказал он совершенно равнодушно.

Она вся вспыхнула и вскочила как ужаленная; глазенки ее блестели, как два горящих угля, ноздри поднимались, губы дрожали.

«Славно! — подумал я,— ай да Ольга; давно бы так!»

— За мою снисходительность? — говорила она между тем,— так знайте же, что моя снисходительность дороже десяти рублей продается, а за то, что я для вас делала и от вас вытерпела... у вас слишком мало денег, чтоб заплатить мне...

И она бросила ему деньги в лицо; он, в свою очередь, побледнел; губы его судорожно сжались; я видел даже, что он одну минуту поднимал уж руку... Но все это было только минутно; он не мог более вынести нравственного своего изнеможения и почти без чувств повалился на диван. Ольга ушла.

Несколько времени спустя он снова пришел ко мне.

— Что, дождались вы, наконец? — сказал я ему.

Он молча сел в кресло неподалеку от меня.

— Я еще удивляюсь, как она давно не бросила вас...

Он все молчал.

— Что же мне делать! — сказал он наконец,— что ж делать, коли у меня такой несчастный характер.

— Согласитесь, однако ж, Александр Андреич, из того, что у вас, как вы говорите, несчастный характер, следует ли, чтоб она терпела все оскорбления, которыми вы ее с каким-то диким удовольствием столько времени преследовали?

— Что ж делать мне! научите меня, что мне делать! К чему мне ваши упреки, когда я сам очень хорошо вижу, что я виноват перед нею! как же поправить это!

— Послушайте, Александр Андреич, мне уж надоело разыгрывать с вами роль Здравомысла или Добросерда, да и вам пора бы перестать представлять из себя Ловеласа — мучителя сердец... Заметьте, что она ведь не Кларисса...

— Однако ж ведь вы очень хорошо знаете, что я не по своей воле играю эту роль.

— В таком случае, право, не знаю, что вам советовать.

Последовало несколько минут молчания.

— Другому я принялся бы, может быть, объяснять, что из того, что его любит женщина, вовсе не следует, чтобы эта же женщина не могла любить и другого, что, во всяком случае, она ничем ему не обязана... Другой, может быть, и послушался бы меня, и принял бы вещь как она есть, а вы ведь и сами очень хорошо все это знаете,— что ж я могу вам сказать нового?

— Однако ж, предположим, что я послушаюсь вашего совета...

— Зная ваш характер, я думаю, что для вас было бы полезнее расстаться с ней навсегда... Но советовать, впрочем, ничего не могу, потому что наперед знаю, что вы все-таки не оставите ее...

Он задумался и долго не говорил ни слова; наконец встал и сказал мне твердым голосом:

— Решено! я перестаю об ней думать.

Однако ж минуты через две опять задумался и снова опустился в кресло. Я ждал, что от него будет.

— Нет, не могу,— сказал он наконец слабым голосом,— не могу, это выше сил моих...

Я посмотрел на него и покачал головою.

— Говорите что хотите: я сам чувствую, что я слаб, что я достоин презрения... но не могу иначе!

— И заметьте, Александр Андреич,— сказал я,— что не в одной любви вы так поступаете: во всей вашей жизни вы точно так же вечно колеблетесь и вечно, как будто бы умышленно, насмехаетесь над самим собою.

— Да что ж мне делать, коли я так несчастно устроен?

— Уж я не знаю, устроены ли вы от природы несчастно, обстоятельства ли вас сделали таким, или вы сами себя изуродовали, только я вижу, что вы до сих пор ничего не сделали, хотя за многое принимались.

Молчание.

— А я так думаю,— продолжал я,— что все ваше несчастие происходит оттого, что вы никогда не дадите себе труда обдумать ваше положение... Вы человек небогатый, а ведете себя, как будто бы у вас бог знает какие доходы... Есть же наконец предел этой праздности! ведь вы не ребенок, чтобы вас водить на помочах; пора вам понять свои обязанности к самому себе и перестать вечно полагаться на других.

Он вспыхнул.

— Что вы разумеете,— сказал он дрожащим голосом,— под словами «полагаться на других»?

— Вы напрасно сердитесь,— отвечал я, теряя всякое терпенье,— я говорю вам правду.

— Зачем же вы давно не сказали мне эту правду? я бы не заставил вас повторять ее...

И он вышел от меня, хлопнув дверью. Я думал, что он выедет, и уж начинал было раскаиваться в своих неосторожных словах, но, к великому удивлению, утром на другой день он пришел опять ко мне весь в слезах, начал просить меня забыть прошедшее, обвиняя во всем самого себя, обещал разорвать все сношения с Ольгой и приняться за дело.

Вы меня извините, господа, что я, может быть, утомляю вас всеми этими подробностями, но тут они только и важны. Происшествия этой любви так просты и так бедны сами по себе, что вы, я думаю, давно уж угадали, чем кончится вся эта история. Поэтому первое место в рассказе моем занимают не факты, а, так сказать, внутренний процесс фактов, и именно — каким образом человек довел себя до того, что сам над собою сознательно и даже как будто умышленно издевался.

Я вам говорил, что он решился расстаться с Ольгой и приняться за дело. Он обещал мне это так искренно и притом с такою твердой решимостью, что я не мог не поверить ему. И действительно, он достал себе работу в какой-то журнал, обложил себя книгами и занялся компилированием какой-то статьи.

Иногда он прочитывал мне свою работу. Вы по опыту, может быть, знаете, какая это скука быть официальным слушателем какого-нибудь сочинителя, но я, признаюсь вам, выслушивал его с участием, во-первых, потому, что мне интересно было следить за ним в этом новом направлении его деятельности, а во-вторых, действительно, все, за что бы он ни взялся,

необходимо принимало какую-то особую жизненную печать, облекалось в необыкновенно ясные и образные формы.

Вообще он сделался и весел и деятелен, иногда только вспоминал об Ольге, но без горечи, да и то потому только, что натура того требовала.

— Ведь вот, право,— говорил он мне иногда шутя,— как ни запирайся внутри себя, а от себя, видно, никак уйти нельзя...

— А что? — спрашивал я.

— Да вот не знаю, как бы натуру-то свою...

— Ну, уж ты сам озаботься об этом... и я тоже не знаю...

Раз как-то возвращаюсь уж довольно поздно от должности, смотрю: Иван, наш фактотум, отворяя мне дверь, делает многозначительный жест, указывая на комнату Александра.

Действительно, он был не один; против него сидела какая-то краснощекая и полная девица, которая при моем появлении отвернула голову и закрыла себе платком лицо. Это, изволите видеть, ей стыдно было чужого человека!

— А, очень рад! — сказал Александр, вставая,— рекомендую тебе; повелительница острова Стультиции!..

Я откланялся; но прекрасная царица никак не хотела отнять от лица своего платок, который закрывал его.

— Достойная супруга великого царя Комуса,— продолжал Брусин, становясь перед нею на колена,— удостойте вашего лицезрения бедного смертного, который жаждет с таким нетерпением, чтоб на него упал хоть один животворный луч ваших божественных глаз!

Но супруга Комуса барахталась, беспрестанно испуская из-под платка легонькие «ги-ги-ги!».

— Ах, отстаньте! — говорила она, закрываясь все пуще и пуще в платок.

— Сделайте одолжение! — приставал Александр.

— Никак нельзя...

— Отчего же нельзя?..

— Да никак не можно.

— Да отчего же не можно?..

— Да мне стыдно, они чужие...

— Скажите пожалуйста,— они чужие!..

И он вырвал у нее платок.

— Ах, какие бесстыдники, ах, какие озорники! — возопила Королева, в свою очередь овладевая платком и снова закрывая им лицо свое.

— Это, изволите видеть, маленький образчик нашего милого кокетства,— сказал Брусин, обращаясь ко мне.

Мы сели обедать. Она долго и за обедом не соглашалась

открыть свое лицо, но вдруг, когда мы перестали даже и думать об ней, услышали мы легонькое «ах!». Это, изволите видеть, она решилась показать нам свое личико и внезапно сама испугалась своей смелости.

— Ах! — сказал Брусин, передразнивая ее,— это вам так стыдно?

— Да, конечно, стыдно...

— Кого же вам так стыдно?

— Да вот их...

— Скажите пожалуйста... То есть, что может быть наивнее и прелестнее! — продолжал он, обращаясь ко мне.

— Чем же вы занимались? — спросил я.

— Ах, какие вы насмешники!

— Что ж тут смешного! — сказал Брусин.

— Известно что!

— Так вы смешным занимались? — сказал я,— хорошо!

— Да мы преприятно провели с нею время! — отвечал Брусин,— право! посидим-посидим да помолчим, а потом, помолчавши, займемся этак наглядною и осязательною анатомиею! Ты хочешь учиться анатомии?

— Благодарствую...

— Жаль, а преполезная наука, и как легко и понятно: разом весь курс пройти можно! Спроси ее!

— Вы всё смеетесь надо мной!

— Как это можно!

— Да вы такие озорники!..

— Вы где живете? — спросил я.

— У родителей...

— И часто вы этак прогуливаетесь?

— Как это можно! у меня родители такие строгие: цельный день меня всё бранят.

— Ну, и этак бывает? — спросил Брусин, сделав рукою значительное движение сверху вниз.

— На то они родители,— отвечала она, закрываясь платком.— Да вы всё надо мною смеетесь!

— Как это можно!

Он расхохотался.

— Прелесть ты моя! — сказал он,— золото ты мое! ведь выкопал же я тебя себе на отраду!

— А знаешь, что мне вздумалось? — обратился он ко мне, когда мы встали из-за стола,— ты видишь Ольгу?

— Вижу, а что?

— Мне ужасно хочется подойти к окну и показать ей супругу Комуса.

— Зачем это?

— Да пусть хоть немножко побесится.

— Не знаю, как хочешь!

— Право, так!

И мы все трое подошли к окну.

— Здравствуйте,— сказал Александр.

— Здравствуйте,— отвечал знакомый голосок.

— Рекомендую,— продолжал он, указывая на повелительницу острова Стультиции.

— Очень рада; что это — Николай-Иванычева?

— Нет-с, моя...

— А! ваша! дяденька! дяденька! Прохор Макарыч!

Нам послышались приближающиеся тяжелые шаги, и вслед за тем в окне появилась тяжелая и неуклюжая фигура.

— Рекомендую,— сказала Ольга, указывая на фигуру.

Я наблюдал за лицом Александра; оно по-прежнему осталось весело и спокойно, но все-таки, хоть на мгновенье, хоть слегка, щеки его побледнели.

— Очень рад,— сказал он, в свою очередь.— Вы давно изволили возвратиться из вояжа?..

Но дяденька не отвечал, а только раскланивался.

— Да отвечайте же, дяденька,— сказала Оля.— Вы его извините; он у меня такой стыдливый, не привык с чужими.

Дяденька все еще кланялся; Ольга провела рукою по его лицу, дернула за усы и хлопнула пальчиками по лбу.

— Ну, ступай, спи, дяденька! — сказала она.

Дяденька раскланялся и исчез.

— Каков у меня дяденька? — спросила Ольга.

— А какова у меня тетенька? — отвечал Александр.

— Я вам совсем не тетенька,— заметила супруга Комуса,— вот еще что выдумали!

Ольга улыбнулась, Александр тоже улыбнулся; но Александр не вытерпел и послал ей рукою поцелуй; она отвернулась.

— Не стоите вы! — сказала она.— Эй, Амишка! Амишка!

Амишка вскочила на окно и замахала хвостом.

— Где ты, негодница, была! — выговаривала ей Оля,— других, верно, лучше меня нашла, капризная собачонка! Отвечай, мерзкая!

Амишка залаяла.

— Оленька! — сказал умоляющим голосом Александр.

Я дернул его за полу сюртука.

— Что ж ты, в самом деле,— сказал я,— опять за свои глупости принимаешься! Отойдем от окна.

— Сейчас, сейчас...

— Так вот же, гадкая ты! злая ты! я не хочу любить

тебя! — продолжала Ольга, по-прежнему выговаривая собачонке,— и если ты думаешь, что мне тебя жалко, так нет же: ошибаетесь, сударыня, очень ошибаетесь! не надо мне вас, у меня есть дяденька — вот что!

— Оленька! голубчик ты мой! — задыхающимся голосом говорил Брусин.

— Пошла прочь, мерзкая собачонка, пошла, пошла прочь! Прощайте, Александр Андреич, желаю вам покойной ночи!

Окно ее захлопнулось, Александр стоял на месте как ошибенный; насилу-то я мог кое-как оторвать его от окна.

Впрочем, вечер прошел без дальнейших приключений; чрез несколько времени Александр даже сделался весел по-прежнему и беспрестанно повторял:

— А! какова Ольга-то! уж у ней и дяденька явился! Что ж, и у меня тетенька есть, и, верно, получше ее дяденьки! Да здравствует высокомощная повелительница острова Стультиции!

Таким образом мы жили около месяца. Супруга Комуса по-прежнему посещала Александра, и всякий раз, когда она уходила, Брусин давал ей денег и говорил:

— Ты приходи этак через неделю; раньше, я думаю, мне не будет надобности.

Я одобрял такое поведение, потому что оно было и неубыточно, да и занятиям не мешало. Вообще я держусь такого правила, что молодому человеку, небогатому и занятому, в делах любви нужно как можно избегать всякой серьезной и продолжительной привязанности: не то как раз обленишься, обабишься и пропадешь ни за грош.

Итак, я был совершенно спокоен; тем более что у нас уж и двойные рамы вставили, и, следовательно, сообщение с Ольгою сделалось еще затруднительнее. Однако ж на всякий случай велел фактотуму Ивану присматривать, и если что окажется, то немедленно донести.

Раз как-то, возвращаясь от должности, я уже начал было всходить по лестнице, как вдруг мне послышался голос Ольги. Я остановился и стал прислушиваться; действительно, это была она, да еще и не одна, а с Брусиным. Оба они всходили по лестнице к нашей квартире.

— Только ты, пожалуйста, Оля, скажи ему, что ты сама ко мне пришла,— говорил Александр.

— А будешь капризничать?

Мне послышался звонкий поцелуй.

— А глупая Королева будет к тебе ходить?

— Не будет, Оленька, не будет, голубчик мой!

Дернули за звонок.

— Никогда?

— Никогда. голубчик ты мой, никогда!

— Ну, то-то же!

— Так ты так ему и скажи, Оля, что сама пришла ко мне, а то он мне покою не даст.

— Уж я скажу, только ты... Смотри же, у меня не капризничать.

В это время дверь отворилась, и они вошли. Я не верил ушам своим; мне было, с одной стороны, и досадно такое нелепое ребячество, а с другой стороны, и смешно. Я подождал минут с пять на лестнице и позвонил.

Верный Иван сделал значительный знак рукою.

— Вот мы и помирились! — сказала Ольга, подавая мне руку.

— А мне что за дело! — отвечал я сухо и прошел к себе в комнату, не дотрогиваясь до ее руки.

— Как вам угодно!

После обеда она, однако ж, пришла ко мне; Александр заранее ушел со двора.

— За что ж ты на меня сердишься? — сказала она.

— Я сержусь? нимало! какое мне дело!

— Да то-то и есть, что мы не хотим, чтобы тебе не было до нас дела...

Она села ко мне на колена и обхватила рукою мою шею. Прошу покорно возражать что-нибудь в подобном плену!

— Ну, говори же, за что ты надул губы?

— А зачем вы обманываете меня?

— Как обманываем?

— А что вы говорили на лестнице! ведь я все слышал.

— А! ты слышал! так только-то! ну, целуй же меня!

Я повиновался.

— Вот сюда! — и она подставила шейку.

Я опять повиновался.

— Куда же девался Александр? — спросил я.

— Да он боится тебя! ушел гулять, покуда я буду тут тебя соблазнять! Ну, а я бесстрашная, я тебя не боюсь! Правда? я бесстрашная?

И она топнула ногой.

— Только смотри, бесстрашная,— сказал я,— чтобы не было между вами по-прежнему.

Пришел Александр, мы послали за бутылкой шампанского, и Иван с превеликим удивлением смотрел на меня, никак не будучи в состоянии понять, отчего и я пью вместе с ними, да едва ли еще и не больше их.

И снова началась у них, как в первое время их любви, возня и стукотня. Однако ж он занимался по-прежнему, и Ольга не целые дни проводила у нас. Я смотрел иногда к ней в окна и нередко видал в ее комнатах толстую фигуру стыдливого дядюшки, но Брусин, по-видимому, стал смотреть на это обстоятельство как на неизбежное зло.

Вдруг Ольга приходит к нам и объявляет, что у нее будет бал!! Целую неделю потом она прожужжала нам уши, рассказывая, какие будут у нее музыканты, какие девицы, что будет стоить вход... Иногда она задумывалась очень долго.

— Об чем ты думаешь, Оля? — спрашивал я ее.

— Да я все думаю, не лучше ли бал с ужином? А? Как вы думаете?

— Да, бал с ужином хорошо...

— Можно будет по целковому за вход прибавить...

— Стоит ли об таких пустяках говорить! — вступался обыкновенно Александр.

— Тебе все о пустяках! Что ж, по-твоему, не пустяки! Сейчас видно, что не любишь меня.

И она дула на него целый вечер губки.

Наконец он настал, этот давно ожиданный день бала. В ее маленькой зале об трех окнах собралась довольно большая куча всякого народу, и танцы уж начались, когда мы вошли с Александром. Девицы в белых, черных и разных цветных платьях, кавалеры в сюртуках и даже бархатных архалуках выделывали ногами и плечами такие удивительные штуки, каких нам и во сне не удавалось видеть. Мы стали в углу вместе с двумя-тремя другими молодыми людьми и смотрели. Танцевали, собственно, кадриль, но тут я не узнал ее; я не мог себе вообразить, чтоб этот созерцательный, целомудренный танец мог сделаться до такой степени буйным и двусмысленным. Все лица танцующих дышали каким-то особенным, безотчетным весельем; смотря на некоторых кавалеров, мне казалось, что все члены их как будто развинчены: до того живы и бойки были все их движенья; беспрестанно слышалось то притоптыванье каблука, то хлопанье руки об колено, то прищелкиванье пальцев... и при этом корпус гнулся, гнулся: ну, точно старая, истертая ветошка.

Через полчаса подошла к нам Ольга.

— Ну, что, вам скучно? — сказала она.

— Нет, мне очень любопытно,— отвечал я,— я никогда еще не бывал на таких вечерах.

— Да это что еще: это только начало; погоди, что потом будет!

— Это только начало? — спросил я, удивленный.

— Да, это всё немцы; они только танцуют; а вот погоди, приедет Надя с своими, да Катя с своими...

— Тогда что ж будет?..

— Тогда будет кутеж... дай мне затянуться...

Она взяла у меня папироску, затянулась, подняла руку вверх и сделала на одной ножке пируэтку, между тем как другая рука готова была сделать известное движение, столь милое всякому записному посетителю шикарных балов...

— Ты сегодня просто восхитительна до невероятности, Оля! — сказал я, невольно залюбовавшись ею.

— Право? да это еще ничего; погоди, вот когда Надя да Катя: вот тогда ты что скажешь!

— Да, право, я не знаю, что ж будет тогда?

— Ну, да уж увидишь; известно, будет кутеж...

И немного погодя прибавила:

— А теперь что! это всё немцы!

— Да разве немцы не кутят?

— Нет; они любят больше танцевать; то есть, вот видишь ли, и они тоже кутят, да все на чужой счет...

— Ну, а Надя и Катя? хорошенькие они?

— Уж, разумеется, хорошенькие, когда у них своя компания есть!

— Ты меня когда-нибудь познакомь с ними, Оля!

— Позвольте вас ангажировать на вальс,— сказал какой-то белокурый сын Эстляндии, достаточно снабженный угрями, приблизившись к Ольге.

— Нет-с, я с немцами не танцую...

— Однако ж вы танцевали кадриль с господином Зималь?

— Он не немец... он полурусский-с.

— Однако ж отчего ж вы не хотите танцевать с немцем?

— Оттого, что между немцами мастеровых много.

Белокурый господин сконфузился; если б Ольга была без «компании», то, конечно, она рисковала бы получить от него всякую горькую неприятность, но она знала натуру белокурых господ и потому, опираясь на «компанию», смело могла натягивать им носы.

— Так ты меня познакомишь с Катей и с Надей? — спросил я снова, когда белокурый господин удалился.

— Да; а ты не танцуешь?

— Нет.

— Жалко; вот кабы ты танцевал, так и сам бы познакомился; ведь у нас не по-вашему.

— А которая лучше: Надя или Катя?

— Надя будет понаряднее.

— Однако ж лучше этих? — спросил я, указывая на проходивших девиц.

— Эти что! это прихвостницы! я так только, из сострađанья, позвала их на бал. Да куда ж девался Александр?

— Не знаю, он сейчас был со мною.

— Ну, поди же, ищи его; скажи, что мне теперь некогда, а что уж я его после зато поцелую.

— Зачем же после, лучше теперь!

— Да где его сыщешь?

— Да ты пошли с кем-нибудь.

— Уж не с тобой ли?.. смотри, какой лакомка! Ну, да хорошо, поди скажи ему, что я его вот так, крепко-крепко целую.

Она поцеловала меня и исчезла.

Александр сидел в соседней комнате и вертел от скуки в руках цепочку.

— Пойдем домой, — сказал он, когда я подошел.

— Это зачем?

— Да мне больно видеть.

— Что ж ты нашел тут для себя оскорбительного?

Он смешался.

— Видно, опять у тебя в голове пугалы? Что ж тебе больно видеть?

— Да она все танцует...

— Не сидеть же сложа руки, коли ты не умеешь танцевать.

— Да; да вон видишь... этот мальчишка пакостный... видишь, как он ее крепко обнял?

— Коли здесь обычай такой!

— Да мне это больно...

— Черт знает что такое!

В дверях показалась жирная фигура стыдливого дядюшки.

— А, Прохор Макарыч! кстати, подите-ка сюда! вот мой приятель скучает: развеселите-ка его!

Дядюшка приблизился.

— Кажется, имел честь, — проговорил он, конфузясь.

— Как же, как же... помните у окна? еще такая славная погода была? помните?

— Да-с, хорошая! но у меня в деревне...

И снова сконфузился. Меня всегда особенно удивляло, как такое огромное тело могло так легко конфузиться.

— Что ж у вас в деревне, Прохор Макарыч? — сказал я. — Да вы не конфузьтесь, Прохор Макарыч!

— Погода бывает лучше, — проговорил он.

— А! а у вас много деревень?

— Три-с...

— А много вы получаете доходу?

— Пятнадцать тысяч-с...

— Так этак вы, чай, и шампанское пьете?

— Как же-с; это мне все наплевать...

— Скажите, пожалуйста! да не подать ли уж теперь? Как вы думаете?

— Я с удовольствием-с; мне все это наплевать...

— А между тем вот и он развеселится, да и вы перестанете конфузиться. Так, что ли, Прохор Макарыч?

Подали вина; Прохор Макарыч скоро развеселился, сделался сообщителен и беспрестанно упрашивал Александра пить, по чести уверяя его, что ему наплевать и что мужички его сотни таких бутылок вынесут.

Между тем к нам присоединилось еще несколько молодых людей с заспанными лицами, которые тоже спросили пить. Оля шепнула мне на ухо, чтоб я остерегался, потому что это, дескать, сочинители, которые всё, что ни на есть смешного на свете, сейчас заметят, да после в книжке и опишут.

Я помню, что в простодушии своем я тогда весьма удивлялся, как могут люди с заспанными лицами что-нибудь подметить... Их было всего трое, и все, как кажется, связаны святыми узами убеждений и происшедшей оттого дружбы. Один, однако ж, по-видимому, считался между ними гением, потому что двое других подобострастно глядели ему в глаза и, при всяком остром его слове, считали за нужное тут же залиться самым приятным хохотом. И видно было, что уважение их к гению было нелицемерно и хохот истинен, потому что и на лицах их выражалось при этом совершенное светлое воскресение. Один даже, казалось, так издавна напрактиковался в этой роли поклонника, что никак не мог уж и обойтись без господина и даже побелел весь от рабства.

— Я художник,— говорил гений сиплым голосом, когда выпито было уж значительное число бутылок,— отчего и ты, и ты, и вы все (он обратился ко всем нам, хотя мы и не имели чести быть с ним знакомыми) видите во мне главу? оттого, что я художник и как художник творю бессознательно... Попробуй ты творить бессознательно — выйдет дрянь, или, лучше сказать... ну, да уж просто дрянь выйдет... а я — художник, пророк, и творю бессознательно... вот что!

Один из поклонников подлил вина в стакан гения.

— Вот у меня бывают иногда сны,— продолжал гений,— удивительные сны! Сперва явится женщина с аллигаторской рожей — отврррратительно! потом аллигатор с женским лицом — мерррзость!.. Да ты подожди, это все чистилище, чрез которое, так сказать, проходит откровение... Третий раз уж

явится тебе не аллигатор, а женщина, братец, женщина такая, что магнетизм и электричество так и текут из очей ее светлыми струями, так и слышишь, как она шевелит в тебе то неопределенное чувство, которое подступает все выше и выше и, наконец, давит тебе горло... Так вот какая женщина, братец, ко мне является, а я просто сижу себе да записываю...

За сим гений понес такую ерунду, что я почел за нужное поскорее удалиться.

Танцы продолжались по-прежнему, с тем только изменением, что народу было еще более, затем что прибыли Надя и Катя с своими. Александр стоял со мною в стороне и наблюдал за танцующими. Вдруг он побледнел и вздрогнул.

И действительно, смотря в ту сторону, где танцевала Ольга, я сам видел, как г. Зималь поцеловал ее в губы.

— Пойдем домой,— сказал мне Брусин.

— Подожди немного, вот пусть Ольга познакомит меня с Катей,— отвечал я, как будто вовсе не подозревая, в чем дело.

— Я не могу здесь быть...

— Ну, так ступай один; разве необходимо нужно, чтоб я шел вместе с тобою!

Я остался еще несколько времени, но после не вытерпел и пошел-таки за ним. Надо вам сказать, что я этого человека любил, как сына, ибо материнские чувства развиты во мне особенно сильно. И меня всегда за живое трогало, что он несчастлив, да еще и по своей воле... Иногда даже я обвинял в этом несчастье самого себя, потому что ведь как бы то ни было, а мне казалось, что я имею на него какое-нибудь влияние, и вдруг на поверку выходило, что влияния тут вовсе никакого нет...

Он сидел в своей комнате и плакал. Это меня еще больше сконфузило: я шел было к нему с наставлениями и при случае, пожалуй, даже с строгою речью, и вдруг человек плачет; сами посудите, до выговоров ли тут!

Он подошел ко мне.

— Послушай,— сказал он мне,— переедем из этого дома.

— Переедем, коли уж нечего делать,— отвечал я,— а жалко! и квартира такая удобная, да и зима же теперь...

— Я чувствую, что мне нельзя больше здесь оставаться.

— Да, переедем, переедем; разумеется, тут нечего рассуждать, коли необходимость велит...

На другой же день нанял я квартиру и стал собираться. Александра с утра уж не было дома. Вдруг, вижу, бежит к нам через двор Ольга. «Ну, опять слезы, опять объяснения!» — подумал я.

— Это вы выезжаете? — спросила она дрожащим голосом.

— Да.

— То есть, ты выезжаешь, а Александр остается по-прежнему здесь?

— Нет, и Александр со мною.

Она побледнела.

— А я-то как же? — спросила она, как будто еще не понимая, в чем дело.

Я молчал.

— Так это он меня и оставит? да отвечай же мне: бросить, что ли, он меня хочет?

Но я все-таки не знал, что отвечать. Она постояла-постояла, пошла было к двери, но потом воротилась, упала на диван и горько заплакала.

Признаюсь, и во мне таки шевельнулось сердце.

Вдруг она вскочила с дивана и бросилась ко мне на шею.

— Голубчик ты мой, упроси его! скажи ему, чтоб он этого не делал со мною... что я всех брошу, хлеб с водой буду есть... а! поди же, ради бога... только чтоб он не бросал меня... хоть за прежнюю любовь мою!

— Послушай, Оля, что ж это такое будет? сколько раз вы уж мирились... ведь ты видишь, что он не может...

— Да нет; я сама во всем виновата... ну, пожалуйста, прошу тебя! скажи ему, что я совсем буду другая...

— Как же ты можешь ручаться за себя, Оля? ведь уж это не в первый раз.

Она посмотрела на меня пристально и побледнела.

— Так не хочешь для меня этого сделать?

Я не отвечал.

— Зверь ты! каменное в тебе сердце! Это ты его всему научил! смотри же, не будет тебе за это счастья ни в чем... встречусь я с тобой когда-нибудь... увидишь!

Черт знает что такое: ни телом, ни душою не виноват человек, а осыпают со всех сторон проклятиями!

Наконец мы переехали; Александр опять принялся за работу. Ольга несколько раз наведывалась было к нам, но я приказал Ивану не впускать ее. Однажды утром иду я на службу, смотрю: у ворот нашего дома стоит Ольга и злобно смотрит на меня. Я хотел было пройти мимо, как будто никогда и не знал ее, но она остановила меня.

— Что, любо тебе, небойсь,— сказала она мне,— любо, что успел нас поссорить?

— Ах, оставь меня в покое! никогда я не думал вас ссорить, сами вы грызлись между собою.

— Сами!.. вот как! а кто велел не пускать меня в квар-

тиру? Сами!.. Да вот же не удастся тебе! хоть целый день простою здесь, да увижу его! тогда посмотрим, чья возьмет!

— В таком случае, я пойду, попрошу его, чтоб он не выходил,— сказал я сухо, возвращаясь домой.

— Небойсь, не пойдешь! — говорила она мне с насмешкой вслед,— ты ведь знаешь, что если скажешь ему хоть слово об том, что я жду его здесь, так он мой!

Я рассудил, что она говорила правду, и пошел своей дорогой на службу.

Когда я воротился, Иван ждал меня в дверях.

— Ольга Николаевна тут,— сказал он.

— Сама пришла?

— Нет; с Александром Андреичем.

— И давно она тут?

— Да с самого утра.

Я велел ему собрать мои пожитки и в тот же день переехал в номер.

С тех пор я потерял Брусина из виду; слышал, что будто он опять поссорился с Ольгой, связался с какой-то актрисой, и ту будто бы бросил... Но на службу не вступил, и статьи, которую при мне начал, не кончил никогда.

Недавно, впрочем, какой-то знакомый говорил мне, что он встретил его в Москве, что будто бы Брусин живет там с родителями, которые водят его, по воскресеньям, к обедне к Николе-Явленному».

Николай Иваныч кончил и задумчиво покручивал себе усы.

— Так вот, господа,— сказал он спустя несколько секунд,— как некоторые люди беспрестанно кричат о жажде деятельности, жалуются на какие-то препоны — а на поверку выходит, что вся эта жажда деятельности ограничивается какою-нибудь любовишкой — да как еще обидно, нелепо ограничивается.

Мы молчали.

— А отчего эта неспособность? отчего это нравственное бессилие? Оттого, что мы не можем покончить с нашим прошедшим, оттого, что мы, видя всю гнусность так называемого спекулятивно-энциклопедического образования нашего, не имеем силы пересоздать себя. А потом жалуемся на других, на судьбу и бог знает еще на что!

Николай Иваныч вошел в азарт.

— Везде идолы, везде пугалы — и, главное, что обидно? обидно то, что мы сами знаем, что это идолы, глупые, деревянные идолы, и все-таки кланяемся им. Однажды, помнится,

встретился я в обществе с одним форменным господином. Человек он оказался хороший, и мы превесело проболтали с ним целый вечер. Вдруг, уж под конец, когда нам нужно было расстаться, он говорит мне: «Такая, право, досада! через неделю или через две придется быть в одном месте, где, чего доброго, если головы не размозжат, так изуродуют всего».— «А вы не ездите в это место»,— сказал я. «Как это можно! да это мой долг,— говорит,— что скажут про меня другие?» — «Странный вы человек! да что вам за дело, что скажут про вас другие!» — «Оно конечно,— отвечал он,— глупо век руководиться чужим мнением, особливо если доказал себе, что мнение это ложно,— да что же прикажете делать?» — «Однако ж, что́ вам дороже: жизнь ваша или общественное мнение, которое вы, заметьте, сами не хотите признать за непреложное».— «Да нет, все-таки как-то неловко!» — «Но вы рискуете потерять жизнь вашу!» — «Знаю, да что ж мне делать».— «Ну, в таком случае, от души желаю вам быть убитым!» И действительно, ведь убили его! А хороший был молодой человек!

— Нравоучение, Николай Иваныч! нравоучение! — закричала толпа.

— А нравоучение вот какое: во-первых, предметов для деятельности много, так много, что стоит только нагнуться, чтобы наполнить жизнь свою; если мы ничего не делаем, то никто другой, кроме нас, в этом не виноват, и жаловаться в этом случае совершенно бесполезно; во-вторых: весьма часто мы жалуемся на отсутствие счастья, а на поверку выходит, что не нас несчастье ищет, а мы сами себе его устроиваем. Вот хоть бы и Брусин: он, пожалуй, и счастлив был, и любил, и любим был — да испортил же сам все дело.

— Ну, нет, я никак не могу вывести этого нравоученья из вашего рассказа,— сказал молодой человек.

— Это как?

— Да все оттого, что мы разнимся с вами в главном: в воззрении на вещи. Вы всю вину сваливаете на личность человека, а я утверждаю, что человек тут вовсе не виноват, что виноватого тут надобно искать где-нибудь подальше,— где? достоверно сказать вам не могу, но, думаю, в воздухе... Вот хоть бы и в рассказе вашем: где причина этой упорной неспособности Брусина к какой бы то ни было положительной деятельности? где, как не в уродливом воспитании, которое ровно ничему не учит? Вы и сами соглашаетесь с этим, но прибавляете, что [человек] должен иметь силу пересоздать себя. Да ведь для этого надобно не только родиться героем, но и чтоб обстоятельства расположились так, чтобы сделать

из вас героя. А что вы будете делать, когда воспитание, вместо того чтобы закалить вас и сделать из вас стоика, вложило в ваше сердце потребности и мягкость эпикурейца, да когда еще вы, к вашему горю, пришли к признанию законности этой мягкости и этих потребностей.

— Да ведь человек — животное разумное; он должен отличать условное от безусловного, должен понимать, где действительный его интерес и где ложный.

— Должен? вот грустное слово, которое, признаюсь, всегда сжимает мне сердце холодом... Для чего же все «должен»? Для чего не «хочу» или «желаю»? А между тем героев так мало, так мало, а грешных, слабых натур так много... Да притом же, слова «действительный интерес», сколько я понимаю, означают то, что приносит человеку пользу и удовольствие. Как скоро одного из этих условий недостает, действительный интерес нарушен. В идее долга я вижу одну пользу... Вы не любите идолов, Николай Иваныч, а между тем создаете себе самый ужасный, самый мертвящий из всех — идол долга.

Николай Иваныч сконфузился.

— Я согласен,— сказал он через минуту,— что и та жизнь, которую я защищаю, далеко не полна; но так как надобно выбирать непременно из двух зол, то я всегда предпочту такой образ действия, который по крайней мере даст спокойствие моей совести, поселит во мне сознание, что не понапрасну истратил я свою жизнь, а сделал все, что мог, чтоб быть полезным.

— Да; это было [бы] справедливо, если б выбор той или другой дороги был в нашей власти; но ведь тут фатализм, Николай Иваныч, и мы совершенно бессильны! Я рад бы, например, сделать какое-нибудь чудо, но чем же я виноват, если у меня руки не поднимаются, ноги не ходят? Чем я виноват, что весь распался и превратился в живую рану?

Молчание.

— Что же касается до второго пункта вашего нравоучения, то есть до того, что Брусин сам сознательно устроивал свое несчастье, то и тут вы не правы: Брусин был счастлив, как только мог быть счастливым.

Николай Иваныч изумился.

— Да, его более пленяла его беспокойная, судорожная любовь, нежели скаредное, болотное счастье, составленное по вашему рецепту. Чтó до того, что он страдал, коли в этом страданье была вся его жизнь? Ведь вы же толковали ему, чтоб он поступал таким-то и таким-то образом, если хочет быть счастливым. Отчего же он не послушался вас? Не дурак же он был, чтобы не понять, что его счастье не есть счастье.

Нет, он очень хорошо понимал это, да, видно, сила не в том, каким образом быть счастливым, а в том, чтобы хоть каким бы ни было образом да быть счастливым.

— Однако ж вы, пожалуй, скажете мне, что и тот, кто будет сдирать с себя живого кожу, тоже будет счастлив!

— Отчего нет? Как вы не хотите понять, что в ненормальной среде одна неестественность только и может быть названа нормальною? Нет, Николай Иваныч, поверьте, укоры и нравоучения бесполезны, когда возможности к исправлению не представляется никакой, когда мы все скованы, спутаны обстоятельствами. Закинь вас судьба в какой-нибудь сквернейший уездный городишко — что нужды, что вы будете презирать всех этих глупых, жирных людей, у которых о нравственности и тени понятия нет; вы все-таки принуждены якшаться с ними, потому что вы человек...

— Так, по-вашему, приходится сложить руки и смотреть равнодушно на все уродства и нелепости?

— О нет,— сохрани боже! Нужно действовать, как можно больше действовать! Но я хочу, чтобы каждому оставили полную свободу жить, как он понимает, а не навязывались с своими теориями, которые только раздражают. Я иду за вами следом в отрицании идолов, но поступаю откровеннее вас, потому что не хочу ровно никакого идола, даже... идола пользы. Я той веры, что самое лучшее в этом случае — поставить себе девизом: *живи как живется, делай как можется.*



РЕЦЕНЗИИ

ГЕОГРАФИЯ В ЭСТАМПАХ, С ПОВЕСТЯМИ И КАРТИНАМИ ПО ПРЕДМЕТАМ ГЕОГРАФИИ. Сочинение Ришома и Альфреда Вингольда. Рисунки Людовика Лассаль. На французском и русском языках. С.-Петербург. 1847.

КУРС ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ. Сочинение Владимира Петровского, профессора Ришельевского лицея. С.-Петербург. 1847.

Книга гг. Ришома и Вингольда написана с целью весьма похвальною. Они хотели соединить в своем изложении приятное с «полезным», сделать свою науку занимательною и доступною для детей,— одним словом, пробудить в ребенке потребность знания, желание ознакомиться ближе с географией. Но одного благого намерения все-таки недовольно: нужно еще и хорошее исполнение, а его-то именно и недостает в разбираемой нами книге. Судя по заглавию этого сочинения, мы ожидали от него живых, в разнообразной и драматической форме изложенных рассказов о местных особенностях каждой страны, о замечательнейших ее памятниках, о нравах, обычаях, промыслах ее жителей, и заранее радовались за детей, что послала им, наконец, судьба такую книгу, где вместо вздорных так называемых нравоучительных повестей они могут найти много любопытных и полезных сведений. Тем неприятнее были мы поражены, когда увидели, что сочинители «Географии в эстампах» поступили точно так же, как поступают обыкновенно издатели детских книжек. Книга их состоит из шестнадцати повестей; каждой из них предшествует изложение собственно географических сведений. Сведения эти составлены с изумительной сухостию и краткостию: в них показываются сперва границы каждой страны, а затем следует голая номенклатура гор, городов, губерний и т. д. Скажите,

например: есть ли для ребенка какая-нибудь возможность заучить без особого, неестественного напряжения сил названия восьмидесяти шести департаментов Франции? А между тем эти названия занимают почти половину всего собственно географического сведения, сообщаемого сочинителями об этой стране. Само собой разумеется, что дети пропустят эту статью, как неинтересную и неприятную,— и примутся прямо за повести. А уж повести, помещенные в «Географии в эстампах», вовсе до географии не относятся, хотя авторы и оговариваются в предисловии, что хотели представить в них «особенности каждой страны, характер, нравы и обычаи каждого народа». Нам скорее сдается, что цель этих повестей не что иное, как наши старые знакомые — нравоучения, насчет которых так любят прохаживаться сочинители детских книжек.

Нравоучения эти следующего сорта. Девушка приобрела пятнадцать су, на которые и располагает купить себе ленту. Но, идя в этих мыслях домой, она встречает на дороге сперва старика нищего, потом старуху нищую и, наконец, нищего мальчика, и, разумеется, по издавна заведенному в нравоучительных повестях порядку, отдает им все деньги. Покамест все идет хорошо; девушка делает добро по влечению своего детски невинного сердца, потому что добро само в себе имеет для нее необыкновенную прелесть и обаяние. Казалось бы, и дело с концом; так нет! тут-то именно и оказывается фарисейское поползновение нравоучительной повести. На девушку нападает вдруг разбойник, или, как говорит переводчик, «мужчина с злобным видом». Ее спасает... как бы вы думали — кто? именно тот самый слепой и дряхлый нищий, которому утром она подала пять су. В деревне показывается пожар; огонь уже добирается до сена, принадлежащего благодетельной девушке... Вы думаете, сено сгорит? как вы просты! а на какой же конец бременит собой землю старуха нищая? даром, что ли, подали ей пять су? и действительно, она весьма кстати поспевает, чтобы предупредить свою благодетельницу об ожидающем ее бедствии,— и... дело слажено! у других соседей сено сгорело, другие без хлебца, а у нее, благонамеренной и добродетельной, и сено цело, и хлебец есть! Это последнее обстоятельство особенно утешительно; но история им не оканчивается, потому что ведь и с бедного мальчика нужно же что-нибудь сорвать за поданные ему пять су. Действительно, в скором времени на девушку нападает большая собака и уже *делает «большой скачок»* (?)... так и ждешь, что вот кончится достославная жизнь бедной девушки. Не тут-то было! как гриб, вырастает из земли бедный мальчик, бросает в собаку свой топор, и животное с «окровавленною мордою» издыхает тут

же. Здесь и кончается повесть, мораль которой, если не ошибаемся, может быть вполне выражена в следующих немногих словах: быть добрым никогда не мешает, потому что это дает человеку возможность спекулировать на услугу во сто раз большую со стороны облагодетельствованного субъекта. Впрочем, с равною достоверностию можно предположить, что если благодетельная девушка, не давши заранее бедному мальчику пяти су, опять встретится с бешеною собакою, то бедный мальчик не поспешит уже к ней на помощь и не бросит в собаку своего топора. Отсюда новая мораль: не подавши заранее пяти су бедному мальчику, всячески избегай встреч с бешеными собаками.

Но положим даже, что нравственная цель повести хороша,— спрашивается: что общего между географией и нравственностию?

Перевод из рук вон плох: видно, что переводчик не имеет никакого понятия ни о географии, ни о французском языке. Нант он называет Нантесом; c'est toute une histoire — выходит у него: «вот вся история». На каждом шагу встречаются выражения, подобные следующим: «вы возвратили супруга его милой *половине»,* или: «тьфу, это глупость!», что́ в подлиннике значит: mais bas! tout cela c'est de la folie! или «дверь с большой стуколкой» (то есть с молотком). Но всего любопытнее следующая фраза: «Вольмар представлял студента-*кокета,* что называли в университете — *Алуттом»*. Что бы это такое значило?

Что касается до «Курса физической географии» г. Петровского, то книга эта составлена с большим старанием и знанием дела. Видно, что автор следит за успехами своей науки: в сочинение его вошли результаты всех изысканий Гумбольдта, Форстера, Скорезби, Лапласа, Кемтца, Буха, Гоффа и других. Желательно бы было, чтобы книга г. Петровского была принята, как руководство, не в одном Ришельевском лицее, но и в других учебных заведениях, тем более что и самое изложение ее чрезвычайно просто и общепонятно.

Издание обеих книг красиво; к «Географии в эстампах» приложены весьма удовлетворительные литографии.

РУКОВОДСТВО К ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ. Сочинение Фолькера. Перевод с немецкого. Спб. 1847.

Странная, право, участь детей! Чему не учат их, каких метод не употребляют при преподавании? Их обучают и истории, и нравственности; им объясняют их долг, их обязан-

ности,— всё предметы, как видите, совершенно отвлеченные, над которыми можно бы было призадуматься и не ребенку. Одно только забывают объяснить им мудрые наставники: именно то, что всего более занимает пытливый ум ребенка, то, что находится у него беспрестанно под глазами, те предметы физического мира, в кругу которых он вращается. А оттого-то и случается, что человек, сошедший с школьной скамьи, насытившийся вдоволь и греками и римлянами, узнавший вконец все свойства души, воли и других невесомых, при первом столкновении с действительностию, оказывается совершенно несостоятельным, при первом несчастии упадает духом; и если, по какому-нибудь случаю, любезные родители не приготовили ему ни душ, которые бы могли прокормить вечного младенца, ни сердобольных родственников, ни даже средств для выгодной карьеры,— наш философ умирает с голоду именно потому, что любезные родители никак не могли предвидеть подобный пассаж.

По-настоящему следовало бы изучить натуру ребенка, подстеречь его наклонность при самом его рождении, не навязывать ему такой науки, которая или антипатична, или не по летам ему,— но нет! не тут-то было! На что́ же и существуют возлюбленные родители? В их уме уже заранее начертаны все занятия, все судьбы будущего ребенка их; на то́ он и *рождение* их, их *собственное* рождение, чтобы они могли располагать им по произволу; и уж как ни бейся бедный ребенок, а не выйти ему никогда из этого волшебного круга! И потому юноши, в которых эта система постепенного ошеломления не совсем еще потушила энергию пытливого духа, обыкновенно, по выходе из школы, начинают сами сызнова свое образование, но и тут, лишенные помощи живого слова, в борьбе с беспрестанно возрастающими недоразумениями, большей частию падают под бременем своего тяжкого перевоспитания. Что же касается до остальных, а этих остальных более девяти десятых, то они уже навсегда пребывают в состоянии совершенного нравственного одурения.

На такие грустные мысли навело нас руководство г. Фолькера, переведенное на русский язык г. М — чем. Переводчик предполагает, что сочинение это, «*кажется,* нелишнее в русской исторической литературе». Мы, напротив, *уверены,* что оно совершенно лишнее, потому что достоинством нисколько не превосходит знаменитой истории г. Кайданова, а в изобилии фактов далеко ей уступает.

Впрочем, надо сказать и то, что если понимать как следует всемирную историю, если видеть в ней полное, логически-последовательное изложение тех различных моментов, через

которые прошло человечество в своем постепенном развитии, то нельзя не прийти к заключению, что всемирная история, как наука по преимуществу синтетическая, должна быть наукою мужей, а не детей, должна быть венцом, а не началом человеческого образования.

Бедную память ребенка истязуют, загромождают кучею ненужных чисел, сонмищами безразличных, мелочных, никуда не ведущих и ничего не объясняющих фактов. Диво ли, что после такого ежедневного бичевания человек делается неспособным к принятию самой простой истины, как скоро только она переходит за пределы мертвой буквы. Ребенок видит в саду цветок; он хочет знать его составные части, хочет добиться до законов его питания, прозябания... Увы! тут стоит величавая фигура педагога, гласящего ему: поди-ка лучше возьми в руки историю г. Фолькера: там ты увидишь, что «Кекропс, из Египта, научил греков земледелию; Кадм, из Финикии, искусству писать; Данай, приехавший в Грецию, был также Египтянин, и Пелопс, от которого Пелопонез (ныне Морея) получил свое название, прибыл из Малой Азии».

Спрашивается: чтó это такое? чтó такое Данай, который приехал из Египта, и Пелопс, который прибыл из Малой Азии? и чтó такое вся история г. Фолькера, как не афишка, на которой без разбора и системы напечатаны имена актеров?

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВОЕННОМ КРАСНОРЕЧИИ. Составил П. Лебедев. С.-Петербург. 1847.

Небольшая брошюра г. Лебедева содержит в себе несколько замечаний об истинном характере военного красноречия. Между прочим, в ней показывается, как иногда несколько слов красноречивого полководца, удачно и вовремя высказанных, бывает достаточно для того, чтоб двинуть на смерть целые массы людей. Доктор Крупов, пожалуй, нашел бы в различных чертах воинского героизма и самоотвержения, приведенных в брошюре г. Лебедева, немаловажный аргумент в подтверждение остроумной своей теории,— но кто же не убежден вполне, вместе с автором, что такие черты «облагороживают человечество, возносят душу над мелочами обыкновенной жизни»? Ведь надо весьма и весьма высоко стоять над мелочами обыкновенной жизни, чтобы по слову полководца пренебречь всем, принести в жертву всё: и семью, и имущество, и... даже собственную жизнь! Только воины способны стать на такую недосягаемую высоту; только им —

первостепенной красе и олицетворенному могуществу народа, вполне доступно такое необыкновенное самоотвержение! Что же касается до так называемых мирных граждан, то они — дело известное — редко умеют стать выше стремлений личного эгоизма... Для того чтобы сделать из самоотвержения свою специальность, надо иметь особо устроенный организм: не всякий может возвыситься до той идеи, что природа создала нас не столько для того, чтоб быть людьми, сколько для того, чтоб быть воинами и гражданами...

К брошюре г. Лебедева приложено несколько замечательнейших речей и приказов. Между ними особенного внимания заслуживают отрывки из приказов Суворова. Читая их, невольно изумляешься тому искусству, с каким умел этот необыкновенный человек приспособлять свое красноречие к натуре русского солдата. Ясно видно, что эту натуру он изучил со всей подробностию, знал ее вдоль и поперек.

ЛОГИКА. Соч. профессора Могилевской семинарии Никифора Зубовского. Санктпетербург, в типографии Иверсена, в 8-ю д. л. 103 стр.

И в наше время существуют еще люди с наивным убеждением, что логика может научить человека мыслить. Вот хоть бы автор разбираемой нами книги: он даже признается, что ему «трудно понять», ка́к некоторые люди осмеливаются отнимать у логики законное ее право, тогда как эти же самые люди не видят ничего смешного и невозможного в желании учить людей эстетическому вкусу. Скажем, однако ж, с своей стороны г. Зубовскому, что он очень ошибается, утверждая, что никому не кажется странным учить эстетическому вкусу. Разумеется, никто не находит ни невозможным, ни предосудительным изучение законов вкуса, никому не придет в голову назвать смешным стремление познать самого себя, привесть в ясное сознание те законы, по которым человек мыслит, чувствует и действует, но учить мыслить, учить чувствовать... трудную задачу взяли вы на себя, г. Зубовский!

Научить человека, произвести в нем нравственный переворот может только долгая жизнь, долгий, часто тяжелою ценою приобретаемый опыт, но отнюдь не логика, не эстетика и т. д. Правильное, здоровое мышление выработывается в человеке непомерно долго и сто́ит неимоверных усилий, упорной, настойчивой борьбы. Поверив же на слово г. Зубовскому, подумаешь, что сто́ит только взять его книгу, выучить ее от доски до доски наизусть — и будешь умен, будешь правильно

мыслить. Все это происходит от того, что господа сочинители логик непременно хотят, чтобы наука их была *полезною* наукою, а уж под пользою бог знает чего не разумеют они! Конечно, если смотреть на логику, как на науку, имеющую предметом открытие критериума достоверности, то она, несомненно, будет иметь свое практическое приложение, но эта-то, можно сказать, главная задача логики именно и ускользает от исследований близоруких ее атлетов, и наука поневоле делается сборником разных пустых формальностей и умственных гимнастических упражнений.

Посмотрим, однако же, каким образом г. Зубовский учит мыслить своих читателей.

Издавна, со времен Аристотеля, основателя формальной логики, последователи его признают одну только форму мышления — форму силлогизма. Что же такое силлогизм? Силлогистическая форма мышления, отвечают все логики, есть не что иное, как извлечение из одного общего предложения, рассматриваемого как причина, как содержащее, предложения частного, принимаемого как следствие, как содержимое. Оба эти термина соединяются между собою третьим, который представляет их взаимное отношение. В самом определении силлогизма видна уже вся его несостоятельность, потому что общее предложение, на котором все зиждется, не может быть ничем другим, как произвольно взятою ипотезою. Вы хотите, например, узнать, смертны ли вы — силлогизм смело отвечает вам: человек смертен, вы человек; след., вы смертны... Каким образом дошел он до сознания, что человек смертен — он и сам не понимает, хоть иногда и чудится ему, будто сквозь сон, что он узнал о смертности человека именно потому, что наверное знает, что и вы смертны, и Иван смертен, и т. д. Спрашивается: какое из двух сравниваемых предложений одно другое доказывает? и что̀ такое самый силлогизм, как не бесконечный, безвыходный круг, в котором общее предложение доказывается частным и потом в свою очередь доказывает частное и т. д.

А угодно ли вам знать, каким образом человек достигает этих непреложных истин, которые ставятся потом в челе силлогизма и составляют основание и жизнь его?

На этот счет мы встречаем у Дюмон-Дюрвиля весьма поучительный анекдот. Несколько туземцев Новой Голландии собрались около утеса и свистали. Во время этого приятного занятия утес оборвался и, разумеется, передавил их всех. Вы скажете, что все это произошло весьма естественно, что утес сорвался силою своей собственной тяжести, от уничтожения связи, соединявшей его до тех пор с горою... Но ведь это

говорите вы, материалист, а житель Австралии, глубокомысленный житель, сейчас воспользуется подмеченным явлением и не преминет сделать следующий силлогизм: «утес,— скажет он себе,— стоял крепко на своем месте; к нему подошли люди, начали свистать, и он обвалился; следовательно, стòя около утеса, никак не надо дозволять себе свистать: иначе он обрушится и раздавит меня». И бедный житель Австралии, оцепленный этим силлогизмом, не смеет сделать свободного движения, отказывает себе в удовольствии свистать; для него предложение «не должно свистать у подножия утесов» уже делается, в свою очередь, общим предложением и разрождает из себя целые сонмища замысловатых силлогизмов.

Но бедные жители Европы строят иногда силлогизмы даже почище бедных жителей Полинезии. Нам случалось однажды слышать, как один господин весьма серьезно уверял другого, весьма почтенной наружности, но посмирнее, что тот должен ему повиноваться, делая следующий силлогизм: я человек, ты человек, следовательно, ты раб мой. И смирный господин поверил (такова ошеломляющая сила силлогизма!) и отдал тому господину всё, что у него ни было: и жену, и детей, и, вдобавок, остался даже очень доволен собою...

Г. Зубовский, в свою очередь, никак не хочет отстать в изобретательности от подобных господ и строит такого рода силлогизм: «Все люди смертны; все смертные существа телесны; следовательно, некоторые телесные существа суть люди». Отчего же «некоторые»? Логическая последовательность повелевает сказать: «все телесные существа люди». Следуя этой методе, можно с успехом построить даже и такой силлогизм: сапоги смертны; человек не сапог; следовательно, человек бессмертен.

Но г. Зубовский и против этого придумал различные предостерегательные меры. Он предлагает для руководства при упражнении в построении силлогизма бесчисленное множество гимнастических и стратегических подробностей, каким образом избегать силлогизмов *плешивых, рогатых, лгунов, крокодилов* и т. д. Он не спорит, что такой силлогизм, как, например, «человек есть земля («земля еси и в землю отыдеши»); но земля есть планета, следовательно, человек — планета», есть плешивый силлогизм, более приличный в устах суетного водевилиста, нежели в голове здравомыслящего человека; но спрашивается: чем же этот силлогизм хуже приведенного нами выше и утверждающего, что некоторые телесные существа суть люди?..

ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОТЕМКИН. Историческая повесть для детей. Соч. П. Фурмана. В двух частях, с 20-ю картинками, рисованными Р. К. Жуковским. Санктпетербург. В тип. военно-учебных заведений. 1848. Две части. В 12-ю д. л. В I 139, во II 151 стр.

Не знаем, решительно не знаем, полезно ли детям чтение повестей, и в особенности исторических, подобных той, которую написал г. Фурман. Нам кажется, что с детьми особенно опасно шутить — а из всех шуток чтение повестей едва ли не самая негодная для ребенка. Мы можем представить себе, например, что чтение биографий Плутарха может принести пользу ребенку: там всякое слово — истина, каждая черта взята из действительности, так что ребенок, читая Плутарховых знаменитых людей, свыкается с жизнью и не только получает совершенно верные и здравые понятия о различных эпохах и странах древнего мира, но и для себя собственно извлекает весьма важный практический результат от этого чтения. Люди, с которыми знакомится он,— люди живые, люди с плотью и кровью, и если можно справедливо предположить, что общество, среди которого человек живет, может переработать его натуру, то точно такое же благодетельное влияние имеет на природу ребенка и чтение, подчиненное строгому выбору.

Поэтому мы никак не думаем отвергать пользу, которую могло бы принести сочинение г. Фурмана, если бы оно было хорошо задумано и исполнено. Но в том-то и беда, что автор впал в этом случае в ошибку, общую всем детским писателям. Писатели этого рода непременно хотят обращаться с детьми не как с людьми, а как с низшими организмами, немного чем повыше минералов. Они решительно не хотят понять, эти добрые люди, что дети, в своей, то есть приличной степени их развития, сфере, точно так же взрослы, как и самые взрослые; разница только в том, что одни начинают, а другие продолжают или кончают, и если некоторые знания неудобны для детей и несогласны с складом их ума, то это потому, что, по самой своей сложности, эти знания предполагают наличность других знаний, менее сложных, и что развитие человека требует постепенности и никогда не совершается скачками. Если вы будете толковать ребенку о свойстве души, когда он не знает ни на волос о свойствах предмета более ему близкого — о свойствах его бренного маленького тела, естественно, что философия покажется ему пугалом, на которое он будет смотреть не иначе, как со страхом и отвращением. Из этого, казалось бы, должно вывести то прямое следствие, что ребенку не

под силу философия, что ему не нужно набора слов о свойствах души и т. д.; но педагоги и знать ничего не хотят... В пылу своего варварского прозелитизма они во что бы ни стало хотят вдолбить ребенку несвойственную его возрасту науку, и на этот конец выдумывают для него другую философию, еще нелепее их ординарной — философию детскую. Странное дело! никто не требует от ребенка, чтоб он читал, не зная азбуки, а между тем всякий считает себя вправе навязывать ему понятия об обязанностях, о долге и т. п., чего он никак не понимает! Вот, например, г. Фурман издал детскую биографию Потемкина. Ну, кажется, отчего бы и не узнать детям жизни одного из знаменитейших людей времен Екатерины, особенно если жизнь эта хорошо рассказана?.. Но г. Фурман никак не может упустить из виду, что дитя существо малое, неразумное, что ему, дескать, надобно легонькую историю и, главное, с нравственною приправой. Поэтому все сочинение его преисполнено моральных сентенций, и где Потемкин, по мнению автора, поступает хорошо — там так и говорится, что вот это, мол, хорошо, и этому надо подражать, а где встречается безнравственный поступок, там дети предупреждаются, что это, мол, безнравственно и что таким образом поступать не следует...

Автору очень хорошо известно, что взрослый человек отнюдь не возьмет себе примером для подражания ни Потемкина, ни другого, ибо взрослый человек знает, что обстоятельства жизни у всякого различны и своеобразны: поэтому г. Фурман и не претендует, чтоб книгу его читали взрослые, и заранее оговаривается, что это, дескать, повесть для детей... Для детей! Но какое право имеете вы заключать, что детям будет интересно читать вашу повесть, когда в ней действуют не живые люди, а какие-то образы без лиц, ходячие сентенции? Почему вы думаете, что если взрослому покажется диким, будто двенадцатилетний Потемкин не хуже любого сентиментального господина «крепко жмет руку матери от умиления при виде Москвы», то еще большею букою не покажется это ребенку? Какую пользу может принести детям ничего не говорящее рассуждение о дружбе (ч. II, стр. 7—10)? Какого, например, практического результата желает достигнуть автор своими анекдотами о разных *кривых* толках иностранцев про Россию? Приводим один из этих анекдотов:

«Другой (автор говорит об иностранцах, писавших о России), обедая однажды у Русского, слышал, как маленький сынок хозяина беспрестанно просил квасу, когда отец его пил, говорил: и мне, папенька, и мне! и уверяет, что в России есть особенный напиток, который называется Hymenée».

Или:

«Третий заметил у Большого театра костры, у которых зимою, во время спектаклей, греются кучера и извозчики, говорит, что зимою в Петербурге бывает иногда так холодно, что топят улицы».

Право, поверить на слово г. Фурману, так выходит, что все иностранцы преглупейший народ; но, как справедливо замечает потом сам автор:

«Невежда похвалы малейшей не умалит,
И то не похвала, когда невежда хвалит».

Итак, иностранцы могут быть покойны; только все-таки не понимаем, в какой мере полезны подобные анекдоты в детской книге.

А между тем намерение г. Фурмана, очевидно, было похвальное...

Издание чисто и красиво; к книге приложено двадцать рисунков г-на Жуковского, из которых некоторые сделаны весьма удачно.

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ СУВОРОВ-РЫМНИКСКИЙ. Историческая повесть для детей. Соч. П. Р. Фурмана, в двух частях, с 20-ю картинками, рисованными Р. К. Жуковским. Изд. А. Ф. Фарикова. Санктпетербург. 1848. В тип. К. Крайя. В 12-ю д. л. 144 и 179 стр.

СААРДАМСКИЙ ПЛОТНИК. Повесть для детей. Соч. П. Фурмана. Санктпетербург. 1847. В тип. Штаба Отд. Корп. Внутр. Стражи. Две части. В 12-ю д. л. 120 и 112 стр.

Еще г. Фурман и еще детская история! Не далее как в прошлом месяце мы говорили об одном детском произведении г. Фурмана, как вот являются на сцену еще две такие же книжки...

Если доселе существовало мнение, что плодовитость есть качество, исключительно принадлежащее французским романистам, г. Фурман делает это мнение совершенно неуместным. Он пишет и романы для взрослых, и повести для детей, не пренебрегает драмами, письмами из-за границы, переводит, компилирует —

И всем из своего пера
Блаженство смертным разливает...—

только не в том смысле, в каком сказал это Державин.

Два новые произведения г. Фурмана отличаются той же незамысловатостью, тем же приторным направлением, какими

отличался и «Киязь Потемкин», разбор которого был нами сделан в прошлом месяце. Г. Фурман решительно думает, что великие люди «в детстве действуют не так, как другие дети», а с особенною замысловатостью. Так, например, Суворов у него дичится людей, читает книжки, и в особенности любит Квинта Курция, Юлия Цезаря, Корнелия Непота, Монтекукули и пр. Да это, право, престранный ребенок: он сам очень хорошо знает, что будет впоследствии генералиссимусом, и потому, не тратя много времени, исподволь приготовляется к этому сану! Но всего забавнее мнение г. Фурмана о Суворове. Можете себе вообразить, что плодовитый автор видит в нем... кого бы вы думали?.. шута! Читайте сами:

«А потому он решился прикрыть себя маской шутовства» (стр. 85).

И далее:

«Шутовство же Суворова носило на себе отпечаток великого гения, который взирает на земное с высоты, издевается над мелочами, почитаемыми слабыми умами величием и премудростью».

Хотя тут и говорится, что это шутовство означало отпечаток великого гения, но, очевидно, это сказано только для красоты слога. Итак, вся жизнь Суворова была шутовство; и Измаил, и Туртукай, и Нови — все это не более как шутовство!.. И мы до сих пор не знали этого!

Еще интереснее «Саардамский плотник». Тут говорятся такие речи, делаются такие дела, что, право, было бы смешно, когда бы не было так грустно...

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ. Книга для чтения и для практических упражнений в русском языке. Составил К. К. Издал А. Картамышев. Одесса. В тип. Неймана и Комп. 1848. В 12-ю д. л. 80 стр.

Занятия детей бывают такого двоякого рода: во-первых, их сажают в класс, где они вытверживают заданные уроки. Учат их большею частью истории, географии, языкам и даже не пренебрегают при этом своего рода философией... детской. Когда дитя надлежащим образом вспотеет от долбления собственных имен, а также и от великих истин детской философии — начинается другой род занятий. Ребенка выпускают на волю: тут он вешается по заборам, бегает по двору, выкидывает ногами самохитрейшие курбеты и каждую минуту рискует сломить себе шею... Не мудрено! оно так радо, так радо, бедное, бледное дитя, что ему позволили наконец сорваться с цепи, что его не преследуют ни Киры, ни Фемистоклы, ни Казань с кожевенными и мыловаренными заводами, ни Харь-

ков с университетом, ни Калязин без заводов и без университета, а просто на реке Волге, ни хронология, ни множество других пугал и кошмаров, составляющих истинное несчастие его маленького, крохотного существования... Оно право, тысячу раз право, вешаясь без устали по деревьям и рискуя сломить шею: на что ему жизнь, если она преисполнена Александрами Македонскими, Дариями, Царевококшайсками и проч.?

Так думает дитя, но не так думают почтенные родители и поставленные от них опытные детские наставники. Для предупреждения всякого рода вешанья, шатанья и хлопанья в баклуши, они желают, чтоб ребенок и свободное время употреблял для себя с пользою... не лишенною, впрочем, приятности. На этот конец придумано нового рода занятие, известное под именем детских повестей. Чтение этих повестей, по мнению почтенных воспитателей, приносит двоякую пользу: во-первых, оно доставляет ребенку приятное времяпровождение (sic) и, во-вторых, научает его правилам чистейшей нравственности и добродетели.

Некто г. К. К. составил книгу, которой заглавие выписано нами выше. Из предисловия видно, что помещенные в ней прозаические рассказы, по крайней мере бо̀льшая часть их, переведены г. К. К. из книги детского итальянского писателя Чезаре Канту — Il Buon Fanciullo (Доброе дитя).

Бо́льшую часть детских книг (говорит г. составитель «Первоначального учителя»), имеющих целью нравственность, можно подвести под два разряда. Одни проповедуют ребенку сущую мораль, наставляют его в том, что́ он должен и чего не должен делать, превозносят добродетель, бранят пороки. Ребенок читает, верит проповеднику (потому что он старше и умнее его), но зевает и не чувствует сладкого трепета при имени добродетели, не приходит в ужас от порока, потому что он не видел их *в лицо:* они для него бесцветные, отвлеченные понятия — призраки.

Другие детские книги поступают иначе: они знают, что сухая мораль скучнее, и рассказывают детям какую-нибудь интересную для них путаницу о маленьких мальчиках и девочках, такие приключения, которые почти никогда не случаются на деле, которым, кроме детей, едва ли кто поверит и результатом которых почти всегда бывает следующий силлогизм:

1. Ваня сделал доброе дело.	1. Ваня сделал недоброе дело.
2. Его похвалили, купили сластей и игрушек, подарили обновку и т. д.	2. Его наказали, не дали ни сластей, ни игрушек, не подарили обновки и т. д.

Следовательно, делать добро очень выгодно и нет никакого расчета быть недобрым.

Совершенно справедливо. Мы сами не раз высказывали эту мысль и восставали против такого направления детской литературы. Но вместе с тем мы были всегда убеждены, что

это конфектно-нравственное направление до тех пор будет душить юные поколения, пока будут существовать на свете так называемые детские повести. Мы полагали, что самый тот факт, что подобные повести существуют, влечет за собою, как необходимую принадлежность, сухую, безжизненную мораль.

Судя по предисловию г. К. К., мы увидели, что ошибались и что сочинитель вознамерился поправить дело, то есть сделать лучше других. Посмотрим, ка̀к он взялся за это.

В предисловии говорится между прочим, что девизом Чезаре Канту, при составлении книг для детского чтения, было известное правило Агезилая: «Учите детей тому, что они должны делать, когда будут людьми». Премудрое правило! Другими словами, оно означает: «Всякий наставник должен иметь в виду раскрытие способностей ребенка с целью полного и гармонического их развития посредством воспитания». Нельзя было придумать более практического и полезного правила! Взглянем, как он исполнил задуманное дело, что должны, по его мнению, делать взрослые люди.

Во-первых, он каждый класс рассказывает детям небольшие повести. «Нравоучение,— говорит г. К. К.,— не является в них пошлою надписью, приклеенною к конфетке или к игрушке...» Похвально!

Во-вторых: окончив рассказ, он предлагает детям вопросы: *надобно ли следовать этому примеру? надобно ли избегать его? Что бы вы думали в таком случае? Как вы находите: хорошо или дурно поступил этот человек?*

Вот это как будто уж и не совсем ловко... С одной стороны, в повести нет «пошлой нравоучительной подписи», а с другой — надобно ли следовать этому примеру? Хорошо или дурно поступил этот человек?.. Автор не видит в этих вопросах конфектной морали, а мы, признаться, сильно подозреваем ее. Вред не в том, что нравственная сентенция написана в книге, а в том, что она заводится в голове ребенка. Вы спрашиваете его: хорошо или дурно поступил этот человек? Но сперва надо знать, какое действие называется хорошим и какое дурным. Надо, следовательно, определить ребенку понятия зла и добра. А что такое зло, что такое добро? где вы найдете мерило тому и другому? и что же вы говорите нам в предисловии, что повести ваши не имеют в виду силлогизмов, подобных тому, над которыми вы сами так остроумно посмеялись в своем предисловии? Разве результат ваших вопросов не тот же самый?

Но вы оговариваетесь, вы объявляете, что «не теряете никогда из виду нравственной цели», а только избегаете того, что «называют обыкновенно моралью». Что за странное раз-

личение! Какая же разница между нравственною целью и моралью? Мы полагали, что это одно и то же; мы именно думали, что и то и другое состоит в желании навязать кому бы то ни было — ребенку или взрослому человеку — известную, раз навсегда придуманную мерку действий для всех случаев его жизни. С этой-то точки мы и доказывали не раз бесполезность так называемых нравственных повестей, потому что причина всякого действия человека находится, во-первых, в самом его организме, во-вторых, в окружающей его среде, а отнюдь не в наперед заданном правиле поступать так или иначе... Сколько ни задавайте правил, кàк ни стегайте нравственность человека, действительность все-таки возьмет свое.

Возьмем на выдержку один рассказ из книги г. К. К.

Мой дедушка

Всякий год, когда, после каникул, я собирался отправиться из деревни в город, чтоб снова приняться за ученье,— дедушка мой брал меня в свою комнату и насыпáл там мой кошелек мелкими деньгами, назначенными на мои маленькие издержки — на покупку книги или на честную (?) забаву После того он мне говорил:

«Дитя мое, ты начинаешь жизнь, а я ее почти кончил. Когда ты воротишься домой, бог знает, застанешь ли ты меня в живых. Но что бы ни случилось, благословим бога, который все устроил для нас к лучшему. Когда ты будешь вдали от меня или когда я умру — оставайся всегда таким, каким ты желал явиться в моих глазах; когда ты будешь готовиться сделать что-либо, подумай об этих четырех вещах: *бог меня видит; как бы мне показался этот поступок, если бы его сделал другой? — что было бы, если бы все то же делали? — что бы сказал дедушка, если бы он это видел?»*

Потом он заставлял меня стать на колени... При одном воспоминании об этом слезы навертываются у меня на глазах. Будто вчера, я его вижу, этого превосходного старика, вижу эти глаза, поднятые к небу, эту обнаженную голову, эти дряхлые руки, которые осеняли меня благословением.

Мне казалось, что это благословение делало меня сильнее и способнее ко всему хорошему. Казалось, сам бог говорил со мною этими устами. Его советы врезались навсегда в моем уме, и если представлялся случай к доброму делу, я говорил: *«Если я сделаю это, дедушка благословит меня».*

Да скажите же на милость, не та ли же это ординарная мораль, которою напичканы все детские повести? Не та ли же система вознаграждения, ожидающего впереди за доброе дело? То же, решительно все то же, только, вместо сластей и обновок, будет дедушкино доброе слово — и дети, конечно, останутся в совершенном накладе...

Так, по-вашему — скажут, может быть, нам нужно давать детям читать повести, писанные для взрослых? По-нашему, ответим мы, не нужно вовсе читать ребенку повести. Предмет всякой повести — явления мира совершенно недоступного для детского ума, потому что явления эти так сложны, что не

могут быть понятны для этого только еще вполовину сформировавшегося существа. Весь организм ребенка обращен к феноменам мира чисто физического,— почему? потому что феномены эти по простоте и независимости одни только и доступны его пытливому уму, потому что никто не может читать, не выучившись наперед азбуке, никто не может бегать, не научившись наперед твердо стоять и ходить по земле.

Поэтому, какова бы ни была повесть, она положительно бесполезна для ребенка: детская повесть, по неизбежно связанному с ней конфектно-моральному направлению, а повесть, писанная для взрослых,— по недоступности своей для детского ума.

А ребенок между тем ничего не делает, ничего не знает, и когда из ребенка делается юноша, он не может ступить твердо на землю; ноги не ходят, руки не подымаются, голова трещит!

К книге приложено несколько русских стихотворений и «несколько слов о преподавании грамматики».

ПОДАРОК ДЕТЯМ НА ПРАЗДНИК. С восемью картинками. Санктпетербург. 1848. В тип. Глазунова и Комп. 95 стр.

Мы сейчас высказывали свое мнение насчет бесполезности так называемых «детских» повестей, и в настоящем случае считаем совершенно излишним распространяться о «Подарке детям к праздникам». В подтверждение, однако ж, того, что и «Подарок детям» нисколько не выходит из ряда обыкновенных детских сборников с нравственным «перчиком», скажем, что в нем героем является добродетельный мальчик Лукаша, что в нем находятся нравоучения вроде следующих: *кто заодно с вором, тот сам себе враг,* и *подвизающийся во лжи стремится к своей гибели,* и что, наконец, одна из повестей, его составляющих, именуется — «Похвалою добродетели». Из всего этого особенно полезный результат в деле воспитания должны, по нашему мнению, оказать выписанные нами нравоучения.

РАССКАЗЫ ДЕТЯМ ИЗ ДРЕВНЕГО МИРА. Карла Ф. Беккера. Перевод с немецкого седьмого издания. Три части. Санктпетербург. 1848. В тип. Фишера. В 16-ю д. л. В I—VI и 388; во II — 412, в III — 374 стр.

Беккер давно уже известен русской публике своею всемирной историей, о которой мы не раз имели случай говорить по мере появления ее в русском переводе. Изданные ныне г. Экер-

том «Рассказы детям из древнего мира» заключают в себе «Одиссею» и «Илиаду» Гомера, приспособленные к детским понятиям, и несколько мелких рассказов.

Без всякого сомнения, ничто не дает столь полного и отчетливого понятия о древнегреческом мире, как бессмертные поэмы Гомера. В них древняя Греция выразилась всеми сторонами своей разнообразной и богатой великими результатами жизни, с своею религией, с своими общественными отношениями, нравами и обычаями. У Гомера встречаются также указания на географическое и статистическое положение стран того времени — указания столь редкие в других памятниках, оставленных нам древностью. Поэтому каждое слово Гомера имеет для нас великую цену; часто один его стих дает более ясное понятие о древнем мире, нежели целые томы ученых изысканий.

В особенности же для юношества полезно чтение Гомера, который представляет собою не только богатый источник для изучения древнегреческого мира, но полезен и в отношении к образованию в юноше эстетического чувства. В самом деле, нет более просветляющего, очищающего душу чувства, как то, которое ощущает человек при знакомстве с великим художественным произведением. Разумеется, осязательной, непосредственной пользы от этого знакомства не может быть, но и смешно было бы под словом «польза» разуметь исключительно один материальный, наглядный результат. Разве не великая для человека польза в том, что художественное произведение приводит его к сознанию собственных его сил, что оно вызывает их, возбуждает к деятельности и открывает ему новый, необъятный мир, который до того времени оставался незатронутым, незамеченным и ждал только первого толчка, чтоб выйти из косного своего состояния. Нам ответят, может быть, что в этом отношении чтение Гомера не может принести ожидаемых результатов, потому что поэмы его заключают в себе выражение жизни греческой, жизни отдаленной и чуждой нам, которой образ и условия были совершенно отличны и даже радикально противоположны современным; но это возражение будет крайне несправедливо, потому что множественность выражения и условий жизни нисколько не предполагает множественности самой жизни. Напротив, понятия условий жизни и ее выражения всегда должно тщательно отличать от понятия самой жизни. Первые непостоянны, изменчивы; последняя всегда и везде неизменна и едина. Два человека ощущают какую-нибудь однородную потребность; один из них имеет все средства к ее удовлетворению, другой лишен их; первый удовлетворяет себя спокойно и легко, вто-

рой прибегает к насилию, может быть, к преступлению, чтобы доставить себе желаемое благо. Тут только способ удовлетворения потребности различен, а самая потребность, самое желание одинаковы и в том и в другом случае. Точно то же и с жизнью; нужно только уметь различать случайное и условное от истинного и постоянного, которое заключается в законах самой натуры человека, всегда и везде одинаковой.

Грек Гомера младенец: в нем виден скорее богатый зародыш человека, нежели самый человек. Он сам еще не сознал великой мощи своих сил, и от этого над всею его жизнью тяготеет неотвратимый фатум. Отсюда беспрестанное, непосредственное участие богов во всех действиях человека; отсюда все великое ведет свое начало прямо от них и все герои считаются в общем мнении потомками бессмертных. Человек как будто стирается и безотчетно жертвует всею своею личностью в пользу другой, высшей личности.

Это явление встречается, впрочем, не у одних греков: оно повторяется и у других младенчествующих народов с поразительным сходством. Остатки его можно даже видеть в современных обществах, менее других испытавших на себе благодетельное влияние цивилизации.

Но, несмотря на эту неполноту жизни грека, какое богатство сил, какое разнообразие стихий! Все заставляет предчувствовать в этом младенце будущего человека — человека полного, со всеми его страстями, со всеми пороками и добродетелями. Что̀ нужды до того, что человек этот будет называться французом, германцем, русским, а не греком: грек все-таки навсегда останется прямым его родоначальником. И Гомер, как великий художник, во всей полноте и ясности постиг современного ему человека: оттого-то именно все его образы так живы и определенны, что он, по счастливому выражению Гнедича[1], не описывает предмета, а как бы ставит его перед глаза.

Но для того, чтоб изучение Гомера могло принести юноше ожидаемый результат, нужно читать Гомера не в переделке, не в приноровленном к известной цели переводе, а в самом подлиннике или переводе подстрочном, в котором тщательно были бы сохранены все особенности, весь характер поэмы.

Покойный Гнедич очень хорошо понимал это, когда, по поводу предположения о введении изучения Гомера в круг предметов для воспитания русского юношества, писал следующие замечательные строки: «Но древняя тьма лежит на ро-

[1] Предисловие к переводу «Илиады». *(Прим. Салтыкова-Щедрина.)*

щах русского ликея. Наши учители до сих пор головы Гомеровых героев ненаказанно украшают перьями, а руки вооружают сталью и булатом. И мы, ученики, оставляемые учителями в понятиях о древности совершенно превратных, удивляемся, что Гомер своих героев сравнивает с мулами, богинь с псицами; сожалеем о переводчиках его, которые такими дикостями оскорбляют вкус наш. *Надо подлинник приноравливать к стране и веку, в которых пишут»*. (Слова, напечатанные курсивом, принадлежат английскому писателю Попу, сделавшему вольный перевод Гомера.)

Покойный Гнедич имел в этом отношении самые здравые и правильные понятия и своим превосходным переводом «Илиады» осязательно доказал всю несообразность мнения о приноравливании классических творений старины к понятиям известной страны и эпохи. Всякое произведение духа неотъемлемо носит на себе печать своей страны и своего времени, и если бы пришлось к «Илиаде», например, применять этот удивительный процесс приноравливанья, не знаем, осталось ли бы что-нибудь от нее...

Главный характер «Илиады» составляет, как мы уже сказали выше, вмешательство богов в судьбы обществ, так что люди как будто только и существовали в той мере, в какой было на то соизволение верховных владык. В наше время подобное уничтожение своей личности показалось бы странным и непонятным; но следует ли из того, чтоб оно было точно так же странно и во времена древней Греции? По нашему мнению, великую услугу для русского юношества оказал бы тот, кто издал бы Гнедичев перевод во всей полноте, предпослав этому изданию дельное предисловие, в котором объяснил бы историческое значение «Илиады», устройство обществ того времени, а также смысл греческих мифов, без уяснения которых всякое изучение древнего мира является делом решительно невозможным и бесполезным.

Все, что̀ мы до сих пор сказали о пользе изучения Гомера, относится, собственно, только до юношества. Что же касается детей, тут дело принимает совершенно иной оборот. Для них чтение Гомера в подстрочном переводе невозможно; во-первых, надобно было бы некоторые места поэмы выпускать по несоответственности их содержания с детским возрастом; во-вторых, ни «Илиада», ни «Одиссея» решительно недоступны в целом для понятий ребенка. Мы уж несколько раз имели случай высказывать свои мысли насчет вреда, оказываемого на воспитание детей по преимуществу царствующим в нем спекулятивным элементом, и по поводу появления рассказов из «Одиссеи» в «Новой библиотеке для воспитания», издавае-

мой г. Редкиным, говорили[1], по каким причинам считаем их несовместными с детским возрастом. В самом деле, составители подобного рода сочинений, чувствуя свое затруднительное положение, всегда бывают принуждены выпускать из рассказа то, что, собственно, составляет силу и характер поэмы и что между тем действительно, по некоторым обстоятельствам, не пригодно для детей. Результатом всех этих общипываний великого произведения остается только бездушный остов, одна сказка, а то, что было за этой сказкой, исчезает невозвратимо.

До сих пор мы показали только бесполезную сторону усилий приноровить Гомера к детским понятиям; но вот оказывается и нечто большее. В основе поэм Гомера всегда лежит чудесное; чудесное, поставленное на своем месте, обставленное известными обстоятельствами и понимаемое как выражение духа страны и эпохи, принимает должные размеры и под конец делается весьма и весьма объяснимым. Но не так бывает с детьми. Ум их, по природе наклонный к чудесному, на нем одном только и останавливается с охотою и все сверхъестественное принимает за наличную монету, так что из всей поэмы Гомера, может быть, оно одно только и привлечет ребенка. Отсюда наклонность к мечтательности, которую надобно бы сдерживать в благоразумных границах, приобретает, напротив того, самые гигантские размеры, и ребенок, сделавшись со временем мужем, является человеком, неспособным заниматься интересами близкими и действительными, и целый век блуждает мыслью в мечтательных мирах, созданных его больною фантазией. Да не обвинят нас в преувеличении: обстоятельство, о котором мы говорим, так тонко, так незаметно, что его не увидишь сразу; оно издалека и втихомолку подкрадывается и сосет все существование ребенка, но тем сильнее будут его последствия!

Переводчик Беккера, однако ж, не совсем одинакового с нами мнения на этот счет. Он даже «не сомневается в пользе предприятия Беккера» касательно приспособления к детским понятиям «Одиссеи» и «Илиады». Он уверен, что только «одно педантство протекшего времени видело в этом труде святотатственное прикосновение к бессмертным песням божественного певца». Что касается до нас, то мы, разумеется, не находим тут «святотатственного прикосновения», так как не находим его ни в чем и нигде; но уж, конечно, не можем не видеть в подобных переделках прикосновения совершенно бесполезного... Впрочем, у всякого свое мнение; у нас свое, у перевод-

[1] «От. зап.», 1847 г., т. LIV, август. *(Прим. Салтыкова-Щедрина.)*

чика свое: надобно только оправдать чем-нибудь это мнение, надобно, чтоб мнение перестало быть мнением, а сделалось истиной. Посмотрим, в какой мере переводчик оправдает свое положение насчет «педантства протекшего времени».

И, во-первых, каким образом передает Беккер Гомера? На этот раз передаватель, поставленный в самое ложное положение тем, что имеет дело с детьми, оказывается совершенно несостоятельным: многое выпущено, многое изменено, а все оставленное совершенно бесцветно. Выпущены, например, все сцены любви, которая, как известно, у Гомера всегда выражена во всей своей наивной простоте и ничем не прикрыта.

Кто из читавших «Илиаду» не помнит той сцены, когда Елена, пришедшая укорять Париса за бегство его с поля битвы, по одному его слову внезапно склоняется на его просьбы и уступает его желаниям?[1] У Беккера это заменено словами: «пока они так говорили». А сцена любви между Зевсом и Герой, когда она, желая соблазнить Громовержца, для того чтоб подать помощь ослабевающим Афинянам, и выманив у Афродиты ее волшебный пояс, с помощью его и бога Сна опутывает Зевса чарами любви и усыпляет его? Скажите нам, где эти стихи:[2]

Гера-супруга, идти к Океану и после ты можешь.
Ныне почием с тобой и взаимной любви насладимся!
Гера, такая любовь никогда ни к богине, ни к смертной
В грудь не вливалась мне и душою моей не владела!

Куда девалось все это в вашей бледной переделке? У Гомера все истинно, все дышит негою и роскошью жизни; у вас все натянуто и бледно...

Не говорим, зачем эти переделки; они необходимы в детском издании «Илиады», но спрашиваем, к чему это издание, когда в нем нельзя обойтись без переделок?

Гектор идет в бой; супруга его, Андромаха, молит его остаться с нею. Просьба эта проста и трогательна до бесконечности. В ней выражено все беспомощное состояние Андромахи, вся нежность ее к Гектору; так и видишь, что с потерею его рушится для нее лучшая часть из ее существования. Вот два стиха из этой просьбы:

Гектор! ты все мне теперь, и отец и любезная матерь,
Ты и брат мой единственный, ты и супруг мой прекрасный!

---

[1] «Илиада», песнь III. *(Прим. Салтыкова-Щедрина.)*
[2] Ibid, песнь VI. *(Прим. Салтыкова-Щедрина.)*

Беккер передает это таким образом: «ты для меня отец, мать и братья; без тебя нет мне утехи». Неужели это одно и то же?

Но всего яснее бесцветность переделки оказывается в ответе Гектора. Вот как передал нам его Гнедич:

Ей отвечал знаменитый, шеломом сверкающий Гектор:
Все и меня то, супруга, не меньше тревожит, но страшный
Стыд мне пред каждым Троянином и длинноодеждой Троянкой,
Если, как робкий, останусь я здесь, удаляясь от боя,
Сердце мне то запретит; научился быть я бесстрашным,
Храбро всегда, меж Троянами первыми, биться на битвах,
Доброй славы отцу и себе самому добывая!
Твердо я ведаю сам, убеждаясь и мыслью и сердцем,
Будет некогда день и погибнет священная Троя,
С нею погибнет Приам и народ копьеносца Приама.
Но не столько меня сокрушает грядущее горе
Трои, Приама родителя, матери дряхлой Гекубы,
Горе тех братьев возлюбленных, юношей многих и храбрых,
Кои полягут во прах под рукою врагов разъяренных,
Сколько твое! как тебя Аргивянянин, медью покрытый,
Слезы лиющую в плен повлечет и похитит свободу!
И, невольница, в Аргосе будешь ты ткать чужеземке,
Воду носить от ключей Мессейна иль Гиппирея,
С ропотом горьким в душе, но заставит жестокая нужда!
Льющую слезы тебя кто-нибудь там увидит и скажет:
Гектора это жена, превышавшего храбростью в битвах
Всех конеборцев Троян, как сражались вкруг Илиона!
Скажет, и в сердце твоем пробудится новая горесть:
Вспомнишь ты мужа, который тебя защитил бы от рабства!
Но да погибну и буду засыпан я перстью земною,
Прежде чем плен твой увижу и жалобный стон твой услышу!
Рек и сына обнять устремился блистательный Гектор;
Но младенец назад, пышноризой кормилицы к лону
С криком припал, устрашася любезного отчего вида,
Яркою медью испуган, и гребень увидев косматый,
Грозно над шлемом отца всколебавшийся конскою гривой.
Сладко любезный родитель и нежная мать улыбнулись.
Шлем с головы не медля снимает божественный Гектор,
Наземь кладет его, пышноблестящий, и, на руки взявши,
Милого сына целует, качает его, и т. д.

Здесь каждое слово богатая картина; каждое выражение до того образно и рельефно, что тут по преимуществу место сказать, вместе с Гнедичем, что Гомер ставит предмет перед глазами. Посмотрим, в какой степени сохранен у Беккера высокотрагический и вместе с тем не оставляющий по себе на душе читателя никакого тягостного чувства элемент этой сцены:

«Могу ли я, милая жена? — возразил Гектор.— Не на мне ли лежит последнее упование города, не весь ли народ зовет меня на помощь? Не устыжусь ли я перед женщинами, видящими *(когда они увидят)* меня

праздным зрителем на стенах? Конечно, и моя борьба напрасна; мне говорит дух *(предчувствие?)* мой: Н(н)астанет день и падет священный Илион, погибнет царь и весь его народ, опытный в боях! И тогда горе тебе, несчастная женщина, если гордый Ахеянин отведет тебя в Аргос... заставит прясть для своей жены, носить воду из далекого ключа... а любопытные и безжалостные люди еще уставят на тебя глаза и станут говорить: это супруга Гекторова, она была важной, почитаемой царицей — когда-то *(в то время)*, как надменный город еще стоял! О! Слышать это! Бедная женщина! А я уже не избавлю тебя от рабства — я глух буду к твоим стенаниям — могильный холм наляжет на мои кости».

Он перенес печальный взгляд от супруги к младенцу на руках няни(?). Но когда он (младенец?) протянул к нему объятия, дитя закричало и крепко прижало свою головку к груди служанки. «Он боится волос, что развеваются на шлеме»,— сказала она. Отец тотчас снял шлем и положил (что?), и малютка весело стал смотреть ему в глаза и охотно пошел на руки. Гектор качал его взад и вперед с нежным восхищеньем отца, давал ему поцелуи за поцелуями и т. д.

Какая бесконечная разница между этою безжизненною, вялою прозою и глубоко потрясающим стихом Гнедича! Спрашиваем опять: зачем передавать Гомера, когда знаешь наверное, что нельзя сохранить при этом характера поэмы? Нет, видно, форма великое дело!

Богини у Беккера, разумеется, нигде не называют друг друга псицами, но взамен того, наподобие уездных кумушек, выражаются следующим образом: «Окажешь ли ты мне услугу, моя дочурочка», или: «Одолжи мне твой волшебный поясок». Это, изволите видеть, разговаривает Гера с Афродитой. Смертные выражаются еще чище: «Фи! кто, право, бесит меня за себя и за всех нас!» — говорит Эвримах, один из женихов Пенелопы, а сама Пенелопа следующим высокосветским тоном обращается к старой Эвриклее, принесшей ей весть о возвращении Улисса: «Душенька, ты не шутишь? Душенька, скажи правду» и т. д.

Из приведенных нами отрывков читатель ясно видит, что переделка Беккера ни в каком случае не познакомит детей с Гомером. Но, может быть, она знакомит их с греческим миром, с мифологией Греции, с историей ее? Что касается до истолкования греческих мифов, то, действительно, толкование это есть, и даже довольно оригинальное, но мы скажем об нем, когда дойдет дело до 3-й части «Рассказов». Насчет характера того времени у автора имеется также своего рода воззрение... детское. Приведем пример:

Итак, только теперь, после многих доказательств дружбы, ласк, и по радушном угощении, хозяин (Алкиной — царь феокийский) захотел узнать имя своего гостя (Одиссея). Странно: у нас первым вопросом незнакомцу, входящему к нам в дом, бывает: с кем мы имеем честь говорить? А здесь, у народа, который в других случаях обнаруживает так много разборчи-

вости в чувствах, мы встречаем совершенное равнодушие на этот счет! Не будем опрометчивы. Именно в этом обуздании пустого любопытства и заключается истинное знание приличий, и даже *нежное, благочестивое чувство, которое в нас, людях нового времени, совершенно почти подавлено умствованиями рассудка.*

Странно, скажем и мы! Из того, что мы у незнакомца, приходящего к нам, спрашиваем, кто он таков, заключать, что в нас «умствованиями рассудка подавлено нежное, благочестивое чувство»! И притом, что за удивительная мысль проводить параллель между древним и новым человеком! Тогда были одни условия жизни, теперь другие — тут разница бесконечная! Но еще страннее ставить своим современникам древних как пример для подражания в отношении к знанию приличий! Да и к чему это детям? Неужели автор не шутя желает, чтоб они следовали древним в обращении и учтивости?

Далее, продолжая следовать своей методе сравнивания друг с другом таких положений, между которыми не может быть никакой параллели, автор говорит, что «в древнем мире не было ни городов с великолепными улицами и зданиями, ни домов пышно и со вкусом мёблированных, ни дам, ни мужчин в щегольской французской одежде (еще бы!), ни цехов, ни ремесел, ни министров, ни чиновников, ни офицеров, ни профессоров, ни перьев, ни чернил, ни вилок, ни ножей, ни щипцов!!» — и потом прибавляет: «Нужно было долго ждать, пока один народ перенял у другого все изящное и прекрасное, чем мы теперь вдоволь пользуемся». Следовательно, и мужчины (не называем дам), и чиновники, и офицеры, и профессора — все это принадлежит к тому «изящному и прекрасному, чем мы теперь вдоволь пользуемся»? Это что-то ново; мы полагали до сих пор, что звания чиновников, офицеров и профессоров только полезные; Беккер объявляет нам, что они вместе с тем и изящные звания.

Характеризуя отношения людей той эпохи между собою, автор выражается так: «Представьте себе их взрослыми детьми без различия положений; единственною разницей между ними была многочисленность стад и пространство полей, а отличались они только личною храбростью и умом». Разница хотя единственная, но все-таки до того значительная, что, при наличности ее, нельзя оправдать слова автора: «без различия положений». Ведь и в наше время люди разнятся только материальными средствами жизни, умом и силою.

В третьей части сочинения Беккера помещено несколько мелких рассказов из древнего мира. Рассказы эти могли бы быть и полезны и занимательны, если б не странный выбор, не странные толкования...

Неужели автор ничего не мог выбрать из всей истории древнего мира лучше рассказа о борьбе Язона с циклопами, истории фракийского царя Финея, которого пищу гарпии «покрывали такими гадкими нечистотами, что он с отвращения принужден бывал уходить прочь»? И какого результата может достигнуть автор рассказом о подвигах Геркулеса, кроме бесплодного возбуждения детского воображения самыми уродливыми и чудовищными картинами? Все это хорошо на своем месте, но уж, конечно, не для детей. Вы говорите, что эти рассказы приятно займут их (том III, стр. 176), но мало ли что для детей приятно?..

Кроме этих фантастических рассказов, в третьем томе блистает известная история амазонок, которым, по словам автора, «жизнь казалась тяжкою мукой», оттого что они были лишены «общества и покровительства мужчин», и которые «беспрестанно бегают по берегу моря», тщетно придумывая средства, «откуда взять мужчин». Дитя совершенно вправе сделать вопрос: на что им так нужны мужчины?.. Рассказана также история Эдипа, история происхождения Кастора и Поллукса, которые родились вследствие того, что Зевс, под видом лебедя, по выражению автора, «поиграл» с купающеюся Ледою... И все это так голо, так небрежно рассказано!

Что касается до толкования греческих мифов, то Беккер решительно не хочет видеть в них никакой скрытой мысли, а просто-напросто принимает их, как наличную монету. Так, по мнению его, жил-был на свете добрый малый Прометей, который, действительно, изобрел огонь... Автор не только не видит в этом мифе замечательной скрытой мысли, которой он служит только оболочкою, но еще и распространяется об услуге, оказанной Прометеем. Миф Прометея, действительно, оказал большую услугу, только не в этом роде. Точно так же натуральною и правдоподобною находит Беккер сказку о похищении орлом Ганимеда...

Весьма любопытен, сверх того, взгляд автора на древнюю поэзию и на теорию поэзии, изложенный в кратком диалогическом предисловии. Вот некоторые образчики; дело идет о том, что такое был поэт в древности.

«Ах, это точно как импровизаторы,— вскричал Юлий,— о которых папенька недавно рассказывал за столом (?), что они могут на какую угодно задачу сделать прекрасные стихи и прямо, без всякого запинания, говорить или петь их целое полчаса».

«*Именно так*,— отвечал учитель,— и этому, разумеется, очень редкому дарованию обязан Гомер своей славою, а при жизни, вероятно, и пропитанием».

Именно так! скажем и мы в свою очередь, представляя себе этого доброго Гомера, болтающего без умолку полчаса и этой механической деятельности языка обязанного своею славой. Но будем продолжать выписки.

Художественные произведения других отличных поэтов подвигнули *философов* — вы знаете, тех людей, которые вечно размышляют, доискиваются *как? и почему?* и которых можно назвать анатомиками ума и души — приняться за дело, и из различных родов стихотворений вывести *Теории*

— Что это значит? — спросил Вильгельм.

— Помнишь, что я недавно сказал *(говорил)* тебе о книге, которая лежала здесь на столе.

— Вы мне сказали, что она указывает, что нужно делать, если хочешь научиться плавать.

— Видишь, я все равно мог бы сказать *(это все равно, что если бы я сказал):* в ней описана теория плавания. Понимаешь ли теперь, что такое теория?

Ребенок, разумеется, понял! Итак, теория поэзии, по мнению Беккера, есть «собрание правил для такого-то искусства или занятия», или иначе: «она указывает нам, что нужно делать, если хотим научиться плавать»... то есть писать стихи, хотели мы сказать. Странно, однако ж, отчего же на свете так мало Гомеров?

Перевод сделан довольно небрежно, и видно, что г. Экерт не совсем хорошо владеет русским языком. Встречаются, например, такие выражения: «он будет вынесен нагим трупом из своего дома» («Одиссея», стр. 21), вместо: труп его будет вынесен нагим, или нагой, и т. д.; или: «*на зверской трапезе* он опорожнил бадью молока» (ibid., стр. 122), или: «другая его *повадка»* (том 3-й, стр. 144); или: «я не могу *засчитать* тебе те работы» (ibid., стр. 218), «я знал, что ты *не гораздо* накажешь меня» (ibid., стр. 307)... И таких странных промахов бездна; в одном месте даже какой-то герой «Илиады» *подсиживает* другого героя...

Издание опрятно и дешево.

СТИХОТВОРЕНИЯ

ДВА АНГЕЛА

Ангел радужный склонился
Над младенцем и поет:
«Образ мой в нем отразился,
Как в стекле весенних вод.

О, прийди ко мне, прекрасный,—
Ты рожден не для земли.
Нет, ты неба житель ясный;
Светлый друг! туда!.. спеши!

Там найдешь блаженства море;
Здесь и радость не без слез,—
Клик восторга — полон горя —
Здесь и счастлив,— а вздохнешь!

За минуту небо ясно,—
Вдруг... и тучи налегли.
Все, что чисто, что прекрасно —
Все минутно на земли.

Неужели омрачится
Черной скорбию чело,
И, блеснув, слеза скатится
Из лазури глаз его?

В дом надзвездный над мирами
Дух твой вольный воспарит,
Счастлив ты под облаками!
Небо бог тебе дарит!

Пусть же факел погребальный
Над младенцем не горит,
Пусть в устах в тот час печальный
Песня радости звучит!

Пусть последнее лобзанье
Без рыдания сорвут:
Час печали, час страданья —
Для тебя — к блаженству путь».

И умчался среброкрылый,
И увял чудесный цвет!..
Мать рыдает и уныло
Смотрит ангелам вслед!..

ПЕСНЯ

(Из Victor Hugo)

Заря небесная играет,
Глядится роза в лоно вод,
Лишь девы сон не покидает,
Она не ведает забот.

Небесная дева,
Души моей рай,
Проснись! и напевам
Поэта внимай!

Проснулось все, лишь нет прекрасной..
Песнь в роще раздается вновь,
Заря сулит день светлый, ясный,
А сердцу шепчет — я любовь.

Небесная дева,
Души моей рай,
Проснись! и напевам
Поэта внимай!

О неба дивное созданье,
О дева, чудо красоты.
Прийми, как ангел — обожанье,
Как дева — дар святой любви!

Небесная дева,
Души моей рай,
Проснись! и напевам
Поэта внимай!

Бог дал мне очи, чтоб в восторге
Я на тебя одну взирал,
Внушил любовь — чтоб в шуме оргий
Тебя одной не забывал.

Небесная дева,
Души моей рай,
Проснись! и напевам
Поэта внимай!

ЛИРА

На русском Парнасе есть лира;
Струнами ей — солнца лучи,
Их звукам внимает полмира:
Пред ними сам гром замолчи!

И в черную тучу главою
Небрежно уперлась она;
Могучий утес — под стопою,
У ног его стонет волна.

Два мужа на лире гремели,
Гремели могучей рукой;
К ним звуки от неба слетели
И приняли образ земной.

Один был старик величавый:
Он мощно на лире бряцал.
Венцом немерцающей славы
Поэта мир хладный венчал.

Другой был любимый сын Феба:
Он песни допеть не успел,
И в светлой обители неба
Уж исповедь сердца допел.

Певец тот был славен и молод:
Он песнею смертных увлек,
И мира безжизненный холод
В волшебные звуки облек.

Угасли! В святые селенья
Умчавшись, с собой унесли
И лиру, одно утешенье
Средь бурь и волнений земли!..

РЫБАЧКЕ

(Из Гейне)

О милая девочка! быстро
Челнок твой направь ты ко мне;
Сядь рядом со мною, и тихо
Беседовать будем во тьме.

И к сердцу страдальца ты крепче
Головку младую прижми —
Ведь морю себя ты вверяешь
И в бурю и в ясные дни.

А сердце мое то же море —
Бушует оно и кипит.
И много сокровищ бесценных
На дне своем ясном хранит.

ИЗ БАЙРОНА

Разбит мой талисман, исчезло упоенье!
Так! вечно должно нам здесь плакать и страдат
Мы жизнь свою влачим в немом самозабвенье,
И улыбаемся, когда б должны рыдать...

И всякий светлый миг покажет, что страданье,
Одно страдание нас в жизни нашей ждет,
И тот, кто здесь живет, далек земных желаний,
Как мученик живет!

ВЕЧЕР

Заря вечерняя на небе догорает;
Прохладой дышит все; день знойный убегает;
Бессонный соловей один вдали поет.
Весенний вечер тих; клубится и встает
Над озером туман; меж листьями играя,
Чуть дышит майский ветр, ряд белых волн качая
Спит тихо озеро. К крутым его брегам
Безмолвно прихожу и там, склонясь к водам,
Сажуся в тишине, от всех уединенный.
Наяды резвые играют предо мной —
И любо мне смотреть на круг их оживленный,
Как, на поверхности лобзаемы луной,
Наяды резвые нагие выплывают,
И долго хохот их утесы повторяют.

ИЗ БАЙРОНА

Когда печаль моя, как мрачное виденье,
Глубокой думою чело мне осенит,
Прольет мне на душу тяжелое сомненье
И очи ясные слезою омрачит,—
О, не жалей меня: печаль моя уж знает
Темницу грустную и мрачную свою,
Она вселяется обратно в грудь мою
И там в томленье изнывает...

ЗИМНЯЯ ЭЛЕГИЯ

Как скучно мне! Без жизни, без движенья
Лежат поля, снег хлопьями летит;
Безмолвно все; лишь грустно в отдаленье
Песнь запоздалая звучит.

Мне тяжело. Уныло потухает
Холодный день за дальнею горой.
Что душу мне волнует и смущает?
Мне грустно: болен я душой!

Я здесь один; тяжелое томленье
Сжимает грудь; ряды нестройных дум
Меня теснят; молчит воображенье,
Изнемогает слабый ум!

И мнится мне, что близко, близко время —
И я умру в разгаре юных сил...
Да! эта мысль мне тягостна, как бремя:
Я жизнь так некогда любил!

Да! тяжело нам с жизнью расставаться...
Но близок он, наш грозный смертный час;
Сомненья тяжкие нам на душу ложатся:
Бог весть, что ждет за гробом нас...

МУЗЫКА

Я помню вечер: ты играла,
Я звукам с ужасом внимал,
Луна кровавая мерцала —
И мрачен был старинный зал...

Твой мертвый лик, твои страданья,
Могильный блеск твоих очей,
И уст холодное дыханье,
И трепетание грудей —

Все мрачный холод навевало.
Играла ты... я весь дрожал,
А эхо звуки повторяло,
И страшен был старинный зал...

Играй, играй: пускай терзанье
Наполнит душу мне тоской;
Моя любовь живет страданьем,
И страшен ей покой!

НАШ ВЕК

(Отрывок)

В наш странный век все грустью поражает
Не мудрено: привыкли мы встречать
Работой каждый день; все налагает

Нам на душу особую печать.
Мы жить спешим. Без цели, без значенья
Жизнь тянется, проходит день за днем —
Куда, к чему? не знаем мы о том.
Вся наша жизнь есть смутный ряд сомненья
Мы в тяжкий сон живем погружены.
Как скучно все: младенческие грезы
Какой-то тайной грустию полны,
И шутка как-то сказана сквозь слезы!

И лира наша вслед за жизнью веет
Ужасной пустотою: тяжело!
Усталый ум безвременно коснеет
И чувство в нас молчит, усыплено.
Что ж в жизни есть веселого? Невольно
Немая скорбь на душу набежит
И тень сомненья сердце омрачит...
Нет, право, жить и грустно да и больно!..
. . . .

ВЕСНА

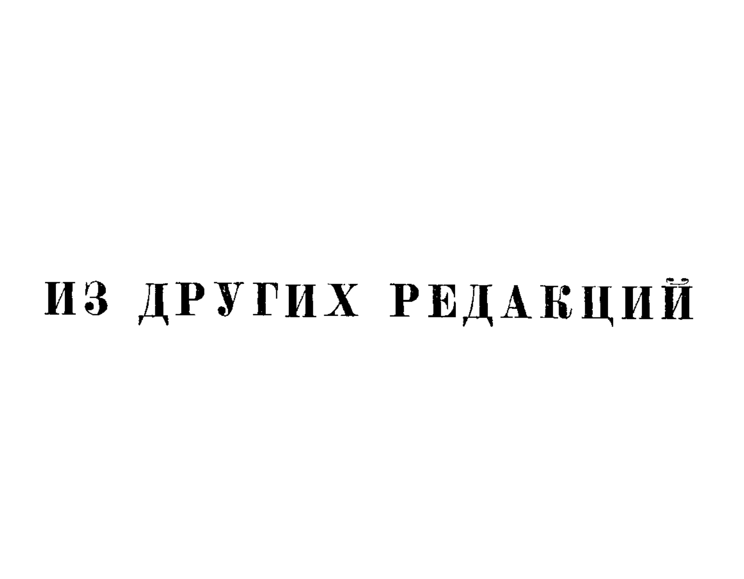
(Из моих отрывков)

У......ву, в воспоминание прежнего

Люблю весну я: все благоухает
И смотрит так приветливо, светло.
Она наш дух усталый пробуждает;
Блистает солнце — на сердце тепло!
Толпятся мысли быстрой чередою,
Ни облачка на небе — чудный день!
Скажите же, ужель печали тень
Вас омрачит? Чудесной тишиною
Объят весь мир; чуть слышно, как поет
Над быстрой речкой иволга уныло...
Весною вновь все дышит и живет
И чувствует неведомые силы.

И часто мы вдвоем с тобой встречали
Весною солнце раннею порой;
Любили мы смотреть, как убегали
Ночные тени; скоро за горой

И солнце появлялось: вид прелестный!
Чуть дышит тихий ветер; все молчит;
Вдали село объято сном лежит
И речка вьется; свежестью чудесной
Проникнут воздух чистый; над рекой
Станицы птиц, кружась, летают; поле
Стадами покрывается; душой
Все вновь живет, и просит сердце воли...
А вечера весенние?..



ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ

<«ТАК ЭТО ВАШЕ РЕШИТЕЛЬНОЕ НАМЕРЕНИЕ...»>

— Так это ваше решительное намерение, Семен Богданович?

— То есть... вот видите... разумеется, тут надобно еще подумать...

— А, подумать?.. ну, так это еще долго... а я полагал, что вы уж подумали!

— Да я подумал... конечно, подумал, но... знаете ли... мысли-то... ведь это не что-нибудь другое... их иногда ужасно как много бывает...

— Разумеется, разумеется; сперва одна, потом, смотришь, и другая... ужасно как много: и не сообразишь!

— Дело-то оно такое, Николай Иванович, что поневоле задумаешься над ним... ведь тут уж не я один... тут и она, и дети... нужно подумать об том, чтобы составить их счастие!

— Уж и дети! так у вас уж и дети, Семен Богданович! а вы еще говорите, что не подумали!.. ну, так как же вы с ними, с детьми-то? хоть они, правда, только умственные, а все-таки дети, нельзя же оставить без призрения...

— Что ж тут смешного? конечно, будут дети...

— Будут, будут; я и не сомневаюсь в этом: я знаю, что все ирландцы чрезвычайно как плодовиты! ну, так что ж? вы, вероятно, составили себе план семейной жизни? Принесть себя в жертву жене и детям, жить для них, смотреть, как эти милые сердцу существа будут в глазах ваших расти... я полагаю, что это будут умные дети... не так ли? я думаю, что и вы немало на это рассчитываете? Ну, а жена ваша? будет выезжать в большой свет, будет давать балы?.. о, да это превесело! я надеюсь, что вы не забудете меня, своего старого товарища... Помните, как мы жили с вами в четвертом-

то этаже; помните ли, ведь у нас была крошечная комнатка в одно окно, вид был прямо на помойную яму, прислуживала нам Мавра-чухонка... И вдруг обстоятельства переменяются, мы в пространной зале, вкушаем роскошную пищу, пьем... шампанское, сударь, пьем, да не только пьем, да еще рассуждаем, что хорошо и Клико... спору нет, что хорошо, но Редерер лучше; ей-богу, лучше, и чмокаем губами, и обещаемся вперед пить только Редерер, и лакей, слыша такие глубокомысленные рассуждения, тоже машинально чмокает, стоя за креслом, губами, да думает себе: не надуешь! продувная бестия! во всю тонкость вошли! А пусть его думает! бог с ним! на то он и лакей, чтобы чмокать губами и рассуждать... про себя. И вот после обеда, закуривши сигары, для сварения пищи, мы размышляем о прежней жизни... Экая была, право, скверная жизнь, и как могли мы сносить ее, и как можно таким порядочным людям и с такими деликатными органами, как у нас, жить подобным образом!.. Но мы сделались оптимистами! мы этак иногда даже довольно ловко подшучиваем над прошедшим, и изредка уж поговариваем: а что, ведь, право, хорошее было время! оно конечно, холодно и голодно иногда бывало, да и ведь и то сказать: лишение только и делает ощутительным наслаждение! И то правда! во всем есть своя польза, восклицаем мы со вздохом. И вот мы этак покуриваем с вами сигарочку, а между тем Мавра... ах, черт возьми! да, кажется, мы еще в четвертом этаже и не в пространной комнате... Уж вы извините меня, Семен Богданович, ваша прозорливость, ваши попечения об детях сделали и меня предусмотрительным...

— Вы все сказали, Николай Иванович?

— Да, легкий очерк... о детях, разумеется, я не упомянул, да ведь вы, я думаю, сами об них подумали... А что?

— Да так; я уж решился.

— На что же вы решились?

— Я женюсь.

— Ирландец, совершенный ирландец! та же пагубная непредусмотрительность, то же бедственное положение!

— Я женюсь, потому что хочу составить ее счастие, потому что пора перестать наконец думать о себе, только о себе, нужно когда-нибудь опомниться, нужно сказать себе, что есть в мире существа, которые гибнут без опоры, без участия, что нужно положить предел всему этому... Я много размышлял, много думал об этом, Николай Иванович, и наконец решился... Долгое время жил я, как бесполезный трутень, только в тягость другим; надобно же когда-нибудь проснуться, надобно действовать...

— А мне так кажется, что вы все-таки еще спите, и спите больше, чем когда-нибудь. Знаете ли, ведь это очень дурная привычка раздувать таким образом всякое дрянное дело, которое само по себе, право, выеденного яйца не стоит... ведь это буря в стакане воды, это — мыльный пузырь, Семен Богданович! как же вы-то об этом не подумали? Скажите, пожалуйста, где эти существа, которые гибнут без опоры? Кто просит вашей помощи, кто вопиет о вашем участии? не сами ли вы это для собственной своей потехи выдумали?.. Пожалуйста, размыслите об этом и не увлекайтесь! И притом, что это за слова: пора наконец проснуться, пора действовать! Я вам говорю, что вы ирландец, и она ирландка: ну, что же вы сделаете? Пора проснуться! конечно, пора, да ведь вы и не заметили, может быть, что заснули еще крепче прежнего.

Николай Иванович умолк; Семен Богданович не отвечал, вероятно, в том уважении, что сам чувствовал, что несколько зарапортовался, упомянув о существах, которые гибнут без опоры и без участия.

— Ну, вот вы подумали о жене, об детях,— сказал снова Николай Иванович,— дело хорошее! отчего же и не подумать: думать обо всем можно! ну, а об себе-то... вы поразмыслили?..

— Как, о себе?.. что вы под этим понимаете?

— То-то вот и есть: не имеете даже понятия о том, что значит думать о себе! Думать о себе значит обсудить положительно, принесет ли вам известное действие пользу и какую именно, какие от этого будут *для вас* результаты во всех отношениях... и главное, не обманывать себя... Сделали ли вы все это?..

<«БУДЬ ДОБРОНРАВЕН...»>

«Будь добронравен, старайся угождать начальникам, не прекословь, не спорь, смиряйся, будь ласков с равными, не высокомерен с подчиненными, и благо ти будет и будешь ты вознесен премного, ибо ласковое теля две матки сосет».

Так говорил Самойло Петрович, отпуская на службу в Петербург единственное свое детище, зеницу своего ока, надежду престарелых лет своих. Супруга Самойла Петровича, Арина Тимофеевна, с своей стороны, надавала сыну тоже много практических советов, но так как они касались более грубых хозяйственных расчетов, то не нашли отголоска в сердце рьяного юноши.

И много было пролито слез при расставании; много жалоб и плача выдержал в этот достопамятный день слуховой орган ненаглядного детища; но светло и гордо смотрит надежда престарелых родителей, не поникает долу его голова, равнодушно, ради приличия только, оборачивается он назад, сидя в тряской телеге, влекомой двумя деревенскими клячами, и не бьется его сердце при расставанье с родным пепелищем, не ноет оно при виде белого платка, которым махает ему вслед добродетельная его мать... Перед ним дорога, длинная дорога, и слова отца: «благо ти будет и будешь ты вознесен премного» — глубоко запали в душу его.

Но вот уже два года живет молодой Мичулин в Петербурге, два года он добронравен, не прекословит, смиряется, одним словом, два года на практике осуществляет во всей подробности отцовский кодекс житейской мудрости, исключая разве пункта, касающегося обходительности с подчиненными — и не только двух, но и одной матки не сосет ласковое теля. Странное дело!

И отчего бы, кажется, не быть фортуне на стороне Ивана Самойловича? Малый он скромный и приветливый, даже не лишенный некоторого высшего взгляда на жизнь с ее лишениями, с ее препятствиями, с ее борьбою... главное — с борьбою!

Но, по независящим... от чего бишь?.. ну, да просто по независящим обстоятельствам, оказалось, что от всей фигуры фортуны Иван Самойлович успел видеть один только зад... что в иных положениях чрезвычайно грустно!

Нашпигованный идеями долга, чести и нравственности, проникнутый духом презрения к грубой и похотливой плоти, в продолжение целой дороги, отделяющей маленький уездный городок М*** от великолепной столицы, Иван Самойлович думал о той неутомимой деятельности, которая его ожидает в будущем, о пользе отечества, о распространении добродетели и о других невесомых.

И воображение его играло неутомимо и сильно; беспрестанно воздвигало оно ему на фантастическом пути жизни фантастические преграды; и он сражался, сражался, махал во все стороны тяжелым мечом добродетели и мысленно говорил себе: дотоле не положу меча моего, доколе — и т. д.

Но количество врагов возрастало с неимоверною быстротою, беспрестанно восставали в его воображении легионы колоссальных мошенников, тьмы сластолюбцев, корыстолюбцев, взяточников и прелюбодеев... Настояла сильная и безотлагательная необходимость уничтожить всю эту заразу, и он снова пришпоривал свою добродетель и, как ретивый конь на скачке с препятствиями, заранее выбивался из сил, заранее взмыливал себя на воображаемой скачке своей с сластолюбцами, прелюбодеями и другими препятствиями.

Одним словом, Иван Самойлович ехал в Петербург бороться; но отчего он предполагал, что Петербург начинен теми колоссальными образами, которые рисовало ему плодовитое его воображение,— это, пожалуй, и можно было бы объяснить, но я охотнее предоставляю читателю самому догадаться, в чем тут сила.

Иван Самойлович был беден. Отец, отпуская его в Петербург, отдал ему последние пятьсот рублей, но, впрочем, так был уверен, что его Ванечка будет принят всеми с распростертыми объятиями, что и эти деньги дал ему только в том внимании, что дитя, дескать, молодое, и повеселиться, и пожуировать жизнью захочет, да притом и объятия-то ведь не вдруг же откроются... кто его знает! прижимист, сухосерд стал нынче человек!

По-видимому, старику и мерещилась в потемках истина насчет распростертых объятий, да ленива была на подъем его умственная сила! Поэтому хоть и думалось иногда ему, что прижимист-де и подлец нынче стал человек, да ведь чтобы разъяснить себе это светлое обстоятельство, нужно было подумать, нужно воображение, а воображения-то и не хватало у старика; и засыпал он себе спокойно, вполне удовлетворившись на первом остроумном своем замечании и не давая себе труда развить его дальше.

А между тем Иван Самойлович ехал, ехал — да и приехал наконец. При самом въезде в Петербург его как будто ошеломил этот треск и гам, это хлопотливое снование взад и вперед, эта беготня, посеменивание, шарканье, топание, крики разносчиков, форейторов, кучеров, приветливые поклоны, горделивые поклоны, заглядыванье под шляпки — все, к чему не привыкли его девственные слуховые органы в мирном и апатически-величавом губернском городе, где находился университет, в котором воспитывался ретивый герой мой.

Но, подумав немного, он не без основания заключил, что если бороться, так уж бороться, что борьба только и возможна там, где есть преграды, движение, и потому даже приветливым оком посмотрел на разнохарактерную толпу, суетившуюся по улицам и представлявшую столь огромное поле его стратегическим наклонностям... Во время путешествия своего Иван Самойлович так настегал свое воображение, что даже позабыл своих фантастических мошенников, сластолюбцев и прелюбодеев...

Одним словом, такого-то года, числа и месяца Петербург мог считать в стенах своих одним Дон-Кихотом больше... а их много, очень много, читатель, и когда-нибудь на досуге я расскажу вам об них довольно курьезную повесть...

Иван Самойлович был надеждою престарелых родителей. Отец смотрел на него как на будущего неусыпного государственного сановника, провидел в нем кару христопродавцев и торгашей и представлял его себе не иначе, как в образе Фемиды с весами правосудия в руках, и никогда не уклонялась от прямого своего направления бескорыстная и нелицеприятная стрелка этих весов, никогда не сходило с лица будущего сановника выражение строгого правосудия, трезвой честности и примерной добродетели...

Мечтания Арины Тимофеевны были другого рода. Женское ее сердце приготовило для него более теплое местечко, выбрало карьеру более соблазнительную и вполне согласную с поползновениями ее собственного, весьма чувствительного организма. Она не могла представить себе иначе своего нена-

глядного Ванечку, как героем по части сердечных слабостей, и целые легионы растрепанных от вожделения и с сухими от страсти глазами графинь и княгинь петербургских рисовались в ее воображении распростертыми у ног ее неоцененного героя. Из каких данных, впрочем, выводила Арина Тимофеевна свои задушевные заключения — обстоятельство это остается для меня покрытым совершенною неизвестностью. Иван Самойлович вовсе не смотрел соблазнителем и скорее даже был невзрачен и скареден на вид... но, видно, голова материнская уж от природы так тупо устроена, что всякая галиматья найдет в ней убежище, лишь бы галиматья эта была в прославление и возвеличение родного детеныша.

Эта разность в воззрениях двух глав семейства на будущие судьбы сына почасту становилась даже яблоком раздора между добродетельными стариками, но Арина Тимофеевна всегда улаживала дело к общему удовольствию. Она смиренно соглашалась с Самойлом Петровичем, что, конечно, государственный сановник — хорошее дело, но ведь, с другой стороны, и графиня — дело не лишнее и в хозяйстве пригодное. Этого мало: сердобольная мать утверждала даже, что графиня сильно может помочь милому Ванечке в его многотрудных дерзновениях, что «мол без графини, поди-тка ты, и там споткнулся, и там растянулся, и там заехал в трущобу, а с графиней или с княгинюшкой и легко, и весело, и приятно».

И Самойло Петрович ласково улыбался и, выпивая рюмку горьчайшей, поощрительно приговаривал:

— Ну, да пусть его побалуется, пусть потешится, разбойник! Только чтобы, того... в вельможи-то как-нибудь бы попал, сановником-то бы, собачий сын, сделался, а там перемелется — все мука будет! и графини, и княгини, и принцессы, и мы многогрешные — все под богом ходим и не един влас с главы нашей...

Самойло Петрович не оканчивал и снова выпивал рюмку горьчайшей.

Приехавши, Иван Самойлович, до приискания себе постоянной квартиры, занял небольшой нумерок в несколько грязной гостинице и на другой же день написал письмо к своим, в котором уведомлял, что он, слава богу, прибыл в Петербург в вожделенном здравии и чувствует себя вполне готовым, чтобы смело и открыто выйти на борьбу с препятствиями и преградами.

В тот же день он принялся с чрезвычайною подробностью анализировать свою жизнь, пересчитывать приобретенные познания... Познаний оказалось и много, и самых разнообразных...

Но особенно много было твердости духа, силы воли и разных других качеств, весьма пригодных по хозяйству... то есть для практической жизни, хотел я сказать.

Имелись в наличности и другие познания, но уже не в столь гигантских размерах, но ведь и нужды в них настоятельной не предвиделось...

Вооруженный всеми своими атрибутами, вышел Иван Самойлович из своей квартиры искать поприща для сожигавшей его жажды деятельности. Вышел он гордо и самоуверенно; взор его был светел и ясен; голова держалась на плечах прямо; ноги ступали твердо. Смело смотрел он в глаза встречавшимся ему сластолюбцам и лихоимцам и ретиво вызывал всех на бой...

— Дотоле не положу оружия,— думал он, и шел и шел...

Но здесь занавес опускается...

БРУСИН

Рассказ

...В то время в Петербурге молодые люди вели какую-то странную жизнь. Если я говорю «молодые люди», то разумею здесь только известный кружок людей, близких между собой по убеждениям, по взгляду на вещи, по более или менее смелым и не совсем удобоисполнимым теориям, которые они составляли; одним словом, кружок, к которому принадлежал я сам.

Жили мы по-затворнически; большую часть времени сидели дома, а по вечерам, раза три-четыре в неделю, собирались друг у друга. Сначала шло хорошо; сошлись мы все не случайно, и покуда запас нового не истощился, покуда мы не узнали еще друг друга вполне, нам было и весело, и интересно. Само собою разумеется, что на этих сборищах не было и тени буйства; дело обыкновенно ограничивалось неизбежной чашкой чая и разговором... но разговор выкупал невинность чашки чая.

Мало-помалу все личности, составлявшие наш кружок, сделались известны друг другу в такой изумительной подробности, что даже совестно. Было известно, например, что в такой-то день М—н будет упрекать М—ва за его ребяческую непосредственность, за его немного скифское и ни к чему не ведущее удальство, что в понедельник будут говорить о последней книжке любимого журнала, в среду Б*** будет развивать такой-то экономический вопрос, в субботу будет говориться о том, что делается за границей и хорошо ли делается, и т. д. Последнее в особенности занимало нас, как праздных людей; мы много занимались всяким сочувствием и радовались падению какого-нибудь нелюбимого министерства с такою искренностью, как будто этот случай нам самим открывал дорогу в министры.

На одном из таких приятных вечеров явилось однажды новое лицо. Дмитрий Андреич Брусин. В маленьких кружках, где собираются всё знакомые, примелькавшиеся лица, появление нового человека всегда производит порядочную кутерьму. В него вглядываются особенно пристально, допытывают, так сказать, обнюхивают его, узнают все мелкие подробности жизни, и когдг наконец все члены кружка удостоверятся, что нового, собственно, эта новая личность ничего не представляет, тогда все успокоиваются, и кружок увеличивается еще одним членом.

Я сошелся с Брусиным довольно близко; мы вместе поселились и от нечего делать вздыхали над нашей собственной инепцией. Тысячу раз мы давали друг другу твердое обещание бросить праздную жизнь и приняться за дело. Но как приняться за дело? какое это дело? И мы по-прежнему пребывали в косности.

Брусин был романтик в душе, романтик во всех своих действиях. Обстоятельства ли так его изуродовали, или уж в колыбели судьба задумала доставить себе невинную утеху, создав нравственного уродца,— не могу достоверно объяснить. Послушать, бывало, его, так всякий скажет: «Вот, наконец, хоть один человек, одаренный высоким практическим смыслом». Он до такой степени легко усвоивал себе всякую прекрасную идею, что она внезапно становилась его собственностью, являлась его уму со всеми подробностями, со всем дальнейшим развитием. Но все это не обусловлено ни пространством, ни временем, все это складывалось на будущее, а там, как известно, легко и удобно распоряжаться по усмотрению. В действительности же редко можно было встретить человека, до такой степени негодного в жизни, как Брусин. Он был капризен и требователен до ребячества, повелителен до деспотизма, непостоянен и изменчив до самого узкого эгоизма.

Вы спросите, быть может, меня, почему, сознавая все бессилие этой натуры, я все-таки привязался к нему. Ответ на это очень прост. Несмотря на все его яркие недостатки, редко можно было встретить в ком-либо столько симпатии ко всему честному, благородному и страждущему, сколько нашел я в нем. Малейшее чужое горе, малейшее угнетение или несправедливость глубоко и искренно терзали его. Хотя, конечно, все это ограничивалось одними жалобами и сожалениями, но за намеренье многое прощается, господа.

Жизнь наша в ту пору была самая горькая и тяжелая. Я уже дал некоторое понятие о том, каким образом мы проводили время, но это только нравственная сторона вопроса; матерьяльная была едва ли еще не плоше. Я-то, правда, слу-

жил, да и из дому получал немного, но Брусин никак не хотел вступить на службу, а между тем собственные его средства были самые ничтожные — всего тысячи полторы или две ассигнационных рублей в год. Судите сами, чем же тут существовать?

А потребности были у него гигантские, как у всех людей, у которых воображение развито на счет рассудка. Воспитан же он был в каком-то заведении или пансионе, в кругу разных баловней фортуны; там-то именно и впились в него разные претензии. Да к тому же и беспечность, или не то что беспечность, а равнодушие какое-то дьявольское ко всякой работе, которою можно было бы добыть себе кусок хлеба, как будто родился этот человек на то, чтоб жить ему на всем готовом. А иной раз начнет, бывало, беспокоиться, и целый день жалуется, целый день мучит себя и все придумывает средства добыть денег, и все-таки остановится на том, что сложит руки и начнет клясть час своего рожденья, жаловаться на людей, на какие-то обстоятельства, будто бы отбившие его от честного труда...

Это бывали едва ли не самые тяжкие минуты нашей жизни вдвоем; тщетно упрашивал я его успокоиться, тщетно доказывал, что жалобы ни к чему не ведут, а разве еще более раздражают воображение. Однажды, однако ж, мне удалось склонить его вступить на службу. Сначала он принялся с рвением, сильно работал и даже надоел мне своими разговорами о службе. Но через два-три месяца, смотрю, малый-то начинает сидеть по утрам дома, дел к себе на квартиру не берет.

— Что ж, почтеннейший Дмитрий Андреич, или уж вам надоело? — спрашиваю я его.

— Да нет,— отвечает он мне,— это не мое призвание, я ничего не могу тут сделать.

— А где же вы надеетесь что-нибудь сделать?

— А вот подумаю; может быть, и нигде; нельзя же мне брать вознаграждение за труд, к которому не чувствую ни охоты, ни привязанности.

И вышел в отставку.

Изволите видеть, простая работа нам тошна, потому что мы желаем везде совершить что-нибудь гигантское, целый мир, так сказать, удивить.

А на деле все эти затеи кончаются самым миниатюрным образом.

Так жили мы с ним около года. Вдруг начал я замечать, что приятель мой что-то часто подходит к окну, застаивается на одном месте и все кого-то высматривает наискосок. Я обра-

тил на это внимание. Действительно, в той стороне дома (мы жили на дворе) начала показываться чья-то стройненькая талия, чье-то розовенькое личико... Сначала личико слегка кокетничало, задергивало занавеску, потупляло застенчиво глаза в пяльцы, в которых, с незапамятных времен, вышивалась известная пара туфлей, подарок дорогому другу, но, несмотря на эти уловки, мне удалось заметить, что уголок ревнивой занавески почасту робко и как будто невзначай поднимался, и два зорких и быстрых глаза смотрели в окно к Брусину. Я молчал и ждал, что из этого будет. Однажды, после обеда, Брусин сам подвел меня к окну. Время было летнее; жильцы побогаче все разъехались на дачи; дом, в котором мы жили, был всего в два этажа; следовательно, мы почти одни и жили в целом доме, да еще мастеровые какие-то занимали нижний этаж. Окно наискосок было отворено, и те же плутовские глазенки глядели прямо на нас.

— Видишь? — спросил меня Брусин.

На ней было простенькое голубое ситцевое платье, а на шее повязан маленький шелковый платок — но как все это кокетливо глядело, как все было ей к лицу!

— Это Николай Иваныч,— сказал Брусин, указывая на меня.

— А? так это вы Николай Иваныч? очень рада с вами познакомиться, сосед,— отозвался маленький, но хорошенький голосок.

Я только и делал, что кланялся.

— Вот вы ходите каждое утро на службу, вам не скучно,— продолжала она,— а мне одной, не поверите, какая тоска! вот мы с Дмитрием Андреевичем и переговариваемся от скуки...

— Право? и давно вы так переговариваетесь?

— Да, право, не знаю, спросите у него. Да вы-то где бываете, что вас никогда не видно?

— А он занят важными делами,— отвечал за меня Брусин.

— Первое дело, что не с вами, сударь, говорят; разумеется, они заняты службой... Это не то, что есть другие, которые цельный день сидят у окошка... да-с; смейтесь, смейтесь; лучше бы вы место себе приискали — вот что!

— Ну, хорошо; я буду искать место.

— И лучше сделаете, гораздо лучше.

Все это было сказано таким тоном, что следовало, тысячу раз следовало, расцеловать губки, произнесшие эти слова.

— Хоть бы вы, право, присмотрели за ним,— продолжала соседка, обращаясь ко мне,— такой негодный,— просто покою не дает... Я, знаете, сначала из любопытства, да к тому же вижу, что молодой человек все один да один... я и начала

разговаривать, а он и взаправду подумал... Так нет же, сударь, ошибаетесь! вы противный, вы гадкий! я совсем, совсем, вот ни на столько не хочу любить вас... Да и хотела бы, так не могу — вот вам!

И она показала самую крохотную часть на мизинце; я взглянул на Брусина; грудь его поднималась; он впился в нее глазами и, казалось, всем существом своим любовался каждым ее движением.

— Оля! голубчик ты мой! — едва мог он проговорить задыхающимся от волнения голосом.

— Оля! вот новости! покамест еще Ольга Николавна,— прошу помнить это!

— Знаете ли что! — продолжала она, обращаясь ко мне,— отведите-ка его от окна, и будемте говорить с вами, а то ведь есть такие дерзкие молодые люди, которые — маленькое им снисхождение сделай — так уж и бог знает что возьмут себе в голову.

— А я так думаю, не приятнее ли будет вам, если я сам, вместо него, отойду от окна.

— С чего вы взяли? уж не думаете ли и вы...

— Да, я думаю, и очень думаю.

— Напрасно думаете, и если вам сказали это некоторые господа, так скажите этим господам, что это неправда, и что напрасно они воображают себе.

— Ну, так я отойду,— сказал Брусин.

Ольга молчала.

— Вам, может быть, доставит удовольствие, если я не буду у окна? — снова начал Брусин.

— Сделайте одолжение, с вами не говорят; делайте как угодно; стойте тут, коли хотите, ни удовольствия, ни неудовольствия это мне не доставит... пожалуйста!

Брусин отошел; Ольга засмеялась.

— А какая у вас миленькая квартира,— сказала она,— мне все видно к вам в комнаты; да вот теперь, как ни посмотришь, все встречаешь в окне некоторых несносных господ... Такая, право, досада! на двор посмотреть нельзя...

— А кто же вам велит смотреть в окна чужой квартиры? — сказал Брусин, подходя.

Ольга затопала ножками.

— Не с вами, не с вами, сударь, говорят! избавьте меня от ваших разговоров.

Он опять удалился. Последовало несколько секунд молчания. Приятель мой, ходивший в это время в глубине комнаты, начал снова мало-помалу приближаться и наконец очутился у самого окна.

— Ну, мир, Оля! — сказал он нежно.

— Вот еще! с чего вы это взяли, что я с вами ссорилась! разве мы друзья, чтоб нам ссориться!

Она отворотила головку, а все-таки мы слышали очень явственно, что она там втихомолку смеялась.

— Да ведь ты сама смеешься, Оля! — сказал Брусин.

— Кто вам это сказал?

— Да я слышу.

— Совсем нет; я очень серьезно говорю, что это просто ни на что не похоже.

— Что̀ ни на что не похоже?

— Да то, что вы мне не даете покою.

— Да полно же, Оля; ведь тебе самой, плутовка, хочется, чтоб тебе не давали покою.

Снова послышался смех.

— Ну, мир, что ли, Оля? да отвечай же...

— Не сто̀ите вы, право...

Но хотя он и не стоил, а все-таки личико понемногу оборачивалось к нам.

— За что ж ты сердишься на меня, дурочка? — спросил Брусин.

— Ах, отстань от меня! ты глупый и ничего не понимаешь.— Ольга потупилась.

— Благодарю за комплимент.

— Это не комплимент, а правда. Не правда ли, Николай Иваныч, ведь он глупый?

— Не знаю; я так думаю, что не совсем.

— Ну, вот вы какие! и вы за этого негодного! а право, премиленькая у вас квартирка.

Молчание. Очевидно, ей ужасно хотелось, чтоб ее пригласили на эту миленькую квартиру.

— Оля! а Оля! — молвил Брусин.

— Что еще?

— Знаешь ли, что я вздумал?

— Вот какой глупый! разве я Анна-пророчица, чтобы знать, что ты думаешь.

— А я думаю, кабы ты...

— Вот еще вздор какой! пойду я к тебе на квартиру! с меня и своей довольно.

— Да я и не думал тебя приглашать...

Ольга зарделась.

— Совсем и не думал,— продолжал Брусин, в свою очередь кокетничая,— я просто хотел попросить тебя запереть окошко.

— А вам что за дело до моего окошка?

— Да так; видишь некоторые лица... неприятно! Право, заперла бы ты окно, Оля!

— Ну вот, теперь уж ты начал бесить меня. Мало мы ссоримся! довольно, что и я иногда пристаю к тебе.

— Попалась, плутовка! ну, за это — надевай же шляпку да и марш к нам.

— Она уж была у тебя? — спросил я его, покуда Ольга собиралась.

— Нет; это в первый раз.

— Хорошая девушка!

— Не правда ли? и какое сердце! я когда-нибудь расскажу тебе...

— Поздравляю тебя.

— А ты и не заметил ничего? уж мы давно...

— Как же, как же! куда мне заметить!

Через несколько минут она была у нас. Брусин был вне себя: он целовал ее руки, целовал ее губы, глаза, прижимал ее к сердцу и потом опять целовал, опять обнимал, до того даже, что мне сделалось тошно.

— Да полно же тебе, Дмитрий! — говорил я,— ты точно ребенок.

— За дело ему,— отозвалась Ольга,— за дело! все платье на мне измял, негодный!

А между тем сама не только не противилась ласкам Брусина, а еще пуще раззадоривала его.

Наконец он выпустил ее из рук; с ребяческим любопытством начала она оглядывать каждый уголок нашей квартиры. Квартира была, как и все петербургские квартиры, предназначенные для помещения капиталистов; всего две комнаты: одна для меня, другая для Брусина, и обе очень скудно убраны; но Ольга осталась довольна. В особенности ей нравилась комната Брусина. Она попеременно садилась то на диван, то на кресло — и все находила преудобным. Стала даже давать советы, как все устроить к лучшему, и весьма удивлялась, как это у Дмитрия нет в заводе кровати, и тут же изъявила сомнение в удобности дивана.

— Да ведь я не женат,— говорил Брусин,— зачем мне кровать?

Она покраснела.

— То-то вот и есть,— говорила она,— не умеете вы ничего сделать; вот я бы поставила там, у задней стены, кровать, купила бы ширмочки; тут бы диван и стол, там кресло...

— Так ты бы нам и устроила все, Оля.

— Это что выдумал! ведь я тебе чужая.

— Да ты не будь мне «чужая».

— Как же это можно! ведь я тебе не сестра.

— Да ты... будь моей женой.

Ольга засмеялась.

— Это еще что! ведь я не какая-нибудь! смотрите, я и дяденьке пожалуюсь — вот как!

— А! у вас есть и дяденька? — спросил я.

— Есть; и пресердитый; он теперь в Москве, а то бы...

— Ну, что ж, если б он был здесь? — спросил Дмитрий и протянул руку, чтоб обнять ее талию.

— А то, сударь,— отвечала она, ударяя его по руке и увертываясь от его объятий,— что он не позволил бы всякому негодному мальчишке не давать покоя честной девушке.

— В самом деле? — сказал Брусин и быстро поцеловал ее в самые губки.

— Ах, да что ж это за негодный такой! Вот тебе, вот тебе за это, скверный мальчишка!

И она пребольно выдрала его за ухо, но он ничего; даже схватил наказывавшую его ручку и с большим аппетитом поцеловал. Правда, что ручка была такая маленькая да пухленькая.

Так проболтали мы целый вечер, и, право, превесело провели время; Ольга разливала нам чай, а Брусин весь растаял от удовольствия. Под конец она даже развернулась и выказала себя определительнее; она закурила папироску и затягивалась не совсем дурно; потом начала класть ногу на ногу и опираться рукою в колено с особенной грацией, свойственной только известного рода женщинам.

Однако совсем у нас не осталась, как я сначала было предполагал, да, впрочем, и Брусин много не настаивал.

На другой день она опять пришла к нам; те же самые сцены повторились, что и накануне, с тою разницей, что она распоряжалась в нашей квартире, как полная хозяйка, все передвигала с места на место, беспрестанно дразнила Брусина, заставляла его бегать; словом, подняла такую кутерьму, какой, верно, наша скромная квартира никогда не видала в стенах своих.

С этих пор Брусин начал жить совершенно новой жизнью; с месяц он был в каком-то чаду; целые дни просиживал дома и ни на шаг не отпускал ее от себя. И она тоже души в нем не слышала; все пела да прыгала около него, а там пойдут у них целованья да вздохи разные. Но мое положение было самое скверное. Быть действующим лицом в этом случае, может быть, и очень приятно, но просто зрителем быть, смотреть, как люди любовь водят... Да притом же они как-то совсем наизнанку выворотили мой прежний образ жизни. Бы-

вало, все шло по заведенному порядку; я знал, что тогда-то буду то-то делать, что такая-то вещь или книга лежит у меня там-то; а теперь — примешься за дело, ан у соседей стук и возня, хватишься какой-нибудь вещи — а она в углу заброшена вместе с юбкой. Но сердиться не было никакой возможности, потому что Ольга, после первого же моего выговора, зажала мне рукой рот и, чтоб окончательно сбить меня с толку, поцеловала меня в губы.

Когда она уходила хоть на минуту к себе на квартиру или со двора, Брусин делался скучен, и ему приходили в голову самые дикие мысли. Однажды мы как-то сидели вдвоем. Брусин вскочил с дивана и подбежал ко мне, будто озаренный необычайной мыслью.

— Знаешь,— сказал он мне,— знаешь, какая у меня мысль?

— Что такое? верно, какая-нибудь страшная несообразность? — отвечал я, зевая и потягиваясь в креслах, потому что мыслей, и притом самых разнообразных, была у него куча, и я имел уже время привыкнуть к ним.

— Я хочу сделать из нее женщину.

— Да она, кажется, и без того женщина, природа создала ее такою: чего ж вы еще хотите?

— Ах, ты меня не понимаешь... я хочу сделать из нее женщину в высоком значеньи этого слова.

— А какое же высокое значение этого слова?

— Я хочу ее образовать; я хочу пробудить в ней сознание ее назначения...

— Фуй, какой вздор вы несете, Дмитрий Андреич! стоило же из таких пустяков прерывать мои мечтания.

Брусин оскорбился.

— Отчего ж это вздор? — сказал он обиженным тоном,— я не вижу в этом ничего несбыточного.

— Помилуйте, Дмитрий Андреич, ведь она не ребенок; почему же вы полагаете, что она живет бессознательною жизнью?

— Да, она не сознает своей жизни; такая жизнь есть несчастье, и она не сознает этого несчастья.

— А кто же вам сказал, что тут есть несчастье? Ведь оно существует только в вашем воображении. Живет себе девушка беззаботно и весело, так нет же, вздор все! совсем она не счастлива! и если, дескать, она весело смотрит да не жалуется на судьбу, так это потому, изволите видеть, что она не понимает своего несчастия! Да ну, не понимает, черт возьми! что ж, лучше, что ли, ей-то, собственно, будет, если она будет презирать самое себя, будет тяготиться своею жизнью?

Он задумался и начал ходить по комнате.

— Нет, ты все не то, ты все что-то не так говоришь,— отвечал он на мои возражения.

И не послушался-таки меня. К удивленью моему, в квартире нашей появилось великое множество всяких азбук. Увидев эти приготовления, Ольга ударилась в слезы, но потом нашла средство отлавировать от перевоспитания иначе. Чуть, бывало, Дмитрий за книжку — она к нему на колени, щиплет его, задирает, а впрочем, прямо никогда не отказывается от ученья. Тем это перевоспитанье и кончилось.

В другой раз как-то ее целый вечер не было дома. Брусин угрюмо сидел в углу и молчал. Вдруг он вскочил.

— Как ты думаешь,— спросил он у меня,— счастлива она со мной?

— Тебе, кажется, лучше следует это видеть.

— Да,— говорил он сквозь зубы, как будто размышляя сам с собой,— однако ж вот уж целый вечер ее нет с нами.

Я расхохотался.

— Что ж ты смеешься? разве мое предположение не может быть справедливым?

— Странно, однако ж, из того, что она один вечер проводит без тебя, заключать, что она тебя разлюбила!

Он начал ходить, и только урывками я мог слышать, что он ворчал себе под нос:

— Однако ж она прежде ни одной минуты не хотела быть без меня, а вот теперь уж и целый вечер...

И беспрестанно поглядывал на часы.

Потом опять вдруг остановился передо мной.

— Знаешь ли что, у меня явилась мысль...

— Опять мысль?

— Не сделать ли мне ей какой-нибудь сюрприз?

— То есть что ж такое «сюрприз»?

— Ну, подарить что-нибудь: платьице, мантильку...

Я глядел на него во все глаза.

— Это, вероятно, для того, чтоб усилить ее нежность к вам, Дмитрий Андреич?

Он оскорбился.

— С тобой ни о чем серьезно нельзя говорить,— сказал он обиженным тоном.

Прошло, однако ж, несколько времени, и в отношениях их уже поселилась заметная холодность. Я заметил даже в нем поползновение мучить и оскорблять ее. Очевидно, что содержание этой любви было так скудно и притом с такою безумною непредусмотрительностью расходовано, что месяца через три от прежнего упоенья не осталось и следов. Ольга

хотя и любила его, но не могла не остаться прежнею Ольгой, не могла изменить себе, и это служило поводом к вседневным сценам. Другой сумел бы или примириться с этим, или вовсе отказаться от такой любви, но Брусин — ни за что на свете! Боже упаси, чтоб он что-нибудь сделал без шума, без скандала! Не знаю, сколько раз он ненавидел Ольгу и сколько раз снова возвращался к любви. Иногда он целые дни, шаг за шагом, преследовал ее, и это не было преследованье смелое, открытое, а какое-то мелочное и уклончивое, свойственное только слабым людям и женщинам. Например, он не считал за нужное отвечать на ее вопросы, смеялся над ее несколько легкими манерами, над ее наивными и действительно неразвитыми понятиями. А в другое время эти же наивности возбуждали в нем неистовый восторг, и одни были достаточны, чтоб заставить его стать перед ней на колена и до истощения целовать ее ноги. Нередко из его комнаты долетали до меня слова:

— Да что ж, крепостная я ваша, что ли, что вы мною так командуете?

А уж подобных упреков нет хуже.

В один из тех дней, когда Ольга казалась Брусину в розовом цвете, мы решились отправиться на острова. Дело было в августе; день стоял жаркий; в городе духота страшная, на улицах пусто; только и видишь, что мастеровые шныряют, да и те такие бледные, испитые. Словом, так и зовет все за город, на вольный воздух, где и груди дышать привольнее, и мыслям есть где успокоиться. Ольга сама напросилась на эту прогулку, и целый день были у ней всё сборы да приготовления, точно к празднику.

Поехали мы в лодке к Кушелеву саду. Ольга ни минуты не оставалась в покое: то брызгала в нас водой, то раскачивала до того лодку, что мы несколько раз едва не опрокинулись. Все это, однако ж, и меня и Брусина радовало, потому что мы выехали из дому с намереньем повеселиться и уж во что бы то ни стало дали себе слово исполнить это намеренье.

День был воскресный, и дело шло к вечеру, но гуляющих было немного; посреди одной площадки хор военной музыки наяривал какую-то дикость. Гуляющие были, по большей части, из немцев, по той причине, что музыка играла даром, и сад тоже открыт для всех даром. Немцы сидели по скамьям и покуривали вонючие сигары. Гуляло также несколько чиновников, но господа эти гуляли, по-видимому, потому только, что, живши на даче, нельзя же не гулять. По большей части это были родоначальники будущих золотушных поколений, водившие за руки своих детищ. По сторонам стояли группы

кормилиц и нянек с слюнявыми детьми, в которых гнездился уж геморрой. Но все это было мертво и чинно.

Зато палатка, в которой находилась кофейная, была полна народу; в бильярдной стоял дым, выжимавший слезы. Мы сели за особый стол и насилу добились себе чаю. Я начинал уже проклинать все эти загородные так называемые удовольствия и твердо решился, напившись чаю, немедленно ехать домой, что было одобрено и моими спутниками. Но пока я хлопотал около чая, успело уже произойти многое. Как-то нечаянно взглянул я на Ольгу — она сидела бледная и потупив глаза. Брусин также напрасно хотел казаться хладнокровным, по стиснутым его губам и мертвенной бледности лица я угадывал, что в нем происходило что-то не совсем хорошее. В самом деле, неподалеку от нас стояло у окошка два офицера, которые, глядя на нас, перешептывались между собой.

— Пойдемте домой,— сказал я, не ожидая ничего хорошего от этой встречи.

Ольга поспешно начала собираться.

— Зачем же домой? — отвечал Брусин дрожащим голосом и притоптывая от волненья ногой,— зачем домой? останемся лучше здесь! Ольга Николавна встретила старых и, по-видимому, очень приятных знакомых: зачем же лишать ее этого невинного удовольствия!

Ольга молчала; офицеры перешептывались и продолжали искоса поглядывать на нас.

— Что ж вы не идете к знакомым-то? — шептал между тем Брусин,— ведь мы вам можем дать только чаю, а они, верно, напоят вином.

Она бросила на него умоляющий взгляд. Я сам был так сконфужен неожиданностью этой встречи, что решительно не находил слов для оправданья Ольги.

— Однако ж,— сказал Брусин, смеясь насильственным смехом,— эти господа и на нас поглядывают, как будто и мы принадлежим к почтенному сословию,— вот что значит быть в хорошей компании.

Слова эти были сказаны так громко, что все обратили глаза в нашу сторону. Ольга вся вспыхнула и отшатнулась от него в сторону. Но он был вне себя; взял ее за руку и в бешенстве стиснул так, что бедная едва не заплакала.

— Таким образом мстят женщине только негодяи,— сказал я, теряя наконец всякое терпение.

— С низкою тварью и поступать нужно низко,— отвечал он уж не то что с злобою, а даже с некоторым самодовольством.

— В таком случае,— сказал я,— ваше правило должно быть применено к вам первому... Пойдем отсюда, Ольга.

Он вспыхнул.

— Позвольте, однако ж,— сказал он весь бледный,— прежде чем уводить от меня мою любовницу, вы должны спросить ее, согласна ли еще будет она идти с вами?

Я посмотрел на Ольгу; она потупила глаза и снова опустилась на лавку.

— Послушайте,— сказал я, снова обращаясь к нему,— прежде нежели мучить и бесславить ее публично, вы должны бы были, по крайней мере, удостовериться, точно ли она так виновата, как вы предполагаете.

Ольга с ужасом взглянула на меня.

— Мне кажется,— отвечал он, иронически улыбаясь,— достаточно взглянуть на лицо Ольги Николавны, чтоб убедиться в истине моих предположений. А впрочем, чтобы доставить вам удовольствие, я готов...

И он направился прямо в ту сторону, где стояли офицеры.

— Что вы наделали! — говорила мне между тем Ольга, вся трепеща от ужаса,— ради бога! уведите, уведите меня отсюда! он убьет меня!

Не думая лишней секунды, я взял ее за руку и вышел в сад.

Выходя, я видел, однако ж, что Брусин подошел к одному из офицеров, и слышал мельком начало их разговора.

— Позвольте узнать,— спросил Дмитрий,— вам знакома женщина, которая сию минуту находилась со мной?

— А хоть бы и знакома?

— Я желал бы знать, какого рода было это знакомство?

— Вы любопытны; я полагаю, впрочем, что такого же рода, как и ваше.

— Я ее любовник,— сказал Брусин.

— И я тоже,— отвечал офицер и раскланялся.

Кругом все захохотало, но что было затем — мне неизвестно: я скорее спешил выбраться оттуда.

— Ну, что же ты намерена делать? — спросил я ее, когда мы подходили к нашему дому.

Она опустила глаза.

— Я советовал бы тебе отправиться к себе.

— А он? — спросила она робко.

— Ах, право, он мне надоел с своими глупостями, и я решительно хочу расстаться с ним.

— А он-то как же? — снова спросила она.

— Да как хочет — мне что за дело!

— Да как же это? ведь он не может жить один.

Я посмотрел на нее с удивлением; мне было смешно и грустно.

— Видно, мало еще он тебя мучит,— сказал я с некоторой досадой.

Мы вошли во двор.

— Решайся, однако ж, к себе ты пойдешь или к нам?

Она снова потупила глазенки, и мне сделалось страшно жаль ее.

— Ну, как хочешь,— сказал я ей,— глупенькая ты, право, глупенькая: ведь опять будешь плакать! ты видишь, каков он — что ж путного можно ожидать от этой любви?

Через час явился и Брусин. Мы пробыли несколько времени вместе, и мне показалось, что он несколько успокоился. Проглядывала, правда, в его обращении с Ольгой какая-то принужденность, но после всех сцен, которых я был свидетелем, нельзя было и требовать, чтоб он был по-прежнему. Через полчаса я оставил их.

Вдруг он является в мою комнату.

— Нет ли у тебя десяти рублей? — спросил он меня.

Я дал ему.

— Да на что они тебе?

— Да так... нужно...

Я пошел за ним.

— Возьмите,— сказал он, подходя к Ольге и подавая ей деньги

Она побледнела и только могла пробормотать:

— Зачем?

— Это за вашу снисходительность,— отвечал он равнодушно.

Она вся вспыхнула и вскочила как ужаленная; глазенки ее блестели, как два горящих угля, ноздри поднимались, губы дрожали.

— За мою снисходительность! — сказала она,— так знайте же, что моя снисходительность дороже десяти рублей продается, а за то, что я для вас делала и от вас вытерпела... у вас слишком мало денег, чтоб заплатить мне.

И она бросила ему деньги в лицо; он, в свою очередь, побледнел, губы его судорожно сжались; я видел даже, что он одну минуту поднимал уж руку... Но все это было только минутно; он не мог более вынести нравственного изнеможения и упал на диван. Ольга ушла.

Несколько времени спустя он опять пришел ко мне.

— Что, дождались вы, наконец? — сказал я ему.

Он молча опустился в кресло.

— Я еще удивляюсь, как она давно не бросила вас.

Но он молчал.

— Что ж мне делать,— сказал он наконец,— что ж делать, коли у меня такой несносный характер!

— Согласитесь, однако ж, Дмитрий Андреич, из того, что у вас, как вы говорите, несносный характер, разве следует, чтоб она терпела все оскорбления, которыми вы ее, с каким-то диким удовольствием, столько времени преследуете?

— Что ж делать мне? научите, что мне делать! К чему мне ваши упреки, когда я сам очень хорошо вижу, что виноват перед нею! как поправить это?

— Послушайте, Дмитрий Андреич, мне уж надоело разыгрывать с вами роль Здравомысла, да и вам пора бы перестать представлять Ловеласа... Заметьте, что ведь она не Кларисса.

— Однако ж ведь вы очень хорошо понимаете, что я не по своей воле играю эту роль.

— В таком случае, право, не знаю, что вам советовать.

Последовало несколько минут молчания.

— Другому я принялся бы, может быть, объяснять, что из того, что его любит женщина, вовсе не следует, чтоб эта же женщина не могла любить и другого, что во всяком случае она ничем вам не обязана. Другой, может быть, и принял бы вещь, как она есть, но вы ведь и сами очень хорошо все это понимаете,— что ж я могу сказать вам нового?

— Однако ж предположим, что я послушаю вашего совета.

— Зная ваш характер, я думаю, что было бы всего полезнее для вас расстаться с ней навсегда.

Он задумался и долго не говорил ни слова; наконец встал и сказал мне твердым голосом:

— Решено! я перестаю об ней думать.

И действительно, он достал себе работу, окружил себя книгами и занялся компилированьем какой-то статьи. Вообще он сделался и весел, и деятелен; иногда только вспоминал об Ольге, но без горечи, и единственно потому, что натура того требовала.

— Ведь вот, право,— говаривал он шутя,— как ни запирайся внутри себя, а от себя, видно, уйти нельзя.

— А что? — спрашивал я.

— Да вот не знаю, как бы натуру-то свою...

— Ну, уж ты сам озаботься... я тоже не знаю.

Однажды возвращаюсь я уж довольно поздно от должности, смотрю — Иван мой, отворяя дверь, делает знаки, указывая на комнату Дмитрия.

Действительно, он был не один; против него сидела какая-то

краснощекая и полная девица, которая при моем появлении отвернула голову и закрыла платком лицо. Это, изволите видеть, нам стыдно было чужого человека.

— А, очень рад,— сказал Брусин, вставая,— рекомендую: повелительница острова Стультиции...

Я откланялся, но прекрасная царица никак не хотела отнять платок от лица.

— Достойная супруга великого Комуса! — продолжал Брусин, становясь перед ней на колена,— удостойте вашего лицезрения бедного смертного, который с нетерпением жаждет, чтоб на него упал хоть один животворный луч ваших божественных глаз!

Но супруга Комуса барахталась, беспрестанно испуская из-под платка легонькие «ги-ги-ги».

— Ах, отстаньте! — говорила она, закрываясь пуще и пуще в платок.

— Сделайте одолжение! — приставал Дмитрий.

— Никак нельзя.

— Отчего же нельзя?

— Оттого, что нельзя: они чужие...

— Скажите пожалуйста — «они чужие»!

И он вырвал у нее платок.

— Ах, какие бесстыдники! какие озорники! — возопила королева, в свою очередь овладевая платком и снова закрывая лицо.

— Это, изволите видеть, маленький образчик нашего милого кокетства,— сказал Брусин, обращаясь ко мне.

Мы сели обедать; она долго и за обедом не соглашалась открыть лицо; но вдруг, когда мы перестали даже и думать об ней, услышали легкое — «ах!». Это, изволите видеть, она решилась показать нам свое личико и сама испугалась своей смелости.

— «Ах!» — сказал Брусин, передразнивая ее,— это вам так стыдно?

— Да, конечно, стыдно.

— Кого же вам так стыдно?

— Да вот их.

— Скажите! то есть, что может быть наивнее и прелестнее!

— Чем же вы занимались? — спросил я.

— Ах, какие вы насмешники!

— Что ж тут смешного? — сказал Брусин.

— Известно что!

— Так вы смешным занимались,— сказал я,— хорошо!

— Да, мы преприятно провели время,— отвечал Брусин,—

посидим-посидим да помолчим, а потом займемся этак наглядною и осязательною анатомией! Ты хочешь учиться анатомии?

— Благодарствую.

— Жаль, а преполезная наука; и как легко и понятно: разом весь курс пройти можно. Спроси ее.

— Вы всё смеетесь надо мной!

— Как это можно!

— Вы такие озорники!

— Вы где живете? — спросил я.

— У родителей.

— И часто вы этак прогуливаетесь?

— Как это возможно! у меня родители престрогие-строгие: цельный день всё меня бранят.

— Ну, и этак бывает? — спросил Брусин, делая рукою значительный жест сверху вниз.

— На то они родители — да вы всё надо мной смеетесь!

Брусин расхохотался.

— Прелесть ты моя! — сказал он,— золото ты мое! ведь выискал же я тебя себе на отраду!

— А знаешь, что мне вздумалось? — обратился он ко мне,— ты видишь Ольгу?

— Вижу, а что?

— Мне ужасно хочется подойти к окну и показать ей супругу Комуса.

— Зачем это?

— Да пусть хоть немножко побесится.

И мы все трое подошли к окну.

— Здравствуйте,— сказал Дмитрий.

— Здравствуйте,— отвечал знакомый голосок.

— Рекомендую,— продолжал он, указывая на девицу.

— Очень рада; что, это Николай-Иванычева?

— Нет-с, моя.

— А, ваша! дяденька! дяденька! Прохор Макарыч!

Послышались тяжелые шаги, и вслед за тем в окне появилась заспанная, неуклюжая фигура.

— Рекомендую,— сказала Ольга, указывая на фигуру.

Я наблюдал за лицом Дмитрия; хотя оно по наружности и казалось спокойно, но все-таки, хоть на мгновенье, хоть слегка, щеки его побледнели.

— Очень рад,— сказал он в свою очередь,— вы давно изволили возвратиться из вояжа?

Но дяденька не отвечал и только раскланивался.

— Да отвечай же, дяденька,— сказала Ольга,— вы его извините, он у меня такой стыдливый, не привык с чужими.

Она провела рукой по его лицу, дернула за усы и хлопнула пальчиками по лбу.

— Ну, ступай, спи, дяденька,— сказала она.

Дяденька раскланялся и исчез.

— Каков у меня дяденька? — спросила Ольга.

— А какова у меня тетенька? — отвечал Дмитрий.

— Я вам совсем не тетенька,— вступилась супруга Комуса,— вот еще что выдумали!

Ольга улыбнулась, Дмитрий тоже улыбнулся; но Дмитрий не вытерпел и послал ей рукой поцелуй; она отвернулась.

— Не стоите вы,— сказала она,— эй, Амишка! Амишка!

Амишка вскочила на окно и замахала хвостом.

— Где ты, негодная, была? — выговаривала ей Ольга,— других, верно, лучше меня нашла, капризная собачонка! Отвечай, мерзкая!

Амишка залаяла.

— Оленька! — сказал умоляющим голосом Дмитрий.

Я дернул его за полу сюртука.

— Так вот же, гадкая ты! злая ты! я не хочу любить тебя! — продолжала Ольга,— и если ты думаешь, что мне тебя жалко, так нет же, ошибаетесь, сударыня, очень ошибаетесь! не надо мне вас — у меня есть дяденька, вот что!

— Оленька! голубчик ты мой! — задыхающимся голосом говорил Дмитрий.

— Пошла прочь, мерзкая собачонка, пошла, пошла прочь! Прощайте, Дмитрий Андреич, желаю вам покойной ночи!

Окно ее захлопнулось; но Дмитрий стоял на месте как ошибенный; насилу я его мог успокоить.

— А! какова Ольга,— повторял он беспрестанно,— уж у ней и дяденька явился.

Так прошло еще несколько времени, но однажды, возвращаясь со службы, начал было я взбираться по лестнице — слышу голос Ольги. Она была не одна, а с Брусиным; оба входили по лестнице к нашей квартире.

— Только ты, пожалуйста, скажи ему, Оля, что сама пришла ко мне,— говорил Дмитрий.

— А будешь капризничать?

Мне послышался звонкий поцелуй.

— А глупая королева будет к тебе ходить?

— Не будет, Оленька, не будет, голубка моя.

Дернули за звонок.

— Никогда?

— Никогда, моя красоточка, никогда!

— Ну, то-то же.

— Так ты ему так и скажи, Оля, что сама пришла, а то он мне покою не даст.

Дверь отворилась, и они вошли. Я не верил ушам своим; мне и досадно и смешно было такое ребячество. Я подождал минут с пять и позвонил.

— Вот мы и помирились,— сказала Ольга, подавая мне руку.

— А мне что за дело,— отвечал я сухо и прошел к себе, не дотрогиваясь до ее руки.

— Как вам угодно.

После обеда она, однако ж, пришла ко мне. Дмитрий заранее ушел со двора.

— За что ж ты на меня сердишься? — спросила она.

— Я сержусь! нимало; какое мне дело!

— Да то-то и есть, что мы не хотим, чтоб тебе не было до нас дела.

Она села ко мне на колена и обхватила рукой мою шею. Прошу покорно возражать что-нибудь в подобном плену.

— Ну, говори же, за что ты надул губы?

— А зачем вы обманываете меня?

— Как обманываем?

— А что ты говорила на лестнице? ведь я все слышал.

— Так только-то? ну, целуй же меня.

Я повиновался.

— Вот сюда!

И она подставила свою шейку; я опять повиновался.

— Куда же девался Дмитрий? — спросил я.

— Да он боится тебя! ушел гулять, покуда я буду тебя соблазнять. Ну, а я бесстрашная, никого не боюсь! Правда? я бесстрашная?

— Только смотри, бесстрашная, чтоб не было у вас по-прежнему.

И снова началась у них возня и стукотня, как в первое время их любви. Однако ж он занимался по-прежнему, и Ольга не целые дни проводила у нас. В окнах ее нередко появлялась толстая фигура стыдливого дядюшки, но Брусин, по-видимому, стал смотреть на это обстоятельство как на неизбежное зло.

Вдруг Ольга приходит к нам и объявляет, что у нее будет бал!! Брусина немного покоробило от этого известия, однако ж ничего. Целую неделю потом она прожужжала нам уши, рассказывая, какие будут у нее музыканты, какие девицы, что будет стоить вход. Иногда она подолгу задумывалась.

— О чем ты думаешь, Оля? — спрашивал я ее.

— Да я все думаю, не лучше ли бал с ужином? А?

— Да, бал с ужином хорошо.

— Можно будет по целковому за вход прибавить.

— Стоит ли об таких пустяках говорить! — вступался обыкновенно Дмитрий.

— Тебе всё о пустяках! что ж, по-твоему, не пустяки! сейчас видно, что не любишь меня.

Наконец он настал, этот давно ожиданный день бала. В ее маленькой зале о трех окнах собралась довольно большая куча народу, и танцы уж начались, когда я вошел с Брусиным. Девицы в белых, черных и разноцветных платьях, кавалеры, в сюртуках и даже бархатных архалуках, выделывали ногами и плечами такие удивительные штуки, каких нам и во сне не удавалось видеть. Мы стали в углу, вместе с двумя-тремя молодыми людьми, и смотрели. Танцевали, собственно, кадриль, но тут я не узнал его; я не мог себе вообразить, чтоб этот созерцательный, целомудренный танец мог сделаться до такой степени буйным и двусмысленным. Все лица танцующих дышали особенным, безотчетным весельем; беспрерывно слышалось то притоптыванье каблука, то хлопанье руки об колено, то прищелкиванье пальцев... и при этом корпус гнулся, гнулся... ну, точно старая ветошка.

— Ну, что, вам скучно? — сказала Ольга, подходя к нам.

— Нет, мне очень любопытно,— отвечал я,— я никогда еще не бывал на таких вечерах.

— Да это что еще! это только начало — погоди, что потом будет.

— Это только начало? — спросил я удивленный.

— Да, это всё немцы; они только танцуют, а вот приедет Надя с своими, да Катя с своими...

— Тогда что ж будет?

— Тогда будет кутеж. Дай мне затянуться.

— Ты сегодня просто до невероятности восхитительна, Ольга!

— Право? вот погоди, увидишь Надю да Катю, тогда что скажешь!

И немного погодя снова прибавила:

— А теперь что! это всё немцы!

— Да разве немцы не кутят?

— Нет, они любят всё больше танцевать; то есть, видишь ли, и они кутят, только на чужой счет.

— Ну, а Надя и Катя хорошенькие?

— Уж разумеется, коли у них своя компания есть.

— Ты меня когда-нибудь познакомь с ними, Оля.

— Позвольте вас ангажировать на вальс,— сказал какой-то

белокурый сын Эстляндии, достаточно снабженный угрями, приблизившись к Ольге.

— Нет-с, я с немцами не танцую.

— Однако ж вы танцевали кадриль с господином Зималь.

— Он не немец, он полурусский-с.

— Однако ж отчего ж вы не хотите танцевать с немцем?

— Оттого, что между немцами мастеровых много.

Белокурый господин сконфузился; если б Ольга была без компании, то, конечно, она рисковала получить от него всякую горькую неприятность.

— Да куда ж девался Дмитрий? — спросила у меня Ольга.

— Не знаю; он сейчас был со мной.

— Ну, поди же, сыщи его; скажи, что мне теперь некогда и что я его после за это вдвое поцелую.

— Да зачем же после?

— Где ж его сыщешь?

— Да ты послала бы с кем-нибудь.

— Уж не с тобой ли! смотри, какой лакомка! Ну, да хорошо; поди, скажи ему, что я его вот так, крепко-крепко целую.

Она поцеловала меня и исчезла.

Дмитрий сидел в соседней комнате и зевал.

— Пойдем домой,— сказал он, когда я подошел.

— Это зачем?

— Да мне больно видеть.

— А что?

— Да она все танцует.

— Не сидеть же ей сложа руки, коли ты не умеешь танцевать.

— Да; да вон видишь ли... этот мальчишка пакостный, видишь, как он ее крепко обнял.

— Если тут обычай такой!

— Да мне это больно.

— Черт знает что такое!

В дверях показалась фигура дядюшки.

— А, Прохор Макарыч! кстати, подите сюда! вот мой приятель скучает — развеселите-ка его.

Дядюшка приблизился.

— Кажется, имел честь,— проговорил он, конфузясь.

— Как же, как же! помните, у окна... еще такая славная погода была!

— Да-с, хорошая, но у меня в деревне...

И снова сконфузился; меня всегда особенно удивляло, как такое огромное тело могло так легко конфузиться.

— Что ж у вас в деревне, Прохор Макарыч?

— Погода бывает лучше-с,— пробормотал он.
— А у вас много деревень?
— Три-с.
— А много вы получаете доходу?
— Пятнадцать тысяч-с.
— Так эдак вы, чай, и шампанское пьете?
— Помилуйте, мне все это наплевать-с...
— Скажите пожалуйста! да вы драгоценный человек! А как вы думаете, не подать ли теперь? Вот и он бы развеселился, да и вы перестали бы конфузиться.

Подали вина; Прохор Макарыч сделался сообщителен и беспрестанно упрашивал Дмитрия пить, по чести уверяя его, что ему наплевать и что мужички его сотню таких бутылок вынесут. Танцы продолжались по-прежнему, с тем только изменением, что народу стало еще больше, затем что прибыли Надя и Катя с своими. Дмитрий стоял со мной в стороне и наблюдал за танцующими. Вдруг он вздрогнул; действительно, взглянув в ту сторону, где танцевала Ольга, я сам видел, как господин Зималь поцеловал ее в губы.

— Пойдем домой,— сказал мне Брусин.
— Вот подожди немного; пусть Ольга познакомит меня с Катей,— отвечал я, будто не подозревая, в чем дело.
— Я не могу здесь быть...
— Ну, так ступай один; разве необходимо нужно, чтоб я шел вместе с тобой!

Я остался еще несколько минут, но после не вытерпел, пошел-таки за ним.

Он сидел в своей комнате и плакал; это меня смутило. Я шел было к нему с наставлениями, и вдруг человек плачет; сами посудите, до выговоров ли тут.

— Послушай,— сказал он мне,— выедем из этого дома.
— Переедем, если уж нечего делать,— отвечал я,— а жалко! квартира такая удобная, да и зима на дворе.
— Я чувствую, что мне нельзя больше здесь оставаться.
— Да переедем, переедем; разумеется, тут нечего рассуждать, если необходимость велит.

На другой же день я нанял квартиру и стал собираться. Брусина с утра уж не было дома. Вдруг вижу, бежит к нам через двор Ольга.

«Ну, опять слезы!» — подумал я.

— Это вы переезжаете? — спросила она дрожащим голосом.
— Да.
— То есть, *ты* выезжаешь, а Дмитрий остается по-прежнему здесь?
— Нет, и он со мною.

Она побледнела.

— А я-то как же? — спросила она, как будто еще не понимая, в чем дело.

Я молчал.

— Так это он меня и оставит! да отвечай же мне, бросить, что ли, он меня хочет?

Но я все-таки не знал, что отвечать; она постояла-постояла,— пошла было к двери, но потом опять воротилась, упала на диван и горько заплакала.

Признаюсь, шевельнулось-таки во мне сердце.

Вдруг она вскочила с дивана и бросилась ко мне на шею.

— Голубчик ты мой! упроси его! скажи ему, чтоб он этого не делал со мной, что я всех брошу, хлеб с водой буду есть... а! поди же, ради бога! только чтоб не бросал меня... хоть за прежнюю любовь мою!

— Послушай, Ольга, что ж это такое будет? сколько раз уж вы мирились... ведь ты видишь, что он не может.

— Да нет, я сама во всем виновата... ну, пожалуйста, прошу тебя! скажи ему, что я буду совсем другая.

— Как же ты можешь ручаться за себя? ведь это не в первый раз.

Она посмотрела на меня пристально и побледнела.

— Так ты не хочешь для меня это сделать?

Я не отвечал.

— Зверь ты! каменное в тебе сердце! это ты его всему научил; смотри же, не будет тебе счастья ни в чем; встречусь я с тобой — увидишь!

Черт знает что такое! ни телом, ни душой не виноват человек, а осыпают со всех сторон проклятиями.

Наконец мы переехали; Дмитрий опять принялся за работу; Ольга несколько раз наведывалась было к нам, но человеку было строго приказано не впускать ее. Однажды утром иду я на службу — смотрю, у ворот стоит Ольга и злобно смотрит на меня. Я хотел было пройти мимо, но она остановила.

— Что, любо тебе небойсь,— сказала она,— любо, что успел нас поссорить?

— Ах, оставь ты меня в покое! не думал я вас ссорить: сами вы грызлись между собою!

— Сами!.. вот как! а кто не велел пускать меня в квартиру? сами! Да вот не удастся же тебе; хоть целый день простою здесь, а увижу его! тогда посмотрим, чья возьмет.

— В таком случае, я пойду, попрошу его, чтоб он не выходил,— сказал я, возвращаясь домой.

— Небойсь не пойдешь! — кричала она мне вслед,— ты

ведь знаешь, что если хоть слово скажешь ему о том, что я жду его здесь, так он мой.

Я рассудил, что она говорила правду, и отправился восвояси.

Когда я воротился, человек мой ждал меня в дверях.

— Ольга Николавна тут,— сказал он.

— Сама пришла?

— Нет, с Дмитрием Андреичем.

Я велел ему собрать все свое и в тот же день переехал.

С тех пор я потерял Брусина из вида; слышал, что он опять поссорился с Ольгой, связался с какой-то актрисой и ту будто бы бросил. Но на службу не вступил и статьи, которую при мне начал, не кончил никогда.

ПРИМЕЧАНИЯ



В первый том входят произведения Салтыкова 1840—1849 годов, открывающие творческую и политическую биографию писателя. От подражательной романтики юношеских стихотворений к реализму и демократической настроенности «Запутанного дела» и «Брусина» — таков путь литературно-общественного развития молодого Салтыкова. Этот путь был определен и подготовлен эпохой сороковых годов, когда Белинский и Герцен, стоявшие во главе русской передовой мысли, боролись за материализм в философии, реалистический метод в литературе и конкретный историзм в области социальных учений.

Подлинным началом своей писательской деятельности Салтыков-Щедрин считал появление первых повестей и рецензий на страницах «Современника» и «Отечественных записок» (1847—1848). Произведения эти возникли на гребне общественного подъема сороковых годов, в обстановке роста крестьянского движения и напряженного ожидания революционного кризиса в Европе накануне 1848 года. Проникнутые освободительными настроениями, повести Салтыкова с их политическим радикализмом и социалистической идейностью сразу привлекли внимание правительства и послужили поводом к семилетней ссылке писателя.

Ранняя проза Салтыкова вводит современного читателя в лабораторию передовой теории, в самую гущу демократических стремлений и социалистических чаяний прогрессивной литературы сороковых годов. В этом отношении для творческого самоопределения писателя были особенно важными, по его собственному признанию, «школа идей» Белинского и участие в кружке петрашевцев.

В учении Белинского о гоголевском реализме и «натуральной школе» Салтыков нашел метод художественного постижения жизни, который способствовал утверждению писателя на путях непримиримого социального обличения. Учение Белинского раскрыло перед Салтыковым и безгранич-

ные возможности юмора, как «могущественнейшего орудия духа отрицания, разрушающего старое и приготовляющего новое»[1]. Сближение с петрашевцами обратило Салтыкова к изучению утопического социализма и выработке положительного идеала. Все эти сложные процессы формирования мировоззрения писателя, вооруженного передовой идеологией века, отразились в его ранних повестях и журнальных выступлениях.

В зрелые годы писатель строго осуждал художественное несовершенство своих первых литературных опытов. Из всего написанного в сороковые годы он переиздавал лишь повесть «Запутанное дело», включив ее в сборник «Невинные рассказы» (1863). Повесть «Брусин» и этюд «Глава» вообще остались неопубликованными при жизни писателя, а рецензии и стихотворения никогда не перепечатывались им. До настоящего времени объем и содержание ранней литературной деятельности Салтыкова, особенно рецензентской, выявлены далеко не полностью. Не дошло до нас, по-видимому, многое из черновых заметок, фрагментов, стихотворных произведений молодого Салтыкова, например, не сохранилась его юношеская незавершенная трагедия в стихах «Кориолан» и др.

Произведения Салтыкова сороковых годов впервые были собраны в издании его сочинений 1933—1941 годов (т. I, Гослитиздат, М. 1941. Подготовка текста и комментарии И. Векслера, Е. Макаровой, М. Калаушина). В биографическом плане раннее творчество Салтыкова исследовано в книге: С. Макашин, Салтыков-Щедрин. Биография, I, изд. 2, Гослитиздат, М. 1951.

В настоящее издание не вошли две рецензии на детские альманахи «Архангельск» и «Астрахань», стихотворение «Две жизни», ошибочно приписанные Салтыкову (см. об этом в примечаниях к рецензиям и к стихотворениям).

Все произведения, включенные в настоящий том, воспроизводятся по автографам и первым журнальным публикациям. Тексты повестей «Запутанное дело» и «Брусин», имеющие по нескольку редакций, печатаются в ранних редакциях сороковых годов. Именно эти редакции дают наиболее полное и непосредственное представление об эпохе и творческом облике молодого Салтыкова по сравнению с редакциями пятидесятых — шестидесятых годов, сокращенными и переработанными автором в соответствии с идейно-художественными принципами более позднего времени.

В разделе «Из других редакций» печатаются: наброски «Так это ваше решительное намерение...» и «Будь добронравен...» — два фрагмента первоначальных редакций повестей «Противоречия» и «Запутанное дело» и сокращенная редакция повести «Брусин» (1856 (?). Краткая редакция «Запутанного дела» (1863), включенная Салтыковым в сборник «Невинные рассказы», печатается в составе этого сборника (см. т. 3 наст. изд.).

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. V, изд. АН СССР, М. 1954, стр. 645. В последующих отсылках к этому изданию указываются: *автор, том, страница.*

ПОВЕСТИ

ПРОТИВОРЕЧИЯ

Впервые напечатано в журнале «Отечественные записки», 1847, № 11, отд. I, стр. 1—106 (ценз. разр.— 31 октября). Подзаголовок: «Повесть из повседневной жизни (В. А. Милютину)». Подпись: М. Непанов. Псевдоним раскрыт самим Салтыковым в его автобиографических записках (см. т. 18 наст. изд.).

Рукопись неизвестна. В настоящем издании воспроизводится по тексту «Отечественных записок».

Повестью «Противоречия» Салтыков сразу включился в обсуждение коренных проблем русской жизни и демократической идеологии второй половины сороковых годов. На первом плане стоял тогда вопрос об исторических судьбах России и способах радикального преобразования самодержавно-крепостнического строя. Необходимость общественного переворота Белинский и Герцен стремились вывести из внутренней противоречивости всего уклада русской жизни: «в самом зле найти и средства к выходу из него». «Изучение действительности» Белинский провозгласил лозунгом времени, направляя писателей «натуральной школы» на исследование причин социальных противоречий и «двойственности» русского национального характера [1]. «Всмотритесь в нравственный быт современного человека — вы будете поражены противоречиями, глубоко и до поры до времени мирно лежащими в основе всех его дел, мыслей, чувств»,— писал Герцен и призывал обнажить эти «утомительные, иронические, оскорбительные» противоречия [2].

Борьба нравственных, философских, социально-экономических противоречий, разъедающих сознание современного человека, и стала идейным стержнем повести Салтыкова, определив ее пафос, сюжет, жанровое своеобразие и название. Главный герой «Противоречий» Нагибин мучительно бьется над разгадкой «необъяснимого феникса» — русской самодержавно-крепостнической действительности, олицетворяя, по мысли Салтыкова, «разрозненную антиномию» между теорией и практикой, идеалом и жизнью, рассудком и чувством.

В судьбе мятущегося разночинца Нагибина Салтыков воплотил характерную для произведений «натуральной школы» трагедию бедного человека, гибнущего в тисках социальных противоречий жизни. Эта трагедия была поднята до теоретического осмысления ее причин и приобрела в повести Салтыкова свое особое философское и общественное звучание.

---

[1] «Взгляд на русскую литературу 1846 года».— «Современник», 1847, № 1, отд. III, стр. 12. Ср. В. Г. Белинский, т. X, стр. 17—18.

[2] «Новые вариации на старые темы».— «Современник», 1847, № 3, отд. II, стр. 22. Ср. А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. II, изд. АН СССР, М. 1954, стр. 86—87. В последующих отсылках к этому изданию указываются: *автор, том, страница.*

Нагибин был едва ли не первой попыткой образного воплощения типических черт сломленного николаевским режимом поколения. Это было поколение с тем «видовым, болезненным надломом», о котором писал Герцен, характеризуя в «Былом и думах» психологию петрашевцев: «Они все были заражены страстью самонаблюдения, самоисследования, самообвинения...»[1] В скорбных раздумьях Нагибина было много и от собственных сомнений и надежд Салтыкова, участника «пятниц» Петрашевского и деятельного члена кружка В. Н. Майкова и В. А. Милютина. Всех участников этого небольшого кружка объединяли «поиски действительных законов природы и общественной жизни», стремление проникнуть в существо безвыходных противоречий, «терзающих современное человечество»[2]. Автору «Противоречий» были особенно близки взгляды В. Милютина, который развернул в своих экономических работах анализ причин растущего обнищания трудящихся и в поисках действенной теории мечтал о превращении утопии в науку.

Интимный жанр писем и дневников позволил писателю непосредственно передать мысли и чувства своего героя. В призме его размышлений преломляются все волновавшие Салтыкова вопросы. Углубленный психологизм «Противоречий» был связан, вероятно, с исходным эстетическим принципом петрашевцев, выдвигавших в центр повествования «анализ внутреннего мира человека» как источник творческого вдохновения поэта[3]. Знамением времени В. Майков считал «поразительно глубокий психологический анализ» Достоевского, направленный на «исследование анатомии человеческой души»[4].

Не был чужд автору «Противоречий» и взгляд петрашевцев на беллетристику. В своем разграничении беллетристики и подлинного искусства В. Майков следовал за Белинским. Настаивая на расширении горизонтов литературы за счет науки, Майков, однако, слишком категорически противопоставлял беллетриста поэту как «талант по преимуществу дидактический» и рекомендовал ему «не подделываться под художественное творчество». В этом отношении В. Майков, перекликаясь с Петрашевским и его единомышленниками, нарушал диалектику формы и содержания, которую отстаивал Белинский и в пределах беллетристического жанра. Без «поэтической» переработки — предостерегал критик в обзорах русской литературы за 1846 и 1847 годы — «идеи и направления останутся общими местами». Цель беллетристики, подчеркивал Майков, указывая на прозу

---

[1] А. И. Герцен, т. X, стр. 344—345.

[2] «Современник», 1847, № 8, отд. II, стр. 133—134, 176. Ср. В. А. Милютин, Избранные произведения, Госполитиздат, М. 1946, стр. 43—44, 86.

[3] «Карманный словарь иностранных слов», 1846; см. в кн. «Философские и общественно-политические произведения петрашевцев», Госполитиздат, М. 1953, стр. 269—270. (В случаях частого обращения к одному и тому же изданию полные библиографические данные приводятся при первом упоминании.)

[4] «Нечто о русской литературе в 1846 году».— «Отечественные записки», 1847, № 1, отд. V, стр. 4—5. Ср. В. Н. Майков, Соч. в двух томах, т. I, Киев, 1901, стр. 207—209.

Герцена,— «в популяризировании идей, важных для общества», почерпнутых «прямо из современной науки». И Петрашевский и В. Майков рекомендовали беллетристам «заняться основательным изучением экономического мира», чтобы удержаться на уровне современной науки, принимающей «бедность как непреодолимое препятствие к *развитию* человека и общества» [1]. Именно в этом направлении развивалась и мысль молодого Салтыкова. Героя «Противоречий» неотступно преследует «социальный вопрос»: «Отчего бы это люди в каретах ездят, а мы с вами пешком по грязи ходим?» Всю напряженную умственную работу Нагибина Салтыков подчинил осмыслению «рокового противоречия» между богатыми возможностями человека и мизерным применением их из-за «недостатка средств к существованию».

Нравственные страдания своего героя Салтыков усилил, наделив его сознанием права каждого на счастье, любовь, свободный труд в соответствии с «мудрой разумностью» «истинных законов Природы». В отношении Нагибина к утопическому социализму было много общего с безграничным сочувствием Салтыкова гуманистическим основам учений Фурье и Сен-Симона. В свете социалистических чаяний о гармонической личности и возможной «гармонии стройного общественного целого» вынужденный аскетизм Нагибина выглядел преступлением против человека. Исповедь Нагибина, задушившего в себе все чувства и потребности, перерастала в обличение нравственно-бытовых и социальных основ русской жизни с позиции действительности, «непременно имеющей быть».

Однако Салтыков понимал и другое. В условиях николаевской России «идея гармонии» оказывалась непригодной даже в общей форме, обнажая при первом же столкновении с жизнью бесплодную созерцательность утопического социализма, «наивное желание» исправить действительность вопреки логике истории. Духовная и житейская драма Нагибина состояла в том, что весь склад окружающей его жизни приводил к мысли о «вечном антагонизме» между человеком и обществом, трудом и счастьем, к признанию «неотразимой силы» «царящего над всем сущим закона необходимости».

Вопрос о действительном соотношении свободы и необходимости — один из главных в повести. Стремясь подняться до исторической точки зрения, Салтыков направлял скептические раздумья Нагибина против субъективно произвольных, «мечтательных» построений утопистов. Суровая трезвость в оценке умозрительных сторон утопического социализма сближала автора «Противоречий» с Белинским, который обличал «абстрактно-логический», «романтический» характер утопий с позиций диалектического понимания истории (см. «Взгляд на русскую литературу 1846 года»).

Но отношение Салтыкова к проблеме необходимости радикально меня-

---

[1] «Петербургские вершины», описанные Я. Бутковым.— «Отечественные записки», 1846, № 7, отд. VI, стр. 2—7, 12—13. Ср. В. Н. Майков, Соч., т. I, стр. 177—183, 190—191.

лось, как только ее толкование приобретало оттенок фаталистического взгляда на общественное развитие. Всем смыслом повести, особенно историей любви Нагибина, писатель осуждал рабское «склонение головы» перед действительностью как «фактом глухим, не терпящим рассуждений».

Враждебное отношение Салтыкова к «безмолвному повиновению необходимости» напоминало позицию социалистов (например, Герцена), выступивших с критикой примирительных тенденций гегелевской философии на рубеже тридцатых — сороковых годов. Возобновление этой борьбы в 1847 году было связано с распространением буржуазных экономических учений, сторонники которых, по словам В. Милютина, «пришли к тому нелепому убеждению, что все действительное — прекрасно, что всякий факт служит выражением разума, что все существующее справедливо только потому, что оно существует»[1]. На позициях исторического фатализма стоял, например, Прудон, произведения которого оживленно обсуждались петрашевцами, в том числе и Салтыковым[2].

В книге «Система экономических противоречий, или Философия нищеты» (1846) Прудон, опираясь на Гегеля, возвел социально-экономические противоречия собственнического мира в ранг «неизменных законов», обрекающих человека на примирение с «фатумом» обстоятельств и приспособление к ним. С точки зрения Прудона, разъяснял Маркс в письме к П. В. Анненкову от 26 декабря 1846 года, «человек — только орудие, которым идея или вечный разум пользуются для своего развития»[3].

С решительной критикой фатализма буржуазных экономистов выступил В. Милютин. Он обличил их убогую «философию нищеты», предписывающую «воздержание» и «напряженный труд» как важнейшее средство спасения от бедности. Эти «антигуманные доктрины», отмечал Милютин, увековечивают противоречие между природой и обществом и осуждают бедняка на «постоянные страдания» и вечный разлад между разумом и инстинктом[4].

Воплощением такого «насильственного разлада» явился в повести Нагибин. С особой силой негодование Салтыкова против примиренческой философии застоя и бездействия прорвалось в сцене идейного столкновения Нагибина с московским приятелем Валинским. За характеристикой «оптимистских» представлений Валинского о «справедливости» и «разумности сущего» скрывалась ирония Салтыкова в адрес «упорного оптимизма» буржуазной науки с ее «недобросовестным отрицанием самых очевидных фак-

---

[1] «Опыт о народном богатстве...».— «Современник», 1847, № 11, отд. III, стр. 13—14. Ср. В. А. Милютин, Избранные произведения, стр. 316.

[2] См. С. Макашин, Салтыков-Щедрин. Биография, I, М. 1951, стр. 523—524.

[3] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 27, Госполитиздат, М 1962, стр. 404.

[4] «Мальтус и его противники».— «Современник», 1847, № 8, отд. II, стр. 175. Ср В. А. Милютин, Избранные произведения, стр. 85; см. также стр. 154—155.

тов и ...бесплодным стремлением... оправдывать все то, что представляло в себе самую вопиющую и возмутительную несправедливость» [1].

Валинский не сумел ответить ни на один тревожный вопрос Нагибина, предлагая ему «перестать жаловаться» и положиться на волю провидения. Эта позиция, равно оправдывающая и бедность и богатство, подчеркивал писатель, вступала в разительное противоречие с социалистической «идеей справедливости, врожденной человеку», которую разделял Нагибин, бившийся над объяснением причин социального неравенства

Вслед за Белинским и Герценом, Салтыков стремился обнажить, а не сгладить противоречия жизни, отыскать реальные пути к их разрешению, сообразуясь с объективным ходом «внешних обстоятельств». Писатель не хотел приносить в жертву «разумности сущего» человека с его частным индивидуальным бытием и видеть норму жизни в постоянном самоограничении. Потому он с такой настойчивостью возвращался в каждом «письме» к описанию страданий Нагибина, которому приходилось «ценою крови» оправдывать каждое свое желание, жертвуя «кумиру необходимости» и своим чувством и даже жизнью любимой им Тани Крошиной.

В образе Тани Салтыков олицетворил «действительную разумность природы», вложившую в человека «настоятельную потребность любви и счастья». В ней не было раздвоенности Нагибина, права жизни и страсти она ставила выше всех требований долга и социальных предрассудков, осуждая даже смертью своей «безжизненность» Нагибина и всю окружающую «неестественную, насильственную жизнь». Но Таня Крошина со своим жорж-сандовским порывом к поэтически свободным отношениям между людьми выражала лишь прекрасную «перспективу», о которой грезил Нагибин.

Описание встреч и споров Нагибина с Таней Салтыков подчинил развенчанию «призрачности» скептицизма Нагибина, отнимающего у человека «цель и смысл жизни». Вместе с тем обвинения Тани направлены против узкоэгоистической, бездушной морали, вытекающей из «мертвых теорий» Нагибина. Предусмотрительность и мелочная расчетливость,— говорила Таня Нагибину в своем последнем «письме», признаваясь, что идеал ее «оскорбительно уминьятюривается»,— «приведут к тому, что вы увидите утопающего человека и не спасете его при всей возможности спасти».

Социальная зоркость Салтыкова проявилась именно в этом сознании, что Нагибиных, если они не откажутся от всеоправдания и примиренчества, ждет один удел — молчалинская «умеренность и аккуратность». Иронизируя над «мизерностью» идеала смирившегося разночинца, Салтыков заключил повесть рассказом о тусклом существовании Нагибина и Валинского в доме мелкого сутяги Вертоградова. «Умерщвление плоти» или сомнительное удовольствие от близости Маши, делящей свои прелести с нахлебниками отца, жирные пироги, ром с кизляркой, поучительные притчи о кварталь-

---

[1] «Современник», 1847, № 11, отд. III, стр. 14. Ср. В. А. Милютин, Избранные произведения, стр. 316.

ных, душещипательные романсы и т. п.— все это нагнетало настроение безысходной тоски, вступая в резкий контраст с «лучезарной» идеей гармонии.

Итог мучительных раздумий Нагибина — признание «несовместимости» в настоящий момент двух действительностей: «неумытой», но «неотразимой» реальности и ослепительного, но «созерцательного» идеала. Сознавая, что «семена жизни» заключены и в той и в другой, Нагибин не солидаризируется с «нелепыми утопистами», но не соглашается и с консервативной философией Валинского, который принял жизнь «как она есть». Выводы Нагибина в широком философском смысле отражали этап в идейном развитии поколения Салтыкова, не разрешившего еще этого противоречия, но уже сознавшего, что единственным выходом из него, «посредствующим звеном» между теорией и действительностью, должна стать «практика», «деятельность», основанная на подлинном знании жизни — «без призраков».

В подзаголовке и предисловии к «Противоречиям» Салтыков высказывал свое сочувствие принципам гоголевского направления с его «преобладающим пафосом отрицания»: пренебрежение к занимательности «сюжетца», пристальное внимание к «людям, обходящимся без обеда», к «тесной сфере повседневных отношений» и др. Вслед за Белинским и Герценом, Салтыков высмеял «трескучие эффекты» романтической литературы, охарактеризовал в насмешливых тонах «мечтательный мир» корреспондента Нагибина — господина N.N. Писатель развенчал и помещичий «романтизм» Гурова, прикрывающего свою эгоистическую сухую натуру претенциозным байронизмом. Эту галерею романтиков, к которой отчасти принадлежал и Нагибин, Салтыков завершил фигурой «унылого» Граши Бедрягина — злой и умной пародией на романтический скептицизм и исключительность.

С произведениями «натуральной школы» «Противоречия» сближало и отношение к помещичье-крепостному быту и «благонамеренной» лицемерной морали. Портреты четы Крошиных удались Салтыкову больше всего. В изображении их жизни проявились особенно отчетливо антикрепостнические настроения писателя.

В художественном отношении повесть носила следы ученичества и подражания Гоголю, Достоевскому, Герцену, а также Жорж Санд.

В автобиографии 1878 года Салтыков, вспоминая о своих первых литературных опытах, упомянул также о влиянии на них повестей таких писателей «натуральной школы», как И. И. Панаев и П. Н. Кудрявцев.

Появление «Противоречий» в печати не было замечено критикой И лишь Белинский, резко оценивая в письме к Боткину от 4—8 ноября 1847 года всю беллетристику «Отечественных записок» за этот год, не сделал исключения и для первой повести Салтыкова [1].

Отзыв Белинского обусловлен был общей позицией критика, который порицал в 1847 году «неумеренное психологизирование» Достоевского, прямолинейную тенденциозность стихотворений Плещеева, «абстрактный

---

[1] В. Г. Белинский, т. XII, стр. 421.

способ суждения» В. Майкова о положительных идеалах и природе беллетристики. В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» Белинский решительно осудил механическое смешение науки и литературы, опасаясь сужения сферы общественного воздействия искусства. По этим же причинам Белинский сурово отозвался и о «Противоречиях», где принципы художественного изображения жизни нередко уступали место системе логических доказательств, развернутых в образ или описание. Помимо этого, критика мог оттолкнуть и жанр повести в письмах. Манера знакомить читателя с героями романов через их записки,— отмечал Белинский в той же статье,— «манера старая, избитая и фальшивая» [1].

Впоследствии Салтыков-Щедрин никогда не перепечатывал «Противоречий». По свидетельству Н. А. Белоголового, сатирик не раз подшучивал над своей первой повестью: «до того она была дика, восторженна и написана под очевидным впечатлением фурьеристских тенденций» [2]. В автобиографическом письме к С. А. Венгерову от 28 апреля 1887 года Салтыков-Щедрин именовал свой дебют «недоразумением», прибавив, что «Белинский назвал его бредом младенческой души». Но эти ретроспективно-иронические оценки не отражают, разумеется, отношения Салтыкова к своей первой повести в пору работы над нею.

В творческом развитии Салтыкова «Противоречия» занимают значительное место как первый набросок в разработке одной из главнейших тем всего творчества писателя — темы социальных контрастов русской действительности. В повести наметились и некоторые сквозные мотивы и типы позднейших произведений Салтыкова-Щедрина. В характеристике помещичьего быта Крошиных угадываются, например, очертания будущих сатирических картин «пошехонского раздолья». Всепоглощающая «страсть к деньгам», мелочное утомительное стяжательство «женщины-кулака» Марьи Ивановны Крошиной предсказывают целую галерею щедринских типов, действующих «в сфере благоприобретения» на страницах «Благонамеренных речей», «Господ Головлевых», «Пошехонской старины». От Нагибина протягиваются нити к «горестным» сомнениям Веригина («Тихое пристанище»), страданиям Бобырева («Тени»), исканиям Крамольникова («Приключение с Крамольниковым»), размышлениям Имярека («Мелочи жизни»).

Вместе с «Запутанным делом» повесть «Противоречия» привлекла к себе внимание политической полиции Николая I и послужила одной из причин ареста и ссылки Салтыкова.

Стр. 71. *(В. А. Милютину).*— В. А. Милютин — выдающийся экономист и социолог, с которым Салтыков был связан не только кружковыми, но и дружескими отношениями (см. С. Макашин, Салтыков-Щедрин,

[1] В. Г. Белинский, т. X, стр. 322.

[2] «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников». Предисловие, подготовка текста и комментарии С. А. Макашина, Гослитиздат, М., 1957, стр. 611.

стр. 224—234). Посвящение «Противоречий» Милютину отражало глубокую общность идейных интересов. Содержание повести перекликалось во многом с проблематикой статей Милютина «Опыт о народном богатстве или началах политической экономии» и «Мальтус и его противники», опубликованных почти одновременно с «Противоречиями» в «Современнике» (1847, № 8—12). См. об этом выше, стр. 402—404.

Стр. 71. *Надо пользоваться и руководствоваться законами Природы: ее созерцает и с нею советуется разум... Сенека. О счастливой жизни, гл. 8.*— Изречением из трактата Луция Аннея Сенеки «Ad Gallionem de vita beata» Салтыков указывал на основную мысль повести о «разумности природы», которую он противопоставлял дисгармонии и неестественности общественных отношений. Высказывание древнеримского философа-стоика Салтыков переосмысливал в соответствии с просветительской идеологией сороковых годов. «Одно из самых твердых и общих убеждений нашей эпохи,— указывал В. А. Милютин,— есть убеждение в непреложной разумности природы... в подчинении всего сущего общим и единым законам, водворяющим гармонию и порядок во всех явлениях мира физического и нравственного» («Мальтус и его противники».— «Современник», 1847, № 8, отд. II, стр. 169. Ср. В. А. Милютин, Избранные произведения, стр. 79).

...видя литературу наводненною отовсюду повестями с так называемыми занимательными сюжетцами...— Салтыков имеет в виду поток развлекательной беллетристики, особенно на страницах журнала «Библиотека для чтения», где тянулись из номера в номер «Приключения, почерпнутые из моря житейского» А. Вельтмана, «Два Ивана, два Степаныча, два Костылькова» Н. Кукольника и т. п., которые Белинский обличал в 1846—1847 годах за «невероятные романтические натяжки», «неестественность» и «презапутанность» действия («Современник», 1847, № 1, отд. III, стр. 39; № 3, отд. III, стр. 71. Ср. В. Г. Белинский, т. X, стр. 45, 131).

...публика чувствует потребность отдохнуть от этого шума ...опомниться от неистовых воплей и кровавых зрелищ...— Салтыков намекает на поражение романтического направления, перекликаясь с Белинским, который констатировал в «Мыслях и заметках о русской литературе» («Петербургский сборник», 1846), что «романтические драмы, кровавые, страшные, эффектные» пишутся «все реже и реже... скоро они и совсем прекратятся. И хорошо! Лучше вовсе ничего, нежели много великолепного или какого бы то ни было вздору!» (В. Г. Белинский, т. IX, стр. 451).

Стр. 72. *И дерзко бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью...*— Заключительные строки стихотворения Лермонтова «1-е января» (1840). Протестующе-обличительный пафос этого стихотворения был особенно созвучен настроениям автора «Противоречий», как и вся лирика Лермонтова, оказавшая глубокое воздействие на писательское самоопределение Салтыкова (см. об этом наст. том, примеч. к стихотворениям).

Стр. 74. *...пора объяснить себе эту стоглавую гидру, которая зовется действительностью, посмотреть, точно ли так гнусна и неумыта она, как описывали нам ее учители наши...*— Под «учителями нашими» Салтыков подразумевает социалистов-утопистов, имея в виду прежде всего Фурье, который неоднократно сравнивал возрождающиеся войны, кризисы, преступления «строя цивилизации» с «головами гидры, множившимися под ударами Геркулеса». «Земля...— писал Фурье в «Теории четырех движений»,— взывает к руке второго Геркулеса, чтобы очистить ее от чудовищных социальных явлений» (Шарль Фурье, Избранные сочинения, т. II, изд. АН СССР, М.— Л. 1951, стр. 138—139). Сопоставление цивилизации с «гидрой, изрыгающей реки яда на все человеческие пути», встречается в романе Ж. Санд «Лелия» (см. Ж. Санд, Избранные сочинения, т. I, Гослитиздат, М. 1950, стр. 9), а также в статье Герцена «Новые вариации на старые темы» («Современник», 1847, № 3. Ср. А. И. Герцен, т. II, стр. 101).

...нет ли в самой этой борьбе, в самой этой разрывчатости смысла глубокого и зачатка будущего...— «Развал» настоящего с его «раздробленностью» общественных интересов, подчеркивал Фурье, «чреват будущим, и чрезмерность страданий должна привести к спасительному кризису» (Шарль Фурье, Избранные сочинения, т. II, стр. 138; т. IV, стр. 131). Белинский и другие русские передовые мыслители, с которыми солидаризируется Салтыков, стремились наполнить этот тезис конкретно-историческим содержанием, предлагая искать «зародыши, зачатки» будущих социальных перемен в самой русской действительности («Взгляд на русскую литературу 1846 года».— «Современник», 1847, № 1, отд. III, стр. 15, 27—28. Ср. В. Г. Белинский, т. X, стр. 20, 32).

...эгоизм, наконец, есть определение человека, сущность его...— В понимании эгоизма Салтыков исходил из так называемой теории «разумного эгоизма» французских просветителей XVII—XVIII веков и Л. Фейербаха. Эта теория была горячо поддержана Белинским, петрашевцами и Герценом, предлагавшим «именно на эгоизме, на этом в глаза бросающемся грунте всего человеческого, создать житейскую мудрость и разумные отношения людей» («Новые вариации на старые темы».— «Современник», 1847, № 3, отд. II, стр. 29 Ср. А. И Герцен, т. II, стр. 96)

Стр 75. *Отвечаю: тогда прекращается прогресс человека... ибо, во всяком случае, результатом всех этих систем лежит одна и та же венчающая их идея счастия, равносильная смерти.*— Скептические раздумья Нагибина восходили, по-видимому, к буржуазным социологическим «гипотезам» относительности «счастья и блаженства на земле», обсуждавшимся в статьях В. А. Милютина «Мальтус и его противники». В свете таких «ложных» теорий, подчеркивал В. А. Милютин, связывая их с мальтузианским учением,— «человеку суждено рано или поздно достигнуть того идеального состояния», за которым уже не остается «никакой дальнейшей цели стремлений», кроме «постепенного и постоянного падения». Социалистическая «идея счастья» превращается в свою противополож-

ность, и смерть становится «последним словом науки, самым существенным законом природы», так как «если человечеству суждено всегда развиваться в промышленности, в науке и в искусстве, то человеку суждено также запечатлевать своей кровью каждый из шагов своих на этом поприще; необходимость требует, чтобы над ним тяготела беспрестанно смерть» («Современник», 1847, № 8, отд. III, стр. 162, 172. Ср. В. А. Милютин, Избранные произведения, стр. 72, 82).

Стр. 79. *...что читал Эккартсгаузена и уж знает, как создан мир...*— Иронической характеристикой силлогизмов Крошина Салтыков, очевидно, стремился прояснить свое отрицательное отношение к скептическим теориям. *Карл Эккартсгаузен* — немецкий писатель-мистик, сочинения которого «Ключ к таинствам натуры», «Религия, рассматриваемая как основание всякой истины и премудрости» и т. п. пользовались популярностью в масонских кругах русского общества конца XVIII — начала XIX века.

Что касается до Марьи Ивановны...— В образах помещицы Крошиной и ее мужа Игнатия Кузьмича отчетливо проступают портретные черты родителей Салтыкова — Ольги Михайловны и Евграфа Васильевича — и угадываются некоторые факты и эпизоды из их жизни.

Стр. 84. *...неужели вы не видите и другой стороны благотворительности? ...она приучает жить на чужой счет того, на кого обращена, заглушает в нем гордость, энергию, все, что делает человка человеком?* — Ироническое отношение Нагибина к филантропии во многом совпадает с позицией «Современника» в его полемике с «Московскими ведомостями» по поводу частной благотворительности. Демократический журнал выступал против филантропии, обличая ее «случайный характер» и видя в этой временной форме помощи лишь унижение чувства человеческого достоинства «огромного большинства нуждающихся» (Н. А. Мельгунов, Спор о благотворительности.— «Современник», 1847, № 5, отд. IV, стр. 141).

Стр. 89. *...все яркое... исчезает в какой-то страшной пустоте, которую он называет... «гармоническим равновесием».*— Понятие «гармоническое равновесие страстей» — одно из опорных в системе фурьеристских представлений о человеческой природе, которая требует свободного сочетания и удовлетворения «всех двенадцати страстей». «Если из них хоть одной чинятся препятствия, тело или душа в страдании»,— указывал Фурье и добавлял сразу же, что в собственническом обществе человек далек от «естественного равновесия», испытывая скорее «двенадцать невзгод» (Шарль Фурье, Новый хозяйственный и социетарный мир. Избранные сочинения, т. IV, стр. 99).

Стр. 90. *...сам создает себе призраки...*— Понятие «призраков» (социальных и нравственных предрассудков), парализующих человеческую деятельность, прочно утвердилось в русской демократической публицистике сороковых годов. Герцен, Белинский, петрашевцы объявили борьбу «безобразным призракам» во всех сферах идеологии и жизни, углубляя и революционизируя в этом отношении традиции Бэкона, Консидерана, Пру-

доиэ и др. (См., например, А. И. Герцен, Новые вариации на старые темы.— «Современник», 1847, № 3, отд. II, стр. 24—29. Ср. Собрание сочинений, т. II, стр. 90—95; В. А. Милютин, Мальтус и его противники.— «Современник», 1847, № 8, отд. II, стр. 130, 177. Ср. Избранные произведения, стр. 40, 87.) Проблема «призраков» заняла в дальнейшем серьезное место в социально-философской концепции сатирика. См. статью «Современные призраки» и примеч. к ней в т. 6 наст. изд.

Стр. 92—93. *Кто виноват? ...Со временем это откроется и виноватый отыщется, а теперь... и черное право, и белое право...*— Салтыков присоединяется к заключениям Герцена, выраженным в заглавии и эпиграфе романа «Кто виноват?» (1847). О невозможности «отыскать виновных» («во-первых, все они правы, а во-вторых, все они виноваты») говорится также в статье «По поводу одной драмы», напечатанной в «Отечественных записках», 1843, № 8. Ср. А. И. Герцен, т. II, стр. 56.

Стр. 93. *Разбирая природу свою и восходя от себя к типу человека, я находил, что, кроме любви, в нем есть другие определения...*— Мысль о разнообразии человеческих «определений» восходит к социалистическим представлениям о «гармонической личности» (см. примеч. к стр. 89). Эти представления были очень близки и Герцену в его борьбе против «монополии любви» за развитие человека «в мир всеобщего» («По поводу одной драмы».— «Отечественные записки», 1843, № 8. Ср. А. И. Герцен, т. II, стр. 67—68).

И человек казался мне именно тем гармоническим целым... Но я забывал, что человек сам по себе ничто, покуда личность его не выразится в известной средине...— Салтыков намекает на отвлеченность утопических представлений об «общем всем людям идеале человека» как воплощении «гармонического развития всех человеческих потребностей» (В. Н. Майков, Стихотворения Кольцова.— «Отечественные записки», 1846, № 12, отд. V, стр. 41. Ср. Сочинения, т. 1, стр. 56). Антиисторизм майковской точки зрения решительно осудил в 1847 году Белинский (см. «Взгляд на русскую литературу 1846 года»), сторону которого принял в данном случае автор «Противоречий».

Стр. 98. *Такое раздвоение теории и практики, идеала и жизни наиболее является необходимым в эпохи переходные... в ненормальной средине нельзя и требовать цельного, гармонического проявления деятельности человека.*— Мысль Салтыкова о преходящем характере противоречий перекликается с социалистическими чаяниями петрашевцев: «раздвоение и борьба,— подчеркивал В. Милютин,— есть не более как один из моментов исторического развития» («Мальтус и его противники».— «Современник», 1847, № 8, отд. II, стр. 176. Ср. В. А. Милютин, Избранные произведения, стр. 86). «Нормальное состояние человека,— говорилось в «Карманном словаре иностранных слов» (1846),— находится не только в связи, но и в полной зависимости от нормальности развития самого общества» («Философские и общественно-политические произведения петрашевцев», стр. 239).

Стр. 99. *...скажите мне: «бедность»,— я невольно уж слышу за этим словом неизбежный его синоним — «смерть». С тех пор, как человек отделил для себя угол и сказал: «Это мое»,— он один уже пользуется своею собственностью...* — Салтыков перефразирует знаменитый афоризм Руссо из трактата «Рассуждение о происхождении и основах неравенства между людьми» (1754). Первый, кто, огородив участок земли, сказал: «это мое, и нашел людей достаточно простодушных, чтобы этому поверить, был истинным основателем гражданского общества» (Жан-Жак Руссо, О причинах неравенства между людьми, СПб. 1907, стр. 68). Руссоистская критика собственности приобрела в трактовке Салтыкова особую остроту, характерную для эпохи сороковых годов, когда В. А. Милютин, цитируя Прудона, например, указывал, что «смерть» становится для бедноты «единственным исполнителем законов политической экономии» («Мальтус и его противники».— «Современник», 1847, № 8, отд. II, стр. 171—172).

Стр. 100. *«Лисица и виноград»* — басня Крылова.

Стр. 101. *Я, как Спинозино божество, которое ничего не любит, не ненавидит, а только все себе объясняет...* — Нравственную свободу человека Спиноза, знаменитый голландский философ-материалист XVII века, связывал с преодолением «естественных аффектов». Он утверждал, что бог «никого ни любит, ни ненавидит»; а мудрый «едва ли подвергается какому-либо душевному волнению; познавая с некоторой вечной необходимостью себя самого, бога и вещи ...обладает истинным душевным удовлетворением» (Б. Спиноза, Этика, доказанная в геометрическом порядке...— В книге: «Избранные произведения», т. I, Госполитиздат, М. 1957, стр. 601, 618).

Стр. 102. *...читали зандовского «Компаньйона». Помните ли вы там сцену признания в любви Маркизы и Амори?* — Речь идет о романе Жорж Санд «Le Compagnon de Tour de France» (1840, в русском переводе «Странствующий подмастерье»), повествующем о росте освободительных настроений среди французских ремесленников. Белинский назвал роман «божественным произведением» (В. Г. Белинский, т. XII, стр. 171), а «Отечественные записки» — «*львом* между новейшими романами», бросившим «вызов современному обществу» («Отечественные записки», 1841, № 9, отд. VI, стр. 25—27). Перевод романа был сразу запрещен цензурой. В поясняемом тексте Салтыков имеет в виду XXVI главу, где рассказывается о неожиданном объяснении между ремесленником Амори и маркизой Жозефиной: «есть юность, красота... желание, которое уравнивает всех и смеется над предрассудками,— восклицала Ж. Санд,— и есть еще случайность, которая придает смелости, и ночь, которая покровительствует влюбленным» (Ж. Санд, Избранные сочинения, т. I, Гослитиздат, М. 1950, стр. 719).

Стр. 105—106. *...при одном слове любви в уме моем уже восстают тысячи препятствий... или люби, да и умирай же с голоду; или ешь черствый кусок хлеба, да уж и не моги помыслить о чем-нибудь другом!* — Нагибинские рассуждения перекликаются с той критикой «теории нравствен-

ного принуждения» (воздержание от любви и брака) Мальтуса и его последователей, с которой выступил в 1847 году В. Милютин. Эта теория, указывал В. Милютин, обрекает бедного человека на «вечные лишения»: «если он решится предаться влечению любви, то его ожидают неминуемо нищета и страдания; если же он согласится подчинить свою деятельность советам холодного рассудка и благоразумия, то он обрекает себя тем самым на тягостное лишение» («Мальтус и его противники».— «Современник», 1847, № 8, отд. II, стр. 175. Ср. В. А. Милютин, Избранные произведения, стр. 85). В 1868 году Салтыков прямо указал на общность буржуазной практической морали с «нравственным принуждением Мальтуса» в рецензии на книгу Жюля Муро «Задельная плата и кооперативные ассоциации» (см. т. 9 наст. изд.).

Стр. 117. *...«словечка в простоте не скажут, все с ужимкой»* — слова Фамусова из комедии Грибоедова «Горе от ума», д. 2, явл. 5.

Стр 118. *...от этих людей-крокодилов, как сказал великий британец...*— Высмеивая поверхностную образованность Гурова, Салтыков-Щедрин иронически приписывает «великому британцу», то есть Шекспиру, слова из знаменитого монолога Карла Моора в драме Шиллера «Разбойники» (акт I, сцена 2): «О люди,— порожденье крокодилов...»

...надо мною, вечно зеленея, темный дуб склоняется и шумит.— Измененные заключительные строки стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» (1841).

Умереть... умереть — уснуть, как говорит божественный Гамлет...— слова Гамлета из одноименной трагедии Шекспира, акт III, сцена I, монолог: «Быть или не быть...».

Что имя? Звук пустой! — Из стихотворения Лермонтова «Ребенку» (1840).

Стр. 132. *...Вечный жид...*— Агасфер, герой средневековых сказаний, еврей-скиталец, осужденный богом на вечное существование за то, что не дал Христу, изнемогавшему под тяжестью креста, отдохнуть на пути к месту распятия.

Стр. 133 *...присмотритесь ближе... и вы убедитесь... что тот, кому природа, казалось бы, дала все, чтоб быть великим мыслителем ... тачает весьма дурные сапоги...*— В этом рассуждении, восходящем к фурьеристским представлениям об общественном назначении человека в соответствии с его природными данными, Салтыков сближается с Петрашевским. Последний утверждал, что в России смещены все понятия о человеческом достоинстве и чуть ли не к «любому министру» и «государственному лицу» применим известный стих Крылова: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник» («Философские и общественно-политические произведения петрашевцев», стр. 118—119; см. также стр. 616—617).

Стр. 134. *...жил на свете человек, который умер от одного того, что потерял свою тень...*— Имеется в виду, вероятно, романтическая повесть-сказка Адельберта Шамиссо «Необычайные приключения Петера Шлемиля» (1813). У Шамиссо герой сказки Петер, который за богатство продал свою

тень, не умирает, а ищет ее по всему свету, находя нравственное успокоение только в изучении природы.

Стр. 134. *...умеренность и аккуратность...*— слова Молчалина из комедии Грибоедова «Горе от ума», д. III, явл. 3. Тема обличения молчалинских «добродетелей», наметившаяся в «Противоречиях» (см. выше, стр. 405), проходит через все творчество Салтыкова. Наиболее полно она разработана в цикле очерков «В среде умеренности и аккуратности» (1874—1880).

Стр. 136. *Потребности... даны нам вместе с организмом нашим и вызываются внешним миром...*— О материалистической природе потребностей, порожденных «причинами физическими и физиологическими», Салтыков писал, конспектируя книгу французского философа XVIII века Кабаниса «Соотношение физического и морального в человеке» (см. «Записи чтения М. Е. Салтыкова в 40-х годах». Публикация Н. В. Яковлева.— «Известия АН СССР», отд. общ. наук, 1937, № 4, стр. 865—869).

Стр. 137. *...или нелепым утопистом, вроде новейших социалистов, или прижимистым консерватором...*— Под новейшими социалистами Салтыков разумел, по-видимому, Консидерана, Пьера Леру, Видаля, Кабе и др., чьи произведения были в России сороковых годов, особенно среди петрашевцев, «предметом изучения, горячих толков, вопросов и чаяний всякого рода» (П. В. Анненков, Литературные воспоминания, Гослитиздат, М. 1960, стр. 209). Прижимистыми консерваторами Салтыков именовал, вероятно, буржуазных экономистов типа Ж.-Б. Сэя с их «любимой идеей» «абсолютного невмешательства и невозмутимого квиетизма» («Современник», 1847, № 8, отд. II, стр. 185. Ср. В. А. Милютин, Избранные произведения, стр. 96). О пристальном внимании Салтыкова к французскому социализму и политической экономии см. С. Макашин, Салтыков-Щедрин, стр. 239—251, 520—528.

Стр. 137—138. *...я и не утопист, потому что утопию свою вывожу из исторического развития действительности...*— Историзм мышления Салтыкова был подготовлен в известной мере учением Сен-Симона, стремившегося обосновать свою систему всем предшествующим историческим развитием (см. С. Макашин, Салтыков-Щедрин, стр. 243). С требованием «освободить утопию от ее мистического мечтательного характера» выступал и Милютин, призывая, вслед за Белинским и Герценом, «изучить и понять действительность, раскрыть ее стремления и силы и сообразно с этим видоизменить самую мечту, сблизив ее с жизнию» («Современник», 1847, № 12. Ср. В. А. Милютин, Избранные произведения, стр. 349).

Стр. 138. *...ужели иерархия организмов есть иерархия несчастия? ...Чем выше взбираетесь вы по этой бесконечной лестнице, тем более поражает вас борьба жизни с действительностью... жалоба на недосягаемость возможного счастия...*— «Иерархия организмов» по степени «совершенства» живого существа и «сложности его потребностей» намечена в книге Кабаниса «Соотношение физического и морального в человеке», которую кон-

спектировал в сороковых годах Салтыков, подчеркивая, что для развитой личности «в цивилизации не может быть полного счастия» («Известия АН СССР», отд. общ. наук, 1937, № 4, стр. 869—871). Вслед за Кабанисом, о «лестнице организмов» писал Сен-Симон («Избранные сочинения», т I, изд. АН СССР, М.—Л. 1948, стр. 242, 272). Фурье также предлагал перенести в политику «иерархию организмов», выработанную естествоиспытателями (Шарль Фурье, Избранные сочинения, т. IV, стр. 127).

Стр. 149. *Это уж, видно, век такой, что... действуют в трагедии не Ахиллы и не Несторы, а какие-нибудь Акакии Акакиевичи и Макары Алексеевичи...*— Называя имена героев повести Гоголя «Шинель» (1842) и Достоевского «Бедные люди» (1846), Салтыков указывал на демократическую направленность «натуральной школы», по сравнению с аристократической классицистской традицией XVIII века, когда боги, герои, цари и т. п. были главным предметом художественного изображения. Эту особенность «натуральной школы» Белинский считал «главной ее заслугой», подчеркивая в «Современных заметках», что передовые писатели «оставили в покое Неронов, Калигул и Титанов, предпочтя им Кузьму да Прохора» («Современник», 1847, № 2, отд. IV, стр. 187. Ср. В. Г. Белинский, т. X, стр. 96).

Стр. 150. *...с знаменитою сценою... при распечатывании письма Хлестакова...*— Речь идет о комедии Гоголя «Ревизор», д. 5, явл. VIII.

Стр. 155. *...хоть золотой век и впереди нас, как говорит один из любимейших писателей ваших...*— Имеется в виду изречение Сен-Симона, послужившее эпиграфом к «Рассуждениям литературным, философским и промышленным»: «Золотой век, который слепое предание относило до сих пор к прошлому, находится впереди нас» (Сен-Симон, Избранные сочинения, т. II, изд. АН СССР, М.— Л. 1948, стр. 273).

Стр. 166. *Скучно, брат, на этом свете жить...*— Перифраза заключительной строки «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1834). У Гоголя: «Скучно на этом свете, господа!»

Стр. 173. *«Кто мог любить так страстно».*— Имеется в виду романс на слова стихотворения Н. М. Карамзина «Прости» (1792).

Стр. 183. *...слова, слова, слова...*— На вопрос Полония: «Что вы читаете, принц?» — Гамлет отвечает: «Слова, слова, слова» (Шекспир, Гамлет, акт III, сцена 2).

ГЛАВА

При жизни Салтыкова не публиковалось. Черновой автограф «Главы» хранится в Пушкинском доме. Рукопись не датирована. Первое упоминание в печати об этюде «Глава» с кратким изложением содержания и отдельными извлечениями из него дано в статье В. Кранихфельда «Рассуждающая любовь. Глава из ненаписанного романа Щедрина», напеча-

танной в газете «Утро юга», 1914, № 64, стр. 4. Полностью впервые опубликовано Н. В. Яковлевым в сб. «Звенья», кн. I, «Academia», М.—Л. 1932, стр. 167—184

В настоящем издании воспроизводится по тексту рукописи.

Идейно-тематическая и стилевая близость «Главы» и повести «Противоречия» (характерна описка Салтыкова, назвавшего главного героя «Главы» не Нажимовым, а Нагибиным) позволяют отнести работу над произведением ко второй половине 1847 года, после завершения «Противоречий» или одновременно с ними. Вопрос о том, была ли «Глава» частью какого-то произведения или самостоятельным этюдом, остается неясным.

Как и в первой повести, Салтыков размышляет в «Главе» о природе и назначении человека, о праве его на «свободную любовь», о «случайности» и «законе необходимости», о «ненормальности действительности», жертвой которой представлены все герои «Главы».

Социально-философская проблематика «Главы» была, по-видимому, навеяна чтением романа Гете «Die Wahlverwandtschaften» («Избирательное сродство»), который был напечатан в переводе А. Кронеберга в июльской и августовской книжках «Современника» за 1847 год под названием «Оттилия». Защищая роман от упреков в «мрачной предопределенности», Салтыков переадресовал их жизни, где «светлая» страсть «при самом рождении своем вызывает уже тысячи препятствий». Это противоречие Салтыков обнажал и на примере разрушенного чувства Нажимова к Вере Александровне, и в изображении участи Немирова, вся жизнь которого «превратилась в осуществление какой-то идеи долга и обязанности».

Критика нравственно-бытовых и семейных принципов перекликалась в «Главе» с обличением «тупого исполнения долга и обязанности» в герценовских статьях «Капризы и раздумье» (1843—1847).

Стр. 184. *...из первого Парголова в Заманиловку.*— Названия дачных мест в окрестностях Петербурга.

Стр. 185. *...любовь и высшая натура — понятия друг друга исключающие ...любовь — страсть вовсе не унизительная.*— Мысли Нажимова близки к рассуждениям Прудона, который проповедовал в «Системе экономических противоречий» (1846), что любовь никогда не бывает уделом «энергических деятелей, глубоких мыслителей и великих работников человечества». Прудоновский «антагонизм между трудом и любовью» осуждал В. Милютин, подчеркивая, что «вечный разлад между различными элементами и силами, входящими в состав человеческого организма, не может быть постоянным уделом человека и нормальным его состоянием» («Мальтус и его противники».— «Современник», 1847, № 8, 9. Ср. В. А. Милютин, Избранные произведения, стр. 154—155, 86).

Стр. 189. *Смерть над всем торжествует...*— См. примеч. к стр. 75.

Впервые напечатано в журнале «Отечественные записки», 1848, № 3, отд. I, стр. 50—120 (ценз. разр.— 29 февраля). Подзаголовок: «Случай». Подпись: «М. С.». Рукопись неизвестна. В настоящем томе повесть воспроизводится по тексту «Отечественных записок» с устранением опечаток и некоторых явных недосмотров.

Отсутствие рукописи и авторской датировки не позволяют точно определить время работы Салтыкова над «Запутанным делом». Упоминающиеся в повести газетно-журнальная полемика «об эмансипации животных», слухи об эпидемии холеры и недовольстве петербургских извозчиков относятся к сентябрю 1847 — январю 1848 года, когда «Запутанное дело» и было, очевидно, написано. В начале 1848 года Салтыков прочел только что законченную повесть В. Е. Канкрину, который «был в восторге от нее». Воспользовавшись дружескими связями с И. И. Панаевым, Канкрин передал рукопись в «Современник». Панаев, познакомившись с нею, отклонил повесть Салтыкова, мотивируя отказ цензурными затруднениями[1]. «Запутанное дело» было принято редакцией «Отечественных записок».

В 1863 году Салтыков-Щедрин включил «Запутанное дело» в сборник «Невинные рассказы», значительно сократив текст повести и стилистически выправив его (см. т. 3 наст. изд.). Учитывая, что в 1848 году повести ставились в вину «полутаинственные намеки», сатирик счел их небезопасными и в обстановке цензурных гонений 1863 года. Писатель устранил в большинстве случаев раскатистое «р-р-р» Беобахтера — своеобразный сатирический намек на «революционаризм» этого персонажа (стр. 213, строки 19—20, стр. 214, строки 1—2); снял многократные описания угрожающе-энергического жеста пассажира «с надвинутыми бровями» (стр. 233, строки 31—34, стр. 235, строки 1—3); сократил рассуждение о «резиньясьйон» французской нации (стр. 237, строки 22—25); убрал рассказ «сына природы», потерпевшего за свою откровенность (стр. 256, строки 17—22); намек Пережиги на случай с заживо зарытым исправником (стр. 273, строки 24—30 и др.).

Однако большинство купюр — изъятие повторений, длиннот, натуралистических деталей — следует отнести за счет возросшего мастерства. В тексте 1863 года отсутствуют: предупреждение Самойлы Петровича об «актерках» и авторский комментарий к нему (стр. 201—202, строки 20—28; 1—8); сцена ежедневного осмотра Пережигой дохлой кошки (стр. 209, строки 34—40); рассказ «венгерки» о наследственной склонности к потению (стр. 234, строки 13—27) и др.

Несмотря на большую правку, «Запутанное дело» и в редакции 1863 года осталось во многом типичной повестью сороковых годов, сохра-

---

[1] А. Я. Панаева, Воспоминания, Гослитиздат, М. 1956, стр. 360—361.

нив характерные особенности мировоззрения молодого Салтыкова. Подготавливая к печати второе и третье издания «Невинных рассказов» (1881, 1885) и первое собрание сочинений (1889), Салтыков-Щедрин продолжал работать над «Запутанным делом», совершенствуя его в стилистическом отношении. Но значительных сокращений и изменений, по сравнению с правкой 1863 года, сделано не было.

В настоящем томе, где собраны произведения молодого Салтыкова, повесть воспроизводится в редакции 1848 года, отразившей в полной мере творческий опыт и социально-философские искания писателя в первый период его деятельности, завершившейся арестом и ссылкой.

Весь комплекс общественно-психологических проблем «Запутанного дела» неразрывно связан с напряженной обстановкой второй половины сороковых годов, когда вопрос «о судьбе низших классов» стал одним из «самых важных вопросов современности»[1].

В атмосфере оживленных толков об отмене крепостного права и ожидания революционных событий во Франции Белинский требовал от писателей «натуральной школы» «возбуждения гуманности и сочувствия» к угнетенной части общества, особо выделяя произведения Достоевского, Некрасова, Буткова и др., чья «муза... любит людей на чердаках и в подвалах»[2].

Против унижения человеческой личности была направлена беллетристика и публицистика Герцена. Его внимание занимало «положение людей, проливавших кровь и пот, страдавших и измученных»[3].

В октябре 1847 года на страницах «Современника» печатаются самые острые антикрепостнические рассказы Тургенева «Бурмистр» и «Контора», спустя месяц появляется повесть Григоровича «Антон-Горемыка», страстный протест против бесправия и нищеты народа. В этом же направлении развивалась мысль петрашевцев. «Что видим мы в России? — спрашивал Н. А. Момбелли.— Десятки миллионов страдают, тяготятся жизнию, лишены прав человеческих... зато в то же время небольшая каста привилегированных счастливцев, нахально смеясь над бедствиями ближних, истощается в изобретении роскошных проявлений мелочного тщеславия и низкого разврата...»[4]

Основным мотивом творчества Салтыкова также становится противопоставление изнемогающего от нужды бедняка богатым бездельникам, «жадным волкам», завладевшим жизнью. Как и в первой повести, Салтыков стремился обнажить трагическую сторону бедности, которая была для героя «Противоречий» «неизбежным синонимом смерти». В «Запутанном

---

[1] «Современник», 1847, № 12, отд. III, стр. 141.

[2] «Петербургский сборник».— «Отечественные записки», 1846, № 3, отд. V, стр. 9. Ср. В. Г. Белинский, т. IX, стр. 554.

[3] «Письма из Avenue Marigny».— «Современник», 1847, № 11, отд. I, стр. 128. Ср. А. И. Герцен, т. V, стр. 236.

[4] «Дело петрашевцев», т. I, изд. АН СССР, М.—Л. 1937, стр. 290—291.

деле» эта мысль стала идейным и художественным центром повествования о гибели «будто лишнего на свете» Ивана Самойлыча Мичулина.

В истолковании житейской философии «бедного человека» Салтыков вновь перекликался с Милютиным, который анализировал не только экономическую, но и нравственную природу «пауперизма», чтобы «дать истинное понятие о действительной глубине этой общественной раны». «Если бедный,— подчеркивал Милютин,— повсюду видит вокруг себя достаток, изобилие и даже роскошь, то сравнение своей судьбы с судьбою других людей должно естественно еще более усиливать его мучения и к страданиям физическим прибавлять страдания нравственные»[1].

Именно эти трагические контрасты — источник горестных раздумий Мичулина, воплощенных и в его аллегорических снах. Сила обличения социального неравенства возрастает с каждым новым видением Мичулина.

Первый сон Мичулина о неожиданном превращении в «баловня фортуны», несмотря на печальную развязку, выдержан в гоголевских, сочувственно-насмешливых тонах. Второй сон по существу был развернутой иллюстрацией к скорбным раздумьям Нагибина относительно участи бедняка, решившегося иметь семью. Переосмыслив сюжет некрасовского стихотворения «Еду ли ночью по улице темной»[2], Салтыков нарисовал картину, «полную жгучего, непереносимого отчаяния», усилив обличение и протест введением аллегорического мотива «жадных волков», которых «надо убить», «всех до одного».

Эти мрачные видения завершает образ социальной пирамиды, символизирующей задавленность, бесправие, «умственный пауперизм», «нравственную нищету» угнетенных масс, олицетворяемых Мичулиным, голова которого была «так изуродована тяготевшей над нею тяжестью, что лишилась даже признаков своего человеческого характера».

В изображении Мичулина Салтыков шел от традиционных представлений о «маленьком человеке», сложившихся под влиянием Гоголя и Достоевского. К гоголевским повестям восходил в «Запутанном деле» эпизод с украденной шинелью, описание смерти Мичулина, первый сон его, ощутимо перекликающийся с грезами Пискарева, характеристика Петербурга с его безобразной нищетой и безумной роскошью. Однако Салтыков не повторил Гоголя: его Мичулин был своеобразным синтезом обездоленного «бедного человека» и рефлектирующего философа типа Нагибина. Это был тот самый «бедный человек», в котором «образованность», по словам Милютина, «развила... сознание собственного достоинства и множество самых разнообразных потребностей»[3]. Мичулин пытается осмыслить свое «бедственное положение» и найти какие-то выходы из «обстоятельств», которые «так плохи, так плохи, что просто хоть в воду».

---

[1] «Пролетарии и пауперизм в Англии и во Франции».— «Отечественные записки», 1847, № 1, отд. II, стр. 8. Ср. В. А. Милютин, Избранные произведения, стр. 166.

[2] «Современник», 1847, № 9.

[3] «Отечественные записки», 1847, № 1, отд. II, стр. 8.

Существенно отличается Мичулин и от «бедных людей» Достоевского, хотя, по сравнению с «маленьким человеком» Гоголя, герой «Запутанного дела» гораздо ближе к рассуждающим Девушкину или Голядкину, нежели к безмолвно-покорному Башмачкину. Салтыков стремился показать в «Запутанном деле» сложность душевного мира бедняка с его «внешней робостью» и «скрытой амбицией», его «ропотом и *либеральными мыслями*», «выражающими протест личности против внешнего насильственного давления»[1]. Однако характер протеста в повести Салтыкова значительно отличается от позиции Достоевского с его широким толкованием гуманизма, лишенным той суровой непримиримости, которая была присуща «Запутанному делу». Сцена столкновения Мичулина с «нужным человеком», напоминающим гоголевское «значительное лицо» (ср. «Шинель»), контрастировала с идиллическим описанием встречи «преданного начальству» Девушкина с «его превосходительством», который не только «пожалел» несчастного чиновника и помог ему деньгами, но, по словам Макара Алексеевича,— «сами мне, соломе, пьянице, руку мою недостойную пожать изволили» («Бедные люди», 1846).

Анализ угнетенной психики Мичулина был подчинен Салтыковым осмыслению и «исследованию» социальной действительности, отражением и следствием которой была «больная» душа Мичулина, измученного размышлениями о «смысле и значении жизни, о конечных причинах и так далее». Мичулин, в сущности, решал те же «проклятые вопросы», которые задавал Валинскому Нагибин в повести «Противоречия», требуя объяснения, «отчего бы это одни в каретах ездят, а мы с вами пешком по грязи ходим».

Но теперь герой Салтыкова напряженно ищет возможности действовать, чтобы по крайней мере не умереть с голода. В отчаянии он даже решается нарушить «отцовский кодекс» «смиренномудрия, терпения и любви», вступая в гневные пререкания с «нужным человеком». Однако попытки Мичулина найти «свою роль» в жизни кончались плачевно — «для него нет места, нет, нет и нет».

Одним из объектов критики Салтыкова явились характерные для учений утопических социалистов представления о возможности утверждения справедливого общественного строя путем пропаганды этических идеалов, в частности христианской заповеди о любви к ближнему. «Самое общество», заявлял, например, Петрашевский вслед за Сен-Симоном и Фейербахом на страницах «Карманного словаря иностранных слов», должно стать «практическим осуществлением завета братской любви и общения, оставленного нам спасителем; одним словом, чтоб каждый сознательно *полюбил ближнего, как самого себя»*[2].

---

[1] Н. А. Добролюбов, Сочинения, т. 7, Гослитиздат, М.— Л. 1963, стр. 250—256.

[2] «Философские и общественно-политические произведения петрашевцев», стр. 187; см. также стр. 339.

Ироническая тема «распростертых объятий» проходит через всю повесть, начиная от намека на «истину насчет распростертых объятий», мерещившуюся отцу Мичулина, и кончая встречей Ивана Самойлыча с «сыном природы», предложившим «соединиться в одни общие объятия».

Ядовитый шарж на теоретиков мечтательной «любви» к человечеству» и «объятий» дан в образе поэта Алексиса Звонского.

По предположению П. Н. Сакулина, Салтыков использовал для сатирической характеристики Звонского некоторые детали из биографии поэта-петрашевца А. Н. Плещеева с его «анонимной восторженностью» и «социальной грустью» [1]. К этой гипотезе присоединился В. И. Семевский, указав, что «недоросль из дворян» Звонский, подобно Плещееву, не кончил университетского курса и публиковал фельетоны в газетах [2].

С не меньшей иронией очерчен в повести образ друга Звонского — «кандидата философии» Вольфганга Антоныча Беобахтера (по-немецки — наблюдатель), «непременно требовавшего ррразрушения» и намекавшего «крошечным движением руки сверху вниз» на падение ножа гильотины. По мнению В. И. Семевского [3], такие крайние мнения, как Беобахтер, из всех петрашевцев мог выражать Н. А. Спешнев, с которым Салтыков встречался на «пятницах» Петрашевского. Сторонник «немедленного восстания», Спешнев, путешествуя по Европе, специально изучал историю и опыт тайных обществ (например, Бланки, Барбеса) с целью организации революционного переворота в России.

Призывы к восстанию и революционному террору в условиях русской действительности сороковых годов казались Салтыкову столь же утопическими, как и воззвания к «всеобщей» любви, поэтому он прямо указывал, что «разногласия» между Беобахтером и Звонским «только в подробностях», а «в главном они оба держатся одних и тех же принципов», оставаясь в пределах созерцательной теории. Как и Звонский, Беобахтер оказался совершенно бессильным перед «запутанным делом» Мичулина, порекомендовав ему, вместо действительной помощи, «крохотную книжонку из тех, что в Париже, как грибы в дождливое лето, нарождаются тысячами».

К сознанию общественной несправедливости и стихийному протесту Мичулин пришел под воздействием самой жизни, а не книжных представлений о ней. Убедившись на практике, что «безмолвное склонение головы» грозит голодной смертью, Мичулин начинает задумываться над «образом мыслей Беобахтера». С особенной силой эти настроения овладели Мичулиным в театре, когда, под влиянием героической музыки, ему грезились «обаятельный дым» восстания и возмущенная толпа, которую он хотел бы видеть в действительности. Облекая «бунтарские» мысли Мичулина в форму сна, грез, бреда, Салтыков подчеркивал смутность и неопределен-

---

[1] П. Н. Сакулин, Социологическая сатира.— «Вестник воспитания», 1914, № 4, стр. 9.

[2] В. И. Семевский, Салтыков-петрашевец.— «Русские записки», 1917, № 1, стр. 39.

[3] Там же, стр. 40.

ность его вольнолюбивых намерений, оттеняя их призрачность ироническим описанием обитателей «гарнира» и неожиданных союзников Мичулина, ограбивших его после уверений в «любви и братстве». Самой гибелью Мичулина, так и не решившего вопрос о своем «жизненном назначении», Салтыков еще раз указывал, что дело мичулиных остается пока «запутанным», и пробуждал мысль о необходимости коренных изменений в положении «страдающего человечества».

Во второй своей повести Салтыков глубже усвоил идейно-эстетические принципы «натуральной школы». Вместо «затейливых силлогизмов» и отвлеченных рассуждений Нагибина насчет А, В и С, «спокойно и без труда наслаждающихся жизнью», в «Запутанном деле» предстают совершенно конкретные колоритные фигуры, выписанные в резкообличительных тонах. Владельцы «щегольских дрожек», раздражительный «нужный человек», грозный «набольший», сердитый Бородавкин, «угрюмый» приказчик и старый волокита из мичулинских снов — все они, с разных сторон, демонстрировали непримиримость социальных противоречий в формах жизни действительной

Острота проблематики, антикрепостническая направленность (см. рассказы Пережиги о жестоком обращении с крепостными и расправе крестьян над исправником), насыщенность политически смелыми реминисценциями из прогрессивной философской и социально-экономической литературы (см. намеки на отрицание бога Фейербахом, споры Беобахтера и Звонского, эзоповское описание разговора в карете) сразу привлекли к повести Салтыкова внимание и передовых и консервативных кругов русской общественности.

«Не могу надивиться глупости цензоров, пропускающих подобные сочинения...— писал П. А. Плетнев 27 марта 1848 года, еще не дочитав до конца «Запутанного дела».— Тут ничего больше не доказывается, как необходимость гильотины для всех богатых и знатных» [1].

«Разрушительный дух повести» встревожил сотрудников III Отделения, один из которых (М. Гедеонов) составил специальную записку о «Запутанном деле»: «Богатство и почести,— писал секретный цензор III Отделения, определяя «общий смысл» повести,— в руках людей недостойных, которых следует убить всех до одного. Каким образом уравнять богатство? Не карательною ли машиною кандидата Беобахтера, то есть гильотиною? Этот вопрос, которым дышит вся повесть, не разрешен сочинителем, а потому именно объясняется заглавие повести «Запутанное дело».

«Среди всеобщей паники» в связи с французской революцией «Запутанное дело» и «Сорока-воровка» Герцена, по словам М. Н. Лонгинова, «сделались поводами к уголовной процедуре над литературой» [2]. Салтыков был арестован властями и по решению Николая I сослан в Вятку как ав-

---

[1] «Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым», т. 3, СПб. 1896, стр. 209.
[2] «Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», стр. 772.

тор повестей,— речь шла и о «Противоречиях»,— «все изложение» которых «обнаруживает вредный образ мыслей и пагубное стремление к распространению идей, потрясших уже всю Западную Европу и ниспровергших власти и общественное спокойствие» [1].

Радикальная молодежь, возбужденная революционными событиями во Франции, увидела в «Запутанном деле» прямой выпад против самодержавно-крепостнического строя. В кружке И. И. Введенского, куда входили Чернышевский, Благосветлов и др., «очень хорошо знали и близко принимали к сердцу... ссылку Салтыкова» [2].

Трагический образ «пирамиды из людей» был воспринят в передовых кругах как выступление Салтыкова против самодержавно-крепостнического строя, наверху которого «стоит император Николай и давит одних людей другими» [3].

«Запутанное дело», наделавшее, по свидетельству Чернышевского, «большого шума» в сороковые годы, продолжало «возбуждать интерес в людях молодого поколения» [4]. В середине пятидесятых годов Добролюбов, наряду с повестью Герцена «Кто виноват?», пытался пропагандировать среди молодежи и произведение Салтыкова, разъяснив причины и значение успеха «Запутанного дела» у демократического читателя в статье «Забитые люди»: «Ни в одном из «Губернских очерков» его не нашли мы в такой степени живого, до боли сердечной прочувствованного отношения к бедному человечеству, как в его «Запутанном деле», напечатанном 12 лет тому назад. Видно, что тогда были другие годы, другие силы, другие идеалы. То было направление живое и действенное, направление истинно гуманическое, не сбитое и не расслабленное разными юридическими и экономическими сентенциями... и, если бы продолжалось это направление, оно, без сомнения, было бы плодотворнее всех, за ним последовавших». Противопоставляя «Запутанное дело» либеральной обличительной беллетристике, Добролюбов утверждал далее, что повесть Салтыкова не только указывала основной источник зла, но и пробуждала «мужественную мысль» о борьбе с ним [5].

Стр. 201. ...*беленькая* — ассигнация сторублевого достоинства.

Стр. 205. *Вакштаф* — сорт табака.

---

[1] Архивные документы цитируются по книге: С. Макашин, Салтыков-Щедрин,— где они были приведены впервые, см. стр. 288, 279—280, 293.

[2] А. Н. Пыпин, Мои заметки, 1910, стр. 77.

[3] В. В. Берви-Флеровский, Воспоминания.— «Голос минувшего», 1915, № 3, стр. 139; см. также Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. I, Гослитиздат, М. 1939, стр. 356. Подробнее о восприятии «Запутанного дела» в 40-х годах см.: С. Макашин, Салтыков-Щедрин, стр. 273—296.

[4] «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», М. 1890, стр. 316.

[5] «Современник», 1861, № 9, стр. 119. Ср. Н. А. Добролюбов, т. 7, стр. 244.

Стр. 208. *Прийди в чертог... ты мой драгой...* — Слова из популярной в тридцатые — сороковые годы арии из оперы Ф. Кауера и С. И. Давыдова «Русалка» (либретто Н. С. Краснопольского).

Стр. 210. *...читал-таки на своем веку и Бруно Бауэра, и Фейербаха...* — Произведения Л. Фейербаха, особенно «Сущность христианства» (1841), деятельно изучались в передовых кружках сороковых годов, где пользовались популярностью и книги Бруно Бауэра (см. примеч. к стр. 248). Ф. Г. Толь, например, выступал на «пятницах» Петрашевского с рефератом о Бауэре и Фейербахе, не отделяя учения великого материалиста от атеистических деклараций Бауэра, маскирующих его субъективно-идеалистический взгляд на природу и общество (см. В. И. Семевский, Из истории общественных идей в России в конце 40-х годов, Пг. 1917, стр. 44; «Дело петрашевцев», т. II, стр. 165).

...Бинбахер-то все на своем стоит? все говорит, что... главного-то, нáбольшего-то и нет? — Салтыков намекает на отрицание бога Л. Фейербахом. С учением Фейербаха петрашевцы связывали новый этап в развитии философии, когда она, «вмещая... в себе *материализм... считает божество* не чем иным, *как общей и высшей формулой человеческого мышления,* переходит в *атеизм*» («Карманный словарь иностранных слов». — В книге: «Философские и общественно-политические произведения петрашевцев», стр. 184). Ироническое наименование Фейербаха Бинбахером бытовало в лексике передовой молодежи сороковых годов, возможно заимствовавшей его из повести Салтыкова (см. Н. Г. Чернышевский, т. XIV, стр. 206, 791).

Стр. 211. *...чудовищно-колоссальной карательной машины.* — Речь идет о гильотине.

...уж как же тут без него обойдешься! Это в ихней земле — ну, там свистни раз-два — все и готово! — «Без него» — то есть без царя. Пережига переосмысляет по-своему мнение «таинственного Бинбахера» о «главном», «нáбольшем» (см. примеч. к стр. 210).

Стр. 212. *...Алексис в стихах своих постоянно изображал груди, вспаханные страданьем... «страданье, горе и тоска»...* — В лирике А. Н. Плещеева 1845—1848 годов, как, впрочем, и в поэзии Д. Д. Ахшарумова, С. Ф. Дурова и других поэтов либерального крыла петрашевцев, против которого направлен был, очевидно, образ Звонского (см. выше, стр. 421), преобладали мотивы «безотчетной грусти». Ср., например, строки Плещеева: «Страдать за всех, страдать безмерно, лишь в муках счастье находить...», «И впала грудь моя, истерзана тоскою», «Страданьем и тоской твоя томится грудь» и т. п. (А. Н. Плещеев, Стихотворения, «Библиотека поэта», Л. 1948, стр. 56, 60, 62, 69).

«Ведь в наши дни спасительно страданье!» — строка из поэмы Тургенева «Параша» (1843), строфа V.

...вот как тут прихлопнет, да там притиснет, да в другом месте... тогда... — Таинственное «тогда» Беобахтера, как и его любовь к словам,

заключающим в себе букву «р»,— эзоповские обозначения слов революция, революционное восстание.

Стр. 214. *...искоса поглядывал на него, как Бертрам на Роберта...*— Речь идет о героях романтико-фантастической оперы Д. Мейербера «Роберт-Дьявол» (либретто Э. Скриба и Ж. Делавиня), ставившейся в Петербурге Итальянской оперой в 1847—1848 годах. Бертрам — дьявол-искуситель, посланный на землю, чтобы заставить своего сына Роберта любой ценой подписать договор с адом.

Стр. 216. *«Уголино»* — романтическая драма Н. Полевого, впервые поставленная в Петербурге в 1837—1838 годах и возобновленная в театральные сезоны 1846—1848 годов. В «Уголино» знаменитый трагедийный актер В. А. Каратыгин исполнял роль Нино, возлюбленного Вероники.

Стр. 223. *...бонкретьенам* — сорт груш.

Стр. 232. *...карета, придуманная в пользу бедных людей... «при сем удобном случае», он подумал бы, может быть, о промышленном направлении века...*— Здесь и дальше текст насыщен рядом злободневных откликов на появление омнибусного транспорта и на возникшую в связи с этим нововведением газетно-журнальную дискуссию «о пользе и выгоде публичных рессорных карет», в которых «можно за гривенник прокатиться из одного конца в другой, и притом прокатиться покойно, удобно и даже в приятной компании» («Современник», 1847, № 12, отд. IV, «Современные заметки», стр. 172).

Стр. 234. *Красная* — ассигнация десятирублевого достоинства.

Стр. 235. *...если взглянуть на дело, например, со стороны эмансипации животных...*— Вопрос об «эмансипации животных» был поднят в статьях В. С. Порошина о баснях Крылова («Санкт-Петербургские ведомости», 1847, №№ 113—116) и долго не сходил со страниц газет и журналов «Отечественные записки» охарактеризовали выступление В. С. Порошина как «энергический протест на безжалостное обращение наших земляков с животными. Лошадь, это доброе, умное и в высшей степени полезное создание, возбуждает в нем сострадание...» («Отечественные записки», 1847, № 8, отд. VIII, стр. 71; см. также № 11, отд. VIII, стр. 76; 1848, № 1, отд V, стр. 13). В противовес этим толкам о «гуманном» отношении к лошадям, «Современник» указал на «бедственное» положение трудового люда, откликнувшись на полемику характеристикой голодного, жестокого и беспросветного быта петербургских извозчиков («Современник», 1848, № 2, отд. IV, «Современные заметки», стр. 151—155). В таком же ироническом смысле упомянут вопрос об «эмансипации животных» и в повести Салтыкова.

Стр. 235. *Да ведь это все пуф!.. это всё французы привезли!* — иронический отклик на фельетон «Ведомостей Санкт-Петербургской городской полиции» от 19 сентября 1847 г., № 206. Полицейская газета осудила позицию «Санкт-Петербургских ведомостей», усмотрев в статьях В. С. Порошина и А. П. Заболоцкого (см. ниже) подрыв патриотических чувств, попытку «выставить» русский народ «злее и жестче всех народов Европы» и

намерение «вводить иностранные учреждения, несогласные ни с климатом, ни с характером, ни с потребностями народа... Что хорошо и полезно за границею, то может быть у нас худо или даже вредно».

Стр. 235—236. *Извозчики — вот главное дело.. как хлебца-то нет, он и пошел... а уж как пошел, так известно, что будет!..* — Здесь и в других местах в разговор в карете вплетены злободневные намеки на ходившие в Петербурге толки и слухи о том, что недовольство столичных извозчиков введением конкурирующих с ними городских омнибусов может принять форму открытого возмущения, «бунта».

Стр. 236. *...читали ли вы в «Петербургских ведомостях» артикль?* — Речь идет о статье «О жестоком обращении с животными». Автор ее А. П. Заболоцкий поддержал В. С. Порошина (см. выше), переводя разговор в план общих рассуждений о гуманизации нравов на примере «обширной деятельности Английского королевского общества защиты животных», направленной в конечном счете на совершенствование морали простолюдинов. В «Нескольких словах ответа» В. С. Порошин подхватил мысль о «нравственном воспитании простолюдина» путем внедрения и на русской почве «человечного» обращения с лошадьми и т. п. («Санкт-Петербургские ведомости», 1847, №№ 201 и 202 от 3 и 6 сентября).

Стр. 237. *...«резиньясьйона», кроме французов, нигде не найти.* — В словах «господина с портфелем», питавшего надежду «поднять умирающее человечество из праха» посредством экономических преобразований, содержится, по-видимому, намек на утопические проекты французских социалистов и экономистов, предлагавших реформировать распределение общественных благ по принципу равенства и сознательных уступок (résignation) со стороны имущих классов в пользу бедноты (см. об этом: В. А. Милютин, Опыт о народном богатстве, или О началах политической экономии.— «Современник», 1847, № 12). В конце 1847 года, в частности, об этом неоднократно писал Прудон, отстаивая идею «экономической революции» посредством кредита и народного банка (см., например, Le représentant du peuple, 1847, № 1). Эти проекты Прудона были отмечены «Современником» (1847, № 12, отд. IV, стр. 220).

Стр. 243. *«Разгульна, светла и любовна»* — первая строка распространенной среди студенчества тридцатых — сороковых годов песни на слова Н. М. Языкова (1828) (см. Н. М. Языков, Полное собрание стихотворений, «Academia», М.—Л. 1934, стр. 325).

Стр. 244. *...картине, изображавшей... погребение кота мышами...* — Речь идет об известной лубочной картине «Погребение кота мышами», созданной в XVIII веке. В картине отражено недовольство приверженцев старины преобразованиями Петра, который изображен в виде лежащего на дровнях кота, связанного мышами (Д. А. Ровинский, Русские народные картинки, кн. первая, СПб. 1881, стр. 395—396).

Стр. 245. *...давно уже носились слухи насчет какой-то странной болезни, которая... равнодушно приглашала на тот свет.* — Здесь и дальше имеется в виду эпидемия холеры. «Холера, раскинувшая свои широкие

объятия на всю Россию,— записывал А. В. Никитенко 2 ноября 1847 года,— медленным, но верным шагом приближается к Петербургу» (А. В. Никитенко, Дневник, т I, Гослитиздат, М. 1955, стр. 308).

Стр. 248. *А подлец Бинбахер-то! Знать ничего не хочет! ничего, говорит, не надо! все уничтожу, все с глаз долой!* — Сатирический отклик на широковещательный, но поверхностный радикализм Бруно Бауэра, привлекавший к нему симпатии оппозиционной молодежи сороковых годов В своих книгах «Критика евангельской теории Иоанна» (1840) и «Критика синоптических евангелий» (1841—1842) Бауэр «не щадил ни религии вообще, ни христианского государства» (см. примечания Г. В. Плеханова к книге Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии», М. 1931, стр. 104).

Стр. 253. *...давали какую-то героическую оперу.*— Речь идет об опере Джакомо Россини «Вильгельм Телль», либретто И. Би и В. Жуи (1829). По требованию цензуры эта опера с ярко выраженным национально-освободительным содержанием ставилась в Петербурге по измененному либретто Р. М. Зотова под названием «Карл Смелый». Однако опера сохранила свое героическое звучание. «Знаете ли вы,— писал театральный рецензент «Современника»,— что-нибудь свежее, несокрушимее россиниевского «Карла Смелого»?» («Современник», 1847, № 1, отд. IV, стр. 76). Революционизирующее воздействие «Вильгельма Телля» на передовую петербургскую молодежь Салтыков-Щедрин отмечал потом неоднократно, например в статье «Петербургские театры» (1863). См. примеч. к стр. 255.

Стр. 254. *...да и какая еще толпа! — вовсе не та, которую он ежедневно привык видеть на Сенной или на Конной.*— Размышления Мичулина о героической толпе народного восстания и обыденной рыночной толпе известных торговых площадей столицы интересны как один из первых набросков мыслей Салтыкова о народе, «воплощающем идею демократизма», и «народе историческом», еще не поднявшемся до сознания своего положения и роли в истории. См. об этом в примечаниях к очерку «Глуповское распутство» (т. 4 наст. изд.) и «Истории одного города» (т. 8 наст. изд.).

Стр. 255. *...он хочет сам бежать за толпою и понюхать заодно с нею обаятельного дыма...*— Имеется в виду второе действие оперы (см. примеч. к стр 253), в котором вольнолюбивые швейцарцы обсуждают план восстания и клянутся сбросить иго австрийского тирана. «Есть места в «Вильгельме Телле», при которых кровь кипит, слезы на ресницах»,— записывал Герцен в дневнике 1843 года, говоря о «захватывающем» действии и музыки, и «самой драмы, развиваемой в опере» (А. И. Герцен, т. II, стр 313).

Стр. 257. *...ты нам давай барабанов — вот что!* — Намек на «Марсельезу» (1792), в которой воплощена музыка революции: маршеобразные ритмы, дробь барабанов, громыхание пушечных лафетов и т. п.

Стр 265. *...колонны... составляют совершенно правильную пирамиду ...сделаны вовсе не из гранита или какого-нибудь подобного минерала, а*

все составлены из таких же людей...— Создавая этот образ имущественно-правовой иерархии, Салтыков переосмысливает знаменитую пирамиду Сен-Симона. «Гранитное» основание ее составляли рабочие, средние слои «из ценных материалов» — ученые, люди искусства, а верхняя часть — дворяне, правители и прочие «богатые тунеядцы», поддерживающие «великолепный алмаз» — королевскую власть, была из позолоченного гипса (Сен-Симон, Избранные сочинения, т. II, стр. 330—331). К образу сен-симоновской пирамиды близок образ «свода», составленного из дворянства, буржуазии и народа, в романе Жорж Санд «Странствующий подмастерье», который читал Салтыков.— См. примеч. к стр. 102). Народ, предупреждала Ж. Санд, сумеет сбросить с себя «нависший свод» и «выпрямиться во весь рост» (Ж. Санд, Избранные сочинения, т. I, М. 1950, стр. 717). Сон Мичулина о пирамиде послужил одним из главных пунктов обвинения, которое предъявил к повести Салтыкова, после вмешательства III Отделения, так называемый «меншиковский» цензурный комитет, члены которого «нашли», что «в этом сне нельзя не видеть дерзкого умысла — изобразить в аллегорической форме Россию» (К. С. Веселовский, Отголоски старой памяти.— «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», стр. 412—414).

Стр. 267. *...бледная смерть... pallida mors... Вы читали Горация...*— Имеются в виду строки из оды Горация к другу Луцию Сестию («Злая сдается зима...»), кн. I, ода 4: «Бледная ломится смерть одной все и тою же ногою // В лачуги бедных и в царей чертоги» (Квинт Гораций Флакк, Полное собрание сочинений, «Academia», М.—Л. 1936, стр. 13).

Стр. 273. *А вот в Голландии* — цензурная замена России.

БРУСИН

При жизни Салтыкова рассказ не был напечатан. Впервые опубликовано (А. Н. Пыпиным или М. М. Стасюлевичем) в «Вестнике Европы», 1890, № 5, стр. 5—56. Рукописи — черновая и две беловых — хранятся в Пушкинском доме.

Черновая рукопись представляет собой автограф с многочисленными поправками, вычерками и вставками (последние на правой стороне листа, которую Салтыков оставлял обычно для будущих исправлений). Судя по цвету чернил коричневатого оттенка и почерку, значительная часть дополнений и стилистической правки более позднего происхождения, чем основной слой текста, написанный черными чернилами.

Рукопись не озаглавлена. Первоначально главный герой ее именовался Николаем Иванычем Шипулиным. Но еще в процессе работы над основным текстом, начиная с листа 21, Салтыков стал именовать героя Александром Андреичем Брусиным и теми же черными чернилами всюду вычеркнул Шипулина и заменил его Брусиным. Рассказчик Николай Иваныч назывался прежде Дмитрием Петровичем. Вместо Ольги несколько раз

встречается Надя, Наденька. Рукопись заключена в обложку-документ: «Подписной лист пожертвований на покрытие расходов по Вятскому подвижному государственному ополчению». Отдельные фамилии подписчиков вставлены Салтыковым. На обложке надпись неизвестной рукой: «Черновая переписанной повести «Брусин». 1849».

Первая беловая рукопись представляет собой перебеленный текст черновой, частично рукой Салтыкова, частично рукой неустановленного лица. На заглавном листе рукописи шрифтом «Вятских губернских ведомостей», находившихся в служебном ведении Салтыкова, советника губернского правления, напечатано: «Брусин. Рассказ М. Е. Салтыкова 1849 год». В рукописи многочисленные позднейшие изменения и вычерки карандашом, сделанные при выработке сокращенной редакции рассказа. По этой рукописи, *без учета карандашной правки,* «Брусин» печатался в «Вестнике Европы» [1] и воспроизводится в настоящем издании.

Вторая беловая рукопись — перебеленный Салтыковым текст предыдущей рукописи с учетом карандашной правки. Текст этой сокращенной редакции см. в разделе «Из других редакций».

Установить в точности время работы Салтыкова над «Брусиным» не представляется возможным из-за отсутствия соответствующих документальных данных. С. А. Макашин, опираясь на авторскую датировку первой беловой рукописи, относит эту работу к двум первым годам жизни Салтыкова в ссылке [2]. Однако есть основание полагать, что вчерне рассказ был написан еще в Петербурге (первоначальный слой черновой рукописи темными чернилами), а в Вятке лишь дорабатывался и перерабатывался (второй слой чернового автографа чернилами коричневатого оттенка) [3].

Сокращенная редакция «Брусина», судя по сходству почерка в рукописи этой редакции с почерком сохранившегося рукописного фрагмента «Губернских очерков», предположительно датируется 1856 годом.

Содержание «Брусина» уясняется в свете литературно-общественной борьбы второй половины сороковых годов, когда передовая русская мысль подвергла анализу нравственно-философские основы романтизма как мировоззрения, «поселяющего отвращение ко всему действительному, практическому и истощающего страстями вымышленными» [4].

Предостерегая молодежь от увлечения идеалистическими теориями славянофильства и романтическими построениями утопистов, Белинский

---

[1] При публикации дано было описание рукописи. Современное состояние ее уже не вполне соответствует этому описанию: рукопись, найденная в письменном столе Салтыкова, была переплетена в «изящный шагреневый переплет». Сейчас это отдельные разрезанные листы, со следами наборной работы. Шагреневый переплет не сохранился.

[2] С. А. Макашин, Салтыков-Щедрин, стр. 412.

[3] См. Т. Усакина. К истории создания повести М. Е. Салтыкова-Щедрина «Брусин».— «Русская литература», 1959, № 3.

[4] «Из сочинения доктора Крупова».— «Современник», 1847, № 9. Ср. А. И. Герцен, т. IV, стр. 267.

выступил с разоблачением «романтиков жизни», объясняя их разлад с действительностью не только «фатумом обстоятельств», но «ничтожной натуришкой, неспособной ни к убеждениям, ни к страстям»[1].

В статьях «Капризы и раздумье» Герцен обосновал несостоятельность романтико-идеалистического миросозерцания с материалистических позиций, призывая «восстать всеми силами против этого немужественного, ложного, стертого направления»[2]. В романе «Кто виноват?» и повести «Доктор Крупов» Герцен истолковал романтизм как одно из самых ярких проявлений глубокой враждебности между человеком и средой, «насильственно исказившей» «весь нравственный быт» русского общества.

Писатели и поэты «натуральной школы» обратились к критике романтизма во всех его проявлениях. В объяснении истоков и природы романтизма Некрасов, Гончаров, Панаев и др. шли за Белинским, призывавшим сокрушить романтизм «самым метким и страшным бичом» — юмором[3]. Огарев, Кудрявцев, Анненков и др., вслед за Герценом, подчеркивали трагическую роль «тупой и беспощадной жизни».

В «Брусине», открывающемся описанием споров о причинах всеобщего бездействия, воплощены обе эти точки зрения. Одну из них выражал «молодой человек», упрекавший действительность в отсутствии «выходов» «для полезной деятельности». Его «антагонист» Николай Иваныч обвинял «во всем» романтизм, подтверждая свои объяснения «крохотных и обидных» результатов современной деятельности рассказом о «жалкой» участи Брусина.

В первоначальных черновых вариантах разоблачение романтизма Брусина сопровождалось прямыми выпадами рассказчика против «романтической природы» мировосприятия «всего молодого поколения». «То-то у вас в голове все романтизм ходит,— отвечал Д<митрий> П<етрович>,— вы бы вот на фуфу да на удалую! оттого именно и не выходит у вас ничего, что вы не видите цели, что действуете всю жизнь без системы». «Клеймя романтизмом» все формы выражения недовольства жизнью, рассказчик завершал свой спор с «молодым человеком» гневной тирадой в адрес «романтических натур»: «А все романтизм, все крайности! — продолжал Д<митрий> П<етрович>, ободренный всеобщим молчаньем,— все оттого, что человек не сознает сам своих собственных действительных интересов, а заполняет жизнь свою какими-то глупыми пугалами, которым всю жизнь свою служит. Да! именно все оттого, что ложно глядят на вещи, не зная, откуда и куда идут».

Как и в «Противоречиях», Салтыков сближал понятие «романтизм» с «отвлеченностями» утопического социализма. Беспомощность своего

---

[1] «Тарантас».— «Отечественные записки», 1845, № 6, стр. 41. Ср. В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. IX, стр. 90.

[2] «Новые вариации на старые темы».— «Современник», 1847, № 3, отд. II, стр. 23. Ср. А. И. Герцен, т. II, стр. 88.

[3] «Русская литература в 1845 году».— «Отечественные записки», 1846, № 1, отд. V, стр. 8. Ср. В. Г. Белинский, т. IX, стр. 388.

героя писатель мотивировал не только «мечтательным» воспитанием, но и влиянием кружка, способствовавшим превращению его в «нелепого утописта».

Обличая умозрительность кружковых занятий, Салтыков использовал в рассказе отдельные штрихи из быта майковско-милютинского кружка. В этом отношении характеристика последнего представляет несомненный автобиографический интерес как отражение внутренней потребности писателя освободиться от «обилия деятельности чисто книжной». Но общая оценка кружка, подчиненная логике рассказа о беспочвенности романтизма Брусина, не совпадала с действительным содержанием поисков Майкова, Милютина и Салтыкова. В 1846—1847 годах все они включились в борьбу с романтизмом, требуя от писателей, экономистов и социологов разоблачения этого «комического периода призраков» и «индийского созерцания»[1]. «Это не были словопрения бесплодные...— писал впоследствии Салтыков-Щедрин в повести «Тихое пристанище»,— напротив того, проходя через ряд фактов и умозаключений, мысль фаталистически подходила к сознанию необходимости деятельного начала в жизни». Именно поэтому с каждым новым произведением углублялось критическое отношение Салтыкова к романтизму.

В характере Брусина сохранилось много от героя «Противоречий»: «разлад с действительностью» как следствие воспитания и увлечения «призраками», постоянный самоанализ: каждый шаг свой Брусин сопровождал «непомерной умственной работой», «трудным процессом колебаний».

В черновых вариантах рукописи прямо указывалось, что натура его была «исполнена всяческих чудовищных противоречий». «Присоедините к этому его почти ребяческую слабость, его совершенное неуменье управлять обстоятельствами жизни, и вы поймете, что, однажды взяв на себя обязанность вести его, я не мог уж отказаться от своей роли, скажу более, со временем роль эта сделалась как бы лучшим делом всей моей жизни». К этой характеристике первоначально был добавлен еще один психологический штрих, устраненный при переработке рассказа. Практическая беспомощность Брусина, подчеркивал Салтыков, оборачивалась в конце концов эгоистической привычкой жить за чужой счет: «Финансовое наше положение иногда ставило меня в совершенный тупик, но я боялся признаться ему в этом, боялся даже намекнуть ему, что он проживает более своих доходов. Во-первых, тут полился бы поток жалоб и проклятий, а это было для меня все равно что острый нож, а во-вторых, это значило бы сказать человеку, что вот, дескать, ты живешь на мой счет, а я искренно любил его и никаким образом не хотел оскорблять это и без того уже беспрестанно страждущее самолюбие. Притом же я так привязался к нему, что баловать его сделалось для меня страстью и я готов был себе

---

[1] «Стихотворения Юлии Жадовской».— «Отечественные записки», 1846, № 8, отд. VI, стр. 82. Ср. В. Н. Майков, Сочинения, т. II, стр. 97.

отказать, чтобы доставить ему какую-нибудь игрушку. Говорю это не в похвальбу себе, а чтобы, по возможности, подробнее обрисовать вам наше взаимное положение».

Как и Нагибин, Брусин легко ориентировался «в будущих судьбах человечества», оказываясь между тем несостоятельным даже в незначительных житейских вопросах, не говоря уж о неудачах в сфере общественной деятельности и области чувств.

Беспочвенность и фантастичность романтического мироощущения Брусина обличалась насмешливым описанием его попыток сделать из взбалмошной неразвитой Ольги «женщину в высоком значенье слова». В этом смысле в «Брусине» содержится отклик на жорж-сандовскую тему, подхваченную в сороковые годы Герценом, Дружининым, Кудрявцевым и другими писателями «натуральной школы». Вопрос о духовном раскрепощении женщины Салтыков решал со свойственной ему трезвостью и радикализмом, иронизируя над бесплодностью утопических проектов возрождения женщины при сохранении «гнусной» обстановки, способствующей умственному и моральному убожеству, разврату и т. п.

В отличие от Нагибина с его мучительными философскими исканиями и трагической любовью, характер Брусина снижен: в изображении его «любовишки» и попыток заняться делом чувствуется оттенок мягкой, но неизменно присутствующей иронии. Ирония эта была овеяна горьким раздумьем автора над судьбой талантливого человека, кончившего тем, что родители «водят его, по воскресеньям, к обедне, к Николе-Явленному»...

Развенчивая Брусина как своего рода «лишнего человека», Салтыков не принимал и требований Николая Иваныча — «избегать крайностей» и «покоряться обстоятельствам». Эта позиция «золотой середины», напоминающая рекомендации Валинского (см. «Противоречия»), по-видимому, связывалась в сознании Салтыкова и с позитивистскими принципами. Учение Огюста Конта получило широкое распространение в России второй половины сороковых годов, особенно после выхода в свет «Курса позитивной философии», который был в библиотеке петрашевцев и не прошел мимо майковско-милютинского кружка. Приверженцем «нового практического направления» стал В. П. Боткин, один из видных в то время публицистов «Современника», и др. «Узость» позитивистских теорий отметил Белинский[1]. Об «аналитической односторонности» методологии Конта писал в 1845—1846 годах и В. Майков, определяя ее как «трупоразъятие жизни», «бездушное разложение частей без уразумения их взаимных отношений»[2]

Именно эту «односторонность» практицистских воззрений Николая Иваныча отмечал и Салтыков. Особенно близки к оценкам Майкова черновые варианты «Брусина», где противник Николая Иваныча, характе-

---

[1] Белинский, т. XII, стр. 329—331.
[2] В. Н. Майков. Сочинения, т. II, стр 88.

ризуя его «предусмотрительность», заключал, что «таким образом можно оперировать только над трупом, а не над живым организмом».

Как в «Противоречиях» и «Запутанном деле», Салтыков обличал теории созерцательного «наблюдения» жизни, вместо активного вмешательства в нее. В «Брусине» он придал этим теориям привкус позитивистской «философии жизни». Формулируя принципы общественной практики, Огюст Конт предлагал в 1844 году сосредоточить все «усилия» в «области действительного наблюдения» и познания «как нашего основного состояния, так и существенного назначения нашей беспрерывной деятельности», оставляя в стороне «всякую временную критику» [1].

Заключительной сценой полемики Николая Иваныча с «молодым человеком» Салтыков подчеркивал, что обличитель «идолов» и «призраков» Брусина сам впадает в своеобразное «идолопоклонничество» со своей преданностью «действительным интересам».

В ранних вариантах рассказа непримиримость «молодого поколения» к практицистским настроениям и позиции «золотой середины» была выражена еще отчетливее «Гнусно, Д<митрий> П<етрович>! — кричала толпа,— да ведь от старого поколения, кроме гнусности, и ожидать ничего нельзя...» Сцена идейных споров между двумя поколениями, которой Салтыков намеревался вначале завершить рассказ, выглядела следующим образом: .

«Д<митрий> П<етрович> победоносным взором окинул все наше общество.

[— А позвольте узнать, вступился вечный антагонист его,— что вы разумеете под «действительными интересами»?

— То, что приносит человеку пользу и удовольствие.

— В таком случае ваша теория никуда не годится.

— Почему так?

— Да вследствие вашей же истории; из нее видно, что Брусину гораздо больше доставляла удовольствия эта беспокойная судорожная любовь, нежели такое безмятежное счастье.

— Да, это было бы справедливо, если бы он сам не страдал глубоко от этого странного счастья...

— А коли он сам хотел страдать, что ж вам до того за дело! Ведь вы сами ему толковали, чтоб он поступал таким-то и таким-то образом, если хочет быть счастлив, отчего ж он не послушался вас! Не дурак же он был, чтобы не понимать, что его счастье не есть истинное, да видно, дело не в том, каким образом быть счастливым, а в том, чтобы каким бы то ни было образом, да быть счастливым.

— Да опять же я вам говорю, что так нельзя быть счастливым! вы, пожалуй, скажете мне, что и тот, кто будет сдирать с себя кожу, будет счастлив!..

---

[1] Огюст Конт, Дух позитивной философии, СПб. 1910, стр. 16—17, 33.

— Отчего нет? сейчас видно, Д<митрий> П<етрович>, что вы принадлежали к тому обществу молодых людей, которое вы нам так остроумно описывали в начале вашего рассказа. Как же вы не хотите понять, что в ненормальной среде нормального счастья не может быть.

— Ну допустим, что ему приятно было мучить себя. Вы согласитесь, по крайней мере, что это было вовсе не полезно.

— Соглашаюсь, но ведь главное условие действительности интересов есть, если не ошибаюсь, нераздельность полезного с приятным? Потому что иначе, вы, которые ратуете против людей за то, что они создают себе кумиров, вы первые даете им пример такого идолопоклонничества.

— Нет, как хотите, а это романтизм...

— Да, а впрочем, ведь и сидеть беспрестанно над собою и беспрестанно вглядываться, нет ли в ваших действиях чего-нибудь такого, что служило бы не «действительным интересам»,— есть тоже своего рода романтизм.

Д<митрий> П<етрович> сконфузился.

— Надо, впрочем, сказать,— продолжал молодой человек,— что ваша форма романтизма есть самая крайняя и что романтики в вашем вкусе — последние романтики».]

До переработки «Брусина» в Вятке финал рассказа перекликался с критикой романтизма в статьях Майкова, который считал главной задачей времени разоблачение «скрытых» романтиков, прикрывающих свой романтизм «маской положительности и натуральности» из опасений, чтоб в их «чувствах, мыслях и делах не проглянуло как-нибудь романтическое направление» [1].

Перерабатывая рассказ в первые годы своей подневольной жизни, Салтыков переосмыслил полемику Николая Иваныча с «молодым человеком» (все эти страницы и куски почти заново переписаны автором).

Мир идейных кружков и социальных «мечтаний», где, по позднейшему определению Салтыкова-Щедрина, не было еще места «для деловых отношений с действительностью», сменился глухим провинциальным бытом. Критика романтизма отступила на второй план. Ссыльного писателя занимал вопрос, «как нужно действовать в данную минуту, в данной средине». В этом направлении Салтыков и правил рассказ, вычеркивая, видоизменяя или сокращая формулировки, связанные с обличением романтизма. Упоминания о конфликте молодого и старого поколений Салтыков устранил вообще. Идейным центром поединка Николая Иваныча с «молодым человеком» стал «запутанный вопрос» о причинах ничтожности деятельности русского интеллигента. Эти причины предстали перед Салтыковым в конкретной и безотрадной реальности вятского захолустья.

Стремясь придать рассказу единую эмоционально-психологическую и бытовую окраску, Салтыков освобождал повествование от примет петер-

---

[1] Стихотворения Кольцова.— «Отечественные записки», 1846, № 11, отд. V, стр. 20. Ср. В. Н. Майков, Сочинения, т. I, стр. 27.

бургской жизни, природы, восприятия того и другого героями рассказа. Так, например, Салтыков вычеркнул характеристику прогулки по Парголову: «Однако ж, господа,— сказал один из слушателей,— небо-то очистилось, не мешало бы нам и прогуляться немного, а историю мы и после успеем дослушать; притом же Д<митрию> П<етровичу> и отдохнуть нужно.

Мы все единодушно положили отправиться гулять.

— Ну, что́ вы скажете про мою историю? — спросил Д<митрий> П<етрович> у молодого человека, который вначале беспрестанно прерывал его.

— А вот подождем до конца, посмотрим, какое вы выведете из нее нравоученье.

— Да нравоученье очень ясно...

— Тсс, я хочу прослушать весь рассказ до конца, тем более что вы, право, не дурно рассказываете. А теперь будем наслаждаться природою.

Вечер был ясный, воздух чистый, но немного свежий, как будто бы на дворе стояла хорошая сухая осень; гуляющих по большой Парголовской деревне было много, но мы предпочли пойти в сад, этот великолепный сад, в котором есть и Парнас и Олимп, но нет только богов, которые оживляли бы их своим присутствием».

Описание «цепенящего настроения» под «бременем» скуки, которое открывает рассказ, было навеяно атмосферой Вятки, где была написана эта страница, перекликающаяся с одной из глав «Губернских очерков» («Скука»).

По-прежнему не принимая «скаредного болотного счастья», составленного по рецепту Николая Иваныча, Салтыков не осуждал его так категорически, как в ранних вариантах рассказа. Писатель отказался и от книжных представлений о «романтической» природе положительности Николая Иваныча, исключив обвинения его в «самой крайней форме романтизма».

При переработке рассказа были внесены некоторые новые идейные акценты и в освещение главного его героя. Салтыков смягчил осуждение «романтической натуры» Брусина, вычеркнув компрометирующие его упреки в иждивенческих настроениях и усилив критику «ненормальной среды», где человек «скован, опутан обстоятельствами».

«Неумелости» брусиных и бескрылому практицизму их обличителей Салтыков противопоставлял призыв «молодого человека» к действию, даже в условиях «сквернейшего уездного городишки», продолжив таким образом основную мысль «Противоречий» и «Запутанного дела».

Девиз «молодого человека»: *«живи как живется, делай как можется»* — был своеобразным протестом Салтыкова против социально-этических норм Вятки, где «вместо служения идеалам добра, истины, любви и проч., предстал идеал служения долгу, букве закона, принятым обязательствам и т. д.» («Мелочи жизни», «Имярек»). С этим же связан был бунт «молодого человека» против всех «идолов» — «долга», «пользы» и т. п.,

к свержению которых звал в сороковые годы Герцен, возмущаясь нелепым общественным устройством, когда «все превращается в кумир; даже логическую истину, даже самую свойственную человеку форму жизни превращает человек себе в тяжкий долг...— так в нем искажены все понятия»[1]. С герценовской точкой зрения смыкалась и уверенность «молодого человека» в невиновности Брусина, оправданного мелочностью окружавшей его среды.

Однако ироническим изображением Брусина в рассказе Николая Иваныча Салтыков указывал и на другую сторону вопроса, какую отмечал Белинский, высмеивая «слабость» романтических натур, «неспособных выдерживать отрицания и идти до последних следствий»[2]. Рассказ предварял решение вопроса о взаимоотношениях человека со средой в дальнейшем творчестве писателя: подчеркивая решающую роль «обстоятельств», Салтыков не снимал нравственной ответственности и с самого человека, расчищая путь к революционно-действенному пониманию общественной практики.

«Брусин» был шагом вперед и в художественном развитии Салтыкова, овладевшего мастерством бытописателя в духе сатирического обличения жизни, к которому звал Белинский.

Стр. 276. *«Северная пчела»* — реакционная охранительная газета, издававшаяся в Петербурге Ф. В. Булгариным и Н. И. Гречем (1825—1859). Вспоминая свою юность, Салтыков-Щедрин писал в «Благонамеренных речах»: «То было время поклонения Белинскому и ненависти к Булгарину» («В дружеском кругу»).

Стр. 282. *...М — н будет упрекать М — ва за его систематическую ребяческую непосредственность... и немного скифское удальство...* — По расшифровке С. А. Макашина, *М — н* — это Владимир Алексеевич Милютин, *М — в* — Валерьян Николаевич Майков, друзья Салтыкова и товарищи его по кружку (см. примеч. к «Противоречиям»). «Немного скифским удальством» Салтыков называл, по предположению того же исследователя, полемические выпады Майкова против Белинского во время их журнальной полемики 1846—1847 годов, когда Майков писал о бездоказательности его критики и идейном диктаторстве.

...радовались падению какого-нибудь нелюбимого министерства... — Речь идет о событиях французской революции 1848 года, начавшейся падением министерства Гизо (23 февраля), вслед за которым пало министерство Тьера, регентство, министерство Одиллона Барро и была провозглашена республика. Об отношении русских оппозиционно настроенных кругов к февральской революции 1848 года Салтыков вспоминал в гл. IV цикла «За рубежом».

---

[1] Новые вариации на старые темы — «Современник», 1847, № 3, отд. II, стр. 27 Ср. А. И. Герцен, т. II, стр. 93.

[2] В. Г. Белинский, т. IX, стр. 92.

...а не у С и не у М*.*— Имеются в виду, очевидно, Салтыков и В. Майков, у которых чаще всего происходили встречи членов кружка. Но речь могла идти также о В. Стасове и В. Милютине.

Стр. 283. *В последнее время критики наши ввели похвальный обычай нападать на те произведения литературы, в которых изображаются так называемые «больные»...*— А. Д. Галахов называл книгу «Октавы. Е. Вердеревского. I. Больной (рассказ в стихах)» «анахронизмом», которому следовало «явиться несколькими годами раньше». «Что делать нашему времени с больными? — спрашивал он в обзоре «Русская литература в 1847 году».— Ему нужен человек здоровый... тот, которого не изображала еще поэзия. Советуем ей посмотреть на него пристальнее, оставив нравственных калек на содержании инвалидной фантазии» («Отечественные записки», 1848, № 1, отд. V, стр. 26; см. также рецензию С. С. Дудышкина на «Октавы» Вердеревского — 1847, № 9, отд. VI, стр. 1—8). С критикой героя Вердеревского выступал и В. Майков («Современник», 1847, № 9, стр. 45—54).

Стр. 284. *Видов этого помешательства ужасно много... они имеют все признаки нормального, здорового состояния.*— Скептические раздумья Салтыкова навеяны, вероятно, гротескной теорией Крупова, составившего «диагностику безумия», которое стало «естественным состоянием всего человечества» («Современник», 1847, № 9. Ср А. И. Герцен, т. IV, стр. 257, 264).

...князя Чернышева.— Военный министр А. И. Чернышев. В его ведении находилась канцелярия военного министерства, где Салтыков служил в 1844—1848 годах. После замечания Николая I о «вредном направлении» повестей «Противоречия» и «Запутанное дело» Чернышев распорядился об аресте их автора, предлагая разжаловать его в солдаты и «упечь» на Кавказ. Распоряжение военного министра было заменено царем «высылкой на службу в Вятку».

...известное сочинение Тредьяковского: «Езда в остров любви».— Это не оригинальное сочинение В. К. Тредьяковского, а изданный им в 1730 году перевод авантюрно-галантного романа французского писателя XVII века Поля Тальмана. Роман представлял собой своего рода аллегорическую энциклопедию любви, предусматривающую все случаи любовных отношений. Заглавие этой «книги сладкия любви» Салтыков использовал впоследствии для обобщенной иронической характеристики русского дворянства XVIII века с его стремлением срывать «цветы удовольствия».

Стр. 296. *...ужасно не любила книг, настоящий Омар в юбке!* — Историческая легенда (не соответствующая действительности) приписывала мусульманскому халифу Омару ибн-Хаттабу сожжение в 642 году знаменитой библиотеки в Александрии.

Стр. 302. *Кушелев сад,* или Кушелева дача,— пригородное поместье гр. Кушелевых-Безбородко (в районе Выборгской стороны старого Петербурга).

Стр. 303. *...не то мартинисты, не то коммунисты... солнцу молебны слу-*

жат и обедни поют...— Салтыков намеренно смешивает коммунистов с мартинистами (мистическая секта, основанная в XVIII веке Мартинесом Паскалисом), чтобы завуалировать намек на «Город солнца» Томазо Кампанеллы (1602), где солнце воплощало божественное начало, руководящее миром. Это знаменитое сочинение одного из ранних представителей утопического коммунизма было, несомненно, знакомо Салтыкову, хотя бы в пересказе и оценках французских социалистов-утопистов.

Стр. 308. *Здравомысл и Добросерд* — имена положительных персонажей-резонеров, характерные для классицистской традиции XVIII века, когда имена героев прямо указывали на их добродетели или пороки.

...Ловеласа — мучителя сердец... она ведь не Кларисса.— Имеются в виду герои романа Самюэля Ричардсона «Кларисса Гарлоу, или История молодой леди» (1747—1748).

Стр. 310. *Фактотум* — доверенное лицо (от *лат.* fac totum — делай все); здесь: прислуга, лакей.

...повелительница острова Стультиции... Достойная супруга великого царя Комуса...— Эти образы были, по-видимому, навеяны сатирической мифологией знаменитого нидерландского писателя XV в. Эразма Роттердамского. Повелительницами островов Глупости (Stultitia — глупость, *лат.*), вскормившими ее, были нимфы Метэ (Опьянение) и Апедия (Невоспитанность), оргии которых разделял Комос — бог пиршеств (буквально — разгул), «верный слуга» Глупости. См. Эразм Роттердамский, Похвала глупости, гл. VIII—IX.

Стр. 318—319. *Один, однако ж, по-видимому, считался между ними гением... вот какая женщина, братец, ко мне является, а я просто сижу себе да записываю.*— Сатирический портрет «гения» задевал, возможно, и Ф. М Достоевского. Грандиозный успех «Бедных людей» вскружил голову молодому, крайне самолюбивому писателю: «...Говорят,— подчеркивал Достоевский в 1846 году,— что после «Мертвых душ» на Руси не было ничего подобного, что произведение гениальное...» (Ф. М. Достоевский, Письма, т. I, М. 1928, стр. 86—87 и др.). Убежденность Достоевского в своей исключительности служила предметом шуток не только в кругу «Современника», но и среди ближайших друзей писателя (см., например, В. Г. Белинский, т. XII, стр. 467; П. В. Анненков, Литературные воспоминания, М. 1960, стр. 283). Пародируя «бессознательный» творческий процесс «гения», Салтыков, вероятно, намекал на мистическую фантастику повести Достоевского «Хозяйка» («Отечественные записки», 1847, №№ 10, 12). Над «нелепыми» «загадками причудливой фантазии» ее автора иронизировал и Белинский, вышучивая «электричество, гальванизм, магнетизм» в глазах героев повести («Взгляд на русскую литературу 1847 года».— «Современник», 1848, № 3, отд. III, стр. 38—39. Ср. В. Г. Белинский, т. X, стр. 350—351).

Стр. 323. *...создаете себе самый ужасный, самый мертвящий из всех — идол долга.*— Критика категории «долга» очень близка к позиции Герцена, автора повести «Долг прежде всего», первые главы которой (написанные

в 1847 г.) были посланы в редакцию «Современника» в начале 1848 года, но не напечатаны там из-за соображений цензурного порядка.

Стр. 324. *Закинь вас судьба в какой-нибудь сквернейший уездный городишко...*— Автобиографический намек на подневольную жизнь в Вятке.

РЕЦЕНЗИИ

В автобиографическом письме к С. А. Венгерову от 28 апреля 1887 года Салтыков сообщал: «По выходе из лицея я не написал *ни одного стиха* и начал заниматься писанием рецензий. Работу эту я доставал через Валерьяна Майкова и Владимира Милютина в «Отече<ственных> зап<исках>» Краевского и в «Современнике» (Некрасова с 1847 г.)».

Литературно-критическая деятельность Салтыкова началась, таким образом, в «Отечественных записках» на рубеже 1846—1847 годов, так как В. Майков, возглавивший критико-библиографический отдел этого журнала в апреле 1846 года, умер 15 июля 1847 года. «...Я начал писать гораздо ранее 1847 года,— утверждал Салтыков в автобиографическом письме в редакцию «Русской старины» от 1 апреля 1887 года, имея здесь в виду не только стихотворения, но и свои первые критические опыты.

Воспоминания Л. Ф. Пантелеева помогают уточнить объем критической работы Салтыкова в сороковых годах: «Рецензиями я зарабатывал до пятидесяти рублей в месяц, в то время это были деньги»,— говорил Салтыков Л. Ф. Пантелееву[1]. Чтобы зарабатывать в конце сороковых годов такой гонорар мелкими библиографическими заметками,— разъясняет С. А. Макашин,— их нужно было печатать ежемесячно в количестве не менее одного листа, если цифра в 50 рублей имеет в виду счет на ассигнации, и не менее трех листов, если речь идет о счете на серебро. Между тем этому противоречит указание самого Салтыкова в автобиографической заметке 1858 года, где от третьего лица говорится: в «Отеч. записках» 1847 и 1848 г., а равно и в «Современнике» «было напечатано несколько рецензий Салтыкова»[2]. В связи с анонимным характером ранних критических выступлений Салтыкова и отсутствием более конкретных указаний писателя о своей рецензентской работе, которая не была даже упомянута писателем при составлении плана издания своих сочинений, в настоящее время невозможно точно установить ни начала литературно-критической деятельности Салтыкова, ни размеров этой деятельности в полном ее объеме.

В 1890 году К. К. Арсеньев перечислил в своих «Материалах для биографии М. Е. Салтыкова» семь его рецензий 1847—1848 годов и процитировал небольшие отрывки из них на основании имевшихся в его руках черновых автографов писателя, которые были впоследствии утеря-

---

[1] «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», М. 1957, стр. 180.

[2] См. С. М а к а ш и н, Салтыков-Щедрин, стр. 256.

ны[1]. Отправляясь от рукописей, К. А. Арсеньев нашел в журналах три рецензии Салтыкова: на «Логику» Н. Зубовского, повесть П. Фурмана «Григорий Александрович Потемкин» и «Рассказы детям из древнего мира» К. Беккера. Остальные рецензии, указанные Арсеньевым («География в эстампах», «Курс физической географии», «Несколько слов о военном красноречии»), были обнаружены лишь при подготовке к изданию первого тома Полного собрания сочинений 1933—1941 годов Е. М. Макаровой. Она же атрибутировала Салтыкову еще несколько рецензий на повести Фурмана «Александр Васильевич Суворов» и «Саардамский плотник», «Первоначальный учитель», «Подарок детям на праздник», «Альманах для детей. Архангельск» и «Альманах для детей. Астрахань». Однако две последние рецензии, по справедливому утверждению С. А. Макашина, не могли принадлежать Салтыкову, так как альманах «Астрахань» вышел в свет 14 мая 1848 года, когда Салтыков был уже в ссылке. В таком случае писатель не был автором и разбора «Архангельск», написанного тем же рецензентом, который характеризовал альманах «Астрахань»[2].

Существует предположение, что Салтыков был автором рецензии на тот же альманах «Архангельск», напечатанный в «Современнике», 1848, № 1, отд. III, стр. 76. Однако предположение это слабо аргументировано и не подтверждено документально[3].

В 1949 году Б. В. Папковский предложил расширить список ранних рецензий Салтыкова, но без достаточных оснований, и его атрибуции не вошли в научный оборот[4]. Нельзя также признать доказанной и принадлежность Салтыкову большой группы рецензий, атрибутированных в статье Т. И. Усакиной «О литературно-критической деятельности молодого Салтыкова»[5].

Таким образом, в настоящее время авторство Салтыкова достоверно установлено всего лишь в отношении девяти библиографических заметок, которые и публикуются в настоящем издании по текстам журналов, где они были напечатаны впервые:

1. «География в эстампах»... Соч. Ришома и Альфреда Вингольда, СПб. 1847; «Курс физической географии». Соч. Владимира Петровского, СПб. 1847.— «Современник», 1847, № 10, отд. III, стр. 124—127. (Ценз. разрешение 30 сентября 1847 г.)

2. «Руководство к первоначальному изучению всеобщей истории». Соч.

---

[1] См. «Вестник Европы», 1890, № 1, стр. 326—327.

[2] См. С. Макашин, Салтыков-Щедрин, стр. 256—257.

[3] См И. Т. Трофимов, Принципы реализма в литературно-эстетических воззрениях Салтыкова-Щедрина.— «Ученые записки Московского пед. института имени Ленина», т. 70, вып. 4, 1954, стр. 167—168.

[4] См. Б В. Папковский, Натуральная школа Белинского и Салтыков.— «Ученые записки Ленинградского гос. пед. института им. А. И. Герцена», кафедра русской литературы, т. 81, 1949, стр. 78—79.

[5] «Литературное наследство», т. 67, М. 1959. См. об этом: Г. Иванов, Э. Кононова, М. Е. Салтыков — рецензент.— «Русская литература», 1960, № 4.

Фолькера. СПб. 1847.— «Современник», 1847, № 10, отд. III, стр. 127—129. (Ценз. разрешение 30 сентября 1847 г.)

3. «Несколько слов о военном красноречии». Составил П. Лебедев. СПб. 1847.— «Современник», 1847, № 10, отд. III, стр. 132—133. (Ценз. разрешение 30 сентября 1847 г.)

4. «Логика». Соч. проф. Могилевской семинарии Никифора Зубовского. СПб. 1847.— «Отечественные записки», 1847, № 11, отд. IV, стр. 21—22. (Ценз. разрешение 31 октября 1847 г.)

5. «Григорий Александрович Потемкин». Историческая повесть для детей. Соч. П. Фурмана. 2 части. СПб. 1848.— «Отечественные записки», 1848, № 1, отд. VI, стр. 45—47. (Ценз. разрешение 31 декабря 1847 г.)

6. «Александр Васильевич Суворов-Рымникский». Историческая повесть для детей. Соч. П. Р. Фурмана. 2 части. СПб. 1848.— «Отечественные записки», 1848, № 2, отд. VI, стр. 129. (Ценз. разрешение 31 января 1848 г.)

7. «Первоначальный учитель». Книга для чтения и для практического упражнения в русском языке. Составил К. К. Издал А. Картамышев. Одесса, 1848.— «Отечественные записки», 1848, № 3, отд. VI, стр. 34—37. (Ценз. разрешение 29 февраля 1848 г.)

8. «Подарок детям на праздник». СПб. 1848.— «Отечественные записки», 1848, № 3, отд. VI, стр. 37. (Ценз. разрешение 29 февраля 1848 г.)

9. «Рассказы детям из древнего мира» Карла Ф. Беккера. СПб. 1848.— «Отечественные записки», 1848, № 4, отд. VI, стр. 90—97. (Ценз. разрешение 31 марта 1848 г.)

Интерес Салтыкова к рецензированию преимущественно детской и учебно-педагогической литературы связан был с развитием передовой общественной мысли сороковых годов. В ту пору проблемы воспитания и образования серьезно занимали Белинского и Герцена, обсуждались на «пятницах» Петрашевского, настаивавшего на изучении «системы гармонического воспитания» еще в 1843—1844 годах в задуманном, но не осуществленном журнале, в который приглашен был и Салтыков[1]. Вопросы воспитания оживленно дебатировались также в статьях и книгах утопических социалистов Запада[2]. Особенной популярностью пользовалось у петрашевцев изложение теории «гармонического воспитания» в книге фурьериста В Консидерана «Destinée sociale» (т. 3), которую Салтыков хорошо знал[3].

Отбросив религиозную мистику и «мелочную регламентацию» «преимуществ воспитания в фаланстере», Салтыков воспринял у Фурье «великие идеи» о полном и свободном развитии человека в соответствии с его природными призваниями, мысль о постоянной связи обучения с практической жизнью. Отвечали настроениям Салтыкова и скептические приговоры

---

[1] «Дело петрашевцев», т. I, стр 554; С. Макашин. Салтыков-Щедрин, стр. 165—166.

[2] См. об этом: И. Зильберфарб. «Педагогические идеи Шарля Фурье в кн. «Шарль Фурье о воспитании при строе гармонии», М. 1939, стр. 30—31.

[3] С. Макашин, Салтыков-Щедрин, стр. 521—522.

Фурье, утверждавшего, что «воспитание при строе цивилизации» противоречит «не только природе, но и здравому смыслу»[1]. Однако влияние утопического социализма, далекого от насущных задач русской жизни, не было для Салтыкова определяющим и в вопросах воспитания.

Направление и характер рецензентской деятельности Салтыкова были обусловлены потребностями русской действительности, испытывающей «надобность в человеке трезвом, бодром, деятельном»[2], и собственным жизненным опытом писателя, ощутившего на себе все несовершенства тогдашней педагогической системы. Вспоминая о первых годах своей журнальной работы, Салтыков прямо указывал в «Пестрых письмах», что, следуя за «общим литературно-полемическим потоком», он был «горячим и искренним поклонником Белинского».

Как революционный просветитель, Белинский связывал вопросы воспитания с борьбой за переустройство самодержавно-крепостнического строя. Он выдвигал на первый план воспитание трезвого реалистического отношения к окружающей жизни и подлинно человеческой нравственности, критикуя идеалистическую природу и морально-догматический характер современной педагогической науки[3].

Борясь за воспитание «практического понимания действительности», Салтыков настаивал, вслед за Белинским, на соединении теоретического знания с эмпирическим, на усилении физического воспитания детей, предостерегая избегать всякого «спекулятивного элемента», всех форм абстрактной дидактики.

Тогдашнюю педагогическую систему Салтыков именовал «системой постепенного ошеломления», обрекавшей человека на полную неспособность к «действованию». Как и в ранних повестях, вопрос о разладе между теорией и практикой был в центре внимания Салтыкова-рецензента, настойчиво подчеркивавшего, что разрыв этот ведет к болезненной драме в зрелом возрасте: не получив ни деловых навыков, ни рациональных практических идеалов, человек оказывается совершенно несостоятельным при первом столкновении с жизнью и вынужден «начинать сызнова свое образование» или пребывать в «состоянии совершенного нравственного одурения» (см. рецензию на «Руководство к первоначальному изучению всеобщей истории»).

Требуя сближения воспитания с жизнью, Салтыков беспощадно высмеивал претензии на энциклопедическую широту, бессистемность и практическую бесполезность учебников, иронизировал над «фарисейскими поползновениями» детских нравоучительных повестей, которые «душат юные поколения», воспитывая в них «сухую безжизненную мораль». Но вместе

---

[1] Шарль Фурье, Избранные сочинения, т. III, стр. 340; см. также стр. 341—342.

[2] «Современник», 1847, № 12, отд. III, стр. 82.

[3] «Современник», 1847, № 3, отд. III, стр. 76—85. Ср. В. Г. Белинский, т. X, стр. 136—144.

с тем Салтыков предлагал устранить из детской литературы и все элементы сказочной фантастики, уводящей, по его мнению, от «интересов близких и действительных» в «мечтательные миры» «больной фантазии».

В связи с критикой «вздорных» нравоучительных повестей Салтыков высказывался не только по вопросам воспитания, но касался целого ряда самых разнообразных проблем, начиная от критики силлогизма формальной логики и кончая обличением крепостнического режима. Разбирая «Рассказы детям из древнего мира» К. Беккера, Салтыков писал о преобразующей роли художественной литературы, пробуждающей в обществе «сознание собственных его сил». В заметке о «Логике» Н. Зубовского Салтыков доказывал, что исходным пунктом человеческого мышления является объективный мир, а не отвлеченные законы логики или эстетики. Не называя имени Дж.-Ст. Милля, писатель ссылался на центральный тезис его «Системы логики» о наблюдении и опыте как источнике всякого «положительного» знания (см. примеч. к стр. 333).

Говоря о поэмах Гомера. Салтыков ставил вопрос о характере человеческой природы, решая его, как и большинство петрашевцев, в духе антропологического материализма Л. Фейербаха (см. примеч. к стр. 344). Проповедуя естественное равенство, Салтыков намекал на противоестественность крепостного права, когда «человек как будто стирается и безотчетно жертвует всею своею личностью в пользу другой высшей личности» (см. рецензии на «Рассказы» К. Беккера и «Логику» Н. Зубовского) [1].

Стр. 331. *Доктор Крупов, пожалуй, нашел бы в... чертах воинского героизма... аргумент в подтверждение остроумной своей теории...*— Речь идет о теории «повального безумия», в котором обвинил весь мир доктор Крупов, герой одноименной повести Герцена. См. примеч. к стр. 284.

Стр. 333. *...если смотреть на логику, как на науку, имеющую предметом открытие критериума достоверности... главная задача логики именно и ускользает от исследований близоруких ее атлетов.*— Выступая против формальной логики, Салтыков солидаризировался с Дж.-Ст. Миллем, который утверждал в 1843 году, что «логика — не тождественна со знанием, хотя область ее и совпадает с областью знания». Логика, указывал Милль, есть «теория всех вообще процессов, посредством которых мы удостоверяемся в истинности положений, являющихся в результате рассуждения или умозаключения» (Дж.-Ст. Милль, Система логики силлогистической и индуктивной, М. 1914, стр. 7—8, 186). См. след. примеч.

В самом определении силлогизма видна уже вся его несостоятельность, потому что общее предложение... не может быть ничем другим, как произвольно взятою ипотезою.— Салтыков критикует силлогизм формальной логики за идеалистическую априорность большой посылки («общего

---

[1] О социально-философской проблематике ранних рецензий Салтыкова см. подробнее в монографии В. Я. Кирпотина «Философские и эстетические взгляды Салтыкова-Щедрина», М. 1957, стр. 9—16.

предложения»). Автор имел в виду и скептические оценки Милля, высмеивавшего сторонников формальной логики, которые идут от общего как бы «априорно существующего», игнорируя «наблюдение, опыт». «Ни одно умозаключение от общего к частному, как таковое,— писал в связи с этим Милль,— не может ничего доказать» (там же, стр. 167, 165).

Стр. 333. *...у Дюмон-Дюрвиля весьма поучительный анекдот.*— Имеется в виду эпизод из книги Дюмон-Дюрвиля «Всеобщее путешествие вокруг света», ч. IX, М. 1837, гл. XCVI. Австралия.— Обитатели, стр. 328.

Стр. 335. *...развитие человека требует постепенности и никогда не совершается скачками.*— О «постепенности развития» человека говорится в записях Салтыкова в связи с чтением книги Кабаниса «Соотношение физического и морального в человеке» («Известия АН СССР», отд. общ. наук, 1937, № 4, стр. 868).

Стр. 340. *...известное правило Агезилая... с целью полного и гармонического их развития посредством воспитания...*— Перефразируя изречение спартанского царя Агезилая (399—358 гг. до н. э.), Салтыков развивает мысли Фурье о целях и задачах гармонического воспитания.

Стр. 344. *...нужно только уметь различать случайное и условное от истинного и постоянного, которое заключается в законах самой натуры человека, всегда и везде одинаковой.*— Движущей силой истории русские и западные социалисты считали потребности человека «вечные и неизменные», по сравнению с «временным характером общественных отношений». В сороковые годы это метафизическое учение о «неизменности человеческой природы» служило обоснованием требований равноправия и общественной справедливости (см. «Философские и общественно-политические произведения петрашевцев», стр. 82—85).

СТИХОТВОРЕНИЯ

В автобиографической записке 1878 года Салтыков сообщал, что еще в первом классе лицея «почувствовал решительное влечение к литературе, что и выразилось усиленною стихотворною деятельностью». Некоторые из своих поэтических юношеских опытов Салтыков тогда же напечатал. Но большая часть стихотворений осталась, по-видимому, неопубликованной и не дошла до нас. Не сохранилось и самое крупное стихотворное произведение Салтыкова — неоконченная трагедия «Кориолан» (написана не позже 1844 г.), о которой писатель отзывался, по свидетельству Н. А. Белоголового, «с большим сарказмом», как, впрочем, и обо всем своем поэтическом творчестве[1].

В настоящее время достоверно принадлежащими Салтыкову считаются всего одиннадцать стихотворений. Девять из них были напечатаны в сороковые годы самим Салтыковым и при жизни его больше не перепечатывались. Единственное известное исключение составляет перевод из Бай-

[1] «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», стр. 610.

рона «Разбит мой талисман...». Он был включен О. Гербель во 2-е (1874) и 3-е (1883) издания «Сочинений лорда Байрона в переводах русских поэтов».

Впервые лицейские стихи Салтыкова появились в печати сразу же после смерти писателя. 29 апреля 1889 года в газете «Новое время» (№ 4728, стр. 2 — «Первые произведения М. Е. Салтыкова») были перепечатаны семь стихотворений из «Современника»: 1) «Наш век» (отрывок), 2) «Весна», 3) «Рыбачка», 4) «Из Байрона» («Разбит мой талисман...»), 5) «Зимняя элегия», 6) «Музыка», 7) «Из Байрона» («Когда печаль моя...»)[1]. Тогда же, 5 мая 1889 года, в казанской газете «Волжский вестник» Н. Юшков перепечатал эти стихотворения, добавив к ним еще два: 8) дебютную «Лиру» из «Библиотеки для чтения», и 9) «Вечер» — из «Современника».

В 1890 году юношеские стихотворения писателя К. К. Арсеньев ввел в свои «Материалы для биографии М. Е. Салтыкова» (впервые в т. 9 Полного собрания сочинений 1889—1890 гг.). При этом, однако, К. К. Арсеньев пропустил стихотворение «Из Байрона» («Когда печаль моя...») и без видимых оснований и какой-либо аргументации приписал Салтыкову стихотворение «Две жизни» из первой книжки журнала «Библиотека для чтения» за 1842 год[2].

Впоследствии были обнаружены списки двух не бывших в печати стихотворений Салтыкова — «Песня» и «Два ангела», тексты их напечатаны М. М. Калаушиным в т. 13—14 «Литературного наследства».

Последующие попытки Б. В. Папковского (в его докторской диссертации), Л. Е. Кожекина и др. расширить круг стихотворений Салтыкова не могут считаться убедительными.

В настоящем издании стихотворения печатаются по первоисточникам в хронологической последовательности, опирающейся на датировки Салтыкова (в журналах стихотворения печатались не в том порядке, в каком они были написаны):

1. «Два ангела». Подпись: «Салтыков. 23 сентября 1840 г.». Публикуется по списку лицеиста Н. П. Семенова (ИРЛИ). Впервые — в «Литературном наследстве», т. 13—14, 1934, стр. 470.

2. «Песня (Из Victor Hugo)» <«Autre chanson»>. Подпись: «Салтыков. 1840 г.». Публикуется по списку лицеиста Н. П. Семенова (ИРЛИ). Впервые — в «Литературном наследстве», т. 13—14, 1934, стр. 470—471.

3. «Лира». Подпись: «С — в. 1841 г.».— «Библиотека для чтения», 1841, № 3, стр. 105. Автограф неизвестен. Указания на принадлежность этого стихотворения Салтыкову содержатся в автобиографических заметках писателя. «Кажется, в 1842 г. было напечатано в «Библ. для чтения» мое первое стихотворение «Лира», очень глупое»,— писал он в апреле 1887 года. В бумагах Салтыкова-Щедрина в Пушкинском доме сохранилась копия стихотворения, переписанного рукою А. Н. Пыпина, с точным обоз-

---

[1] Эта подборка была перепечатана в журнале «Пантеон литературы», 1889, № 5, разд. «Современная летопись», стр. 12—15.

[2] См. об этом: С. Макашин, Салтыков-Щедрин, стр. 505—508.

нечением номера и страницы журнала, где была опубликована «Лира», и с пометками на полях, раскрывающими образы стихотворения. Против четвертой строфы написано: «Державин», против пятой «Пушкин».

4. «Рыбачке (из Гейне)» <«Du schönes Fischermädchen»>. Подпись: «1841, М. Салтыков».— «Современник», 1844, № 7, стр. 100. Автограф неизвестен.

5. «Из Байрона» («Разбит мой талисман, исчезло упоенье!») <«The spell is broken...»>. Подпись: «М. Салтыков. 1842».— «Современник», 1844, № 7, стр. 105. Автограф неизвестен.

6. «Вечер». Подпись: «Салтыков. 1842».— «Современник», 1845, № 3, стр. 377. Автограф неизвестен.

7. «Из Байрона» («Когда печаль моя, как мрачное виденье...») <«Imporomtu in reply to friends»>. Подпись: «Салтыков. 1842».— «Современник», 1845, № 9, стр. 306 (в оглавлении ошибочно указана страница 318). Автограф неизвестен.

8. «Зимняя элегия». Подпись: «М. Салтыков. 1843».— «Современник», 1845, № 1, стр. 119—120. Автограф неизвестен.

9. «Музыка». Подпись: «М. Салтыков. 1843 г.».— «Современник», 1845, № 8, стр. 212. Автограф неизвестен. По поводу этого стихотворения редактор «Современника» П. А. Плетнев писал 28 августа 1845 года Д. И. Коптеву: «Стихотворения Салтыкова и NN <Плещеева> помещены, как уже Вы, конечно, догадываетесь, по необходимости или, лучше сказать, по удобству, они прекрасно наполняют три праздные полосы» (ИРЛИ, сообщено В. Н. Баскаковым).

10. «Наш век». Подпись: «М. Салтыков. Февраль 1844 г.».— «Современник», 1844, № 4, стр. 231. Автограф неизвестен.

11. «Весна (Из моих отрывков)». *«У......ву, в воспоминанье прежнего»*, то есть, вероятно, кн. П. Урусову, однокурснику Салтыкова, исключенному из лицея в конце 1842 года; но, может быть, и Ф. С. Усову, воспитаннику X курса (С. Макашин, Салтыков-Щедрин, стр. 308). Подпись: «М. Салтыков. Март 1844 г.».— «Современник», 1844, № 4, стр. 340—341. Автограф неизвестен.

В автобиографической заметке 1858 года Салтыков-Щедрин, вспоминая о поэтических увлечениях своей молодости, писал: «В то время Лицей был еще полон славой знаменитого воспитанника его, Пушкина, и потому в каждом почти курсе находился воспитанник, который мечтал сделаться наследником великого поэта». Мечтал об этом и лицеист Салтыков, относившийся к своему поэтическому призванию со всей серьезностью и жаром юности. Свое первое напечатанное стихотворение «Лира» Салтыков посвятил Державину и Пушкину. Отношение к Пушкину как «величайшему русскому художнику» сохранилось у Салтыкова на всю жизнь.

В целом, особенно по форме, стихотворения Салтыкова не выделялись на общем фоне бесчисленного множества романтических и псевдоромантических созданий Бенедиктова, Губера, Бернета и др. Но за беспомощной и явно подражательной романтикой стихов Салтыкова уже

ощущалась неудовлетворенность жизнью, «злая печаль» от сознания разлада между юношескими идеалами и казарменным бездушием окружающей жизни. Негодующая муза Лермонтова увлекла Салтыкова своей скорбной рефлексией, в которой Белинский видел содержание и задачу поэзии XIX века. «И кто же из людей нового поколения,— писал критик о стихотворении Лермонтова «Дума»,— не найдет в нем разгадки собственного уныния, душевной апатии, пустоты внутренней и не откликнется на него своим воплем, своим стоном?.. Если под «сатирою» должно разуметь не невинное зубоскальство веселеньких остроумцев, а громы негодования, грозу духа, оскорбленного позором общества,— то «Дума» Лермонтова есть сатира, и сатира есть законный род поэзии»[1]. Словно откликаясь на призыв Белинского, Салтыков почти перефразировал «Думу» в стихотворении «Наш век». При всей своей художественной незрелости оно уже проникнуто настроением суровой печали, созвучной будущему творчеству писателя[2].

Салтыков так и не стал поэтом. Очень скоро он выступил самым беспощадным критиком своих увлечений, язвительно высмеивая уже в повестях сороковых годов всякий «стихотворный разврат». Отрезвление от поэтического «угара» лицейских лет совпало с общей тенденцией литературного развития середины сороковых годов. К этому времени Белинский завершал «поход» против эпигонов романтизма, и к его критике присоединился голос Салтыкова. В «Противоречиях» писатель пародировал мрачно-романтическую тематику своих лицейских стихотворений, характеризуя литературные опыты Граши Бедрягина и Пети Мараева, а в «Запутанном деле» решительно осудил бесплодную созерцательность романтической поэзии в лице любвеобильного поэта Звонского.

Однако стихотворные занятия Салтыкова имели и свои важные последствия, приобщив его к журнальным кругам Петербурга сороковых годов. Недаром сам сатирик, хотя и с оговоркой, утверждал впоследствии «Я в литературе состою с 47 года... или даже с 43 года, когда печатались в плетневском «Современнике» мои первые стихи» (письмо к М. М. Стасюлевичу от 7—19 октября 1881 г.).

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ

<«ТАК ЭТО ВАШЕ РЕШИТЕЛЬНОЕ НАМЕРЕНИЕ...»>

При жизни Салтыкова не публиковалось. Впервые напечатано в газете «Русские ведомости», 1914, 27 апреля, № 97, стр. 5.

Автограф (черновой) хранится в Пушкинском доме. Рукопись не озаглавлена и не датирована.

В настоящем издании воспроизводится по тексту рукописи.

---

[1] «Отечественные записки», 1841, № 2. Ср. В. Г. Белинский, т. IV, стр. 522.

[2] См. подробнее: С. Макашин, Салтыков-Щедрин, стр. 145—153.

Набросок возник, по-видимому, в связи с работой над повестью «Противоречия». В напечатанном тексте этой повести находим приведенное в наброске рассуждение о контрасте между богатством воображения и жизнью в комнате с видом «прямо на помойную яму» и характеристику лакеев, «чмокающих губами и рассуждающих... про себя». Возможно, набросок является фрагментом неизвестной нам в полном виде первоначальной редакции «Противоречий». В таком случае он должен быть датирован 1847 годом. Эта дата подтверждается содержащимися в тексте параллелями между предстоящими горестями бедняка, который отваживается иметь семью, и бедствиями Ирландии. С начала 1847 года «ирландский вопрос», в частности вопрос о быстром росте ирландского народонаселения, оживленно обсуждали в русской журналистике в связи с выходом в свет двухтомной монографии Густава де Бомона («De l'Irlande sociale, politique et religieuse», Paris, 1846). Так, в февральском номере «Отечественных записок» за 1847 год была помещена вторая статья В. А. Милютина, из цикла «Пролетарии и пауперизм в Англии и во Франции», почти целиком посвященная Ирландии. В мартовском и апрельском номерах того же журнала на «страшное положение рабочего класса в Ирландии» указывал В Майков[1]. О «бедности ирландского народа» говорилось и в третьем номере «Современника» (см. «Современные заметки», стр. 50—55).

Набросок интересен также тем, что в нем появляется «предусмотрительный» Николай Иванович, рекомендующий другу вначале «обсудить положительно, принесет ли вам известное действие пользу, и какую именно». Этот образ был развит Салтыковым в повести «Брусин».

Стр. 366. *...Клико...но Редерер лучше.:* — марки шампанских вин.

<«БУДЬ ДОБРОНРАВЕН...»>

При жизни Салтыкова не публиковалось. Впервые напечатано в Полном собрании сочинений Салтыкова-Щедрина, т. I, М. 1941, стр. 369—373.

Автограф (черновой) хранится в Пушкинском доме. Рукопись не озаглавлена и не датирована.

В настоящем издании воспроизводится по тексту рукописи.

Первые строки наброска <«Будь добронравен...»> и повести «Запутанное дело» почти совпадают, отличаясь лишь мелкими стилистическими деталями. И тут и там повествование ведется об одном и том же герое — Иване Самойлыче Мичулине.

Набросок можно рассматривать и как раннюю, более распространенную редакцию начала «Запутанного дела», и как этюд, имевший самостоятельное значение и лишь потом использованный для нового замысла.

Стиль наброска выдержан в типично гоголевских патетико-иронических интонациях. Вместе с тем здесь проступает и воздействие романа Гон-

---

[1] В Н Майков, Сочинения, т. I, стр. 125, т. 2, сгр. 310.

чарова «Обыкновенная история». Влияние Гончарова ощущается и в сцене прощания Мичулина с родителями, и в описании родительских наставлений, перекликающихся с советом Анны Павловны Адуевой «смиряться перед господом богом» и надеждами ее на блестящую женитьбу сына, и в повествовании о романтических грезах Мичулина, напоминающих иллюзии Александра Адуева [1].

Мичулина из наброска <«Будь добронравен...»> Салтыков отнес к разряду юных Дон-Кихотов, заявив о намерении рассказать о них «довольно курьезную повесть». Это заявление было повторено и в заключительной фразе, впоследствии вычеркнутой. Вслед за словами: «Но здесь занавес опускается...» — Салтыков писал: «Когда-нибудь автор расскажет похождения своего юного Дон-Кихота, но когда придет это «когда-нибудь» и придет ли оно когда-нибудь — неизвестно, тем более что обстоятельство это требует, чтобы об нем много и сильно подумать...» Возможно, что замысел такой повести был связан с выступлением Белинского против многочисленных «русских Дон-Кихотов», которые «умны, но только в сфере мечты», «способны к самоотвержению, но за призрак», которым «все доступно, кроме одного, что всего важнее, всего выше, кроме действительности» [2].

БРУСИН

При жизни Салтыкова не публиковалось. Впервые напечатано в Полном собрании сочинений Салтыкова-Щедрина, т. I, М. 1941, стр. 377—379.

Рукопись, хранящаяся в Пушкинском доме, представляет собою беловой автограф третьей сокращенной редакции повести или рассказа «Брусин». Рукопись, по-видимому, была подготовлена к набору. Подпись: «М. С.» Дата не проставлена. По сходству с автографом «Прошлых времен» (см. «Губернские очерки») Н. В. Яковлев относит работу над третьей редакцией «Брусина» к 1856 году. О первых двух редакциях см. выше. Перерабатывая вторую редакцию «Брусина», Салтыков изменил имя главного героя, назвав Брусина Дмитрием, значительно сократил повесть за счет полемики Николая Иваныча с молодежью, внес некоторые стилистические изменения и устранил фигуру рассказчика.

В настоящем издании воспроизводится по тексту рукописи.

Стр. 373. *...в среду Б*** будет развивать такой-то экономический вопрос...* — Имеется в виду, вероятно, лицейский товарищ Салтыкова В. П. Безобразов, известный экономист и публицист пятидесятых — семидесятых годов. Накануне ссылки и после нее Салтыков поддерживал с ним дружеские связи и жил в одном доме (см. С. Макашин, Салтыков-Щедрин, стр. 140, 512).

---

[1] «Современник», 1847, № 3. Ср. И. А. Гончаров, Собр. соч., т. I, М. 1952, стр. 13—15, 39.

[2] «Тарантас».— «Отечественные записки», 1845, № 6. Ср. В. Г. Белинский, т. IX, стр. 81.

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ *

---

* В указатель входят личные имена и названия периодических изданий, встречающиеся как в текстах Салтыкова-Щедрина, так и в комментариях к ним, а также во вступительной статье. В первом случае цифры набраны прямым шрифтом, во втором — курсивом Имена и названия, упоминаемые только в библиографическом аппарате статьи и комментария, в указатель не введены.

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ

Михаил Евграфович

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Собрание сочинений, т. I

Редактор *В. Фридлянд*

Художественный редактор
С. Данилов

Технический редактор
Ф. Артемьева

Корректор *И. Доценко*

Сдано в набор 5/II 1964 г.
Подписано к печати 9/XII 1964 г.
Бумага 60 × 92[1]/16 = 29 печ. л. Уч.-изд. л. 28,554 + 1 вкл. = 28,614. Тираж 60 000. Заказ № 1096.
Цена 1 р. 35 к

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Типография «Красный пролетарий»
Политиздата
Москва, Краснопролетарская, 16